

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
П Е Р В А Я

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ:

Г. СТРЕЛЬЦОВ
Э. РАХЬЯ
В. Е. ЛЬВОВ
СПЕКТАТОР
А. ГАРРИ
И. ЛЕЖНЕВ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, ПОЭМЫ:

Л. ФАРИД И БОР. ПИЛЬНЯК
МАКС ЗИНГЕР
ПАВЕЛ НИЗОВОЙ
А. ЖАРОВ
П. СЛЕТОВ
АЛ. ТОЛСТОЙ

СТИХИ:

ЛАХУТИ
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

МАРИЭТТА ШАГИНЯ
О. БУБНОВА

М О С К В А
1 . 9 . 3 . 4

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ь

М О С К В А
1 . 9 . 3 . 4

Статформат В/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В—70104 Об'єм 17 п. л. по 64.000 зн. Техн. ред. В. Белокопъ. З. 189. Тир. 40.000

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Г. СТРЕЛЬЦОВ. — Десять лет без Ленина	5
2. Э. РАХЬЯ. — Мои предоктябрьские и послеоктябрьские встречи с Лениным	24
3. В. Е. ЛЬВОВ. — Ленин и физика	40
4. Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК. — Весна в Хорезме. <i>Записки уполномоченного</i>	60
5. МАКС ЗИНГЕР. — Огни, <i>повесть</i>	88
6. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — Недра, <i>роман</i>	114
7. А. ЖАРОВ. — Два паспорта, <i>поэма</i>	153
8. П. СЛЕТОВ. — Равноденствие, <i>роман</i>	157
9. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, <i>роман</i> , книга 2-я, продолжение	192
10. ЛАХУТИ. — Труд рапортует, <i>стихи</i>	202
11. И. ЛЕЖНЕВ. — Записки современника	204
12. ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ. — Анастасия, <i>стихи</i>	228
13. СПЕКТАТОР. — За десять лет	230
14. А. ГАРРИ. — Все выше и выше	245

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. МАРИЭТТА ШАГИНЯН. — Беседы с начинающим автором	259
16. О. БУБНОВА. — О турецком искусстве	266



1924 — 1934

Десять лет без Ленина

Г. СТРЕЛЬЦОВ

Борьба за сохранение и умножение ленинского наследства

Десять лет назад умер «величайший марксист нашего времени, глубокий теоретик и опытнейший революционер»¹⁾ — Ленин. Умер человек, которому принадлежит честь создания великой большевистской партии, руководства первой победоносной революцией пролетариата и организацией государства нового типа — советского государства. Чем дальше отодвигаются от нас те дни, когда трудящиеся всего человечества были потрясены вестью о смерти своего великого вождя, тем с большей силой вырисовывается перед нами гигантская мощь этого человека, с именем которого связана вся новейшая эпоха — эпоха империализма и пролетарской революции.

Ленин не только «возродил революционное содержание марксизма, замурованное оппортунистами II интернационала»²⁾, он был не только гениальным исполнителем марксова учения, — Ленин был вместе с тем и гениальным продолжателем учения основоположников научного социализма. «Это значит, что он развил дальше учение Маркса — Энгельса применительно к новым условиям развития, применительно к новой фазе капитализма, применительно к империализму».³⁾

Учение об империализме как новой фазе капитализма, блестящее развитие

марксова учения о диктатуре пролетариата; открытие Лениным советской власти как государственной формы диктатуры пролетариата; учение о гегемонии пролетариата и его союзниках в революции; разработка национально-колониального вопроса; учение о партии пролетариата, — вот главное из того нового, чем Ленин обогатил сокровищницу марксизма, чем он вооружил пролетариат в его борьбе за установление пролетарской диктатуры.

«Ленинизм есть цельная теория, возникшая в 1903 г., прошедшая испытания трех революций и шествующая теперь вперед как боевое знамя всемирного пролетариата»¹⁾. (Подчеркнуто мною. — Г. С.).

Сказанным далеко не исчерпывается гигантская роль Ленина в борьбе за мировую пролетарскую революцию, в борьбе за социализм. Ленин разработал «вопрос о формах и способах успешного строительства социализма в период диктатуры пролетариата»²⁾ и оставил партии и рабочему классу план построения социализма в нашей стране.

Прошло всего лишь десять лет. Оглядываясь на пройденный путь, созданная Лениным партия с законной гордостью отмечает изумительные достижения в осуществлении этого ленинского плана.

Однако партия не только осуществляла практически учение Ленина и

¹⁾ Сталин. «Об оппозиции», стр. 124.

²⁾ Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 6.

³⁾ Там же, стр. 263.

¹⁾ Сталин. «Об оппозиции», стр. 121 — 122.

²⁾ Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 264.

оберегала его от попыток ревизии справа и слева; она обогатила и умножила ленинское наследие, подняла революционное учение Маркса — Энгельса — Ленина на новую, еще более высокую ступень. Эта борьба за сохранение и умножение ленинского наследия теснейшим образом связана с именем тов. Сталина.

Роль тов. Сталина в дальнейшем развитии революционного учения Маркса — Энгельса — Ленина настолько велика, что в настоящее время нельзя говорить о ленинизме без учета того нового в развитии ленинизма, что дал тов. Сталин, как нельзя говорить о марксизме без учета того нового, что дал Ленин в развитии марксизма. Нет ни одного из кардинальных вопросов пролетарской революции и строительства социализма, по которому не было бы внесено Сталиным существенно новое. Это новое целиком базируется на учении Ленина, но оно является дальнейшим развитием ленинизма. Поэтому не только можно, но и должно говорить о сталинском периоде в развитии ленинизма.

Величайшей заслугой тов. Сталина перед мировым пролетариатом является прежде всего то, что он — первый и единственный, кто дал развернутое, мастерское изложение ленинского учения и развернутую, уничтожающую критику его противников.

Когда не только Троцкий, который был всегдашним противником ленинизма, но и Зиновьев и Каменев, считавшие себя душеприказчиками Ленина, единственными толкователями ленинского учения, подняли, прикрываясь Лениным, знамя восстания против партии, партия оказалась подготовленной, чтобы разбить объединенную оппозицию не только организационно, но и теоретически, ибо она была вооружена такими работами Сталина, как непревзойденные по своей краткости, полноте и теоретической глубине лекции «Об основах ленинизма», как замечательное предисловие к книге «На путях к Октябрю» под названием «Октябрьская революция и тактика рус-

ских коммунистов», и другими работами, разоблачающими меньшевистскую природу троцкизма.

Когда Бухарин выступил со своим ревизионистским документом под названием «Политическое завещание Ленина», в котором он попытался по-своему изложить «Основы ленинизма» и обосновать тем самым свою правооппортунистическую платформу, — партия оказалась подготовленной, чтобы разбить вдребезги и правую оппозицию, ибо она была теоретически вооружена, кроме работ тов. Сталина, направленных непосредственно против троцкизма и так называемой «новой оппозиции», такими его работами, как доклад об итогах XIV партконференции, в котором поставлен вопрос о развитии металлопромышленности, доклад на XIV съезде, в котором изложена и теоретически обоснована программа индустриализации страны, доклад на XV съезде партии, в котором развернута программа коллективизации сельского хозяйства, беседа «На хлебном фронте» и др.

Сталинские «Вопросы ленинизма» являются непревзойденным пособием, по которому изучают и будут изучать вопросы теории, стратегии и тактики классовой борьбы пролетариата за диктатуру пролетариата, за социализм коммунисты и рабочие всех стран и всех народов.

Особенно велика роль тов. Сталина в разработке вопроса о возможности победы социализма в одной стране.

Ленин, на основе сформулированного им закона неравномерного развития капитализма, выдвинул положение:

«Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными»¹⁾.

«Победивший пролетариат этой страны, экспроприровав капиталистов и организовав у себя социалистическое про-

¹⁾ Ленин, т. XIX, стр. 325, изд. 3-е.

изводство, встал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств»¹⁾.

В одной из своих последних статей Ленин с не оставляющей сомнений ясностью заявил: в нашей стране есть «все необходимое и достаточное для этого построения»²⁾, для построения социализма.

Когда тов. Сталин поднял как знамя, как отправной пункт развертывания работ по социалистическому перестроению страны эти ленинские положения, против него и против партии обрушились Троцкий, Зиновьев, Каменев и иже с ними, обвиняя партию в «отступлении от ленинизма», в «национальной ограниченности» и тому подобных смертных грехах.

Надо заметить, что в начале борьбы партии с оппозицией вокруг этого вопроса многие, даже не из лагеря троцкистов, рассуждали: социализм строить нужно, но зачем «гадать» о том, возможно ли построение социализма в одной нашей стране; пусть решит этот вопрос история. В этих рассуждениях обнаруживалась характерная для «ползучих эмпириков» недооценка всей важности революционной теории для решения практических задач борьбы рабочего класса за свое освобождение. Люди не понимали или не хотели понять того, что если теория без практики пуста, бессодержательна, то и практика без теории слепа, бесперспективна.

Тов. Сталин, во-первых, показал решающее значение вопроса о перспективах социалистического строительства в нашей стране. На XV всесоюзной партийной конференции тов. Сталин заявил: «Мы не можем двигаться вперед, не зная, куда нужно двигаться, не зная цели движения. Мы не можем строить без перспектив, без уверенности, что, начав строить социа-

листическое хозяйство, можем его построить. Без ясных перспектив, без ясных целей партия не может руководить строительством»³⁾. (Подчеркнуто мною. — Г. С.)

Теперь для каждого ясно, какую исключительную роль сыграла теория победы социализма в одной стране в деле идейного вооружения нашей партии, в деле мобилизации сил рабочего класса на борьбу за построение социализма в нашей стране, за победу коммунизма. Оправдались прекрасные слова Ленина, сказанные им еще в период революции 1905 года:

«Важна уверенность в правильности выбора пути, и эта уверенность усиливает стократ революционную энергию и революционный энтузиазм, способные совершить чудеса»²⁾.

Во-вторых, тов. Сталин правильно поставил самую проблему, что имело серьезное значение для правильного решения этой проблемы. Путаным рассуждением на этот счет Зиновьева в его книге «Ленинизм», которую оппозиционеры считали своего рода «евангелием ленинизма», тов. Сталин противопоставил четкую и ясную постановку вопроса:

«Когда говорят: можно ли построить социализм своими собственными силами, то этим хотят сказать: преодолемы ли противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством в нашей стране, или непреодолимы?»³⁾.

И тов. Сталин доказал, что эти противоречия преодолемы, что техническая отсталость нашей страны не является непреодолимым препятствием для построения социализма, что, поскольку речь идет о внутренних противоречиях нашей страны, построить социализм без помощи извне можно; что окончательная победа социализма в рамках одной страны невозможна лишь в смысле отсутствия у нас гарантии от опасности военной интервенции, а следовательно, и реставрации; что для такой гарантии

¹⁾ Стеногр. отчет XV всесоюзной конференции ВКП(б), стр. 452.

²⁾ Ленин, т. VIII, стр. 96, 3-е изд.

³⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 120.

¹⁾ Ленин, т. XVIII, стр. 232—233, изд. 3-е.

²⁾ Ленин, т. XXVII, стр. 392.

необходима победа пролетариата в ряде других стран.

Построение социализма в нашей стране «не только возможно, но и необходимо, но и неизбежно»¹⁾. (Подчеркнуто мною. — Г. С.)

В-третьих, тов. Сталин показал колоссальное интернациональное значение успешно социалистического строительства в СССР. Хотя Ленин и подчеркивал, что «сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной политикой»²⁾, троцкистско-зиновьевская оппозиция самую мысль о возможности победы социализма в одной стране считала проявлением «национальной ограниченности» и изменой марксизму. Тов. Сталин показал, что

«не только Октябрьская революция нуждается в поддержке со стороны революции других стран, но и революция этих стран нуждается в поддержке со стороны Октябрьской революции для того, чтобы укрепить и двинуть вперед дело свержения мирового империализма»³⁾.

«Победа революции в одной стране, в данном случае в России, есть не только продукт неравномерного развития и прогрессирующего распада империализма. Она есть вместе с тем начало и предпосылка мировой революции»⁴⁾.

«Победа социализма в одной стране является не самоцелью, а средством для развития и поддержки революции во всех странах»⁵⁾.

Отрицая возможность победоносного строительства социализма в нашей стране, обрекая победившую революцию в России на пассивное выжидание помощи извне, троцкизм обнаружил полное непонимание того, что пролетарская революция по своему характеру и задачам коренным образом отличается от буржуазной революции. Меньшевистская природа троцкизма сказалась здесь со всей силой.

Это различие буржуазной и пролетарской революций прекрасно выяснено тов. Сталиным в работе «К вопросам ленинизма». Одно из различий состоит в следующем:

«Основная задача буржуазной революции сводится к тому, чтобы захватить власть и привести ее в соответствие с наличной буржуазной экономикой, тогда как основная задача пролетарской революции сводится к тому, чтобы, захватив власть, построить новую, социалистическую экономику»¹⁾. (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Отсюда следует, что процесс создания социалистической экономики есть активный процесс, начинающийся немедленно после переворота, не терпящий никакого пассивного выжидания, никакого самотека. Отсюда следует, что те, кто отрицал возможность построения социализма собственными силами страны, скатывались, по существу, к ликвидаторской точке зрения: не надо было идти на захват власти пролетариатом в октябре 1917 г. Так и говорили Зиновьев и Каменев накануне Октября, когда они активно боролись против курса Ленина на захват власти пролетариатом.

Следует отметить, что вопрос о возможности построения социализма в одной стране тов. Сталин поставил еще в 1917 г., на VI съезде партии. Отвечая на поправку Преображенского, ставившую построение социализма в России в зависимости от пролетарской революции в Европе, тов. Сталин произнес следующие замечательные слова:

«Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего»²⁾. (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Таким образом, т. Сталин блестяще развил и обосновал

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 172.

²⁾ Ленин, т. XXVI, стр. 410—411.

³⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 102.

⁴⁾ Там же, стр. 99.

⁵⁾ Там же, стр. 153.

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 196.

²⁾ Протоколы VI съезда. ГИЗ, 1927 г., стр. 249.

вал ленинское учение о возможности победы социализма в одной стране, определил условия, необходимые для этой победы, и развил это учение в стройную, научно-обоснованную теорию.

Теперь всякий видит, что практика—этот единственный критерий всякой истины—целиком подтвердила правильность теории о возможности победы социализма в одной стране. На опыте Парижской коммуны Маркс впервые показал, что рабочие могут управлять государством без помощи капиталистов. На опыте СССР, «в итоге пятилетки перед лицом сотен миллионов трудящихся всего мира впервые в истории человечества на деле доказана возможность построения социализма в одной стране»¹⁾. (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Теперь всякому видно, каким мощным фактором в развитии мировой пролетарской революции является Советский Союз.

Тов. Сталину принадлежит дальнейшая разработка ленинского плана построения социализма в нашей стране, разработка форм и методов осуществления этого плана.

Сюда входят, во-первых, план индустриализации страны и обоснование необходимости быстрых ее темпов. Когда партия вплотную подошла к решению поставленной Лениным задачи создания в СССР крупной машинной индустрии как единственной материальной основы социализма; когда в партии появились люди, которые хотели индустриализовать страну с «ситцевого» конца, тов. Сталин дал партии четкое понимание сущности индустриализации страны. «Не всякое развитие промышленности представляет собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа ее, состоит в

развитии тяжелой промышленности (топливо, металл и т. п.), в развитии, в конце концов, производства средств производства, в развитии собственного машиностроения»¹⁾.

С предельной четкостью эта мысль была выражена в заключительном слове на XIV съезде партии:

«Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить собственными силами необходимое оборудование, — вот в чем суть, основа нашей генеральной линии»²⁾.

Сюда входит, во-вторых, план коллективизации сельского хозяйства и ликвидации на основе сплошной коллективизации кулачества как класса. Когда партия взялась за решение поставленной Лениным задачи перевода мелких крестьянских хозяйств — этой базы, «ежечасно», по выражению Ленина, рождающей капитализм, — на рельсы крупного обобщественного хозяйства; когда в партии нашлись люди, которые видели в этой работе партии нарушение ленинского лозунга о союзе рабочего класса с крестьянством, т. Сталин дал замечательное по своей теоретической глубине обоснование необходимости социалистической переделки сельского хозяйства. В этом отношении особо крупную теоретическую ценность имеют речь на ноябрьском пленуме ЦК 1928 г. «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)» и речь на конференции аграрников-марксистов, в которой дана исчерпывающая критика теории равновесия и основанной на ней теории самотека.

В этих документах раскрыта и доказана невозможность «в продолжение слишком долгого периода времени базировать советскую власть и социалистическое строительство на двух разных основах, на основе самой крупной и объединенной социалистической промышленности и на основе самого раздробленного и отсталого мелкотоварно-

¹⁾ Сталин. «О хозяйственном положении Советского Союза». ГИЗ. 1926. стр. 6.

²⁾ Стеногр. отчет XIV съезда ВКП(б). стр. 488.

¹⁾ Тезисы доклада тт. Молотова и Куйбышева о втором пятилетнем плане.

го крестьянского хозяйства»¹⁾, ибо «это когда-либо должно кончиться полным развалом всего народного хозяйства»²⁾. В этих документах доказана безусловная необходимость социалистической переделки сельского хозяйства. «Либо мы эту задачу разрешим,— и тогда окончательная победа обеспечена, либо мы от нее отойдем, задачи этой не разрешим,— и тогда возврат к капитализму может стать неизбежным явлением».

Тем же, кто усматривал в насаждении в деревне совхозов и колхозов нарушение ленинской смычки, Сталин, в полном соответствии с духом учения Ленина, отвечал, что союз рабочего класса и крестьянства является не самоцелью, а средством к достижению нашей основной цели — к уничтожению классов. «Всякое иное понимание союза рабочих и крестьян есть оппортунизм, меньшевизм, эсерство,— все, что угодно, только не марксизм, только не ленинизм»³⁾.

Чтобы осуществить социалистическую переделку раздробленного крестьянского хозяйства, необходимо было найти такую форму, которая в наибольшей мере отвечала бы разрешению этой наиболее трудной задачи пролетарской революции. И здесь тов. Сталину целиком принадлежит разработка теории артельной формы колхозного производства, как наиболее отвечающей разрешению поставленной задачи — переделки мелкого собственника в труженника бесклассового общества.

Эта разработка дана в статьях «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам-колхозникам». К этим документам тесно примыкает известная речь тов. Сталина на январском пленуме ЦК и ЦКК «О работе в деревне». Эта речь является образцом применения материалистической диалектики, образцом конкретного анализа взаимоотношений между формой и содержанием. В этой речи дан замечательный по своей теоретической глубине разбор колхоза как

социалистической формы хозяйственной организации и показано, что колхозы могут быть социалистическими лишь в том случае, если в эту социалистическую форму будет вложено соответствующее содержание. «Дело не только в самих колхозах как социалистической форме организации, но прежде всего в том, какое содержание вливается в эту форму, — дело прежде всего в том, кто стоит во главе колхозов и кто руководит ими». Отсюда — подчеркивание тов. Сталиным огромной роли созданных по его инициативе политотделов МТС как важнейших рычагов политического и хозяйственного укрепления колхозов.

Тов. Сталину партия обязана не только разработкой плана осуществления сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, но и гениальным проведением этого плана. Ведь предстояло исключительно трудное дело — ломка вековых отношений миллионов масс крестьянства, коренная перестройка их способа производства. Предстояло пойти на смертный бой с кулачеством, которое к 1929 г. представляло из себя внушительную силу и с точки зрения его участия в выработке с.-х. продукции, и с точки зрения политического влияния в деревне. Нужны были величайшая теоретическая убежденность в правильности пути и своевременность выбора момента, сталинское умение понимать и предвидеть, «куда двигаются классы в настоящем и куда должны двинуться они в ближайшем будущем» («Вопросы ленинизма», стр. 17), величайшее мужество и смелость, чтобы, невзирая на крики правых о неизбежной гибели советской власти, уверенно повести партию и рабочий класс в это величайшее наступление на последний капиталистический класс в нашей стране, сметая на своем пути оппортунистов и малодушных.

В-третьих, сюда входит разработка тов. Сталиным способов и форм организации социалистического хозяйства. Особо значительным доку-

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 362.

²⁾ Там же, стр. 444.

³⁾ Там же, стр. 323. См. по этому вопросу стр. 240, 403, 459.

ментом в этом отношении является речь на совещании хозяйственников, в которой были выставлены знаменитые шесть условий, а также речь на конференции работников промышленности об овладении техникой. Шесть условий обобщали гигантские сдвиги в экономике страны, коренное изменение обстановки и указывали на необходимость новых методов работы в соответствии с изменившейся обстановкой.

Возьмем например первое условие — об организованном наборе рабочей силы. Это не был просто совет, как выйти из текущих затруднений с рабочей силой. Это условие отражало сдвиг в экономике страны всемирно-исторического значения. Этот сдвиг выражался в полной ликвидации безработицы и прекращении расслоения крестьянства. Тов. Сталин показал, что затруднения с рабочей силой не есть случайное явление. Когда существовала безработица, можно было рассчитывать на самотек в притоке рабочей силы. С ликвидацией безработицы в городе и с прекращением расслоения деревни проблема вербовки рабочей силы встала совершенно по-новому. В связи с этим тов. Сталин со всей остротой поставил перед партией проблему широкой механизации трудовых процессов.

«Механизация процессов труда является той новой, для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, ни новых масштабов производства»¹⁾.

Возьмем второе условие — о ликвидации уравниловки, о правильном регулировании заработной платы. В этом условии поставлена, по существу, проблема распределения при социализме. Кому давать, сколько, в зависимости от чего — уже само возникновение этих вопросов свидетельствовало о том, что мы вступили в период социализма, в ту самую первую фазу коммунизма, о которой до этого читали в книгах Маркса «Критика Готской программы» и Ленина «Государство и революция». Эти вопросы из объектов теории стали предметами практической работы. Шесть усло-

вий тов. Сталина являются дальнейшей разработкой учения Маркса и Ленина о первой фазе коммунизма.

Мы отнюдь не ставим себе задачей охватить все то новое в развитии ленинизма, что внес тов. Сталин. Можно было бы остановиться на чрезвычайно интересном и всесторонне разработанном тов. Сталиным вопросе о роли партии в связи с вопросом о диктатуре пролетариата и диктатуре партии; на огромной роли тов. Сталина в разработке национально-колониального вопроса вообще, вопроса о национальной культуре в частности; на вопросе о роли плана в развитии переходной экономики; наконец на вопросе о стимулах, лежащих в основе развития социалистического хозяйства. Последний вопрос представляет большой теоретический и практический интерес, и на нем следует кратко остановиться.

Известно, что движущим стимулом в развитии капиталистического хозяйства является погоня за прибылью в целях обогащения собственников средств производства — класса капиталистов. Известно, что этот стимул был похоронен российским пролетариатом в октябре 1917 года вместе со свергнутым классом капиталистов. Что же пришло на смену этому стимулу в советском хозяйстве? Несмотря на большой интерес и важность этого вопроса, в нашей экономической литературе не было на него ответа.

В беседе с первой американской рабочей делегацией — документе большой теоретической важности, ибо в нем охарактеризовано то новое, что дал Ленин в развитии марксизма, а также дана анатомия будущего коммунистического общества, — тов. Сталин ответил на этот вопрос следующим образом:

«Во-первых, то обстоятельство, что фабрики и заводы принадлежат у нас всему народу, а не капиталистам, что фабриками и заводами управляют не ставленники капиталистов, а представители рабочего класса. Сознание того, что рабочие работают не на капиталиста, а на свое собственное государство, на свой собственный класс, — это со-

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 587—588.

знание является громадной двигательной силой в деле развития и усовершенствования нашей промышленности». (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

«Во-вторых, то обстоятельство, что доходы от промышленности идут у нас не на обогащение отдельных лиц, а на дальнейшее расширение промышленности, на улучшение материального и культурного положения рабочего класса»...

«Наконец то обстоятельство, что факт национализации промышленности облегчает плановое ведение всего промышленного хозяйства в целом».

Эти стимулы и двигатели нашей промышленности будут постоянно действующими факторами. «И чем дальше будет развиваться наша индустрия, тем больше будут нарастать сила и значение этих факторов»¹⁾.

Этот ответ интересен еще в том отношении, что в нем дано теоретическое обоснование социалистического соревнования и ударничества — этих новых форм коммунистической организации труда.

Тов. Сталин поднял на большую принципиальную высоту значение большевистской самокритики. Огромное значение самокритики подчеркивали и Маркс, и, в особенности, Ленин. Тов. Сталин показал, что «лозунг самокритики является основой нашего партийного действия, средством укрепления пролетарской диктатуры, душой большевистского воспитания кадров»²⁾. (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Тов. Сталин не только мастерски применял на деле ленинский принцип о борьбе на два фронта, но в своих работах развил этот принцип, показав, что «борьба на два фронта является единственно правильной политикой партии»³⁾.

В заключение этой главы мы остановимся на вопросе о роли и значении диктатуры пролетариата, а отсюда — на роли и значении партии. В разработке этого кардинального вопроса тов. Сталину принадлежит крупнейшая заслуга.

Мы уже отмечали выше, что из меньшевистской теории троцкизма о невозможности победы социализма в одной стране вытекал взгляд на диктатуру пролетариата как на некую пассивную силу, неспособную внутренними силами страны создать новый общественный строй. По теории троцкизма, Советский Союз, находясь в капиталистическом окружении, не мог выпрыгнуть из орбиты действия законов, управляющих капиталистическим хозяйством. По теории троцкизма, в случае задержки мировой революции диктатуре пролетариата в нашей стране был уготован один путь — путь перерождения.

Взгляд на пролетарскую диктатуру как на пассивную силу свойственен и правым. По теории правых, регулятором советской экономики является закон трудовых затрат, который должен был играть ту же роль внешнепринудительной силы в отношении советского хозяйства, какую играл закон ценности в отношении капиталистического хозяйства. В концепции правых диктатуре пролетариата отводилась незавидная роль силы, приспособляющейся к действиям этого закона.

Как видим, и троцкизм, и правые находили регуляторов развития советской экономики в каких-то внешних силах, управляющих отношениями людей, не видя, что с установлением пролетарской диктатуры изменился самый тип развития человеческого общества. Впервые в истории человечества люди получили возможность сознательно управлять своими собственными отношениями, вместо того, чтобы эти отношения господствовали над ними подобно слепым силам природы, как это имеет место в капиталистическом хозяйстве. Регулятором, движущей силой нашего хозяйства стала диктатура пролетариата, определяющая закономерности его развития.

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 278, 279, 280.

²⁾ Там же, стр. 332.

³⁾ Там же, стр. 381.

В работах тов. Сталина показана эта исключительная роль диктатуры пролетариата как инициативной, величайшей творческой силы, какую когда-либо знало человечество. А отсюда ясна и гигантская роль партии как «направляющей силы»¹⁾ в системе диктатуры пролетариата. Отсюда ясно, почему разгром контрреволюционного троцкизма, правой оппозиции и других антипартийных течений и групп, пытавшихся сбить партию с ее правильной ленинской линии, был главным условием наших побед и достижений. Направляющая сила должна быть единственной и единой, монолитной, не допускающей внутри себя никаких течений, фракций и групп. Направляющая сила должна быть скреплена железной дисциплиной, единством воли и единством действий. Отсюда наконец ясна и исключительная, решающая роль партийного руководства.

«Без партии как основной руководящей силы невозможно сколько-нибудь длительная и прочная диктатура пролетариата»²⁾. (Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Колоссальная роль диктатуры пролетариата хорошо определена в недавно опубликованной резолюции XIII пленума ИККИ. Там написано:

«Советское пролетарское государство является одновременно и организацией власти пролетариата, и господствующей производительной организацией общества».

(Подчеркнуто мною.—Г. С.)

Такой взгляд на пролетарскую диктатуру не мирится ни с пассивностью, ни с какой теорией самотека. И не случайно, что именно тов. Сталину принадлежит уничтожающая критика этой антимарксистской теории.

Не ждать, сложа руки, пока победивший пролетариат Запада поможет нам

строить социализм, а самим, не покладая рук, строить социализм и построить его, развязывая тем самым силы мировой пролетарской революции. «Самое опасное в нашей политической практике—это попытка рассматривать победившую пролетарскую страну, как нечто пассивное, способное лишь топтаться на месте до момента появления помощи со стороны победивших пролетариев других стран»¹⁾.

Не ждать, пока деревня каким-то чудодейственным способом, в порядке самотека, придет к социализму: «Социалистический город должен вести за собой мелкокрестьянскую деревню, а каждая в деревне колхозы и совхозы и преобразуя деревню на новый, социалистический лад»²⁾.

Говорят, что у нас нет условий для осуществления коллективизации? «Нужно... создать, организовать эти условия»³⁾.

Эта активная, организующая роль пролетарской диктатуры и партии как направляющей силы в системе пролетарской диктатуры особенно сильно выражена в докладе тов. Сталина на январском пленуме ЦК и ЦКК:

«Осуществляя пятилетку и организуя победу в области промышленного строительства, партия проводила политику наиболее ускоренных темпов развития промышленности.

Партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег».

Итак, за 10 лет, истекшие со времени смерти великого вождя партии, партия сохранила ленинское наследство, отстояла его чистоту и незапятнанность в борьбе с троцкизмом, правым оппортунизмом и другими врагами партии, врагами ленинизма.

В этой борьбе партией руководил достойнейший преемник Ленина—тов. Сталин, который обогатил ленинское учение и развил его дальше.

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 202.

²⁾ Там же, стр. 205.

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 126.

²⁾ Там же, стр. 446—447.

³⁾ Там же, стр. 414.

II. Учение Ленина и Сталина в действии

Десять лет — небольшой срок, но за этот срок в экономике и классовых отношениях нашей страны произошли такие колоссальные изменения, которые не снились самым пылким головам в нашей партии. Грандиозность достижений в построении социализма в одной стране, не столь давно нищей и технически отсталой, в условиях капиталистического окружения, говорит о том, какой поистине великой созидательной силой является диктатура пролетариата, пользующаяся безграничной поддержкой широчайших масс трудящихся и руководимая самой революционной партией в мире. Только такая сила была в состоянии в небольшой срок — в четыре с четвертью года — сконцентрировать в огромных масштабах материальные ресурсы, мобилизовать волю и энергию десятков миллионов людей на разрешение определенных, ясно очерченных задач и, в результате, пожать изумительные плоды первой пятилетки. Только такая сила способна осуществить еще более величественные задачи, намечаемые вторым пятилетним планом.

Суть происшедших изменений можно кратко охарактеризировать следующим образом: наша страна, которая в год смерти Ленина была страной нэповской, благодаря правильному осуществлению ленинских заветов, превратилась в страну, в которой построен фундамент социалистической экономики и в которой в течение ближайших 4 лет будет построено здание социализма. В этом смысле можно сказать, что слова Ленина, сказанные в одной из последних его речей: Россия нэповская будет Россией социалистической, — эти слова осуществились.

Прежде чем переходить к более подробной характеристике, приведем несколько цифровых сопоставлений, — они

сразу покажут нам, как далеко шагнула наша страна за эти десять лет. Вот эти цифры:

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЗА 10 ЛЕТ

	1923 г.	1933 г.
Производство крупной промышленности в млн. руб. в ценах 1926/27 г.	4.005	40.700
Машиностроение в млн. р	304	8.460
Выработка электроэнергии в млн. квтч.	1.146	15.855
С.-х. машиностроение	29,8	370
Уголь в млн. тн	13,65	76,7
Нефть » »	5,66	23,0
Чугун в тыс. тн	308	7.250
Прокат в тыс. тн	502	4.900
Паровозы в единицах	122	1.622
Вагоны »	472	22.890
Тракторы »	2	77.400
Автомобили »	—	49.500
Хл.-бум. ткани в млн. мтр.	642	2.816
Обувь в тыс. штук	4.528	75.500
Число рабочих в тыс.	7.560	22.000
Посевная площ. в млн. га.	91,7	129,6
Хлопок в тыс. га.	220,7	2.035
Сахарная свекла в тыс. га.	264,4	1.299
Валовой сбор хлебов в млн. центнеров	565	5.898
Грузооборот ж. д. в млн. тн.	67,5	271
Автопарк в единиц.	13.448	117.800
Розничный товарооборот в млн. руб.	5.399	42.740

Из них:

Частный сектор	3.116	—
Общественный сектор.	2.283	42.740
Число учащихся в школах всеобуча	7.828	24.367
Грамотность (1926 г.).	55,5%	90%

Невозможно найти во всей истории человечества примеры столь быстрого движения вперед!!

Наши достижения за истекший период, в особенности за 4¼ года первой пятилетки, получили блестящее освещение в докладе тов. Сталина на январском пленуме ЦК и ЦКК, и трудно к этому освещению что-либо добавить. Мы остановимся на некоторых основных моментах.

Известно, что наша страна была страной в техническом отношении чрезвычайно отсталой, а поэтому целиком зависимой от заграницы. В 1912 г. царская Россия подавляющую часть потребного ей оборудования (62 проц.) ввозила из-за границы. Эту отсталость нужно было во что бы то ни стало преодолеть, ибо преодоление этой отсталости и зависимости от заграницы было

вопросом жизни и смерти Советского государства.

В брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин писал:

«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически... Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей»¹⁾.

Эта же мысль прекрасно выражена в следующих словах тов. Сталина:

«Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочим классом всего мира.

Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие бекы. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было дохдно и сходило безнаказанно.

И дальше:

«Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет.

Либо мы сделаем это, либо нас сожмут»²⁾.

Преодоление нашей технической отсталости означало прежде всего созда-

ние в СССР крупной машинной индустрии, способной реорганизовать и земледелие. Совершенно очевидно, что эта задача, которую мы должны были решать — это заранее было известно — исключительно за счет внутренних сил и средств, требовал титантского напряжения усилий и не могла не вызывать целого ряда трудностей. Правые оппортунисты, испугавшись этих трудностей, завопили о неверной политике ЦК, о необходимости равняться на «узкие места» и т. п. Между тем партия и ЦК прекрасно знали, что без серьезных трудностей не обойтись.

С одной стороны, нам нельзя было медлить с решением указанной задачи — от этого зависела судьба Советского Союза. С другой стороны, мы не могли пойти в кабалу к иностранному капиталу, как это советовали нам Гриневецкий³⁾ и другие вредители, как это советовал нам... Троцкий, тот самый Троцкий, который рядился в свое время в тогу сверхиндустриалиста и который оказался капитулянтom и предателем. Именно он писал: «Вряд ли нам будет хозяйственно выгодно в ближайшие годы производить машинное оборудование у себя больше, чем, скажем, на две пятых или в лучшем случае на половину»⁴⁾, заранее обрекая тем самым Советский Союз на полную зависимость от заграничных.

Партия, поддержанная рабочим классом, пошла по пути, предложенному Лениным и Сталиным. И в результате наша страна имеет мощную тяжелую промышленность, в том числе мощную машиностроительную промышленность, не уступающую по своему техническому уровню передовым странам капитализма.

Одним из ярких показателей технического уровня машиностроения является степень внедрения принципов точного производства. В этом отноше-

¹⁾ Громадный приток иностранных капиталов является необходимым условием экономического возрождения России и восстановления ее промышленности» (подчеркнуто автором книги «Послевоенные перспективы русской промышленности», стр. 201, 1919 г.).

²⁾ Троцкий. «К социализму или капитализму», стр. 92.

¹⁾ Ленин, т. XXI, стр. 191, изд. 3-е.

²⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 583—584, изд. 9-е.

нии наше машиностроение шагнуло далеко вперед. В 1932 г. заводы массового производства дали 48,6 процентов всей продукции, в том числе заводы массового поточного производства — 35 процентов. Заводы массового и крупно-серийного производства, вместе взятые, дали 74,4 процентов всей машиностроительной продукции. По объему внедрения принципов массового и крупно-серийного производства мы уже обогнали за границу.

Советский Союз освободился от зависимости от капиталистических стран, ибо он имеет теперь такую машиностроительную промышленность, которая в состоянии покрыть потребность страны в основной, решающей части оборудования внутренним производством. Наконец, что особенно важно, нам не страшны теперь возможные атаки империалистов на Советский Союз, ибо наша промышленность способна в массовом масштабе изготовлять все современные средства обороны.

Но особенно замечательны достижения партии в деле преобразования сельского хозяйства. Особенно замечательны они потому, что Ленин считал проблему перевода мелких, раздробленных крестьянских хозяйств на рельсы крупного, обобщественного хозяйства самой трудной проблемой пролетарской революции после завоевания власти пролетариатом. И вот эта труднейшая проблема разрешена, разрешена в пользу социализма.

В 1923 г., в статье «Как нам реорганизовать Рабкрин», Ленин писал:

«В последнем счете судьба нашей республики будет зависеть от того, пойдет ли крестьянская масса с рабочим классом, сохраняя верность союзу с ним, или она даст «нэмпанам», то-есть новой буржуазии, раз'единить себя с рабочими, расколоть себя с ними»¹⁾.

Вот почему Ленин неустанно подчеркивал необходимость крепить союз рабочего класса с основными массами крестьянства.

«Высший принцип диктатуры — это поддержание союза пролетариата с кре-

стьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль и государственную власть»¹⁾.

Неудивительно поэтому, что крестьянский вопрос занимал такое важное место во внутрипартийной борьбе почти со всеми оппозициями, особенно с троцкистской, проклинско-зиновьевской и правой оппозицией.

Троцкий, как известно, пророчил неизбежность и неотвратимость конфликта рабочего класса с крестьянством. В предисловии к книге «1905 год» Троцкий писал, что пролетариат «на первых же порах своего господства... придет во враждебные отношения не только со всеми группировками буржуазии..., но и с широкими массами крестьянства... Противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране, с подавляющим большинством крестьянского населения, смогут найти свое разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата».

За истекшее десятилетие подверглось исторической проверке немало буржуазных и мелкобуржуазных теорий, в том числе и теория троцкизма. Все они, эти теории, беспощадно опрокидывались жизнью. Лишь одна теория выдержала суровую историческую проверку, подтверждаясь и обогащаясь с каждым днем практикой миллионов людей, — это теория Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

Теперь всему миру известно, что пролетариату удалось повести за собой крестьянство, что поставленный Лениным вопрос «кто — кого» решен окончательно в пользу социализма.

Быстро были опрокинуты жизнью и пророчества правых. Если троцкизм рассматривал крестьянство как сплошь реакционную, враждебную социализму силу, не видя двойственной природы середняка, не видя, что коренные интересы бедняцко-средняцких масс деревни совпадают с интересами пролетариата, то правые рассматривали крестьянство в сплошь розовом цвете. Они в такой мере

¹⁾ Ленин, т. XXVII, стр. 405, изд. 3-е.

¹⁾ Ленин, т. XXVI, стр. 460, изд. 3-е.

идеализировали крестьянство, что отстаивали союз пролетариата со всем крестьянством, в том числе и с кулаком. Бухаринское «Политическое завещание Ленина», известные документы Фрумкина не оставляют на этот счет никаких сомнений.

Выбрасывая за борт учение Ленина о том, что классовая борьба при диктатуре пролетариата не отменяется, а лишь принимает новые формы, считая, что кулак мирно, без борьбы вращается в социализм, правые повели самую бешеную борьбу против линии партии на коллективизацию сельского хозяйства, применяя в этой борьбе даже такое грязное оружие, как клеветнические обвинения в «военно-феодалной эксплуатации» крестьянства.

С пеной у рта доказывали они, что «средняка итти в колхоз не желает», что колхозы «не являются столбовой дорогой к социализму» (Бухарин).

Партия, руководимая величайшим стратегом большевизма — тов. Сталиным, разгромила правых оппортунистов и уверенно пошла по пути Ленина — Сталина. Благодаря созданной нами тяжелой промышленности мы вооружили деревню десятками тысяч машин и тракторов. Руководство партии, выправляя во-время ошибки отдельных организаций при осуществлении сплошной коллективизации, давая решительный отпор «левым» загибам, привело партию к величайшим победам.

В 1923 г., всего лишь десять лет назад, в сельском хозяйстве было 14 тыс. коллективов с 1015 тыс. душ, что составляло 1,4 проц. к крестьянскому населению. Совхозы, артели и коммуны обрабатывали всего лишь 3,7 проц. земли; остальная земля находилась в ведении сельских общин, отрубов и хуторов.

А теперь? К концу 1933 г. в колхозы объединено 62 проц. крестьянских хозяйств, которые засеяли 81 проц. всей посевной площади. Теперь мы имеем полную и окончательную победу колхозного строя. Кулачество как класс разгромлено и выбито из своих производственных позиций. Окончательно подорвана база, рождающая ка-

питализм в нашей стране. Колхозное крестьянство стало прочной опорой советской власти в деревне. СССР стал страной самого крупного земледелия в мире.

Благодаря политотделам МТС и совхозов, созданным по инициативе тов. Сталина; устраняя недостатки в нашей деревенской работе, отмеченные в его речи на январском пленуме ЦК и ЦКК «О работе в деревне»; осуществляя лозунг Сталина «сделать всех колхозников зажиточными», мы добились в истекшем году небывалого, богатейшего урожая и значительного роста доходности колхозников. Валовая продукция зерна выросла на 1.200 млн. пудов, или 28,5 проц. по сравнению с прошлым годом. В 1933 г. мы собрали 25 млн. пудов хлопка — на 85 проц. больше довоенного. Мы добились значительного подъема животноводства. Ярким показателем наших успехов в деревне является полное выполнение плана хлебосдачи уже к 15 декабря 1933 г. по всей стране.

Деревня прочно встала на путь зажиточной жизни. Вот яркая иллюстрация. Из 1.112 колхозов Днепропетровской области в 1932 г. свыше 3 клгр на трудодень выдали 37 колхозов, а в 1933 г. — 905 колхозов; свыше 7 клгр. на трудодень в 1932 г. выдали два колхоза, а в 1933 г. — 542. Таких примеров можно привести много.

Но достигнутые результаты в деле превращения колхозников в зажиточных еще недостаточны. В беседе с колхозниками Днепропетровской области тов. Сталин указал, что:

«Даже 10—12 килограммов на трудодень еще мало. Надо больше. И будет у колхозников много больше, если они честно будут работать в колхозе. То, что достигнуто, — это только начало, первый шаг. Надо добиться большего, чтобы можно было жить всем зажиточно. У колхозов есть теперь все, что нужно для зажиточной жизни. Нужно им еще только одно: работать честно в колхозе и беречь колхозное добро. И если все колхозники — все, а не только большинство, — будут работать честно, колхозы заваяются продуктами, они заваяются

всяким добром, и наша страна станет самой богатой страной в мире. А в том, чтобы товаров для деревни было больше, — об этом позаботится правительство и партия. В этом можете не сомневаться».

Мы уже отмечали, что дело социалистической переделки мелкотоварных, раздробленных крестьянских хозяйств Ленин считал самым трудным делом пролетарской революции. Теперь это дело близится к своему завершению. Успех дела объясняется исключительно умелым руководством массами со стороны партийного штаба — Центрального Комитета и тов. Сталина. Искусство руководства массами — дело очень трудное. Этим искусством в совершенстве владел Ленин. Этим искусством в совершенстве владеет Сталин. Вот одно из основных практических указаний тов. Сталина на этот счет:

«Искусство руководить есть серьезное дело. Нельзя отставать от движения, ибо отстать — значит оторваться от масс. Но нельзя и забегать вперед, ибо забегать вперед — значит потерять связь с массами. Кто хочет руководить движением и сохранить вместе с тем — связи с миллионными массами, тот должен вести борьбу на два фронта — и против отстающих, и против забегающих вперед.

Партия наша сильна и непобедима потому, что, руководя движением, она умеет сохранять и умножать свои связи с миллионными массами рабочих и крестьян»¹⁾. (Подчеркнуто мною. — Г. С.).

Всем памятно, как мастерски было применено это тактическое указание на деле, в 1930 г., когда многие организации допустили ошибки при осуществлении коллективизации. Всем памятна колоссальная роль статьи тов. Сталина «Головокружение от успехов», его письма «Ответ товарищам-колхозникам».

Все эти успехи в преобразовании деревни были буквально завоеваны в жесточайшей борьбе с классовым врагом и его агентурой внутри партии. Смехотворной была по-

строенная правыми схема развития в период после завоевания власти пролетариатом. В своем докладе, прочитанном в 1924 г. на заседании Коммунистической академии, на тему: «Ленин как марксист» тов. Бухарин говорил, что после завоевания пролетарской диктатуры «начинается органический период развития... Внутри этой страны (в которой установлена диктатура пролетариата, — Г. С.) дальнейшее развитие к социализму идет эволюционным путем и не может иначе идти (подчеркнуто мною. — Г. С.), то-есть, другими словами: после завоевания власти рабочим классом и начинается действительное вращение в социализм». (Подчеркнуто т. Бухариним.) «Весь порядок развития выстраивается в оригинальный эволюционный ряд»¹⁾. (Подчеркнуто мною. — Г. С.).

Именно на основе этой антимарксистской схемы, изображавшей переходный период от капитализма к социализму не как революционный, а как эволюционный процесс, была построена теория о «мирном вращении» кулака в социализм, теория «непрерывного затухания» классовой борьбы в нашей стране.

Бешено сопротивлявшееся социалистическому наступлению пролетариата кулачество, подрывная работа вредителей, имевшая место почти во всех отраслях народного хозяйства, — все это опрокинуло вверх тормашками эту искусственную схему об эволюционном развитии в период диктатуры пролетариата. И в этом вопросе развитие шло так, как учили Маркс, Ленин и Сталин. «Не бывало еще в истории таких случаев, чтобы умирающие классы добровольно уходили со сцены. Не бывало еще в истории таких случаев, чтобы умирающая буржуазия не испробовала всех остатков своих сил для того, чтобы отстоять свое существование»²⁾.

¹⁾ Н. Бухарин. Сборник «Атака», стр. 275—276.

²⁾ Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 40!

¹⁾ «Вопросы ленинизма», стр. 470.

И даже теперь, когда мы имеем победу колхозного строя, когда ликвидировано кулачество как класс, — даже теперь преступление делает тот, кто не видит острой классовой борьбы в нашей стране, кто не видит бешеного сопротивления остатков умирающих классов.

«Осуществление этих задач, — говорится в тезисах о второй пятилетке, — ведущее к вытеснению последних остатков капиталистических элементов из всех их старых позиций и обрекающее их на окончательную гибель, не может не вызывать обострения классовой борьбы, новых попыток подрыва колхозов со стороны кулачества, попыток вредительского саботажа наших промышленных предприятий со стороны антисоветских сил». (Подчеркнуто мною. — Г. С.)

Формы классовой борьбы сделались сложнее, тоньше, враг тщательно маскируется, он старается действовать «тихой сапой». Это изменение форм классовой борьбы прекрасно показано тов. Сталиным в речи «О работе в деревне». Но изменение и усложнение форм классовой борьбы отнюдь не означает отмены самой борьбы. Оно лишь требует от нас особой революционной бдительности и классовой настороженности.

«Вот почему революционная бдительность является тем самым качеством, которое особенно необходимо теперь большевикам»¹⁾.

Меняется коренным образом экономика нашей страны, меняются классовые отношения, в процессе этих изменений меняются и сами творцы всех этих великодушных и грандиозных дел — люди. Это относится прежде всего к гегемону нашей революции — рабочему классу.

Подводя итоги существования Парижской коммуны, Маркс писал, что рабочему классу, «чтобы добиться своего освобождения и достигнуть той высшей формы жизни, к которой неудержимо стремится современное общество в силу

своего собственного экономического развития, придется выдержать упорную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменяют и обстоятельства, и людей»¹⁾.

Мы являемся свидетелями того, как рабочий класс под руководством партии, преодолевая всякие трудности, показывая подлинными чудеса и трудовой героизм, переделывает страну, переделывает и себя. За последние годы в нашей стране появились и развились новые формы коммунистической организации труда — социалистическое соревнование и ударничество. Одним из основных условий блестящего перевыполнения первой пятилетки были именно «активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива миллионных масс рабочих и колхозников, развивших вместе с инженерно-техническими силами колоссальную энергию по разворачиванию социалистического соревнования и ударничества. Не может быть сомнения, что без этого обстоятельства мы не могли бы добиться цели, не могли бы двинуться вперед ни на шаг»²⁾.

Огромное значение этих форм состоит в том, что они воспитывают у работника новое, коммунистическое отношение к труду, — не только как к средству получения личного заработка, но как к средству усиления мощи своего пролетарского государства, умножения его богатства, как к средству скорейшего построения социалистического общества.

Иным является у нас и отношение коллектива к работнику. При капитализме героем является тот, кто путем эксплуатации чужого труда добивается наибольшего личного обогащения. У нас героем является ударник городов и полей, который своим честным трудом возмечивает мощь своего государства и добивается подема материального благосостояния всех трудящихся.

Еще на XVI съезде партии т. Сталин показал что у нас отношение работника

¹⁾ К Маркс «Гражданская война во Франции 1871 г.»

¹⁾ Сталин Из доклада на январском пленуме ЦК и ЦКК.

²⁾ Сталин Из доклада на январском пленуме ЦК и ЦКК.

к труду принципиально иное, чем при капитализме. «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и героизма... У нас, в СССР... самым желанным делом, заслуживающим общественного одобрения, становится возможность быть героем труда, возможность быть героем ударничества, окруженным ореолом почета среди миллионов трудящихся»¹).

Но особенно замечательным является то, что у нас имеются уже большие достижения в деле переделки крестьянина, вчерашнего собственника, нынешнего колхозника. Переделку мелкого собственника в труженика бесклассового общества Ленин считал делом трудным, требующим десятилетий. Мы уже теперь можем видеть, что это трудное дело осуществляется в колхозах с большим успехом. «Великое значение колхозов в том именно и состоит, что они представляют основную базу для применения машин и тракторов в земледелии, что они составляют основную базу для переделки крестьянина, для переработки его психологии в духе пролетарского социализма»²).

В чем состоял идеал единоличника? Разбогатеть, «выйти в люди». Но разбогатеть, оставаясь единоличником, он мог только путем эксплуатации труда других, то-есть встав на путь кулака. Что становится идеалом колхозника? Повысить доходность своего колхоза, а тем самым повысить и уровень своего собственного благосостояния; выполнить во-время свои обязательства перед пролетарским государством и тем самым укрепить его мощь, ибо колхозник уже убедился на опыте, что своими достижениями и завоеваниями он обязан пролетарскому государству. Личным делом колхозника становится дело общественное, дело государственное, а это для вчерашнего единоличника, заботив-

шегося исключительно о своем личном интересе, хотя бы этот интерес достигался за счет других, — это для него полный переворот. Этот переворот далеко еще не достигнут, но направление развития идет именно по этой линии, и в нем — одно из наших крупнейших достижений.

Мы не должны однако идеализировать теперешнего колхозника, ибо его частно-собственническое сознание еще отстает от его положения коллективиста. Мы не должны забывать, что нам необходимо проделать еще колоссальную, упорную работу, чтобы переделать вчерашнего мелкого собственника в сознательного труженика социалистического общества.

Чтобы закончить этот далеко не полный обзор наших достижений после смерти Ленина, необходимо отметить как наше величайшее достижение — это ликвидация безработицы и ликвидация расслоения крестьянства, являющегося одним из источников формирования резервной армии труда в капиталистических странах. Известно, что безработица является постоянным и неизбежным спутником капитализма, величайшим злом и несчастьем для рабочего класса. В настоящее время, в эпоху всеобщего кризиса капитализма, массовая безработица, охватывающая десятки миллионов рабочих, лишенных всяких источников существования, стала хроническим явлением. У нас это величайшее бедствие рабочего класса устранено навсегда.

Трудно поэтому переоценить огромное, всемирно-историческое значение этого завоевания пролетариата Советского Союза.

Крупнейшим достижением является сокращение рабочего дня до 7 часов. Сокращение рабочего дня есть важнейшее условие для уничтожения противоположности умственного и физического труда. И в этом отношении в нашей стране произошли большие сдвиги. Мы имеем в виду соединение теоретического обучения с практическим в наших реформированных вузах, организацию заводо-вузов, обучение без отрыва от производства, обязательный техминимум и т. д.

¹) Стеногр. отчет XVI съезда, стр. 39.

²) «Вопросы ленинизма», стр. 457.

Огромные успехи сделаны в отношении привлечения миллионных масс трудящихся к управлению государством. Принявшее широкие размеры шефство фабрик и заводов над наркоматами и учреждениями, социалистическое совместительство, привлечение в аппараты большого количества людей из рабочих и колхозников, намечаемая тезисами по организационным вопросам передача профсоюзам функций местных КК—РКИ, уже состоявшаяся передача профсоюзам функций Наркомтруда, — все это средства к осуществлению одного из важнейших заветов Ленина: научить каждого трудящегося управлять государством.

Велики наши достижения за истекшие десять лет. Они, эти достижения, особенно наглядны на фоне развала экономики капиталистических стран, на фоне обострения всех противоречий капитализма.

Что принесли капитализму истекшие десять лет? Еще не столь давно, 5—6 лет назад, вся капиталистическая и социал-демократическая пресса была полна хвалебных песен в честь «процветания» капитализма. В основе этих песнопений был действительный рост производства почти во всех странах капитализма, оправившихся от войны и послевоенной разрухи, особенно в странах-победительницах. Перспективы казались самыми радужными, и капиталисты и их социал-демократические прислужники заговорили о несокрушимой прочности капиталистической стабилизации, о наступлении эры «оздоровления» капитализма. Что касается Советского Союза, то ему предсказывалась неминуемая гибель, неминуемый крах всех его планов, его первой пятилетки. В этот же период начала ставиться все более популярной социал-демократическая теория «организованного капитализма», быстро подхваченная правыми в Коминтерне, в том числе и в ВКП(б).

Но вот наступил 1929 г., и разразился небывалый в истории капитализма мировой экономический кризис, охвативший все капиталистические страны, в том числе и Сред. Штаты Сев. Америки. Действие этого кризиса было тем сильнее, что он развивался на базе общего кризиса капитализма, начавшегося еще

во время империалистической войны. Прошло четыре года, а кризис не только не утихал, но разгорался все сильнее. Уже в 1932 г. объем промышленной продукции снизился в Сев. Америке до 84 проц. довоенного уровня, в Англии— до 75 проц., в Германии— до 62 проц., в то время как объем промышленной продукции в СССР вырос до 334 проц. Такое же резкое сокращение было и по сельскохозяйственной продукции. С каждым днем увеличивалась армия безработных в городе и росла нищета крестьянских масс капиталистической деревни.

Разговоры о «процветании» заменились разговорами о «закате» капитализма. Славословия в честь техники заменились проклятиями по адресу техники. «Необходимо заковать в цепи машину, пожирающую человека, задуть науку, чтобы помешать разрушению», — писал известный французский финансист и журналист Кайо. Эти слова, направленные против науки и техники, не оставались пустыми словами, они преворались в дело. Разрушались машины, уничтожались посевы и продукты. А обнаглевшие фашистские банды озарили Германию кострами средневековья, в которых сжигались книги величайших мыслителей, ученых, писателей, поэтов.

В настоящее время в ряде капиталистических стран наблюдается некоторое хозяйственное оживление. Однако это оживление ни в какой мере не означает выхода из кризиса, ибо «нет другого выхода из всеобщего кризиса капитализма, чем тот, который показала Октябрьская революция». (Из резолюции XIII пленума ИККИ. Подчеркнуто мною. — Г. С.).

Мировой экономический кризис развевал в прах множество буржуазных и социал-демократических иллюзий и теорий. Кризис лишней раз обнаружил всю вздорность теории «организованного капитализма». Кризис снова и снова подтвердил правильность ленинской оценки империализма как загнивающего капитализма, правильность той оценки капиталистической стабилизации, ко-

торую давали Коммунистический интернационал и тов. Сталин. Истекшее десятилетие является блестящим подтверждением правильности той тактики, которую ведет Коминтерн, спланивавший вокруг себя, в жестоких боях с социал-фашизмом, миллионные массы рабочего класса и подготавливающий их к грядущим боям за завоевание власти, за установление пролетарской диктатуры.

За истекшее десятилетие Советским Союзом было одержано не мало крупнейших побед в области международной политики, укрепивших его международное положение и превративших его в крупнейший фактор борьбы за мир. Признание Советского Союза Америкой является важным звеном в цепи этих побед. Эти успехи обеспечены мудрой и гибкой политикой ЦК партии и вождя тов. Сталина, сумевших продлить передышку и использовать ее для превращения Советского Союза в такую мощную, несокрушимую силу, которой не страшны никакие враги.



Десятилетие со дня смерти Ленина совпадает с созывом XVII съезда Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Этот съезд войдет в новую историю освобожденного человечества как важнейшая историческая дата. Это будет съезд ликвидации классов и построения социалистического общества в нашей стране. Это — съезд, на котором будет продемонстрировано величайшее торжество учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Это — съезд, на котором будет продемонстрировано, какой несокрушимой, великой силой сделалась за эти годы созданная Лениным большевистская партия, как она сплочена вокруг своего любимого вождя — тов. Сталина, и как она полна готовности решить те поистине величественные задачи, которые намечены тезисами о втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР.

«Основной политической задачей второй пятилетки является окончательная ли-

квидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовое различие и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового, социалистического общества». (XVII партконференция).

Основная хозяйственная задача второй пятилетки состоит в завершении технической реконструкции народного хозяйства, решающим же условием завершения этой реконструкции является «освоение новой техники и новых производств». Что решающее условие состоит именно в осуществлении лозунга т. Сталина о необходимости «пафос нового строительства дополнить пафосом освоения новых заводов и новой техники, серьезным поднятием производительности труда, серьезным сокращением себестоимости», — об этом говорит тот факт, что в 1937 г. мы должны получить 80 проц. всей продукции промышленности с новых предприятий. Этот факт, а также намеченный колоссальный объем производства продукции, делают производительность труда «решающим фактором выполнения намеченной программы увеличения продукции во втором пятилетии». (Из тезисов.)

Тезисы намечают огромный прирост продукции сельского хозяйства, подчеркивая при этом, что этот прирост «может быть достигнут лишь на основе полного завершения коллективизации и завершения технической реконструкции всего сельского хозяйства», для чего в тезисах намечается в частности «завершить в основном механизацию сельского хозяйства».

Намечая широкую программу повышения материального и культурного уровня трудящихся, в частности ставя задачей осуществить во второй пятилетке «всеобщее обязательное политехническое обучение в объеме семилетки» — задача, которой не мо-

жет выполнить ни одна капиталистическая страна, тезисы подчеркивают, что «лишь от качества и количества затрачиваемого (рабочими и колхозниками. — Г. С.) труда зависит все большее повышение материального и культурного уровня их жизни». (Подчеркнуто мною. — Г. С.)

Это—принципиально важный пункт. При капитализме цена рабочей силы не может, как правило, подняться выше стоимости средств существования, необходимых для поддержания рабочего.

Увеличивая количество и улучшая качество своего труда, рабочий капиталистического предприятия обогащает капиталиста, добываясь для себя — и то не всегда — лишь ничтожной прибавки. У нас дело обстоит совсем иначе. Чем выше уровень производительности труда, тем больше возможностей для повышения материального благосостояния трудящихся.

Особенно важной является задача подготовки квалифицированных кадров рабочих, инженеров, техников. Тезисы подчеркивают, что разрешение проблемы создания собственной производственно - технической интеллигенции является «решающим условием осуществления технической реконструкции, освоения техники и выполнения заданий по производительности труда».

Выполнение плана второй пятилетки означает, что частная собственность на средства производства, служившая основой существования человечества в течение тысячелетий и причиной возникновения классового деления общества, будет в СССР уничтожена полностью и навсегда. Будет уничтожена многоукладность Советского Союза. Социалистический способ производства станет единственным способом производства в нашей стране.

В результате выполнения второй пятилетки

«СССР осуществляет крупный шаг вперед в деле

изживания вековой противоположности человеческого общества — противоположности между городом и деревней — и создает необходимые предпосылки для уничтожения этой противоположности». (Подчеркнуто мною. — Г. С.)

Осуществив вторую пятилетку, Советский Союз станет самым передовым в техническом отношении государством в Европе, независимым в технико-экономическом отношении от капиталистических стран и обладающим прочнейшей базой в смысле обороноспособности.

Прямым дополнением к тезисам о второй пятилетке являются тезисы по организационным вопросам. Эти тезисы — замечательный документ, вобравший в себя весь тридцатипятилетний опыт большевистской партии. Мероприятия, содержащиеся в тезисах, являются ключом к разрешению задач второй пятилетки. Основной смысл этих тезисов состоит в устранении отставания организационно-практической работы от требований политических директив, от требований изменившейся и усложнившейся обстановки, в «поднятии организационной работы до уровня политического руководства».

Отсюда — та намечаемая тезисами грандиозная программа перестройки методов и способов руководства, которая является необходимым условием выполнения задач второй пятилетки.

Приложенный к тезисам проект нового устава партии поднимает еще выше великое звание члена партии, превращает партию в еще более монолитную, спаянную железной дисциплиной, непобедимую силу, способную преодолеть любые трудности и способную совершить самые великие дела.

Десять лет без Ленина, но по верному ленинскому пути ведет наша партия, под руководством своего великого вождя — тов. Сталина, рабочий класс Советской страны на новые победы и завоевания.

Мои предоктябрьские и послеоктябрьские встречи с Лениным

Э. РАХЬЯ

Во время приезда В. И. Ленина из-за границы в апреле 1917 года я был помощником начальника финской красной милиции, действовавшей в районе Финляндского вокзала. Всего в милиции было около 150 финнов, подавляющее большинство которых не говорило по-русски.

За некоторое время до прихода поезда с Ильичом нам дали знать, чтобы мы со своей милицией приняли необходимые меры к охране нашего вождя от возможных на него политических покушений. Конечно мы сделали все, что надо было сделать, но нашу заботливость во много раз перекрыл петроградский пролетариат.

Задолго до прибытия т. Ленина к Финляндскому вокзалу стали подходить рабочие организации и военные части из солдат, красногвардейцев и матросов; к самому же моменту прихода поезда с Владимиром Ильичом все улицы и площадь, прилегающие к вокзалу, оказались переполненными вооруженным народом. Прибыли также и бронемашинны из запасного броневого дивизиона.

Владимира Ильича на руках подняли на броневик, и он, стоя, обратился к народу с речью. Говорил он просто, сразу схватив то, о чем думали и рабочие, и солдаты, и матросы. Больше всего он говорил о том, что они должны взять власть в свои руки и передать ее советам. Его речь захватила огромную массу собравшихся рабочих и солдат. Так

как было темно, то воинские части зажгли факелы. Некоторые из красногвардейских отрядов тоже пришли с факелами, так что картина получилась величественная. Несмотря на то, что я имел чин помощника начальника милиции, тем не менее я не в состоянии был протолкаться к Владимиру Ильичу и пожать ему руку. Меня он тогда в лицо не знал, но знал по фамилии, потому что все партийные активисты были ему известны и о них он всегда спрашивался. С Финляндского вокзала т. Ленин отправился в бывший дворец Кшесинской.

Недели две спустя после приезда Ильича ко мне в штаб-квартиру милиции прибежал мой брат Иван и передал, что на Невском собираются толпы черносотенцев, меньшевиков и эсеров, которые хотят идти громить типографию, печатавшую «Правду». Я тотчас же приказал своим ребятам забрать винтовки, насыпать в карманы патронов, и мы бегом помчались через Литейный мост в Волынский переулок, где помещалась редакция «Правды».

Пришли в типографию. По настроению рабочих я увидел, что они уже знают о готовящемся погроме. Я сейчас же заявил всем работавшим в типографии, что они могут спокойно заниматься своим делом, так как мы их будем охранять. Вслед за этим я расставил, где нужно, часть своих красногвардейцев, направив остальных в город для разведки,

причем позволил им взять с собой одни только револьверы. Я дал ребятам инструкцию следить за толпой и в случае, если она направится к редакции, дать знать мне. Мы приняли твердое решение — редакцию «Правды» на разгром не отдавать и биться до конца.

Обходя типографию, я увидел, что на ротационной машине работает какой-то пожилой человек, физиономия которого не внушала доверия. Мне показалась подозрительной злость, с которой он относился к своей работе и ко всем нам. Машина у него то и дело ломалась и дольше стояла, чем работала. Скоро машина совсем остановилась. Спросил: «В чем дело?» — «Винтик, — говорит, сломался». Я посоветовал сменить негодный винтик. «Да чорта с два сменяешь, — отвечает саботажник, — с ним до утра провозишься». «Как — говорю, — до утра? Давайте я его в 15 минут сменю».

Он выпучил на меня глаза, а надо сказать, что я в то время был мастером на заводе, носил котелок, на мне было хорошее пальто и крахмалка, поэтому он и решил, что я ничего не понимаю в технике. Я взял инструмент, полез в машину, вывернул сломанный болт, поставил новый, и ротационка пошла...

Через некоторое время мне говорят, что машина опять стала. Я опять спустился к машинисту и опять спрашиваю: «В чем дело?» — «Смазки, — говорит, — нет, поэтому надо машину остудить». У меня в кармане был револьвер «кольт». Я его вынул, подошел к саботажнику и говорю: «Я вот тебя смажу этой штукой, так у тебя живо машина пойдет». Старик побледнел, засуетился, и ротационка загудела. «Смотри, — говорю, — чтобы машина не останавливалась, не то я приду и тогда уж обязательно «смажу». После этого все пошло, как по маслу.

Просидели мы в типографии до 6 часов утра. Моя разведка сообщила, что толпа на Невском хотя и кричала, что надо разгромить «Правду», но дойти до Рошинского переулка у ней нехватило решимости, потому что кто-то пустил слух о том, что «целый отряд иностран-

цев звероподобного вида, вооруженный винтовками, занял типографию «Правды» и готовится дать отпор». Поэтому демонстрация вскоре рассеялась

Утром в редакцию пришел Владимир Ильич и полюбопытствовал — сколько в эту ночь вышло экземпляров газеты? Ему ответили, что 6.000, но что, мол, печатанье еще продолжается. Он удивился и спросил: «Как же это так? Почему до сих пор печатали 500—600 экземпляров в ночь, а теперь сразу прыгнули до 6.000?» Кто-то ответил ему, что машина потому сейчас так хорошо работает, что ее «смазал» Рахья. И тут же рассказали, как я «разговаривал» с машинистом. Владимир Ильич засмеялся, — остался очень доволен. «Такие смазки, — говорил он, — нам нужны, при них работа уж наверное хорошо пойдет».

Во время июльских дней петроградский комитет нашей партии по настоянию Владимира Ильича вынес решение — ни в коем случае не выступать в вооруженной демонстрацией. Эту демонстрацию т. Ленин считал преждевременной потому, что, как он говорил, не вся еще масса осознала необходимость революции и что именно поэтому демонстрация может кончиться неудачей. Одни члены комитета не соглашались с Владимиром Ильичом, другие без всяких колебаний поддерживали его. Я лично был против Владимира Ильича. Как-то в разговоре с ним я стал доказывать, что сил у нас хватит и что нам нужно драться. Ильич похлопал меня по плечу и сказал: «Поспеешь еще подраться, т. Рахья, не то ропись».

4 июля к балкону, на котором стоял Владимир Ильич (я стоял в это время позади него), подошли матросы, солдаты, рабочие организации и красногвардейские части. Я заметил, что Владимир Ильич очень внимательно всматривается в массы демонстрантов. Над ними развевалось очень много знамен, большинство знамен были черные с костью и черепом, красных флагов было не так много. Вдруг Владимир Ильич говорит: «Нельзя начинать драться, буржуазия нас разобьет». Вскоре все мы узнали, что Ильич был прав.

Массы демонстрантов пошли через Самсониевский мост на Литейный. На Литейном мосту началась перестрелка с казаками. Часть демонстрантов свернула через Троицкий мост на Садовую, где на углу Невского тоже поднялась стрельба. Появились убитые и раненые, началась паника, и так как массы оказались слабо организованными, то верные Керенскому войска конечно победили.

Вслед за разгромом демонстрации начался разгром и наших большевистских организаций. Многие видные большевики были арестованы. Временное правительство стало охотиться за Владимиром Ильичом, который принужден был скрываться.

Я знал, что т. Ленин скрывается у Аллилуевых, но потом я потерял его из виду совсем. Между собой мы тщательно избегали всяких разговоров о местопребывании Владимира Ильича, так как знали, что взбешенная буржуазия организовала за ним массовую слежку и готова была разорвать всякого, кто решился бы сказать хоть одно слово в пользу т. Ленина.

Нашу милицию Керенский тоже приказал разогнать, придравшись к тому, что мы не допустили освобождения из «Крестов» генералов, жандармов и всякой иной монархической нечисти, которая была арестована в первые дни Февральской революции.

Дело было так. Однажды выборгский комитет партии вызывает меня и приказывает сейчас же занять «Кресты», ни в коем случае не допуская, чтобы сидевшие в тюрьме монархисты получили свободу. Я взял человек 80 красногвардейцев, пробрался в тюрьму и прежде всего арестовал находившихся там надзирателей. В главном корпусе все арестованные свободно ходили по коридорам и даже организовали какое-то собрание. Когда я им приказал войти обратно в камеры, они стали было протестовать и говорить, что я, мол, не имею права употреблять насилие; но когда по моей команде (на финском языке) красногвардейцы взяли винтовки на-изготовку, монархисты в панике стали разбегаться по камерам, а я крикнул им вслед, уже по-русски, что, если только кто из них высунет нос, того

я уложу на месте. После этого я приказал надзирателям ни одного арестованного не выпускать на свободу, предупредив, что в противном случае мы расправимся с ними самым решительным образом. На всякий случай вокруг тюрьмы я расставил охрану из своих красногвардейцев и дал им строгий наказ смотреть в оба и стрелять во всякого, кто только вздумает убежать через забор. Так мои финны и сделали.

Наступила ночь. Ребята следили внимательно. Вдруг из-за забора показались три фигуры. Двое из них спрыгнули, а третий почему-то застрял на заборе. Ребята открыли стрельбу, двух убили насмерть, а одного ранили. Один оказался генералом, другие двое — полковниками. После этого случая Керенский приказал финскую милицию разогнать, а меня арестовать. В результате мне пришлось бежать в Финляндию.

В Финляндии революция еще не чувствовалась. Правда, настроение и там было приподнятое, но далеко еще не боевое. Поэтому я и решил вернуться обратно в Петроград с тем, чтобы перейти на нелегальное положение. Зная хорошо аэропланное дело, я поступил на аэропланный завод Ланского, на котором директором был хорошо знакомый мне инженер Стидинский (ныне умерший).

Вскоре после этого ко мне пришел старый большевик Шотман и сказал, что я должен вместе с ним обследовать финскую границу на предмет выяснения возможности нелегального перехода через нее. Конечно я изъявил полную готовность. Достав через своих людей хорошие документы, мы с Шотманом отправились в Сестрорецк и в районе его перешли границу. При ее переходе наши документы подверглись строгой проверке. Помню, как пограничники долго щупали и нюхали наши бумаги перед тем, как вернуть их обратно. Шотман решил, что тут место не надежное. Пошли в другое. Там то же самое. Исходили мы таким образом все места, маломальски годные для перехода; под конец мне надоело бесцельное хождение, и я

сказал Шотману: «Послушай, Александр Васильевич, говори прямо: кого надо переправлять?» — «Товарищ Рахья, — отвечает он мне, — хоть мне и нельзя говорить, но тебе скажу — надо перевезти Владимира Ильича».

— Ну, — говорю, — это дело другое. Ручаюсь тебе, что мы его перевезем так, что ни один чорт не дознается.

И я ему рассказал, как в 1912 г. мы с машинистом Копоненом перевозили через финскую границу т. Сталина. Такой же способ я предложил проделать теперь и с т. Лениным. Шотман согласился. Кстати, у него был знакомый машинист Финляндской жел. дор. т. Хуго Ялава. Шотман с'ездил к нему и заручился обещанием переправить Владимира Ильича через границу на паровозе. После этого мы с Шотманом принялись обсуждать план самой переправки Ильича, который, как я узнал от Шотмана, находился в то время около ст. Разливы. Остановились мы на таком плане действий: Владимира Ильича мы забираем с места его убежища после того, как стемнеет. Затем садимся на поезд на станции Разлив или где-нибудь поблизости и едем в Петроград. Из Петрограда направляем его трамваем или поездом на ст. Удельную, откуда Ялава при первой же поездке в Финляндию возьмет Владимира Ильича на паровоз.

Условившись о плане, мы поехали в лес. Разливы к Емельяновым, в доме которых первое время скрывался Ильич. Жил он у них сперва на чердаке, а впоследствии перебрался за озеро, расположенное около поселка, в стог скошенного сена. Стог этот снаружи ничем не отличался от других стогов, но внутри сено из него было выбрано, и стог внутри стал пустым. В этом стогу и проживал Владимир Ильич.

Время близилось к осени. Погода была дождливая и холодная. Буржуазия с помощью своих ищеек усердно разыскивала т. Ленина. Ясно, что оставаться ему за озером в стогу сена было невозможно, поэтому и решено было переправить его в Финляндию.

Выйдя от Емельяновых, мы с т. Шотманом направились по тропинке к тому месту, где должен был находиться Вла-

димир Ильич. Начиная уже темнеть. Я шел впереди, Шотман позади. Миновав один стог сена, я обернулся и увидел, что Шотман отстал и разговаривает с двумя какими-то типами довольно подозрительного вида. Я крикнул ему по-фински, чтобы он шел скорее. Он продолжал разговаривать. Я решил, что к нему привязались какие-нибудь посадские, и крикнул грубым голосом: «Иди же, говорят тебе, какого ты чорта с посадскими зубы гочишь». Слышу, он меня кличет. Я подошел и ахнул — это были Владимир Ильич и Зиновьев. Здесь же был и Емельянов. «Здравствуйте, — говорю, — извиняюсь, что немножко грубоват был». Владимир Ильич смеется, говорит: «Ничего, ничего». Потом мы сели и стали обсуждать положение. Шотман изложил план, который мы с ним выработали. Емельянов с нами согласился, но несколько изменил его: сейчас же итти напрямик к ст. Дибуну Финляндской жел. дор. и оттуда уже поездом ехать в Петроград. Ни мы, ни Владимир Ильич против этого не возражали, только я и Шотман предупредили их о том, что дороги на Дибуну мы не знаем. Емельянов успокоил нас, говоря, что он знает. И мы пошли... Харчей у нас было только два огромных огурца. Хлеба и соли не было. Идем. Дальше я стал замечать, что Емельянов начинает метаться то в одну, то в другую сторону, — видимо, стал итти наугад. Но мы все-таки шли за ним, пока не почувствовали вдруг, что нас охватил жар... Оказалось, что мы попали в полосу горящего леса. Чувствуем также, что и торф горит под ногами, а горящий торф очень опасен, потому что можно провалиться и сгореть. Начинаем сворачивать по направлению ветра, т.-е. к финской границе. Владимир Ильич все время оставался спокойным. Глядя на него, я очень удивлялся такому спокойствию: ведь по сути дела мы проявили тогда много легкомыслия, а он ни разу нас не упрекнул.

Подходим к какой-то речке. Горелый лес кончился. Что за речка, никто не знает. (Как оказалось впоследствии, это была река Черная.) Решили ее перейти. Стали раздеваться... Со смешком раздевается и Владимир Ильич. Вода была

холодная и доходила до самой груди; однако перешли, оделись и зашагали дальше. Наконец чувствуем, что подходим к какому-то раз'езду. Я отправился на разведку. Когда подошел к станции, стало уже темно. По всем приметам это должна была быть ст. Дибуны. Прихожу обратно и говорю: «Кажется, Дибуны». — «Как так «кажется»? — обрушился на меня Владимир Ильич: — Почему кажется, почему не точно? Никогда не должно казаться, во всем надо удостовериться...» — «Слушаюсь» — ответил я и пошел обратно. Прочитал и докладываю: «Станция Дибуны».

Было около часа ночи. Я предложил итти к станции, а так как станция была полна вооруженными юнкерами, реалистами и гимназистами, то мы решили, что Владимир Ильич ляжет в канаву, Емельянов пойдет в качестве разведчика наблюдать за общим положением на станции, а мы с Шотманом возьмем билеты и, когда поезд тронется, захватим Владимира Ильича и втащим его в вагон.

Емельянов и Шотман пошли на станцию, Владимир Ильич остался в канаве, а я пока-что следил за всеми издали. Смотрю, Емельянова окружили. Он был в рабочей одежде, документов при нем не было; ясно, что он показался подозрительной личностью. Гимназисты схватили его и повели в помещение станции. Перрон оказался свободным от всякой охраны, на нем остался только один какой-го реалистик. Я подошел к нему. — «Вы куда?» — спрашивает он меня. «В Петроград». — «Ваши документы?» — «Пожалуйста». Вытаскиваю свои удостоверения и показываю их реалисту. Он мне козырнул: «Все в порядке, поезд идет». А я и сам слышу, что поезд идет. Спешу к задним вагонам, то-есть ближе к нашим беглецам, и вижу, что реалист привязался уже к Шотману и стал его исповедывать. Так как физиономия Шотмана была типичной физиономией интеллигента, вдобавок еще и в пенсне, то в отношении его реалист оказался очень любезным и даже начал подсаживать Шотмана в вагон.

Я потихоньку кричу Владимиру Ильичу и Зиновьеву: «Скорее... прыгайте

в вагон!» Еще момент — и они в вагоне. Билетов у нас не было. Хотя я, как бывший служащий Финляндской жел. дор. и вдобавок уволенный в 1907 году из-за политических убеждений, и был хорошо известен железнодорожникам, но из-за отсутствия у нас билетов все-таки боялся скандала. Когда поезд тронулся, в вагон вошел кондуктор. Меня он сразу узнал: «А, Рахья, здравствуй, ты откуда едешь?» — «Из Сестрорецка, — отвечаю. — Был на рабочем собрании, а сейчас вот еду с товарищами в Петроград, да, к сожалению, не успели взять билетов». — «Не надо, — говорит кондуктор, — я и так доведу». С этими словами он сел против нас со своим фонарем и пустился в политику: «Знаешь, — говорит, — Ленин-то, сукин сын, 2½ миллиона взял и продал нас». У меня даже сердце захолонуло. Смотрю, Владимир Ильич уперся локтями в колени и закрыл лицо ладонями. Я начал отвлекать внимание кондуктора разговорами: «Неужели, — говорю, — ты веришь всяким дурацким рассказам? У Ленина не только миллиона, у него даже и двух рублей в кармане нет. А что касается «продажи» и прочего, то ты слушай только буржуазию, она тебе на все пойдет, чтобы опорочить нашего рабочего вождя». Надо сказать, что публики в вагоне не было, пассажиров было только нас трое. Ехали мы с последним поездом из Белострова в Петроград.

На ст. Удельной мы сошли. Шотмана на платформе не оказалось, — видимо, у него что-то случилось с реалистом. Итти надо было на квартиру рабочего-финна Эмиля Кальске, к которому я заранее направил свою жену с тем, чтобы она, в случае чего, выпроводила посторонних ипустила нас после условного стука. Перед тем, как уходить со станции, Владимир Ильич расспросил, по каким улицам мы пойдём и не встретим ли по пути милиционеров. Я его успокоил, сказав, что единственный милиционер, мимо которого нам придется итти, обычно в это время спит на своем посту. И действительно, когда мы проходили мимо поста, милиционер безмятежно храпел. Владимиру Ильичу моя осведомленность понравилась.

Как мы и условились, двери открыла моя жена. В квартире Кальске никого не было, кроме его больной жены. Закусив кое-чем, мы улеглись спать на полу и начали думать, что могло случиться с Шотманом и Емельяновым. Стали уже засыпать, как вдруг слышим условный стук в дверь. Оказалось, Шотман,—запыхавшийся, растрепанный и растерянный. Увидев нас лежащими на полу и хохочущими, он сперва оторопел, а потом от радости тоже начал хохотать; выяснилось, что любезность реалистика до того напугала Шотмана, что он вместо того, чтобы ехать до Удельной, выскочил в Озерках, откуда и прошагал целых шесть километров пешим порядком. Всю эту историю Шотман рассказывал, сидя на полу. Выслушав его, Ильич стал нас отечески распекать за нашу непредусмотрительность: «Какие же вы, — говорит,—после этого конспираторы. Ведь у вас и карты-то не было, да и расписания поездов вы не захватили с собой. Разве можно действовать так, наугад?»

А у нас действительно не было ни карты, ни расписания поездов. Понятно, что упрек Владимира Ильича мы приняли полностью и без оговорок.

В эту ночь Шотман не остался с нами, а отправился в Петроград к Надежде Константиновне с тем, чтобы она предупредила жену Емельянова об аресте ее мужа и о том, что к ней могут нагрянуть с обыском. Впоследствии выяснилось, что Емельянова отправили в Белостров для выяснения личности. В Белострове комиссаром был матрос. Когда Емельянова привели в комиссариат, матрос спросил его, зачем он пришел. «Да вот,—говорит Емельянов,—арестовали». Матрос пришел в негодование: «Ах,—говорит,—сволочи... до чего преследуют рабочих людей. Ну, да ладно, катись скорей отсюда...» И Емельянов ушел.

Затем Шотману нужно было договориться с машинистом Ялавой насчет времени его приезда на ст. Удельную, где мы должны были его ждать для того, чтобы Ялава захватил с собой Владимира Ильича и отвез его в Финляндию (до ст. Терриоки). В Терриоках Владимира Ильича должен был встретить брат моей жены Иван Парвияйнен с лошастью

и отвезти его в деревню Ялкала (в 14 километрах от ст. Терриоки).

Так и сделали. Шотман ушел, а Ильич на другой день вечером переоделся рабочим, и мы вместе с ним пошли на ст. Удельную. Согласно уговору машинист должен был миновать электрический фонарь и стать в тени. Я и Владимир Ильич дожидались около этого места, и, как только подошел поезд, Ильич вспрыгнул на паровоз, а кочегар сошел с паровоза. Еще несколько минут, и поезд тронулся. Я вскочил в первый вагон, где меня поджидали Шотман и кочегар. В этом же поезде ехала и моя жена. Со мной было два револьвера, у Шотмана — один. В Белоострове — пограничной станции — надо было ждать проверки документов. Я хотел было побежать к паровозу, чтобы притти на помощь Владимиру Ильичу на случай, если начнут проверять документы и у паровозной бригады, но двери оказались запертыми. Как оказалось впоследствии, тревога моя была напрасной. Ялава в этом отношении был тертый калач, так как в 1905—1906 годах он не один раз перевозил наших товарищей через границу: по прибытии на станцию он сейчас же отцепил паровоз и отправился набирать воду, и набирал ее до того времени, пока не раздавался третий звонок. Только тогда Ялава подвел паровоз к составу и успокоил кондуктора, который начал было выходить из себя, боясь опоздания.

Когда поезд тронулся, по вагонам пошли жандармы, стали проверять документы. На этот счет и у меня, и у Шотмана было все в порядке, и мы благополучно приехали в Терриоки.

Выйдя на перрон мы все оказались в затруднении, так как лошади на станции не было. Дело в том, что, когда поезд подъезжал к станции и дал свисток, лошадь моего тестя, недавно купленная, испугалась и понесла, а брат моей жены, тщедушный паренек, не смог ее удержать. В результате нам предстояла перспектива идти 14 километров пешком. Раздумывать было некогда, кругом были русские дачники, возможно, были и шпики. Решили идти, а жену оставили на станции с тем, чтобы она, в случае,

если приедет подвода, нас догоняла. Но не прошли мы и трех километров, как нас догнал шурин с моей женой, и мы поехали дальше на лошади.

В деревне Ялкола у моего тестя был деревянный дом. К этому дому была сделана пристройка, нечто вроде молочной, в ней помещались куры. В общем помещенье было чистое, оно настолько понравилось Владимиру Ильичу, что он решительно заявил о своем желании жить в нем: Моему тестю ясно было, что в избе Ильичу работать будет неудобно, так как в семье было много детей. Поэтому он привел молочную в порядок, поставил в ней стол, кровать, лампу, в общем все, что нужно было Ильичу для работы, — и квартирант тестя переселился в пристройку. Владимир Ильич прожил у моего тестя около двух недель. Когда у него было свободное время, он вместе с ребятами ходил за ягодами, даже купался вместе с ними. Ребят удивляло то, что Ильич никогда не снимал кепки, и они не раз спрашивали его об этом. Владимир Ильич отговаривался головной болью. Точно так же ребят удивляла и борода Ильича, которая у него была то длиннее, то короче, в зависимости от способности Ильича гримироваться. Вставал Владимир Ильич рано и тотчас принимался за работу. У него в каморке была печка, оказавшаяся к отъезду Ильича набитой исписанной бумагой, которую он велел сжечь.

Когда мы приехали в Ялколу, я выдал Ильича за сестрорецкого рабочего, который бежал от ареста. Отец охотно согласился его скрыть. Однажды мы с Владимиром Ильичом вышли в поле. Старик Парвиайнен в это время пахал землю. Вдруг Владимир Ильич говорит: «Давайте я попашу». Я усумнился в его умении ходить за плугом, и, хотя я и сам почти не умел пахать, тем не менее решил показать Ильичу свое умение. Из моей попытки ничего не вышло: плуг врезался в землю и не пошел дальше. Отец хохочет. Тогда взялся Ильич, и сразу же у него плуг пошел, как по нитке, а борозда получилась глубокая и аккуратная.

После пахоты старик подсел к Ильичу и вдруг спросил с лукавым ви-

дом: «Слушай-ка, признайся, ведь ты Ленин?» Ильич было смутился, но так как старик ему пришелся по душе, то он ему и признался, что он действительно Ленин. После этого Ильич отвел меня в сторону и говорит: «Ну, наша конспирация полетела к чорту. Представь себе, Парвиайнен сообразил, что я Ленин». Я стал успокаивать Ильича, говоря, что старик — человек надежный и что вреда от него ожидать нельзя. В это время к нам подошел сам старик: «Ты,—говорит он Ильичу,—не бройся, живи у нас сколько угодно. Мы тебя так спрячем, что никто и не догадается, что ты здесь живешь».

В общем Владимир Ильич остался доволен тем, что он попал в обстановку, где, как он выражался, «соблюдались дисциплинка». А «дисциплинка» у старика Парвиайнена действительно была строгая: дети у него ходили по струнке и все, что он приказывал, выполняли строго и неукоснительно.

Перед отъездом моим в Петроград мы условились с Владимиром Ильичом насчет связи, а также насчет доставки газет и писем, и Владимир Ильич зажил на новом месте.

На свое житье-бытье он не жаловался, так как работать ему никто не мешал, но все-таки расстояние в 14 километров от станции сказывалось на самом главном—на переписке Ильича с Петроградом, которая часто запаздывала. Кроме того, товарищей, и в особенности т. Шотмана, беспокоило то, что деревня Ялкола находилась недалеко от русской границы и что следовало опасаться шпииков временного правительства, которые свободно могли разнохать о местопребывании Владимира Ильича. Поэтому решено было перевезти его подальше, в глубь Финляндии.

В одно прекрасное утро в Ялколу, к тестю, приехали два финна. Предъявив документы, они отрекомендовались артистами и сказали, что им поручено загримировать Владимира Ильича и отправиться вместе с ним в Гельсингфорс. Один из артистов был любитель Калиола. Владимир Ильич согласился, попросив только подождать мою жену, которая должна была привезти ему

корреспонденцию из Петрограда и отвезти обратно его письма.

По приезде жены артисты загримировали Владимира Ильича, но наложили на него столько грима, что превратили его в какого-то уродца. Когда Ильич уселся в вагон, грим от тепла потек по лицу, и оно сделалось пестрым. Вдобавок приделанная борода слезла на сторону. В конце концов грим Владимиру Ильичу пришлось смыть, а бороду снять. Вышло так, что в вагон человек пришел с бородой, а в вагоне оказался без бороды. Понятно, что кондуктор видел все, но, видимо, он был хороший парень, так как об этом он не сказал никому ни слова. Ильич впоследствии очень сердился на нас за то, что мы, не умея конспирировать, могли его подвести.

В Гельсингфорсе Ильич поселился у Ровио, ныне секретаря обкома Карелии. Ровио в то время был начальником милиции Гельсингфорса, поэтому Владимир Ильич был гарантирован от вторжения агентов временного правительства. Но, несмотря на это, жизнь в Гельсингфорсе Владимиру Ильичу пришлось не по нутру, так как корреспонденция из Петрограда в Гельсингфорс запаздывала еще больше. Он стал требовать, чтобы его перевезли поближе к Петрограду. Сперва он переехал в Лахту, а потом ему помогли перебраться в Выборг к т. Латука, который имел где-то на окраине Выборга собственный дом и, кроме того, состоял редактором местной социал-демократической газеты. В то время в Финляндии компартии не было, социал-демократы же хотя и делились на левых и правых, но в общем и те, и другие были меньшевистским дрянцом. Жить в таком окружении Владимиру Ильичу было довольно противно, да и связи с Петроградом не было такой, какая ему требовалась, поэтому он поставил вопрос о переезде в Петроград. Однако Центральный комитет партии признал переезд т. Ленина в Петроград несвоевременным, о чем и поручил т. Шотману довести Владимиру Ильичу до сведения. Когда т. Шотман приехал в Выборг и объявил Ильичу постановле-

ние Центрального комитета, тот потребовал от него копию постановления, сказав, что без документа он решению не подчинится. Волей-неволей Шотману пришлось сесть и написать самому необходимый документ. Тем не менее Ильич был очень зол на такое постановление. Лично я о таком решении Центрального комитета тогда ничего не знал. Поэтому, когда на квартиру ко мне однажды пришла Надежда Константиновна и, передав мне привет от Владимира Ильича, передала вместе с тем и записку, в которой тот писал, чтобы я устроил ему скорый и безопасный переезд на ст. Удельную, то я на это скоро согласился, тем более, что Шотман в это время уехал в Уфу и мне не с кем было посоветоваться. Я сейчас же пошел к Ялаве, сговорился с ним насчет переезда Ильича и поехал в Выборг. Перед тем как войти в дом Латуки, я часа полтора ходил около дома для того, чтобы удостовериться, не притащил ли я за собой шпика.

Владимир Ильич потребовал, чтобы я ему подробно изложил свой план переезда. План мой был таков: из Выборга ехать до пограничной станции Райволо, что в Финляндии, и оттуда на паровозе с Ялавой добраться до ст. Удельной. План этот Ильич одобрил, причем добавил, что дальнейшие заботы о том, чтобы перебраться с Удельной в Петроград и найти для себя безопасную квартиру, они с Надеждой Константиновной берут на себя.

Начались приготовления к отъезду из Выборга. Я предложил Ильичу загримироваться. Он надел на себя крахмальную рубашку с черным галстуком, приладил все тот же парик, очки и надел на голову фетровую шляпу. В этом костюме, в осеннем пальто он удивительно стал похож на лютеранского пастора.

Поглядев на себя в зеркало, Ильич остался очень доволен. В особенности благочестивый вид ему придавали сорочка с галстуком и очки. Окончив маскировку, мы отправились на станцию, где я еще заранее купил билеты: для себя—до Петрограда, а для Владимира Ильича—до ст. Райволо. По дороге

мы уговорились в самый вагон не входить, а стоять все время на площадке. В случае же, если на площадке будет находиться публика, мы должны между собой разговаривать, причем я буду говорить по-фински, а Ильич должен мне отвечать односложными словами тоже на финском языке: «я» или «ей». По-русски это означало «да» и «нет». Этим мы должны были показать, что мы оба—финны.

В поезд мы сели благополучно, оставшись на площадке. Стала набираться туда и публика, говорящая большей частью по-русски. Я начинаю нести по-фински какую-то пустяковину. Ильич подает реплики, но очень неудачно: где нужно по смыслу разговора сказать «да», он говорит «нет», а где «нет», он говорит «да». Но все же, несмотря на это, мы под вечер благополучно прибыли на ст. Райвола.

Выйдя из вагона, мы с Владимиром Ильичом двинулись к тому месту, где Ялава следил за погрузкой на паровоз дров,—в полутора километрах от станции. Подойдя к паровозу, я оставил Владимира Ильича в кустах, а сам влез на паровоз. Ялава встревоженным голосом заявил мне, что напротив сидят два каких-то типа и, похоже, следят за паровозом. И действительно, всмотревшись, я заметил двух субъектов, которые сидели по другую сторону пути в кустах и о чем-то говорили. Возможно, что это были случайные прохожие, но у страха глаза велики, и я очень встревожился, не зная, что предпринять дальше. Спасибо, выручил Ялава. Он предложил мне идти с Владимиром Ильичом к станции и, не доходя до нее, дожидаться, когда он поедет на своем паровозе к поезвному составу. Проезжая мимо нас, он на ходу захватит и меня и Владимира Ильича, прицепит паровоз и сейчас же тронется в путь. Так мы и сделали.

Я слез с паровоза и вместе с Ильичом отправился к условленному месту—дождаться Ялавы. Наконец до отхода осталась всего одна минута, мы начинаем нервничать... Вдруг видим, мчится Ялава полным ходом. Вот он уже около нас... Мгновенный тормоз, паровоз за-

медлил ход, момент... и мы на паровозе. Опять полный ход... затем поездной состав, плавный толчок буферами в передний вагон,—и мы благополучно трогаясь. Что случилось с типами и кто они такие, так и осталось неизвестным.

Была уже ночь, когда мы приехали на ст. Удельную.

Миновав завод Айваз, мы подошли к дому трамвайных служащих. Все время Ильич шел уверенно, показывая, что он не новичок в этих местах. Остановившись у одной из дверей, он как-то по-особенному постучал. Дверь открыла женщина, видимо, хорошо знакомая Владимиру Ильичу.

В первую очередь Ленин потребовал свидания со Сталиным, которого я обязался вызвать к Ильичу на следующий день вечером. Но сперва я нашел квартиру для устройства свиданий Владимира Ильича с членами ЦК. Это была квартира старого большевика, финна Никандро Кокко, недалеко от Выборгского шоссе. Затем я пошел в редакцию «Правды» к т. Сталину. Ничего не подзревая, я поздоровался с ним и сказал, что я пришел к нему от Владимира Ильича с приглашением сейчас же к нему приехать.

— Что вы, товарищ Рахья,—ответил Иосиф Виссарионович, — разве можно сейчас ехать к Владимиру Ильичу, когда все пути в Финляндию забиты шпиками?

— Да зачем же вам ехать в Финляндию? — с недоумением спросил я.— Вам просто надо доехать до Лесного, а там я выйду навстречу и сведу вас к Владимиру Ильичу.

Сталин вскипел:

— В какой-такой, — говорит, — Лесной... Почему в Лесной?.. Где Владимир Ильич?..

Я ответил, что он здесь, в Петрограде, и ждет в условленном месте...

До сих пор я не забуду, какой нагоняй закатил мне Иосиф Виссарионович! Ругал он меня самым отчаянным образом, одно время я думал даже, что он поубьет меня. Но это было первое время, а потом я и сам стал ругаться:

— Что вы,—говорю,—товарищ Сталин, на меня накинулись, ведь я дей-

ствую по приказу Владимира Ильича; вот и его записка, где написано, чтобы я привез вас к нему.

— А что ж ты,—говорит Сталин,— разве не знаешь постановления ЦК о том, чтобы Владимир Ильич не приезжал в Петроград?

— Ничего,—говорю,—не знаю. Раз мне приказал товарищ Ленин, значит, вопрос исчерпан.

В конце концов мы оба успокоились, но все-таки вечером, когда на квартире Кокко Владимир Ильич встретился со Сталиным, я не утерпел и пожаловался Ильичу, говоря, что Иосиф Виссарионович беспощадно меня обругал. Тут-то Владимир Ильич и открыл мне решение ЦК, о котором я ничего не знал. Оказалось, что мы оба с Владимиром Ильичом нарушили директиву ЦК, поэтому и пришлось мне признать перед т. Сталиным свою неправоту.

Свидание Владимира Ильича с т. Сталиным длилось очень долго. Я точно не могу сказать, о чем они говорили, так как часто выходил из комнаты. Помню только, что Владимир Ильич очень подробно расспрашивал о чем-то т. Сталина, а тот также подробно освещал положение дела в Петрограде.

После ухода т. Сталина я отвез Владимира Ильича на его квартиру. Вообще я играл тогда роль связиста между т. Лениным и партией: в известное время дня я должен был аккуратно приходить к нему, брать от него письма и относить их в редакцию. Для меня эта работа была довольно тяжелой, так как надо было поспевать на производство и в то же время выполнять поручения Владимира Ильича. Однако последнее мне доставляло большое удовольствие, и я с большой охотой шел каждый раз к Владимиру Ильичу.

Свою подготовку к Октябрю Владимир Ильич вел как-то по-особенному: по его поручению я должен был ходить по казармам и заводам, прислушиваться, о чем толкуют рабочие, должен был посещать собрания, записывать резолюции и отмечать, каким большинством

они принимались, о чем говорят на митингах меньшевики и эсеры, как относятся к их выступлениям рабочие, за кого голосует интеллигенция, кто проходит в советы и т. д. Обо всем этом он расспрашивал с большим интересом и очень подробно. Между прочим, он очень внимательно следил за настроением рабочих на том заводе, где я работал и где сильно было влияние социалистов-революционеров. Вскоре он потребовал от меня, чтобы я подыскал помещение для проведения собрания ответственных товарищей партийцев.

Собрание состоялось у Карповского моста, на Петроградской стороне, кажется, на квартире Сухановой. Помню, когда мы втроем — Владимир Ильич, Дзержинский и я—после собрания вышли на улицу, то шел сильный дождь. Ильич был в пальто, а Дзержинский в плаще. Оберегая Ильича, Дзержинский снял с себя плащ и накинул его на Владимира Ильича. Владимир Ильич по своей привычке начал было отнекиваться: как же так — Дзержинский пойдет без плаща, а он в плаще! Но тот и слушать не хотел: «Никаких,—говорит,—церемоний... Извольте одеть плащ, иначе не выпущу». Пришлось Владимиру Ильичу покориться.

Ночевали у меня. Я жил тогда в маленькой комнатухе с женой у ее брата на Певлеской улице. На этом месте сейчас построен завод «Электроприбор». Надо было всем нам разместиться спать на очень маленькой жилплощади. Я было предложил Владимиру Ильичу кровать, но он категорически отказался и улегся на полу. У нас в квартире было паровое отопление, к которому мы подложили книги и кое-что постелили,—это и послужило матрацем нашему гостю.

Утром случился один казус, который нас изрядно напугал. Только-что проводили мы шурина на работу, как вдруг он возвращается обратно и встревоженным голосом говорит, что весь дом оцеплен милицией, что по двору ходят сыщики с собакой и что-то ищут. Я, признаться, сперва струсил, но сейчас же взял себя в руки и направил Владимира Ильича с шурином по черной

лестнице, дав ему револьвер, а сам вышел по главной. Потом оказалось, что весь этот шум подняло сыскное отделение, организовавшее облаву на вора, и мы успокоились.

Первое собрание Центрального комитета, на котором присутствовал Владимир Ильич после июльской демонстрации, состоялось 10 октября. Явилось на него ограниченное число товарищей, которых Владимир Ильич прошуypывал насчет возможности принятия постановления о взятии власти. Насколько мне помнится, это собрание происходило в квартире машиниста Ялавы на Ломанской улице, дом № 4. Второе такое же собрание происходило 16 октября, в сторожке немецкой церкви на Фурштадтской улице. Сторожем церкви каким-то путем оказался большевик. И наконец третье заседание ЦК совместно с большим партийным активом состоялось 20 октября. Для этого собрания помещение подыскал М. И. Калинин, который состоял в то время в Лесном городском головой. На это собрание были вызваны все члены Центрального комитета, районные секретари, старые большевики, в общем весь актив, на который можно было положиться. На это собрание Владимир Ильич и я отправились вечером, приняв все меры предосторожности. Подойдя к дому, мы встретили Шотмана; Шотмана мы послали предварительно узнать, сколько пришло народу и кто именно пришел. Получив от Шотмана нужные сведения, Ильич решил, что пора идти. Перед тем, как войти в дом, Владимир Ильич снял с себя парик и спрятал его в карман. Сделал он это из предосторожности, чтобы не знали, что у него есть парик.

На собрании присутствовали Сталин, Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Ногин, Милютин... Всех не помню, знаю только, что был очень большой актив. Встретили Владимира Ильича очень тепло, и он тотчас же приступил к докладу на тему о необходимости взятия власти. Первыми после доклада выступили Зиновьев и Каменев, которые определенно высказывались против докладчика. Я заметил, что

их выступление сильно расстроило Ильича. Были и еще сомневающиеся, но их возражения были не принципиального характера.

Заключительная речь Владимира Ильича была удивительной речью, в которой он разгромил всех выступавших против него и всех сомнеющихся. Речь Ильича произвела на всех огромное впечатление и вызвала страстные прения, так что если бы я не следил за временем, то собрание могло бы затянуться до следующего дня. В 6 часов утра я стал поговаривать о том, что пора расходиться, иначе, мол, будет опасно, так как скоро наступит рассвет и начнется движение. Владимир Ильич с этим согласился.

Был сильный ветер, и дождь лил, как из ведра. Ветер сорвал с Владимира Ильича шляпу и вместе с париком кинул ее в воду, но Ильич до того был расстроен выступлением против него Зиновьева и Каменева, что, подобрав шляпу, одел ее мокрой на голову и даже не обратил внимания на мой совет почистить ее. Всю дорогу он говорил о принципиальных расхождениях с ним Зиновьева и Каменева и их сторонников и самым резким образом отзывался о них.

Меж тем положение в Петрограде обострялось. Чувствовалось, что приближаются очень серьезные события. Однажды, когда я пришел к Владимиру Ильичу, он дал мне письмо и просил, чтобы я отнес его в Выборгский райком для передачи Жене Егоровой: «Она, — говорит, — знает, что с ним делать». На мой вопрос, а что именно делать, он ответил, что письмо надо будет размножить и распространить по всем районам. Как оказалось впоследствии, именно в этом письме и говорилось о том, что «промедление смерти подобно». Я взял письмо и понес Жене, которую я тогда не знал. Она сейчас же села за машинку, перепечатала письмо и отдала мне его обратно. К сожалению, подлинник этого письма пропал где-то в Финляндии.

В штабе Керенского у меня были хорошие товарищи, с которыми я поддерживал постоянную связь. 25 октября

мне дали знать, что Керенский приказал развести мосты. Я позвонил своей жене, которая в это время работала в Скобелевском комитете, и сказал ей, чтобы она немедленно шла домой и ждала меня, сам же решил идти к Владимиру Ильичу. На пути к его квартире кое-где раздавались уже выстрелы, а трамвай прекращал движение. Когда я ему сказал, что Керенский приказал разводить мосты, он вскричал: «Ага, значит начинается...» Я было не понял его и спросил: «Что начинается?» — «Революция начинается, — пояснил Ильич, — а с ней и революционные бои...» И тотчас же заявил мне, что ему надо ехать в Смольный. Я пробовал было доказать ему, что это невозможно, что на улицах идет стрельба и т. д., но он и слушать не хотел: «Едем сейчас же, и больше никаких». Пришлось согласиться. Началась маскировка: я нашел старую кепку, одел Ильича в какую-то до последнего заношенную одежду и повязал ему белой тряпкой щеку, чтобы было похоже на то, что у него болят зубы. Я осмотрел его со всех сторон, и мы пошли. Дойдя до угла, мы встретили совершенно пустой трамвай, идущий из села Гражданки. Владимир Ильич предложил вскочить в него. Я согласился с условием, что Ильич ни с кем не будет разговаривать. Кондуктором была женщина. К моей досаде, Владимир Ильич начал спрашивать ее, куда она едет, почему и т. д. Она сперва было отвечала, а потом говорит: «Вот чудак, откуда ты только выискался? Неужели не знаешь, что в городе делается?» Владимир Ильич ответил, что не знает. Кондукторша его упрекнула: «Какой же ты, — говорит, — после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция. Мы едем буржуев бить...» К моей досаде, Ильич начал рассказывать ей, как надо делать революцию, а я сидел, как на иголках, до тех пор, пока на углу Боткинской и Нижегородской трамвай свернул в парк, а мы пошли дальше пешком; у Литейного моста мы увидели группу солдат и красногвардейцев. Они стояли и не пропускали публику через мост. Я посоветовал Владимиру Ильичу не подходить к ним. «Ничего, — ответил он, —

где солдаты и красногвардейцы вместе, там нет опасности...» — и быстро пошел вперед. Подойдя к толпе, окружавшей красногвардейцев, мы вмешались в нее. Я шепчу Ильичу, чтобы он не вступал в разговор, а то, мол, пропадем. Смотрю: он бочком-бочком и быстро зашагал через мост, а я за ним.

По другую сторону моста нас уже не задерживали, и мы пошли далее по Шпалерной к Смольному. Вдали показались верхами два юнкера артиллерийского училища. Они направлялись к нам, видимо, собираясь о чем-то нас расспросить. Сказав Владимиру Ильичу, чтобы он шел вперед, я сам остался для разговоров с юнкерами. В кармане у меня лежали два липовых пропуска, хотя и очень неумело подчищенные. Я дал один Ильичу, а другой оставил у себя. Подехавшему юнкеру, спросившему у меня пропуск, я вызывающим тоном ответил, что еще, мол, за пропуск им нужен. Он тоже повысил голос. Владимир Ильич тем временем зашагал дальше. Я решил, что если только юнкера погонятся за Владимиром Ильичом, я буду стрелять. К счастью, мне удалось отвлечь их внимание от Ильича своим вызывающим поведением. Один из них хотел было вытянуть меня нагайкой, но, видимо, не решился, так как я напустил на себя слишком независимый вид. Поговорив о чем-то, они дали шпоры своим лошадям и умчались, а я пошел догонять Владимира Ильича.

Когда мы дошли до Смольного, нас в него не впустили. Оказалось, что меньшевики переменили мандаты делегатов Петроградского совета. Вместо белого цвета они сделали билеты красными и выдали их в первую очередь своим сторонникам, большевиков же оставили с белыми билетами. Я, признаться, в этот момент испугался за Владимира Ильича больше, чем когда-либо, но сам Ильич сохранял удивительное спокойствие. По всему было видно, что он обладает глубокой и непоколебимой уверенностью в положительном исходе начавшейся революции и не сомневается в победе рабочих и солдат. Его уверенность передалась и мне. Смешавшись с толпой «белобилетников», споривших с ка-

раулом, я поднял невероятную бузу. В один момент толпа была взбудоражена и стала напирать на охрану. Та не выдержала напора, подалась в сторону, и толпа хлынула внутрь. Мы поперли вслед за ней. Я — впереди, размахивая своим липовым пропуском, а за мной шел Владимир Ильич, смеясь и приговаривая: «Где наша не берет».

Придя наверх, — не помню, в какую комнату, — Владимир Ильич сел у окна, а меня послал за Сталиным. Когда я вернулся обратно, Ильич сидел уже за столом, а вокруг него собрались наши товарищи и оживленно разговаривали с Ильичом. Как-раз в это время мне пришлось быть свидетелем интересной сцены.

Ленин сидел в конце длинного стола, в комнату же из зала вошли Либер, Дан и Гоц. Физиономии у них были потрепанные и, видимо, уставшие. Отдуваясь, Дан обратился к Гоцу и сказал: «Абрам Рафаилович, хотите закусить, у меня французская булка и колбаса». Развертывая сверток, он увидел Ильича и, будто ошпаренный, вскочил из-за стола, сгреб свою снедь и выбежал из комнаты. За ним следом потянулись Либер и Гоц. Владимир Ильич хохочет. Я посоветовал ему арестовать их, но Ильич махнул рукой и сказал, что не надо, «они и сами уйдут».

Как только разнесся слух, что Ленин в Смольном, вся меньшевистско-эсеровская бражка засуетилась... Начались совещания и шушуканья в закрытых комнатах, но Владимир Ильич не ждал. Сейчас же после своего прихода он открыл собрание в нижнем этаже Смольного и поставил вопрос о конструировании новой, рабоче-крестьянской власти. Было много народу, стульев для всех нехватило, поэтому я присел в уголок на полу и стал слушать. В мою память особенно врезались разговоры о том, как назвать рабоче-крестьянское правительство и как распределить правительственные функции между отдельными товарищами. Кто-то предложил назвать членов правительства министрами, но это нашли неудобным: правительство Советов даже по названию должно отличаться от правительства буржуазии. Тогда членов пра-

вительства решили назвать комиссарами, а всех их вместе — Советом комиссаров. Название вышло слишком коротким. В это время, не помню, кто-то сказал: «Давайте назовем «Совет народных комиссаров». Это название было подхвачено, и рабоче-крестьянское правительство получило свое наименование. Затем перешли к назначению комиссаров. Я в это время стал уже засыпать. Слышу только, как один из присутствовавших кричит своему товарищу, сидящему напротив: «Ты будешь комиссаром финансов». Тот отнекивается: «Что вы, товарищи, какой же я комиссар. Ведь я даже не знаю, что надо делать на этой должности». Владимир Ильич хохочет: «Бросьте, товарищи, ну кто же из нас и когда бывал на таких должностях. Никто не бывал... Поэтому нечего отнекиваться — бери комиссариат финансов, и больше никаких».

Когда с организацией правительства было покончено, сейчас же все отправились на С'езд Советов, который тем временем открылся в Актовом зале. Народу набилось доотказу. Окна были открыты. Слышна была стрельба—пулеметная и ружейная. Как я потом узнал, в это время наши отряды занимали Зимний дворец. Председатель С'езда встал и громогласно заявил о том, что на С'езде присутствует Ленин. Эти слова вызвали взрыв такой овации, какой я никогда в жизни не видел. Это было что-то невообразимое. Когда Владимир Ильич взошел на трибуну, он долгое время не мог говорить: вихрь аплодисментов, восторженных возгласов потрясал стены дворца. Впечатления от его речи я тоже никогда не забуду. Все замерли, с жадностью впитывая каждое слово своего вождя. В зале было несколько тысяч народу, но если бы в то время пролетела муха, ее можно было бы услышать. Я видел, как на моих глазах октябрьская речь Ильича переплавляла тысячи рабочих, тысячи бывших солдат и матросов царской армии в сознательных и самоотверженных пропагандистов, агитаторов и бойцов великой Октябрьской революции. Владимир Ильич создавал новые кадры революционных массовиков.

Здесь к месту будет упомянуть о методах организационного руководства Лениным всей борьбой в Октябрьские дни против Керенского и Краснова. Он до того во все вникал, что указывал штабу, как надо действовать, куда следует направлять воинские части, какой завод и куда должен подготавливать свои красногвардейские отряды и т. д. Он поспевал всюду: его можно было видеть и в штабе, и на совещании какой-нибудь комиссии, и у себя в кабинете. Бывало, зайдешь к нему, он обо всем тебя расспросит, выкачает все до последнего слова, а потом начнет давать указания и уже без директивы ни за что от себя не отпустит.

На другой день после взятия Зимнего дворца, то-есть 26 октября, меня вызвали к Сталину, который объявил мне, что я прикомандировываюсь в качестве комиссара к Муравьеву, назначенному командующим войсками против Краснова и Керенского на царскосельском фронте. Сейчас же после этого я получил и нужный мандат. Прежде чем уехать, я решил зайти к Владимиру Ильичу.

— Вот, — говорю, — Владимир Ильич, я получил такое-то назначение. Теперь я уже не безработный, а комиссар. Беда только в том, что я не знаю, что должен комиссар делать. Пришел к вам за советом.

— А я почему знаю? — ответил Ильич.

— Как не знаете, — удивился я, — кто же мне скажет, как надо работать?

— Не знаю, — повторил Ильич, улыбаясь.

— Но все-таки, что же мне делать? — допытываюсь я.

— Все, все и все, — сказал Ленин.

Я тогда еще подумал: «Чорт возьми, вот это указание». Дальше Владимир Ильич стал меня распрашивать, куда я еду. Я сказал, что еду к Муравьеву. Ильич встрепетнулся:

— Ой, — говорит, — туда тебя нельзя посылать.

— Куда же, по-вашему, лучше его направить? — спросил вошедший в кабинет Ильича Сталин.

— Мы его пошлем, — ответил Владимир Ильич, — ближе к Финляндии. Там он нам будет полезнее.

Так я и не поехал на фронт к Муравьеву, а взамен этого получил комиссарский мандат на Финляндскую железную дорогу.

Финляндскую железную дорогу революция еще не затронула, и ею спокойно заправляли комиссары временного правительства. Я пришел в управление железной дороги, посмотрел на обстановку моей будущей работы и прежде всего разыскал своего старого соратника-милиционера, с которым я весной охранял «Правду». Отыскав его, я приказал ему собрать всех наших ребят и отправился с ними в Выборгский комитет, где мы все и вооружились винтовками. После этого я заявился к комиссару дороги и предъявил ему свой мандат: «Ну, — говорю, — твое дело швах, кончено. Уступай мне свое место». Он было на дыбки, а я в ответ только показал ему через окно на свою «реальную силу». Он встал и вышел из-за стола в одну сторону, а я кругом стола зашел с другой стороны, сел в кресло и говорю: «Что вам надо, гражданин? Если вы недовольны, можете обжаловать свое дело». Он взял портфель и смылся, а я остался комиссарствовать. Это было в начале ноября.

Однажды меня вызвал к телефону Владимир Ильич и срочно потребовал к себе. У меня была верховая лошадь, на которой я скоро и доехал до Смольного. «Знаете, что случилось?» — спросил меня Владимир Ильич. Я ответил, что не знаю. После этого он спросил меня, сколько у меня вооруженных людей. Я ему сказал, что у меня около ста пятидесяти человек, что ребята они все верные и что никакой враждебной агитации они не поддадутся. «Вот что... — сказал Ильич, — имейте в виду, они нам могут понадобиться для охраны Смольного». И здесь он рассказал мне о своих опасениях. Оказалось, что вопрос о вхождении социалистов в советское правительство грозит расколом и что создано положение, при котором трудно было предвидеть последствия могущего произойти раскола. Во всяком случае следовало быть готовым ко всему.

Я ответил Ильичу в том духе, что мои ребята никакой контратитации не под-

дадутся. Что я скажу, то и будет... Владимир Ильич, видимо, остался доволен. После этого я вернулся к себе на железную дорогу.

В ноябре Владимир Ильич уехал в санаторий «Халила», где он жил вместе с Марией Ильиничной, Анной Ильиничной и Надеждой Константиновной. На меня была возложена обязанность сопровождать Владимира Ильича при его поездке в санаторий; по дороге мне пришлось быть свидетелем очень любопытного эпизода. На какой-то станции в наш вагон вошла старуха с вязанкой хвороста. Войдя в вагон, она бросила хворост на пол и что-то сказала сидевшей в вагоне женщине. Та ее спросила, откуда она достала дрова, и, узнав, что хворост нарублен в лесу, удивилась: как это так! Ведь в лесу ходит стражник с ружьем. Почему он не выгнал ее? Старуха выразительно махнула рукой и промолвила: «И... милая моя. Теперь уж не надо бояться человека с ружьем...»

Владимир Ильич попросил меня перевести разговор женщин, и, видимо, случай этот навел его на какие-то размышления. Потом я слышал, что Ильич на одном из собраний привел случай со старухой и стражником как пример совсем иного отношения трудящихся к вооруженному рабочему, чем к солдатам царской армии.

Вот как воспринимал Владимир Ильич все, даже незначительные, факты повседневной жизни как он умел обобщать их.

В «Халиле» я опять выполнял при Ильиче обязанности связиста — доставлял и отправлял ленинскую корреспонденцию. Полномочия на Финляндской железной дороге у меня были диктаторские. Литеры для проезда по железной дороге я заготовлял сам. Лошадей давали беспрекословно.

Как-раз в это время в Финляндии началась ноябрьская забастовка. Сила была на стороне рабочих, буржуазия же, не имея оружия, была бессильной. Но в Финляндии была социал-демократическая партия, а вожди этой партии боялись революции, как огня. Поэтому

они и делали все, чтобы не довести дело до восстания. В результате всеобщая забастовка была сорвана по всей Финляндии.

Несмотря на то, что соглашатели сорвали забастовку, рабочие и буржуазия продолжали готовиться к окончательной схватке. По этому поводу я и мой покойный брат Иван частенько вели разговоры с Владимиром Ильичом. Помню, как он уже перед самым выступлением финляндских рабочих спросил нас: «Ну, а как думаете: победите вы, или нет?» Я говорю: «Шут его знает, думаю, что победим». — «Нет, — говорит Ильич, — вы сейчас не победите». — «А почему?» — спрашиваю. «Потому, что у вас сильно влияние социал-демократов».

Признаюсь, что эти слова Ильича на меня сильно подействовали, и я ушел от него довольно удрученный, в противоположность брату, который был уверен в победе.

После разговора с Лениным я и мой брат выехали в Финляндию. В Финляндии вспыхнула революция. На станции Кямья, приблизительно в 80 километрах от Петрограда, нас встретили белогвардейцы, с которыми мы и вступили в бой. Бой был очень сильный, мой брат был ранен и на целых девять месяцев вышел из строя. Однако свой поезд мы все-таки довели до Гельсингфорса.

Приехав обратно в Петроград, я доложил Владимиру Ильичу обо всем, что происходит в Финляндии. Он меня опять опечалил, сказав: «Нет, товарищ Рахья, вы сейчас не победите...» Оказывается, за это время Ильича посетила делегация финнов во главе с социал-демократами. Он с ними долго разговаривал и получил ясное представление о том, что такое финляндские социал-демократы. Поэтому он и заявил категорически, что с такими людьми в революцию итти нельзя. Владимир Ильич оказался прав: финская революция потерпела поражение исключительно благодаря предательству финляндской социал-демократии.

Когда началась расправа белогвардейщины с революционными рабочими, я вернулся в Петроград для того, чтобы приняться за организацию Красной ар-

нии из финских эмигрантов. Организация красноармейских отрядов из финнобеженцев происходила неофициально, потому что согласно Брест-Литовскому договору советское правительство не имело права оказывать помощь финской красной гвардии. Когда же открылся финский фронт, мы организовали финские командные курсы, которым Владимир Ильич оказывал большое содействие. Я был назначен комиссаром курсов. Весной 1919 года, когда белофинны напали на Карелию и расстреляли в Видлице 26 коммунистов, меня отправили с отрядом на этот фронт, где я и пробыл вплоть до его ликвидации.

В дальнейшем мне довольно часто приходилось видеться с Владимиром Ильичом и разговаривать с ним о Финляндии. К сожалению, я не мог погово-

ривать с Владимиром Ильичом в последние дни его жизни.

Когда он лежал больной в Горках, я в это время был у Шотмана. Однажды по телефону позвонили из Горок. Оказалось, Ильич требовал, чтобы я к нему приехал, но врачи запретили посещать Владимира Ильича. И, хотя Ильич настаивал и даже обещал прислать за мной автомобиль, я, скрепя сердце, от поездки отказался. Последние слова Владимира Ильича ко мне были: «А жаль, очень жаль, Эйно Абрамович, что ты не приедешь. Мне так хотелось тебя увидеть».

Через некоторое время он умер, и я уже не увидел более дорогого мне Владимира Ильича — моего учителя и товарища.

Вот все, что я могу сказать о моих предоктябрьских и послеоктябрьских встречах с Владимиром Ильичом.

Обработал для печати Я. Кирпичов

Ленин и физика

В. Е. ЛЬВОВ

I.

Год 1934 для физики — двойная ленинская дата. Ровно 25 лет тому назад вышло в свет первое издание «Материализма и эмпириокритицизма», — книги, означающей для советской физической науки нечто большее, чем один из классических трудов по общей теории диалектического материализма. Всемирно-историческое значение упомянутой ленинской работы заключается — мы покажем — в том, что в ней намечены основные линии развития физики в перспективе на целую эпоху. Эпоха эта, эпоха империалистических войн и пролетарских революций, не только не «пройдена», как известно, в переживаемый момент, но мы являемся сейчас свидетелями лишь первых ее туров, предвиденных Лениным в политике, как и в науке.

Конкретное содержание ленинского «Материализма и эмпириокритицизма» и в частности 5-й его (целиком посвященной физике) главы не исчерпывается, таким образом, высказываниями В. И. по тем или иным злободневным для 1908—1909 гг. и ныне устаревшим физическим вопросам. Содержание этой главы не ограничивается разоблачением махинаций одной лишь идеалистической школы в физике, шумевшей и отшумевшей в 1908—09 гг. Мы постараемся показать, что все это не так, что характерная особенность главы 5-й заключается в прогнозе Лениным того нового и качественно-особого этапа, в котором международная физика очутилась

сейчас, спустя двадцать пять лет после упомянутых событий. Мы постараемся показать, что здесь дана, в основном, вся современная расстановка сил на физическом фронте. Что здесь предрасположена боевая стратегия воинствующего материализма в физике, актуальная для 5-го года капиталистического кризиса и 17-го года мировой пролетарской революции. Что здесь гениально-прозорливо намечены, наконец, те конкретные пути, по которым последние 25 лет шел и должен будет в дальнейшем идти штурм материи на его решающих участках (волновая механика, атомное ядро, эфир).

II

15 декабря 1900 года — дата первого сообщения М. Планка о квантовой теории — была историческим рубежом между «старой» и «новой» физикой. Глубокий анализ сущности этого перелома был дан Лениным, и именно этот анализ должен быть взят за исходный пункт разбора ленинской позиции в физике.

Для характеристики основной линии развития классической физики в XIX столетии Ленин берет в свидетели французского профессора Абея Рея, отмечающего, что в течение указанного периода физики «были согласны в одном». Они «верили в чисто-механическое объяснение природы: принимали, что физика есть лишь более сложная механика. Расходились только по вопросу о приемах сведения физики к механике».¹⁾

¹⁾ Ленин. Избранные произведения, т. VI, стр. 154. Подчеркнуто и дальше мною. — В. Л.

Свести физику к механике — это значило прежде всего попытаться выхолостить всю бесконечную изменчивость и разнокачественность форм движения материи, втиснув их в одно лишь простейшее перемещение в пространстве. Вся вторая половина XIX столетия и прошла в частности под знаком бесплодных попыток «механического» объяснения электрических и магнитных явлений.

Еще Фарадей, нашедший ряд основных законов электро-магнетизма и открывший гениальный способ изображать на чертеже пространственное распределение электрических и магнитных сил (в виде так называемых «силовых линий»), пытался истолковать эти силы как результат чисто-механической упругости особой среды: «эфира». Эфир — в представлении Фарадея — это нечто вроде очень тонкой и неосязаемой жидкости, наполняющей вселенную.

Находясь в таком эфире, материальные тела вызывают в нем упругие натяжения, под давлением которых другие расположенные поблизости частицы могут начать двигаться («притягиваясь» или «отталкиваясь») в ту или другую сторону. Так, в качестве сравнения: при опускании ложки в стакан с водой ложка, раздвигая верхнюю упругую водяную пленку, вызывает в ней натяжения, плавающие в стакане чаинки начинают при этом двигаться — «притягиваться» или «отталкиваться» от ложки. Другое явление: кругообразно помешивая ложкой в стакане с водой, получаем воронку, попав в область (в «поле») которой, чаинки начинают ускоряться, двигаясь по определенным кривым. Всякий электрический заряд, казалось, приблизительно таким же способом создает так называемое магнитное поле, в котором ускоряются и движутся железные опилки. Причиной этого поля и являются, по Фарадею, своего рода «вихри» и «водовороты» в эфире.

Клэрк Максвелл, нашедший в 1879 г. те пять знаменитых уравнений («уравнения Максвелла»), которыми охватываются все электрические и магнитные явления, решился в свою очередь истолковать эти уравнения как уравнения ме-

ханического движения «вихрей», а также «волн» в эфире.

В самом деле, если в эфирной «жидкости» могут возникать водовороты и вихри, то с таким же успехом в ней будут пробегать и волны. Волны эти могут породить эфир наподобие очень частой ряби (и тогда получается то, что называется светом), или же они перекажутся более крупными валами, и тогда они должны проявлять себя теми явлениями, которые сейчас известны под общим названием радио.

Несмотря на всю простоту и наглядность такого объяснения электромагнитных явлений, это объяснение не смогло, как известно, выдержать экзамена реальности и к 90-м годам прошлого века было сдано в архив. Уравнения Максвелла, несмотря на все математические усилия их творца и несмотря на попытки многих других теоретиков, не удалось свести к уравнениям механического перемещения частиц внутри вихрей или самих вихрей в пространстве.

Электрические и магнитные силы не удалось свести к силам механического давления в упругом эфире. Электромагнитные волны света и радио не удалось истолковать как упругие колебания частиц эфира наподобие волн водяных и звуко-воздушных.

Но вместо всего этого с полной ясностью удалось показать, что само механическое перемещение тел представляет собою только вторичный эффект других, гораздо более глубоких процессов изменения материи, процессов особого качества, как-раз и называемых электрическими и магнитными процессами.

В 1889 г. — на самом деле — голландский физик Г. А. Лоренц строит электронную теорию, показывающую, что та особая, не-механическая (то-есть не могущая ни упруго «натягиваться», ни «давить», ни «колебаться») материя, которая служит ареной электрических и магнитных явлений, — что эта материя (эфир) не сплошь однородна, а имеет ряд особых точек. В дискретных точках этих, или «узлах» (названных электронами), сосредоточен, равными малыми порциями, электрический заряд. Те же

узлы обладают, как показал Лоренц, и массой, т. е., другими словами, электроны проявляют свое существование механическим перемещением в пространстве. Больше того: законы механического перемещения электронов могут быть — и в этом гвоздь вопроса — математически согласованы с законами н е м е х а н и ч е с к о г о движения первичной материи эфира: с электромагнитными уравнениями Максвелла. При этом оказывается, впрочем, что та механика, те законы перемещения, которым подчиняются электроны, не есть обычная и привычная («ньютонова») механика тел, с которой имеет дело техника. В этой особой, электронной, механике¹⁾ не соблюдается, например, правило постоянства массы тела. Чем быстрее в частности движется электрон, тем больше его масса. Электроны перемещаются, повторяем, по иным законам, чем обычные тела.

Но эти последние тела сами оказались составленными из электронов, как это впервые обнаружило в 1897 г. открытие радиоактивности Анри Беккереля²⁾. Электроны явственно вылетают из недр распадающихся радиоактивных атомов. Значит, атомы построены из электронов, значит, обычная материя представляет тесное собрание электронов, то есть прерывных «узлов» той, более глубокой и первичной непрерывной материи, которая заполняет все бесконечное пространство вселенной и известна давно под названием эфира. При этом странное на первый взгляд различие между законами перемещения электронов и обыкновенных крупных тел весьма просто и естественно нашло себе объяснение в том (показанном Лоренцом и Эйнштейном) факте, что законы «новой механики» непосредственно переходят в законы старой, когда скорость перемещения становится мала. Электроны же могут перемещаться очень быстро, а крупные тела всегда движутся (сравнительно с предельной скоростью: 300.000 км. в секунду) медленно.

Как должен был реагировать диалектический материализм на все эти исто-

рические события? Диалектический материализм совершенно спокойно мог констатировать, что дело обернулось именно так, как оно и должно было обернуться в построенной по диалектическим законам реальной природе.

Крахнула механическая картина мира, пытавшаяся свести все бесконечное многообразие форм движения материи к игре перемещающихся в пространстве молекул.

Крахнул механический упругий эфир и должен был быть заменен эфиром немеханическим (см. ниже).

К а ч е с т в е н н о - о с о б а я область электромагнитных явлений закономерно оказалась управляемой своими, качественно-особыми, специфическими законами, в к л ю ч а ю щ и м и в себя одним из слагаемых и механическое перемещение (перемещение электронов).

Авангард буржуазной физики, сумев (в электронной теории Лоренца) наметить вчерне взаимное проникновение противоположностей, существующее между непрерывной материей электромагнитного поля (эфиром) и прерывностью включенных в это поле электронов, стихийно и бессознательно вышел тем самым на диалектико-материалистический путь.

С полной четкостью и ясностью это положение вещей — впервые в истории науки — формулируется в 5-й главе ленинского «Материализма и эмпириокритицизма».

«Новые открытия, — констатирует Ленин, — открытие икс-лучей, лучей Беккереля¹⁾ и радия» «разрушило старую (механическую. — В. Л.) теорию строения материи, разложило атом, открыло новые формы материального движения...»²⁾ «Электронная теория, согласно которой атомы образуются из мельчайших частиц, заряженных электричеством и погруженных в среду, которую мы называем «эфиром», — этой теорией «подорваны основы механики».³⁾ «Вся масса электронов оказывается по произ-

¹⁾ То есть продуктов радиоактивного распада атомов.

²⁾ Ленин. Избр. произв. т. VI, стр. 177.

³⁾ Там же, стр. 153.

¹⁾ Так называемой механике теории относительности, или «релятивистской» механике.

хождению всецело и исключительно электро-динамической». «Физические явления, — цитирует Ленин Рея, — больше не рассматриваются... как особые случаи механических, но механические явления рассматриваются как особый случай физических...»¹⁾ «остается несомненным, — уточняет Ленин, — что (старая) механика была снимком с медленных реальных движений, а новая физика есть снимок с гигантских быстрых реальных движений...»²⁾.

Отвечая в другом месте на слова английского идеалиста Уорда: «Механическая теория как обязательное объяснение мира получила смертельный удар от прогресса самой науки», Ленин ставит вновь, и с еще большей силой, ударение на этом кардинальном пункте:

«Мир есть движущаяся материя, ответим мы, и законы движения этой материи отражает механика по отношению к медленным движениям и электромагнитная теория по отношению к движениям быстрым». Движениям быстрым, но отнюдь не исчерпывающимся механическими перемещениями. Ибо весь конкретный смысл электронной теории, так, как она расшифрована Лениным, заключается в том, что «механическое движение тел превращается в движение того, что есть неведомый заряд неведомого электричества в неведомом эфире»³⁾. По отношению же к движению такого заряда (то-есть, лоренцовского электрона) имеет место «ограничение механических законов движения и подчинение их более глубоким законам электромагнитных явлений».

«Как ни диковинно с точки зрения здравого смысла, — продолжает Ленин, — это... отсутствие у электрона всякой иной массы, кроме электромагнитной, как ни необычно ограничение механического движения только одной областью явлений природы и подчинение

их более глубоким законам электромагнитных явлений, все это только лишнее подтверждение (подчеркнуто Лениным) диалектического материализма»⁴⁾.

В качестве второго и не менее важно-го симптома падения механической физики Ленин расценивает факт разложения атома: первые опыты с радиоактивностью, достигнутые Беккерелем, Рамзаем, Кюри.

«Неразрушимые и неразложимые атомы оказываются разрушенными и разложенными». «Элемент радий удалось превратить в элемент гелий»²⁾.

Поразительная эрудиция Ленина в специальных вопросах атомной физики находит себе здесь, между прочим, выражение в том факте, что с замечательной четкостью В. И. ухватывает и формулирует в 1908 г. модель строения атома в том самом ее виде, в каком она была впервые резюмирована только спустя пять лет Э. Резерфордом и Н. Бором. В дни же написания «Материализма и эмпириокритицизма» модель эта нащупывалась лишь в виде вполне неясных и отрывочных соображений, рассеянных по специальным журналам.

«... Атом удается объяснить как подобие бесконечно-малой солнечной системы, внутри которой вокруг положительных электронов двигаются с определенной быстротой отрицательные электроны».³⁾

Вот эти последние факты, принесшие за собою, повторяем, «разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм материи и ее движения», факты, свидетельствующие об «условности, относительности, подвижности всех граней в природе», — вся эта, вскрытая электронной теорией и опытами радиоактивности «диалектика материальных превращений, проделываемых в лаборатории и на заводе» — и является, — констатирует Ленин, — «опорой диалектического материализма...»⁴⁾

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 149.

²⁾ Там же, стр. 163.

³⁾ Там же, стр. 175.

⁴⁾ Там же, стр. 175.

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 160.

²⁾ Там же, стр. 152.

³⁾ Там же, стр. 153.

⁴⁾ Там же, стр. 175.

Итоговый вывод Ленина об основном теоретико-познавательном смысле физической революции 1900—10 гг. формулируется в следующем виде. Эпоха эта вскрыла «ограниченность атомистически-механического понимания природы», «невозможность признать его пределом наших взглядов», «закостенелость... понятий у писателей, держащихся этого понимания». ¹⁾

Крушение механического материализма и стихийное нащупывание материализма диалектического — вот основная ленинская расшифровка первого этапа новой физики, современным которого Ленин был.

«Страшный вздор, будто материализм утверждает обязательно механическую, а не электромагнитную, не какую-нибудь еще неизмеримо более сложную картину мира, как движущейся материи...» ²⁾

Это положение вещей может казаться сейчас, в 1934 г., в конкретной физике атома чем-то само собою разумеющимся.

Не забудем, однако, что это писалось в 1908 г. Не забудем, что еще в 1923 году можно было прочесть нечто совершенно иное, нечто, отображающее предельную путаницу и предельное извращение событий на физическом фронте. В одном из учебников можно было прочесть нижеследующее:

«Мы считаем вполне возможным переложить... язык гегелевской диалектики на язык современной механики. Против механических обозначений... были протесты. Теперь с учением об электронах... нет никаких оснований бояться механических обозначений»! ³⁾

Не забудем, что между 1908 и 1934 годами лежит целая эпоха напряженных боев ленинизма с механистической ревизией марксо-ленинской позиции в физике. Не забудем, что бои эти не

только не закончены к нынешним дням, но что механицизм и посейчас продолжает оставаться главной опасностью в борьбе на два фронта, которую диалектический материализм ведет в физике, как и во всех остальных науках о природе и об обществе.

Не далее как в 1932 году мы имели в журнале «Электричество» статью З. Цейтлина, ¹⁾ развивающую нижеследующий основной тезис: «Постольку, поскольку, — пишет З. Цейтлин, — в механике доказывается, что всякое перемещение можно изобразить как движение винтовое... — электромагнетизм должен быть какой-либо формой винтового движения...» ²⁾

Еще позже, в октябре 1933 г., та же развернутая программа механицизма в электромагнитной физике повторена А. К. Тимирязевым в известной статье ³⁾, которая получила уже достойный отпор со стороны редакции журнала «Под знаменем марксизма» и к которой нам придется еще вернуться ниже. Сейчас достаточно упомянуть лишь, что в своем новейшем, последовавшем после двухлетнего «накопления материалов» выступлении А. К. Тимирязев декларирует о своем сочувственном отношении к позиции физиков «викторианской» эры, «считавших необходимым объяснить свет как волновое

¹⁾ «О взглядах Фарадея и Максвелла на природу электромагнетизма» «Электричество», № 17—18, 1932 г., стр. 841.

²⁾ Ссылка Цейтлина в тексте его статьи на известные высказывания Энгельса: «всякое движение заключается в себе механическое перемещение больших или мельчайших масс и т. д.» — здесь явно не годится. Не-механическое изменение материи, по Энгельсу, должно с необходимостью включать в себя механическое перемещение каких-либо дискретных объектов, связанных с этой материей. Так, перемещение электронов связано, как мы видели, с внутренними электромагнитными процессами в эфире. Но электроны не суть механически входящие в состав эфира кусочки этого последнего, не суть частицы эфира. Грубым упрощением является, таким образом, представление Цейтлина о том, что параллельно с не-механическим изменением объекта должно обязательно идти механическое перемещение этого же самого объекта. (См. об этом подробно ниже).

³⁾ «Под знаменем марксизма», кн. 5, 1933 г.

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 197.

²⁾ Там же, стр. 174.

³⁾ Бухарин. «Теория исторического материализма». Популярный учебник марксистской социологии. 1923. Стр. 67.

движение в механическом эфире». ¹⁾

На другой странице А. К. Тимирязев заявляет о своем несогласии с тем установленным физикой фактом, что «эфир не может участвовать в механическом перемещении». ²⁾

Итак, спустя 50 лет после крушения «винтового» («вихревого») эфира, после дискредитации всех и всяческих механических объяснений электромагнитных явлений, после неоднократных сокрушительных для механицизма дискуссий в дореволюционное и в советское время, — после всего этого механический эфир снова оказывается живучим и снова протаскивается в электромагнитную теорию теми, кто «ничего не забыл и ничему не научился»...

Учтя все это, станет ясной боевая актуальность всего вышеприведенного ленинского анализа на нынешнем этапе борьбы за диалектическую физику в СССР. Учтя это, сделаются заранее понятными и те последствия, которые несет за собою цеплянье за пройденный механический этап в физике. Не двигаясь дальше механики, мы не только обстаиваем поступательное движение конкретной физики электронов и атомов, но и выдаем эту физику с головой в руки худших руководителей и идеализма, и поповщины.

«Одним словом, «физический» идеализм... означает только то, что одна школа естествоиспытателей в одной отрасли естествознания, не сумев прямо и сразу подняться от метафизического материализма к диалектическому материализму, скатилась к реакционной философии...» ³⁾

Это падение шло и продолжает идти сразу по нескольким, сходящимся в одной точке, путям.

III

Разбирая в одном из своих философских конспектов вопрос о том, что такое философский идеализм и чем он от-

личается от материализма, Ленин писал: ¹⁾

«Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма, философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное... развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолюте, оторванный от природы... Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть («вернее» и «кроме того») дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания...»

Раз так, тогда неудивительно, что на перепутьи физики между механической и диалектической картиной мира, на том переходном этапе, когда физика, по замечанию Ленина, «от атома отошла, а к электрону еще не пришла», кое-кому удалось произвести «раздувание», «распухание» новых фактов и новых открытий так, что они оказались повернутыми лицом к поповщине.

Операцию эту, напомним, взял на себя махизм.

Основным содержанием «Материализма и эмпириокритицизма» является, как также известно, уничтожающий разбор «новой школы в философии», «открытой» венским физиком Эрнстом Махом.

Существенно отметить, что возникновение этой школы есть прямой отклик на социальный заказ реакционной буржуазии в конце XIX и начале XX столетия. Программа заказа: не трогая до поры до времени самого конкретного содержания электронной физики (как незаменимого инструмента новой техники монополистического капитала), приносите к указанному содержанию философский идеализм.

«Спутать два непримиримые основные направления в философии... к этому сводится вся премудрость Маха...» ²⁾

Два основные и непримиримые направления. Различие между ними состоит в том: «от вещей ли идти к ощущениям

¹⁾ «Под знаменем марксизма», 1933 г., кн. 5, стр. 96.

²⁾ Там же, стр. 104.

³⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 199.

¹⁾ «Лен. сборник» 12-й. Стр. 326.

²⁾ Там же. Стр. 79.

и мысли или от мысли и ощущения к вещам»...

Первое есть материализм. Второе — идеализм. «Второй линии держится Мах». ¹⁾ «Выход», даваемый второй линией, при естественном ее развитии, является, как известно, выходом в наиболее последовательную форму идеализма — в солипсизм, в бредовую «философию сумашедшего дома», как назвал ее Шопенгауэр, применивший, впрочем, эту самую философию в своей же собственной книге: «Мир, как (моя) воля и (мое) представление».

Выход, даваемый физике диалектическим материализмом, — есть выход в объективную реальность, выход в живую, бесконечно-изменяющую, переливающую цветами и красками природе.

Задача физики, — как ставит ее Ленин, — «исследовать связь между объективно-реальными материальными телами, образом которых являются наши ощущения».

«Ощущения суть копии действительных вещей и действительных процессов природы». ²⁾ В существовании внешнего оригинала этих копий, оригинала, отражаемого физическим экспериментом и теорией, заключается суть физического материализма, суть ленинской позиции в физике.

«Физическая теория, — говорит Ленин, — есть изображение (или снимок) с природы, с внешнего мира»... ³⁾ «Понятие материи ничего иного, кроме объективной реальности, данной нам в ощущениях, не выражает». ⁴⁾

Гарантией же того обстоятельства, что в этой объективной реальности в этом внешнем мире не обретается ничего похожего на богов, чертей, ангелов, гарантией того, что там не существует ничего другого, кроме движущейся и неограниченно-познаваемой материи, — гарантией всего этого служит тот факт, что «наши ощущения суть образы единственной и последней реаль-

ности, — последней не в том смысле, что она уже познана до конца, а в том, что кроме нее нет и не может быть другой (реальности). ¹⁾

Одна модель и одна теория строения материи может и должна, таким образом, сменяться другой теорией и моделью, более глубоко захватывающей сущность явлений (и включающей в себя предшествующую модель, как первое приближение).

«Мир есть движущаяся материя, которую мы познаем все глубже». «Диалектический материализм настаивает на временном характере вех познания природы наукой. В чера углубление шло не дальше атома, сегодня — не дальше электрона. Электрон также неисчерпаем, как и атом».

После находки физикой «новых видов материи и новых форм движения» — добавляет Ленин, — нужно и в дальнейшем ожидать «разложения считающихся неразложимыми частиц и открытия новых, еще невиданных форм материального движения» ²⁾.

Если бы все содержание ленинских высказываний о физике ограничилось только этой постановкой вопроса о физической материи и только процитированным выше замечательным прогнозом, то этого было бы уже достаточно, чтобы дать развернутую практическую программу действий для международной физической науки на десятилетия вперед.

Так, в полном соответствии с ленинской линией, «планетная» модель атома

¹⁾ «Лен. сборник» 12-й, стр. 95. Этого последнего обстоятельства не поняла, между прочим, меньшевичка Л. Аксельрод, предъявившая Ленину нелепое обвинение в том, что его определение материи как объективной реальности открывает доступ для признания существования... бога. Спрашивается: «ощущал» ли кто-нибудь и когда-нибудь господа бога, кроме клиентов желтых домов и... «научных» сотрудников спиритических лабораторий, расплодившихся в современной буржуазной Европе!

²⁾ Там же, стр. 161.

¹⁾ «Лен. сборник» 12-й, стр. 81.

²⁾ Там же, стр. 80.

³⁾ Там же, стр. 180.

⁴⁾ Там же, стр. 165.

Бора сменилась в 1923 г. открытием более глубокой, не-механической «волновой» картины атома и нового вида материального движения, названного «пси-волной», или «волной де-Бройля» (см. ниже).

Разложенный до электронов и до атомных ядер атом с 1919 года перетерпел дальнейшее разложение, идущее вглубь атомного ядра (расщепленного на протоны). Открытие в 1932—33 г. еще новых и невиданных форм материи: нейтрона и позитрона представляет очередную из предсказанных Лениным вех познания атома. Вместе с тем штурм материи направляется еще дальше: внутрь тех частиц, из которых построено само атомное ядро, — внутрь протонов. Расщепление протона Фредериком Жолио¹⁾, совершившееся в августе 1933 г. в Париже, является здесь одним из тех всемирно-исторических триумфов материалистической диалектики в естествознании, для которого Ленин, будь он жив, без сомнения, нашел бы свою исчерпывающую и мощную оценку.

Непосредственная боевая директива дальнейших действий, даваемая ленинизмом физике на данном участке атомно-ядерного фронта, столь же ясна и бесспорна.

Закрепив открытие нейтрона и позитрона, надо идти дальше: идти вглубь нейтрона, а вслед за тем вглубь электрона и позитрона!

Сюда движет атомно-ядерную физику ленинизм. С не меньшей силой ленинский анализ вторгается сейчас и в центральные пункты современной термодинамики²⁾: проблему взаимоотношения между материей и энергией.

IV

От кардинального вопроса о том, что такое «энергия», вооруженные, казалось бы, до зубов профессионалы самой бур-

жуазной термодинамики, даже в лучшие ее времена, отделялись лишь агностически-нечленораздельными ответами. Ленин первым (если учесть, что рукописи «Диалектики природы» Энгельса в то время не были еще известны) дал физике вполне ясное и четкое определение энергии.

Энергия есть показатель факта движения материи. Энергия, — углубляя это определение, — есть физическая величина, отражающая интенсивность процесса движения (изменения) материи. В частном случае механического движения энергия (кинетическая энергия) оказывается просто пропорциональной квадрату скорости перемещения.

Существование разных форм энергии (механической, электрической и пр.), — подчеркивает Ленин, — в точности соответствует многообразию форм движения в диалектически устроенной природе.

Уже на этой стадии истории проблемы ленинский анализ убил наповал, как известно, так называемое «энергетическое мировоззрение» В. Оствальда¹⁾ представлявшее собою первый конкретный дебют махизма в физике.

Вот один из узоров этого последнего «мировоззрения»:

«Когда палка ударяется и причиняет вам боль, что вы ощущаете: самое палку или ее кинетическую энергию?» «Если бы не было кинетической энергии палки, не было бы болевого от нее ощущения. Если бы не существовало световой энергии палки, нельзя было бы ее видеть. Если бы не было энергии сопротивления внешнему давлению на палку, не было бы осязания палки» («материя есть ощущение объема»). И так далее. «Палка», в общем итоге, расшифровывается как «комплекс разрядов энергии». Материя «сводится» к энергии. Физика — к термодинамике. Материализм «упраздняется» и заменяется «энергетической философией».

Истинная суть последней была разоблачена Лениным. Сказать, что «пал-

¹⁾ См. об этом в «Научном обозрении» «Нового мира», кн. 11, 1933 г.

²⁾ Термодинамика — раздел физики, изучающий законы выделения, поглощения и обмена энергии между телами.

¹⁾ Оствальд. «Лекции по химии».

ка» есть «комплекс энергий» (комплекс движений) и остановиться на этом, — указывает Ленин, — есть нелепость. Потому что нет и не может существовать движение без «того, что движется». «Чистая» энергия, оторванная от своего носителя, материю, — это все равно, что сказуемое, взятое без подлежащего. И остальдовское «устранение материи как «подлежащего» из природы означает, — пишет Ленин, — молчаливое допущение мысли как подлежащего...»

Раз «нет» вокруг меня материи, то движется что? Двигаются мои мысли, «происходит смена моих ощущений», «о них представлений. «И баста». «Подлежащим» в физике становится ощущение. «Оторвать движение от материи поэтому равносильно тому, чтобы оторвать мои ощущения от внешнего мира, то есть перейти на сторону идеализма». ¹⁾

«Комплекс энергий» Вильгельма Оствальда оказывается на поверку не чем иным, как «комплексом ощущений» Эрнста Маха. «Энергетическое» же мировоззрение расшифровывается как субъективный идеализм (более «экономного» мышления в физике, — иронически добавляет Ленин, — трудно себе и представить!).

Исторической победой диалектического материализма в естествознании является здесь тот бесспорный, но, к сожалению, мало освещавшийся факт, что сама конкретная физика в годы, следовавшие после написания вышецитированных ленинских строк, стихийно пошла в коренном вопросе об энергии не по махистскому, а по ленинскому пути.

Мы имеем в виду вывод теорией относительности Эйнштейна знаменитой «формулы эквивалентности между материей и энергией», формулы, имеющей весьма простой вид: $E = c^2 M$, где E — энергия данного тела в состоянии относительного покоя, M — его масса, c^2 — постоянный множитель пропорциональности (равный по величине квадрату скорости света).

О чем говорит эта формула, являющаяся крупнейшим достижением Эйнштейна как автора стихийно-материалистической, в основном, теории?

Она, формула эта, непосредственно устанавливает прежде всего тот факт, что всякое изменение величины энергии в данном куске материи неизбежно связано с пропорциональным изменением его массы. Энергия, напомним, по ленинскому определению, есть показатель состояния движения тел. Масса есть количество вещества, содержащегося в теле. Таким образом, глубокое теоретико-познавательное содержание формулы Эйнштейна заключается в том, что формула эта конкретно отображает вскрытую Лениным принципиальную неотделимость, неразрывность материи и энергии.

До открытия этой формулы молчаливо предполагалось, что при потере (при излучении) энергии, например нагретым телом, излученная энергия перемещается в пространстве как некая отдельная, не связанная ни с каким носителем сущность. Так, исторически, возник и имеет «по традиции» хождение и до сих пор термин «лучистая энергия», под который подводятся свет, радио и другие виды электромагнитных излучений. Формула Эйнштейна покончила с этим недоразумением. Доказав, что всякое испускание и всякое поглощение энергии телом сопровождается — соответственно — убылью или прибылью его массы, формула Эйнштейна показала тем самым, что нет и не может быть в природе передачи «чистой энергии», но что энергия может переноситься только вместе с веществом.

В частности: каждый раз, когда тело приобретает энергию извне, оно — по точному смыслу формулы Эйнштейна — получает эту энергию вместе с соответствующим кусочком материи (ибо масса тела после поглощения энергии возрастает). Наоборот, когда тело испускает энергию в окружающее пространство, речь идет вовсе не об испускании «чистой энергии», но прежде всего об отпочковании от тела определенного количества

¹⁾ Ленин. Избр. произв. т. VI, стр. 164—167.

его вещества¹⁾, вместе с которм уходит в пространство—как вторичный эффект — и соответствующее количество энергии. Масса тела, в общем итоге, убывает.

Количественный закон, указывающий, сколько именно передается эргов (единиц) энергии, когда передается один грамм массы, и дается формулой Эйнштейна.

После этого ясно, что в пространстве, где распространяется свет, радио и прочие разновидности так называемой «лучистой энергии», нужно, применяя ленинский анализ, различать по сути дела два совершенно разных, хотя и неразрывно связанных между собою, процесса. Во-первых — перемещение «кусочков» материи особого качества (можно было бы назвать ее «лучистой материей») И, во-вторых, перемещение несомой этой материей энергии («лучистой энергии»).

Вот этот, целиком вытекающий из ленинской концепции энергии, факт, гласящий, что свет есть разновидность материи особого рода, и получил, как известно, блестящее подтверждение во всех последующих открытиях физики, — открытиях, показавших, что свет, как и материя обычного типа, состоит из атомов (названных «фотонами», или «квантами света») с собственной массой, собственным вращением вокруг оси и т. д.

Нельзя не усмотреть далее могучей, идейной победы ленинизма в физике и в том факте, что крупнейшие из исследователей, стоявших раньше на чисто идеалистической позиции (и не вполне преодолевших эту позицию и ныне), под давлением событий встают на путь решительного признания материальности света и всей так называемой «лучистой энергии», взятой в целом. Такое именно признание мы читаем в последней (1933) работе виднейшего

из советских физиков-теоретиков, являющегося вместе с тем одним из руководящих работников этой дисциплины в международном масштабе:

«Световой квант обычно рассматривают как квант энергии. Это, по существу, неверно, так как количество движения столь же существенно для светового кванта, как и энергия, и от нее неотделимо». «Предпочтение, оказываемое энергии... объясняется историей¹⁾. И так далее.

Второе, заслуживающее полного внимания, значение формулы Эйнштейна заключается в том, что она бьет механицизм в самом его корне. Она устанавливает—на самом деле—что процессы физического движения не исчерпываются одним лишь механическим перемещением, поскольку всякое тело, даже и в состоянии относительного механического покоя, оказывается—согласно этой формуле—обладающим определенным количеством энергии, то-есть оказывается «незримо» находящимся в состоянии физического изменения.

Новое подтверждение диалектического материализма, новое подтверждение ленинской позиции в физике.

Перевооружившийся в последние годы физический идеализм ухитрился, однако, перемотать весь этот клубок событий на совсем другой моток!

Отправной пункт фальсификации заключался в том, что от физической величины массы отнимается ее объективно-реальное значение,—значение количества вещества в данном объеме движущейся материи. Раз так, если «масса» более не является количеством вещества, но лишь неким математическим коэффициентом в неких уравнениях, тогда факт изменения массы тел при испускании и поглощении энергии может быть «объяснен» новым и весьма «простым» образом.

Чистая энергия обладает массой! Вместе с «чистой» энергией «уносится»

¹⁾ Претерпевающего при этом и определяющее качественное преобразование, то-есть «отпочковавшиеся» (излученные) кусочки вещества качественно не похожи на первоначальную, обычную материю излучающего тела. Об этом ниже.

¹⁾ А. И. Френкель. Волновая механика. ГТИ. 1933. Стр. 22.

или «приносится» к телам определенное количество массы. Отсюда дальнейший «вывод»: раз энергия обладает массой и раз материи тоже присуще «свойство» массы, «следовательно», «материя есть вид энергии». Или, еще иначе, «материя — сгущенная энергия»¹⁾.

Итак, в 1929—34 гг., спустя 25 лет после ленинской атаки на реакционную остальдовщину, материя опять, и на этот раз на «солидной» базе целого физического уравнения, «перестает существовать». Материя превращается в призрак, в основе которого лежит энергия, то-есть голое движение, оторванное от «того, что движется»...

Но этого мало! В середине 1933 г. известные уже нашему читателю²⁾ наблюдения над вновь открытой частицей материи: позитроном, показали, что существование этой частицы является большей частью кратковременным. Вылетев прочь из ядра, позитрон и вместе с ним в паре один электрон внезапно «исчезают» из поля зрения эксперимента, после чего единственным следом от них оказывается струйка коротковолнового света (два фотона гамма-лучей), улетающая в пространство.

С точки зрения «теории» «чистой» (и притом обладающей массой) энергии, этот процесс «может» быть, очевидно, описан как «исчезновение» материи позитрона и электрона с «превращением» этой материи «нацело» «в энергию». Он и описывается, этот процесс, современной буржуазной физикой именно в таком духе, под звучным названием «аннигиляции материи». «Аннигиляция» (от латинского nihil—«ничего») — «уничтожение».

Но если материя может «аннигилиро-

¹⁾ Ср. например: «...Всякая энергия обладает массой». Положение можно формулировать и так: всякая материя тождественна с энергией. Мы должны, хотя бы пока только теоретически, допустить возможность превращения материи в энергию, причем эта материя перестала бы существовать». О. Л. Хольсон. «Физика наших дней». 1929. Стр. 35.

²⁾ См. «Новый мир», кн. 11, 1933 г.

ваться», то кто помешает ей и «сгущаться» из ничего, то-бишь, «из энергии»? В недавно произведенном и также уже сообщенном нами своевременно на страницах «Нового мира»¹⁾ опыте Ф. Жолио, частица (фотон) гамма-лучей, ударившись об атомное ядро, прекращала свое существование, и на ее месте «рождались» электрон и позитрон. Этот последний опыт, как и следовало ожидать, получил столь же глубокомысленное название «материализации», то-есть возникновение материи «из энергии».

После сделанного выше разбора не нужно уже долго расшифровывать истинный смысл этих экспериментов, на которых пытается спекулировать современный физический идеализм. Не нужно говорить, что в первом из выше описанных явлений («аннигиляция») две частицы обычной материи: электрон и позитрон превращаются фактически в одну частицу материи другого качества, называемой гамма-светом, и при этом общее количество (общая масса) участвующего в таком процессе вещества, по всем правилам старика Лавуазье, никуда не девается и нигде не возникает.

Не нужно разъяснять, что во втором явлении («материализация») частица материи, называемой «светом» (гамма-лучами), превращается, наоборот, в две частицы материи другого (обычного) вида, называемые: «электрон» и «позитрон». При этом, опять, масса (количество вещества) гамма-фотона разделяется поровну между электроном и позитроном, и, с другой стороны, энергия, несомая этим фотоном, переходит, после переформирования его в электрон и позитрон, к последним. Не нужно, наконец, подчеркивать, что оба эти открытия поразительным образом подтверждают то, цитированное уже, указание Ленина, что наряду с неисчерпаемостью физической материи должна иметь место и «изменчивость в сёх (подчеркнуто Лениным) форм материи и ее движения».

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 11, 1933 г.

Остается только добавить, что самой новейшей платформой механицизма в физике, выкинутая, как говорилось уже, в конце 1933 г. в статье А. К. Тимирязева, посвятив множество страниц идеалистической энергетике, не удосужилась ни одним словом остановиться на конкретном узлом в пункте всего вопроса, не удосужилась остановиться на анализе формулы Эйнштейна, на проблеме аннигиляции и материализации, на понятиях массы и лучистой энергии—на всем том, что является единственно существенным и актуальным в этой области в переживаемый исторический момент.

Но это и понятно. Формула Эйнштейна своим объективно-материалистическим ядром разносит вдребезги убогие хибарки механицизма. Вот почему механисты, как чорт ладана, боятся прикоснуться по-настоящему к этой формуле, боятся разворошить ее теоретико-познавательное содержимое.

Но вместо всего этого, вместо отпора физическому идеализму на его же собственной конкретно-физической почве, вместо дачи боя на территории врага, указанная «нео»-платформа по части данной проблемы ограничивается лишь бессодержательным хныканьем по адресу злых дядей-идеалистов, подбором залежалых цитат да размахиванием картонным мечом («мы покажем»), никому не опасным и никого не убеждающим.



Переходим к другому стратегическому пункту классовой борьбы, кипящей сейчас в физике: к вопросу об эфире.

V

Мы оставили в первых разделах этой статьи материалистическую физику на этапе открытия электронной теории, вложившей новый смысл в электромагнитные уравнения Максвелла, приведя их в соответствие с мельчайшими материальными частицами: электронами. Уравнения эти, напомним, оказались невозможным истолковать как уравнения механического перемещения (вихрей,

упругих волн и пр.). Уравнения Максвелла расшифровывались как законы особой (не сводимой к перемещению) формы движения,—движения, происходящего в особой (непрерывной) форме материи, условно называемой эфиром.

Но здесь «возможен», очевидно, и несколько иной вариант решения проблемы.

Раз является доказанным, что электромагнитные уравнения Максвелла не поддаются никакой механической трактовке, то-есть за кулисами этих уравнений «никто» не перемещается, и раз, заранее, фальшиво устраняется возможность существования других видов движения, кроме механического,—тогда, за кулисами упомянутых уравнений, вообще не оказывается никакая материя. Не оказываются никакие движущиеся вещи, никакие предметы, существующие вне и независимо от головы теоретика.

Огкровеннее всего этот маневр выболтан в самые последние годы Э. Кассирера¹⁾:

«Под самостоятельной физической реальностью электромагнитного поля,—пишет названный известный философ (особо специализировавшийся на идеалистической фальсификации физики),—должна пониматься только действительность... закономерных отношений, получающих свое выражение в уравнениях Максвелла—Герца».

Какие же отношения отображают, по мнению Кассирера, уравнения Максвелла? Отношения чего с чем? Может быть, здесь разумеются отношения между объективными вещами: эфиром, электронами, атомами, какими-нибудь другими предметами и телами?

Огнюдь нет. Речь идет о «законосообразной совокупности отношений между... понятиями». Понятиями, возникающими в человеческом уме и дальше этого ума никуда не уходящими. Ибо кто сказал, что вообще существуют какие-либо вещи вне ума, что надо «держаться почвы вещно-материального представления»!..

¹⁾ Э. Кассирер. «Теория относительности Эйнштейна». Рус. перевод Берковича и Колубовского. 1922. Стр. 49—74.

Кто сказал, что надо в физике «исходить из гипотетического существования определенных веществ и деятелей»? По мнению Кассирера, безо всех этих материалистических «наивностей» можно отлично обойтись.

Материальным предметам (электронам, эфиру, электромагнитным волнам), связываемым с уравнениями Максвелла, «не соответствует», по Кассиреру, «никакой оригинал, которому наши чувственные представления более или менее соответствуют». Но все эти предметы представляют, — повторяет наш философ, — лишь «понятия, по отношению к которым чувственные представления приобретают законченное единство».

Итак, в полном соответствии с махистской схемой, материя оказывается лишь «единством представлений» (ощущений), лишь комплексом «понятий ума». Физические же уравнения выступают тогда как более или менее удачная комбинация этих понятий, сцепляемых с помощью математических значков, букв, цифр и прочих символов, избираемых для собственного удобства тем же самым человеческим умом...

«Они (уравнения Максвелла) устанавливаются как последняя реальность, как... последний предмет физического знания»¹⁾.

«Материя исчезает, остаются одни уравнения!»²⁾

Этой знаменитой ленинской формулировкой схвачена, как известно, суть генеральной линии махизма в его частном применении к физике. В конкретной области электромагнетизма эта махистская директива не замедлила привести к вполне определенным деловым последствиям.

Мы будем говорить об эфире.

Последний удар по механическому эфиру нанесла, напомним, теория относительности Эйнштейна (доказавшая, что понятия: «относительный покой» и «относительное перемещение» не приме-

нимы к эфиру). Из этого последнего события, как подчеркивалось уже выше, ничуть не следовало и не следует, что сам эфир как носитель непрерывных свойств мировой материи вообще не существует.

Реальность материального эфира доказывается уже бессмысленностью понятия «пустое пространство». Пространство есть одна из форм существования материи, и непрерывность пространства есть отражение непрерывной стороны бытия самой материи.

Пространство без «наполняющего» его субстрата есть, таким образом, чистый гносеологический абсурд.

Реальность эфира в конкретной физике столь же непосредственно доказывается тем фактом, что уравнения Максвелла даетя непрерывное пространственное распределение величин электрического и магнитного напряжений E и H . Уравнения эти уславливают в частности, что в каждой точке пространства, при прохождении сквозь него световой или радиоволны, происходит периодическое («колебательное») изменение упомянутых величин E и H .

Носителем этих величин не может не быть материя особого (не изученного еще) рода, распростертая по всему мировому пространству.

«Электромагнитная теория, — указывает Ленин, — ...доказала, что свет и электричество суть формы движения одного и того же вещества: эфира»¹⁾.

Радиоволна в этой новой, немеханической трактовке остается, таким образом, как процесс объективно-реального колебательного движения материи, но под словом «колебание» следует понимать теперь не механическое маятникообразное качание каких-либо частиц, а «волнообразное» (то-есть изображаемое на графике в виде синусоидальной кривой) количественное изменение во времени определенных показателей материи эфира. В частности тех

1) Э. Кассирер. Теория относительности и т. д. Стр. 49.

2) Ленин. Избр. произв. т. VI, стр. 196.

1) Ленин. Избр. произв. т. VI.

показателей, которые и носят название «электрического» и «магнитного» напряжений E и H .

Занималась ли, спрашивается, буржуазная физика на протяжении всех истекших десятилетий конкретным изучением свойств и структуры этой последней материи: эфира?

Следуя прямой махистской директиве, она предпочла гораздо более «простой» и «экономичный» выход. Заместителем механического эфира в европейской физике XX века оказалась... абсолютная пустота! Электрический и магнитный векторы E и H лишились какого бы то ни было носителя.

«Эфира не существует», — прокламировал еще в 1912 г. один из ведущих теоретиков, П. С. Эренфест. «Пространство между электронами пусто». Пространство между электронами заполнено, точнее говоря, голыми математическими значками («материя исчезает, остаются одни уравнения») E и H .

Вот эта идеалистическая «ликвидация эфира» и зафиксирована в настоящее время, вполне официально, большинством учебников по электричеству и магнетизму, изданных не только за советским, но, к сожалению, иногда и внутри советского рубежа.

На «борьбе» против этой ликвидации и надеются в настоящее время сколотить себе философский капиталец остатки разгромленного механицизма. Тот факт, что «борьба» эта, в лучшем случае, ограничивается истошными и вполне бессодержательными криками, с помощью которых механисты, повидимому, надеются «решить» все подлинно-серьезные затруднения, связанные с проблемой эфира, — этот, сам по себе достаточно показательный, факт был бы еще полбеды... Гораздо серьезнее то, что новейший механицизм в физике, как отмечалось уже выше, искажает диалектику — материалистическую, ленинскую постановку вопроса об эфире, дезориентирует советскую физику в этом узловом вопросе, играя тем самым на-руку идеалистическим ликвидаторам эфира и фактически помогая им.

В § 3 своей «платформы»¹⁾ А. К. Тимирязев обрушивается на совершенно правильное утверждение видного советского специалиста проф. Я. Н. Шпильрейна, писавшего, что, «решение задачи (эфира) во всяком случае не может быть осуществлено путем построения механической модели эфира».

При этом А. К. Тимирязев и его коллеги не устали ссылаться на широко известное положение Энгельса:

«Всякое движение включает в себе механическое движение и перемещение больших или мельчайших масс; познать это механическое движение является первой задачей, однако лишь первой задачей, физики. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще.»²⁾

Отсюда делается «вывод», что наряду с «высшими» не-механическими формами изменения материи эфира должны якобы иметь место и механические перемещения частей и частиц этого же самого эфира: в стиле «натяжений» Фарадея, «вихрей» Максвелла и т. п.

Нужно раз и навсегда вскрыть это глубочайшее недоразумение.

Энгельс с гениальной прозорливостью установил тот факт, что нет и не может быть не-механического процесса в материальной природе, который не был бы связан и не «заключал» бы в себе в качестве одного из звеньев механического перемещения частиц.

Но не-механические процессы в эфире — как-раз в соответствии с предсказанием Энгельса — и связаны, как указывалось уже выше, с механическим перемещением частиц, а именно электронов! Больше того: теория относительности Эйнштейна, как также отмечалось выше, дала в общих чертах требуемое согласование, требуемую связь между уравнениями не-механических процессов в эфире (уравнениями Максвелла) и законами электронной механики (так называемыми «преобразованиями Лоренца»). Поэтому «язвительное» восклицание Тимирязева:

¹⁾ Под знаменем марксизма, № 5, 1933, стр. 94.

²⁾ Энгельс. «Диалектика природы».

«теперь принято говорить, что между механикой и электродинамикой... ничего общего нет, и кто об этом намекнет, тот злостный механист! А что поделаешь, если эта связь существует!» является передержкой и холостым выстрелом.

Связь между механикой и электродинамикой, бесспорно, существует. Весь вопрос однако в том: как мыслят себе эту связь механисты и как она выглядит на самом деле.

Механисты, грубо упрощая и выходящая диалектику Энгельса—Ленина, хотят, повторяем, чтобы наряду с немеханическими изменениями эфира существовали и механические перемещения этого же самого эфира. Они хотят «построить» эфир из перемещающихся частиц, копируя твердые и жидкие и газообразные тела обычной физики и забывая о непрерывности той же самой материи.

Здесь гвоздь проблемы.

Мы имеем, как известно, в физической материи синтез свойств прерывности и непрерывности. Единая мировая материя в одно и то же время и прерывна, и непрерывна. Проявлением прерывности физической материи является факт концентрации двух ее важных атрибутов («заряда» и «массы») в дискретных участках пространства, называемых электронами, позитронами, нейтронами.

Проявлением непрерывности той же самой материи является распространенный по всему бесконечному пространству «эфир».

Что отсюда следует? Отсюда следует:

Во-первых, что «эфир» сам по себе вовсе не есть, как думают механисты, какой-либо самостоятельный субстрат, какое-либо «тело», построенное по образцу «жидких», «твердых» и пр. тел макрофизики, но есть непрерывностное проявление единого материального субстрата мира. Эфир есть отображение той стороны существования материи, которая существенно связана с пространственной непрерывностью. Непрерывность эфира, еще иначе говоря, есть непрерывность имманентная, внутренне-присущая данному проявлению бытия материи.

Во-вторых, бессмысленно «разлагать» эфир на «частицы», потому что строение из частиц, корпускулярность, дискретность есть отображение *par excellence* прерывного лика материи.

В третьих, столь же нелепо «связывать» с немеханическими процессами, изборождающими эфир, какие бы то ни было механические перемещения самого эфира или его частей. Потому что механическое перемещение *par excellence* есть атрибут прерывного лика, прерывной стороны бытия материи: электронов, позитронов, нейтронов.

И тогда совершенно ясно, что немеханические процессы материи, протекающие в эфире, целиком и полностью связаны с механическими перемещениями обычных тел, построенных из электронов, нейтронов и позитронов, потому что и эфир, и электроны, нейтроны, позитроны представляют собой только два лица, две взаимно-проникающие стороны бытия одной и той же объективно-реальной материи.

Предлагая «дробить» эфир на механически движущиеся «атомы», механицизм обнаруживает, в общем итоге, плоскость мышления, не менее выдающуюся, чем тот (по выражению Энгельса) «горячечный бред», который присущ их врагам из идеалистического лагеря, вообще отрицающего бытие эфира!

Только ленинская установка в физике дает сейчас науке об электромагнитных явлениях прямой выход и прямую перспективу работ в подвергнутой столь крупным искажениям области, какую является проблема эфира.

«Существует ли... эфир, — спрашивает Ленин, — как объективная реальность?» «На этот вопрос естествоиспытатели... должны ответить: да»¹⁾.

В другом месте 5-й главы «Материализма и эмпириокритицизма» Ленин несколько раз подчеркивает факт существования «новых видов движе-

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 160.

ния материи», как наиболее существенный момент всех открытий, сделанных к 1900—09 гг. в области электромагнетизма.

Ленинская установка в физике бьет, таким образом, карточные домки, бесплодно созидаемые плоским механицизмом в области эфира. Установка эта, с другой стороны, настоятельно требует от советских исследователей сломить, наконец, тот многолетний упорный саботаж эфира, который искусственно поддерживается махизмом в европейской физике и который «по наследству» перешел в физику советскую, тормозя и дезорганизуя ее поступательное движение.

Нужно согласиться в заключение с т. Егоршиным, что «без обстоятельного изучения физической природы эфира как вида материи физика не продвинется далеко вперед... Надо суметь при этом подойти к эфиру не механически...»¹⁾

VI

Столь же плодотворным оказывается применение ленинского анализа к той новой замечательной форме материального движения, которая была открыта, в основном, уже после смерти В. И. и носит название «волны материи». Открытие это углубило связь прерывности и непрерывности вещества, вчерне намеченную электронной теорией Лоренца. Связь дискретных электронов с непрерывным субстратом мира оказывается глубже. Эта связь переходит уже во взаимопроникновение обеих сущностей (электронов и эфира), — взаимопроникновение, представляющее собой типичный пример стихийного применения диалектики в физике.

Работы де-Бройля (1923) и Шредингера (1926) вскрыли, напомним, что каждый электрон, будучи локализован в мельчайшем объеме, в то же самое время является участником движения особого рода, охватывающего все бесконечное мировое пространство. Конкретно говоря, с каждым электроном оказывается связанным «поле» некоторой, бес-

престанно меняющейся физической величины — «пси», непрерывно распределенной по всем точкам пространства, подобно тому, как это имеет место с электрическим и магнитным напряжениями E и H , то-есть, с полями электрическим и магнитным.

При этом характер изменения величины «пси», в зависимости от времени, математически аналогичен характеру изменения электрического и магнитного напряжений E и H в процессе распространения радиоволны.

Изменение величины происходит, другими словами, «по колебательному» (в смысле периодичности изменений) закону. Уравнение изменения величины «пси» — еще иначе говоря — есть уравнение волнового типа. Именно в силу этого последнего обстоятельства с электронами и была ассоциирована в 1924—26 гг. так называемая «волна материи» («волна де-Бройля»), не представляющая собою, разумеется, никакого упруго-колебательного движения в механическом смысле («колеблются» здесь, повторяем, не частицы в пространстве, а определенные физические показатели материи во времени).

Является ли однако, спрашивается, чисто-формальное математическое сходство с уравнения де-Бройля — Шредингера с уравнением распространения электромагнитных и всяких вообще волн, — является ли это сходство достаточной гарантией для утверждения действительного существования «пси»-волны, как объективно-реального, колебательного (хотя и не механического) процесса, разыгрывающегося в некоторой непрерывной материи?

Диалектический материализм, устами Ленина, отвечает здесь: «да».

Нужно выписать целиком это замечательное место «Материализма и эмпириокритицизма», дающее по существу своему решение узлового вопроса современной волновой механики и ключ ко всему дальнейшему развитию этой последней. Гвоздь вопроса в том, является ли, как только-что было сказано, «пси»-волна об'ек-

¹⁾ «Под знаменем марксизма», № 2, 1933 г., стр. 258.

тивно реальным колебательным процессом, или же эта величина есть только математический символ, могущий иметь и совершенно другое физическое значение.

«Единство природы, — говорит Ленин, цитируя попутно Больцманна, — обнаруживается в поразительной аналогичности дифференциальных уравнений, относящихся к разным областям явлений».

«Теми же самыми уравнениями можно решать вопросы гидродинамики и теории потенциалов. Теория вихрей в жидкостях и теория трения газов обнаруживают поразительную аналогию с теорией электромагнетизма и т. д.» «Люди... — продолжает Ленин, — никак не увернутся от вопроса, кто же это так единообразно догадался «подставить» физическую природу...»¹⁾

Если взять за исходную точку существование объективно-реальной природы, отражаемой уравнениями теоретической физики (и если сбросить со счетов вмешательство господ бога!), то каким чудом, разумеется, не могло бы возникнуть «случайное» совпадение между формой уравнения волн в жидкостях и газах и электромагнитных волн в эфире. Сходство в форме соответствующих уравнений, с ленинской точки зрения, не может не отражать сходства (единства) обеих форм движения, как колебательных материальных процессов (хотя и разного, в одном случае — механического, в другом — немеханического, качества).

Вышеприведенное высказывание Ленина открывает, таким образом, перед физической теорией конкретную программу работ в области дальнейшего развертывания волновой механики, — работ, заторможенных сейчас в результате общего кризисного загнивания буржуазных наук о природе, а также специальных мер саботажа, принятых здесь махистской агентурой в физике (см. ниже).

В соответствии с генеральной марксо-ленинской линией в естествознании упор должен быть, опять и опять, взят здесь на исследование материального

носителя того колебательного процесса, который выражен волновым уравнением Шредингера и волновой функцией «пси». Этим носителем должен, с очевидностью, быть тот же единый непрерывный субстрат вселенной, который является ареной и электрического, и магнитного полей, — эфир. Вспомним, что поля E и H , подобно полю «пси», находятся в тесной и неразрывной связи с электронами. Главное отличие между полем «пси», с одной стороны, и полями E и H — с другой, заключается однако в том, что электрическое и магнитное поля при определенных условиях (в электростатике и магнитостатике) могут становиться постоянными. Они могут как бы «застывать» (величины E и H тогда не меняются со временем). Что же касается функции «пси», то при всех условиях ни на одно мгновение, ни в одной точке пространства она не остается постоянной, но изменяется (по периодическому, как сказано, закону). Это показывает, что с открытием поля «пси» физика углубляется гораздо дальше внутрь эфира по сравнению с полями E и H . Это показывает, что поле «пси» в гораздо большей степени отражает те внутренние, сокровенные процессы изменения эфира, которые остаются еще, в основном, за семью печатями для физики.

Очередной задачей является тогда разыскание этих последних процессов, что может быть, повидимому, вернее всего достигнуто посредством анализа внутренней связи между полями «пси», E и H . Найти такое обобщение уравнений Максвелла, в которое вошли бы все три характерные для материального эфира величины: «пси», E и H , повторяем, вот один из мыслимых путей развития волновой механики.

Физический идеализм в 1927—1933 гг. встал на другой путь.

Он вычеркнул из физики — работами махистов Борна, Гейзенберга, Паули и др. — волну материи (волну де-Бройля), как объективно-реальный колебательный процесс в эфире. Он вычеркнул в очередной раз эфир как носитель волновой функции

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 181.

«пси» и ее непрерывного пространственного поля. Он погрузил опять и опять электроны в «пустоту», допустив спиритическое «действие на расстояние» одних электронов на другие, высмеянное еще 250 лет тому назад Ньютоном в его известном письме к Бентли.

И наконец, что самое важное, физический идеализм сумел вложить в оставшееся «не у дел» после «исчезновения материи» «пси»-волновое уравнение — другой, угодный ему смысл.

Воспользовавшись тем, что в каждой области пространства, занятой волной де-Бройля, квадрат амплитуды (размаха колебаний) волны пропорционален плотности (густоте) потока электронов, с этой волной связанных, учтя далее, что относительная плотность потока электронов, проходящих сквозь данный объем, пропорциональна относительной вероятности для одного электрона очутиться в этом объеме, — приняв все это во внимание, физический идеализм истолковал в 1928 г. волновую функцию «пси» не как реально-колеблющуюся величину, связанную с материей эфира, а как вероятность нахождения электрона в разных точках пространства.

Последствия этой единственной в своем роде в истории науки фальсификации известны уже в общих чертах читателю¹⁾.

Вместе с этими последствиями мы выходим уже однако за пределы того «кризиса в физике», который был проанализирован Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» и который сменился в 1927—33 г. качественно иной ситуацией. Эта новая фаза кризиса, во всем ее своеобразии, была также предугадана Лениным, давшим краткий, но исчерпывающий прогноз смысла атаки идеализма на физическом фронте, развернувшейся полностью уже после смерти Ильича.

VII

Подводя итоги положения на физическом фронте в 1900—1907 гг., Ленин

¹⁾ См. нашу статью «Вопрос о причинности в современной физике». «Новый мир», № 2. 1933 г.

констатирует, что наступление идеологической реакции в этот период времени не затронуло в основном прогрессивного развития физики.

«Разгоревшаяся борьба, — писал Ленин, — ведется по поводу тех или иных выводов из новой физики». «Различие обоих школ в современной физике, — говорит он в другом месте, — только философское, только гносеологическое... Разница только в том, что одна (школа) признает объективную реальность, отражаемую теорией, а другая считает теорию только систематизацией опыта».¹⁾

В этом смысле вскрытый Лениным «кризис физики» 1900—1910 гг., по существу своему, был не столько кризисом практической работы физики, не столько кризисом в лабораториях экспериментаторов и на рабочих столах теоретиков, сколько «кризисом в головах» отдельных исследователей, не сумевших переварить и осмыслить содержание добытых ими фактов. «Что ряд крупных физиков гнет в наше время (в 1900—1910 гг.—В. Л.) к философскому идеализму», что физики эти «свихнулись в идеализм, потому что не знали диалектики, — это бесспорно...»²⁾. Но столь же бесспорно и то, что в эпоху технической экспансивности монополистического капитала, в эпоху развертывания электровакуумной (целиком возросшей на электронной теории) и прочей промышленности, что в эту эпоху поповский агитпроп трестов и синдикатов не помышлял еще о систематическом вмешательстве в повседневную работу физической теории. Программа «культурного фидеизма», то-есть филиала поповщины в науке, в этот исторический период, как оценивает Ленин, была еще сравнительно весьма умеренной программой.

«Мы вам отдадим науку, гг. естествоиспытатели, отдайте нам гносеологию, философию, — таково условие сожительства теологов и профессоров в передовых капиталистических странах...»³⁾.

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 170. Подчеркнуто всюду мной. — В. Л.

²⁾ Там же, стр. 193.

³⁾ Там же, стр. 175.

За 25 лет, истекших со времени написания этих строк, «передовые капиталистические страны» сделали еще один существенный шаг «вперед». Этот шаг заключается в снятии демаркационной линии, разграничивавшей сферы влияния между «профессорами и теологами». Перемологий в мясорубке войны и кризиса капитализм, как известно, не нуждается более в адекватном исследовании объективно-реальной материи, но заинтересован, наоборот, в свертывании этого исследования, питающего технику, а тем самым и промышленное производство в странах капитала. Капитализм заинтересован ныне в сращивании физики и религии, в фальсификации и самого содержания физической теории и теоретического естествознания, взятого в целом, превращаемого теперь в простой придаток к фашистским министерствам пропаганды.

По какому конкретному пути должна была пойти буржуазная физика на этом новом этапе кризиса?

Мы читаем у Ленина предвидение этого наступившего спустя 20 с лишним лет после выхода в свет «Материализма и эмпириокритицизма» поворота событий.

Оценивая книгу Гартмана (хорошо известного «партийно-непримиримого идеалиста»; «беспартийные люди в философии, — добавляет Ленин, — такие же безнадежные тупицы, как и в политике»), Ленин отмечает:

«Гартман правильно чувствует, что идеализм новой (то-есть относящейся к 1900—08 гг. — В. Л.) физики — именно мода, а не серьезный философский поворот»: поворот самого содержания физической науки «прочь от естественно-научного материализма...»

Как может однако произойти в будущем подобный серьезный поворот? Возможно ли тут ограничиться опять (как в 1900—10 гг.) написанием пары популярных философских брошюр, толкующих вкривь и вкось те или иные результаты, добытые экспериментальной и теоретической физикой?! «Нет, — отвечает Ленин, — этой беллетристической деятельности теперь уже будет недостаточно».

«Для превращения стихийно-материалистической физики в последовательно-сфальсифицированную идеалистическую физику, для превращения моды в последовательный, цельный... идеализм, надо, — говорит Ленин, — радикально переделать учение об объективной реальности времени, пространства, причинности и законов природы». «Нельзя, — продолжает Ленин, — только атомы, электроны, эфир считать простым символом, простой рабочей гипотезой, — надо объявить «рабочей гипотезой» и время, и пространство, и законы природы, и весь внешний мир. Либо материализм, либо универсальная подстановка психического под всю физическую природу»¹⁾.

Это и совершилось в 1927—33 гг.

Перетолкование квадрата амплитуды волн де-Бройля в «вероятность нахождения электрона» (см. выше) имело, как известно, своим непосредственным результатом высвобождение электронов из-под закона материалистической причинности. Созданная еще немного раньше Паули, Иорданом и др. система математических выкладок, известная под названием «матричной механики», устранила в свою очередь пространство и время из описания микроатомных явлений. Электроны, атом, молекула рассматриваются в матричной механике вне пространства и времени. Разработанный наконец в 1928 г. Вернером Гейзенбергом так называемый «принцип ненаблюдаемости в квантовой механике», подставив «психическое» под все атомные явления, завершил программу-максимум махизма в конкретной физике. Микрофизические объекты, согласно упомянутому «принципу», существуют в действительности лишь постольку, поскольку они наблюдаются и ощущаются. Вне наблюдения и вне ощущения не существует, по Гейзенбергу и К^о, никакой объективной реальности.

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 179—190.

Все эти обстоятельства своевременно разбирались нами на страницах этого журнала. Сейчас существенно отметить лишь следующее.

Группка, претендовавшая некогда на философское руководство физикой в СССР, группка меньшевистствующего идеализма сделала в свое время предельно важный Ленинским и рассмотренный нами выше качественно особый характер нового, послевоенного этапа кризиса в физике. Эта группка сделала сущность «серьезного поворота» новейшей буржуазной физики «прочь от естественно-научного материализма».

Меньшевистствующий идеализм, наоборот, заключив беспринципный блок с инициаторами этого переворота, попытался выдать им фальшивый мандат на «материализм» и на «диалектику».

В академической речи на тему «Ленин и кризис современной физики» (февраль 1931 г.) А. М. Деборин высказывает следующие суждения: «Если первый кризис физики... был связан с разложением атома, то нынешний кризис ставит перед научной мыслью проблему диалектического преобразования основных научных понятий». И дальше: «В современной теоретической физике происходит грандиозный процесс синтезирования». Современная физика «подводит нас... к великому синтезу, в котором даже каузальность оказывается одним из моментов всемирной связи...» «Эти причинные закономерности составляют, повидимому, специальные формы более общего принципа или типа связи»¹⁾.

Итак, когда Гейзенберг, Паули, Иордан и другие совершают идеалистическую кастрацию причинности пространства и времени, тогда, в помощь им, советской физике рекомендуется заняться... «Диалектическим преобразованием» этих основных понятий...

Это писалось в то время, когда азбукой марксизма-ленинизма в физике является тот факт, что имеются такие

«коренные условия всякого бытия», что никакие человеческие измышления и ни для каких целей, выходящие за пределы этих понятий, «недействительны»¹⁾. Такими ленинскими «коренными условиями», такими «понятиями», искажение которых означает измену материализму, означает переход в лагерь идеализма и поповщины, — такими условиями и понятиями являются: причинность, пространство, время».

«Источником причинных связей, — говорит Ленин, — является объективная закономерность природы»²⁾. Фраза о замене причинных связей «более общего типа, универсальными, всемирными связями всего со всем», является тогда не чем иным, как попыткой прикрыть индетерминистскую диверсию махистского штаба современной буржуазной физики, дезориентируя и дезорганизуя строительство диалектической физики в СССР.

Тут же и еще более опасную роль играет, как отмечалось уже, механицизм, линия которого (как было вскрыто подробно по отношению к проблеме эфира) объективно ведет к прямому разоружению советской физической теории. Линия эта отбрасывает советскую теоретическую физику в XIX век, отнимая от нее ведущую роль в деле перестройки техники, — деле, решающем для социалистического строительства и успешного выполнения второй пятилетки.

Ленинизм для теоретической физики, повторяем, является чем-то несравненно большим, чем совокупность общеобразовательных знаний по диамату, обязательных для каждого физика.

Ленинизм для физики — это боевая программа ее конкретной научно-исследовательской работы с карандашом и математическими таблицами в руках.

За ленинскую генеральную линию в физике!

¹⁾ Деборин. «Ленин и кризис современной физики». Стр. 17 — 26.

¹⁾ Ленин. Избр. произв., т. VI, стр. 133.

²⁾ Там же. Стр. 119.

Весна в Хорезме

Записки уполномоченного

Л. ФАРИД и БОР. ПИЛЬНЯК

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые «Записки уполномоченного» написаны (и отчасти стенографированы) Л. Фаридом. Стенограммы делались по просьбе Пильняка. По существу говоря, Пильняк не является автором этих записок, — он был лишь инициатором их возникновения и правщиком. Тем не менее «авторы» подписывают вместе по воле Фарида, который считает себя, младшего писателя, прикрепленным к старшему товарищу. Авторы считают эти «Записки» интерес-

ными для читателя — записки уполномоченного — потому, что они вскрывают быт и условия работы, борьбу за настоящее и за будущее, мысли и чувства тысяч и тысяч партийных работников, уполномоченных, которые бороздят нашу страну из конца в край, передельвая ее так, как об этом рассказывается в «Записках».

Л. Фарид. Бор. Пильняк.

Москва, 7 ноября, 1933

Письмо первое

Любимая!

Знаешь ли ты, что декхане на нивовьях Пянджа пользуются иногда кабанями для — для вспашки земли!? Делается это несложно. В разных концах участка закапываются в землю гнилые куски мяса. Кабаны своими вершковыми клыками поистине перекапывают вверх дном все поля в поисках мяса... Но кабаны ж иной раз также ставят вверх дном целые гектары хлопка, шалы (то-есть риса), арбузных и дынных бахчей, поедая, топча их.

Бурлит и крутит вода Пянджа, та вода, в которой тридцать пять процентов измещения занято илом. Пяндж — пятиречье, река пяти рек, пяти истоков. Начинаясь на склонах Северо-Западной Индии, река перерезает узкую полосу

Авганского Языка и у поста Лянгар в Вахане соединяется с пограничной между СССР и Афганистаном речушкой — названной уже по-русски — Памиркой. Русло Пянджа — сплошные пороги. Лишь кое-где он разливается по долинам, намывая золотоносные пески и закутываясь множеством рукавов, поросших тугаями или — по-таджикски — джунгалами (джунглями!). В этих тугаях именно и живут кабаны стада. Но, кроме кабанов, там живет и тигр. Там живут барсы, рыси, дикие олени. Там гигантскими голубыми стаями зимуют русские гуси. Там по летам мириадами гудят в воздухе москиты.

У Калай-Вомара, в шестидесяти километрах от столицы Горно-Бадакшанской области, города Хорога, Пяндж принимает в себя воды Мургаба, вытекающего из-под знаменитого Усольского за-

вала, того завала, который в 1912 году родил новое озеро в километр глубиной и длиной в восемьдесят километров. Дальше в Пяндж вливается Ванч, река голубых вод. У Калай-Хумба («кувшинная крепость») впадает золотоносная река Хумбоу.

У Курган-Тюбе, в долине таджикской хлопковой житницы, Пяндж теряет свое имя, сливаясь с Вахшем («зверь»), который несет в свою очередь воды рек Мук-Су, Кизыл-Су и Хингоу. Слившиеся Пяндж и Вахш дают начало Аму-Дарье. Аму-Дарья — «река человечества».

Аму — река человечества — на тысячи километров прокраивает Таджикистан, Узбекистан и, поворачивая у Термезской крепости внутрь Средней Азии, проносит свои тяжелые воды по постоянно меняющимся капризным руслам через пески Кизыл-Кумской и Кара-Кумской пустынь к Аральскому морю. Воды Аму-Дарьи, рожденные на вершинах Тибета, Памира, Гиссара, Гиндукуша, дают жизнь Кулябу, Курган-Тюбе, Сурхану, Чарджую, Дарганатинскому району и наконец поят гигантскую, сооруженную «нечеловеческим» трудом, «азиатским способом производства», ирригационную систему Хорезма, на правом берегу, и Каракалпакии — на левом.

В Таджикистане жарко: снежные шапки вечно белых вершин и громады ледников преют — вздуваются реки, могучими потоками они гудят в ущельях рор, — заливаются долины, сносятся мосты и паромы, илистая вода (35 проц. ила!) сбивает с ног коней, верблюдов и топиг смельчаков, пытающихся переправиться через реки, — ломаются русла рек. В Таджикистане жарко — и в Хорезме, в Хиве, Ташаузе, на Великом Шаватском канале в арыках поют чигири, черпая своими глиняными крынками воду, по желобам направляя воду на поля, на посевы хлопка, джугары, на бахчи, на огороды, в сады, людям.

В Таджикистане пасмурно, — в горах туманы и морозы, — в Хорезме, в Ташаузе, в Каракалпакии смертоносная пыль, зной, поблекшие растения, гибель «нечеловеческих» трудов допотопного

«казу» — «казу», когда каждое хозяйство обязано работать на общественных ирригациях от месяца до двух в год. В Таджикистане пасмурно — и на Аму-Дарье гибнут урожаи, и в хивинских кишлаках стоит стон:

— Су! су! су!..

— Воды! воды! воды!..

Тогда цветут лужи гнилоу плесенью в омутах — в омутках гигантов-каналов Шавата и Газавата...

.....

В том же конверте, на тех же листках бумаги.

20 февр. 930. Ташкент, вокзал.

Дорогой, любимый друг!

Продолжаю письмо на ташкентском вокзале. Волей судеб и силой партийной дисциплины я сегодня три часа тому назад назначен уполномоченным по Хорезму, Ташаузу и Каракалпакии, — и через час выезжаю в Чарджуй, а оттуда на аэроплане в Хиву (Ново-Ургенч), в Ташауз, в Турткуль (столица Каракалпакии). Лирическое описание аму-дарьинских вод оказалось «сном в руку». Еду с истинным наслаждением. Обстановка там сложнейшая, буквально боевая. В связи с коллективизацией в Хиве происходят «бабьи» «бунты». Кое-где перешли границу бандиты-басмачи. В Каракалпакии только-только закончились события, о которых я писал тебе прошлый раз. Обстановка сложнейшая, и потребуются — и отчаянная гибкость, и внимательность, и связь с массами, чтобы меньше наделать ошибок и исправить уже наделанные. Буду очень много передвигаться, и пешком, и верхом, и на арбах, и на самолете по самым отдаленным уголкам оазисов. Дело осложняется еще и тем, что в Хивинском оазисе (бывшее Хивинское ханство) — территория трех республик: Хива — Узбекистан, Ташауз — Туркменистан, Каракалпакия — область Казакстана.

Моя поездка за границу опять откладывается. Секретарь разрешил мне поднять этот вопрос после возвращения. А сейчас... сейчас я представляю себе «будни» кишлака. Эти «будни» совсем

не псхожи на «будни» русской деревни, — тем паче на будни Европы. Я во всяком случае рад возможности еще и еще потренироваться на выдержку в преодолении трудностей и в работе, и физических. Мне сейчас наплевать на любое препятствие, трудность и сложность. Только б не потерять головы. Ясно обдумать. Организовать наступление. Переговорить с самим декханом, узнать, как и чем он дышит. Бросить все силы на то место, где сегодня рвется. Здесь по-настоящему учишься быть большевиком, — вернее, вырабатываешься в него.

Мне немножко тяжело лишь потому, что я хотел бы жить с тобой. Я много думаю о тебе, и фотография твоя сейчас тут, со мной. Мне очень хочется подарить тебе красивых цветов, но на таком расстоянии, к сожалению, это невозможно.

На посевной погиб Жуковский, — убили кулаки. Классовый враг обнаглел. На международном горизонте тучи. Ох, и драться же будем мы, если придется, — как звери!.. а что значит жизнь — моя, твоя, Ивана, Сидора — в сравнении с делом, за которое деремса, боремса, за которое отдаем все свои силы...

... Подошел поезд, с которым я еду. Поезд из Москвы. Мне очень, очень хочется повидать тебя. В таджикской песне поется:

«Сердцу грустно — цвет лица не на месте».

В этой же песне поется про басмаческое поражение:

«Пулеметы Энвера остались удивленными и огорченными. Знамена опрокинулись и разметались. В Чаган приехали изменники. Потерялись Давлятман и Энвер-паша!»

Надо итти в вагон. Крепко, крепко жму твою руку.

В вагоне. Пять минут до отхода поезда. Как писал мне недавно один товарищ, — «извините за грамматические ошибки, потому что очень трясет и трудно сосредоточиться!..»

Письмо второе

Чарджуй-Ургенч. В воздухе.
23 февр. 1930.

Друг!

С правого крыла виден чарджуйский мост и нелепые иероглифы путаницы арыков. Летим над Дарьей. Летим на четырех самолетах. В нашем двое: я и москвич, впервые отправляющийся в Каракалпакию. Немного болтает. Глушит мотор. Звенят эллероны. Старенький самолет. Кабина, покрытая засаленным красным репсом. На переднем кресле наши вещи, маузеры, почта. Равномерно прыгает черный шарик в маленькой пробирке около навигационных приборов. Пишу на коленке, заложив ногу на ногу.

«Культура» — так называется орошаемая площадь — кончается.

Справа уже показались пески Кызыл-Кум.

Еще очень рано. Дымка тумана заслоняет горизонт. Где-то проглядывает солнце, но я вижу только пятна его света, отраженные Аму. Сильно качнуло. Стекло окошка дребезжит. Холодно. Пустыня. Пески. Хочется спать.

Переламываю дремоту, беру книжку о Хорезме и сразу забываю обо всем. Она, эта книжка, читается, как увлекательнейший роман...

«Огромная территория Аральского бассейна, в границах которого вмещается почти вся Средняя Азия, может быть разделена по географическому ландшафту на две резко отличные части: восточную — горную и предгорную часть, где в долинах рек, стекающих по склонам хребтов Тянь-Шаня и Памиро-Алая, с древних времен создались очаги культурной деятельности человека, и западную — пустынную, где унылое однообразие песков и степей Кызыл- и Кара-Кумов нарушается лишь узкими полосами жизни вдоль Сыр- и Амударьи и редкими точками колодцев на кочевых и торговых путях. И совершенно неожиданным ярким пятном на этом безрадостном фоне выделяется Хорезмский оазис, возникший с незапамятных времен в самом центре пустынь на дельтовых отложениях Аму-Дарьи».

Русский военный царский сапог покорил этот край в 1873 году. Территория Хивинского ханства была ограничена с севера рекой, на правом (ныне каракалпакском) берегу был организован Аму-Дарьинский отдел. Выстроен город (ныне Турткуль) с собором, с гарнизоном, — город, в руках которого находились ключи к Хиве. Это был сторожевой авангард русского военно-феодалного империализма. Половодье великой Октябрьской пролетарской революции смыло позор колонизаторского угнетения. Национальное размежевание дало всем народам оазиса возможность присоединиться к своей республике. Так образовались туркменский Ташаузский, узбекский Хорезмский округа и Каракалпакская автономная область.

Инженер пишет в главе «Власть реки над Хорезмом»: «Столица древнего Хорезма Кят была полностью смыта рекой. Вторая столица, Гургандж (ныне Куня-Ургенч), была заброшена и запустела из-за гибели ирригационной системы, питавшей этот район. В настоящее время река угрожает смыть центр Каракалпакии Турткуль, и столица области переносится на север, в Нукус.

Ирригационные системы, существующие ныне в Хорезме, создавались в течение последних трех-четырех столетий. Известно, что до этого и даже до нашей эры существовали другие мощные каналы, которые очевидно не один раз погибали и восстанавливались. Вместе с каналами погибала и жизнь огромных районов, превратившихся в пустыню».

Этот инженер пишет, что «река, создавшая территорию Хорезма, всегда сохраняла неограниченную власть над судьбой этого края», он цитирует академика Бартольда, который говорит:

«За все время исторической жизни Хорезма, насколько эта жизнь нам известна, не хорезмийцы подчиняли себе Аму-Дарью, но Аму-Дарья подчиняла себе хорезмийцев, независимо от воли человека меняла свое течение и прокладывая себе новые русла; уже в зависимости от этих перемен человек пере-

носил свои пашни с одного места на другое, строил новые плотины и проводил новые каналы».

Ну, я наверное наскучил тебе, друг, этими выдержками, хотя должен сказать, что меня они глубоко взволновали, и мысль о том, как преодолеть эту зловещую власть реки, взнудать ее и заставить цвести небывалыми урожаями Хорезмский оазис, не оставляет меня.

Гудит мотор, могучий, уверенный, гулкий, мы несемся в Хорезм. Ну, пока — (на месте виднее).

Твой Сергей.

Письмо третье

24. 11. 30. Н.-Ургенч — 34 км. от Хивы.

Дорогой друг!

Прилагаю запись впечатлений от полета. На остановке среди песков, где мы из базисного склада брали бензин, — стоя самолетов, — я грелся в юрте.

Спрашиваю мальчишку-узбека:

— Кто такой Ленин?

— Ленин? — переспросил он.

— Да, Ленин.

— Э, — Ленин! — это аэроплан!

Ургенч — столица Хивинского оазиса.

Обстановка — сразу стало ясным — очень сложная и трудная. Много, очень важное для политической ориентации надо улавливать отраженно, что ли, не знаю, как точно выразиться. В Хиве например вдруг ни с того, ни с сего, казалось бы, золотая пятерка с 15 рублей скакнула до 30-ти; вывод — байство готовится к бегству. Или — цена на дрова упала; вывод — рубят тутовые деревья и фруктовые сады: «ни мне, ни колхозу». Шайка басмачей одного курбаши, про которую я уже писал тебе из Ташкента, опять сделала налет, убила 25 мальчиков, учеников в школе, учительницу и т. д...

Газеты сюда приходят через месяц. Московская «Правда» стоит 20 копеек. Прилетел я в день торжеств Красной армии, пошел искать местных ребят. И представь себе: званый обед. Человек сто в маленьких накуранных комнатах. Нас усадили. Какой-то товарищ расска-

зывал о своих военных похождениях. Затем вошла группа людей — «делегация» — с самоваром и чайным прибором на подносе. Юркий, с острой бородкой человек, штатский, заговорил речью: «От имени начсостава запаса, дорогой товарищ военный комиссар, разрешите поднести вам этот самовар!» Оркестр заиграл туш. Комиссар раскраснелся от удовольствия, держит под козырек, а когда оркестр замолк, произнес:

— Повторяю вчерашние слова, — буду всю жизнь бороться за диктатуру пролетариата!

Снова туш. Шум. Аплодисменты.

Мы с секретарем окружкома убрались с «обеда» потихоньку.

Письмо четвертое

25.11.30 г. Шишлак Шават.

Это письмо пишу десять дней!

Что тут делается, уму непостижимо! Целый день ехали верхом. Ужаснейшая вьюга. Я мерз в овчинном тулупе. Провели два собрания, говорили с агрономами, декханами, местными работниками. Сейчас час ночи, — в Москве десять вечера, ты еще не вернулась с лекций. Пишу в кибитке. Тепло. Кругом лежат, сидят, спорят, курят люди с непонятным мне языком. Все же мне кажется — я их понимаю. Эх, до чего же, черт возьми, интересна жизнь! Сию перед раскаленной печкой. На стенах — винтовки, карабины, берданы. Пол устлан кошами. На полатях овчина. Это — штаб коллективизации Шаватского района. В пятнадцати километрах от древней Хивы происходит поистине новорождение, а ведь это самый реакционный район Хорезма до последних дней! Байство озверело. Люди работают с винтовками, подпоясываются пулеметными лентами. Сеют хлопок. Организуют колхозы. Добивают последние гнойные остатки басмачества.

На-глаз обстановка джек-лондонская, — существо вещей конечно совсем иное. Холодно. Жду правления двух крупнейших колхозов. Тревожит то, что декхане не торопятся с вывозом на поля навоза — запоздание тут означает поте-

рю половины урожая, но навоз не везут, точно ждут какого-то изменения.

... Ночь. Мы идем узенькой тропкой мимо глинобитных кибиток. Идем к помещичьему дому Диван-Беги, бывшего ханского вельможи, бывшего ханского министра. Впереди — секретарь райкома товарищ Абдусаламов с фонарем «летучая мышь». Собрание. Большая, холодная кибитка, полумрак. Человек сорок. Речи. Я: «Да здравствует Шаватский район сплошной коллективизации!»

... Ночью какой-то декхан на коленях просил принять его в колхоз.

Я еще не разобрался, в чем тут загвоздка, почему так рвутся в колхоз? Тем более, что активность бедноты явно недостаточная. (Так я сообщил в край.)

На обратном пути из района провалился в воду на канале Шават. Вьюга, мороз сделали свое дело, хвораю. Завтра в Хиву. Посмотрю, что там.

Получил телеграмму из края, ответ на мою:

«Темп коллективизации раздут, ваши указания недостаточной активизации бедноты батрачества подтверждают, что колхозы созданы результате администрирования, примите меры тому, чтобы основным типом колхоза Хорезме явились товарищества совместной обработки земли либо товарищества, образованные вокруг обобществления работ орошению, категорически прекратите всякую ликвидацию кулацких хозяйств, равно раскулачивание связи реализацией хлопка тчк ознакомьтесь обстановкой Ташаузе, Каракалпакии, концентрируйте основное внимание работе Хорезме, Ташаузе посевной, информируйте чаще».

Телеграмма из края говорит также о ставе Сталина, а газета к нам еще не дошла.

Письмо пятое

8. III.

Дорогой друг!

По ужасающей грязи переменным аллюром мы едем в древнюю Хиву. Ни с чем несравнимое впечатление оставляет

этот город. Огромные ханские дворцы. Бассейны, гаремные помещения, сады. Вся эта восточная «экзотика» и серьезные извращения, и перегибы. Надо сказать, к сожалению, что энергия «извратителей» очень сильна, и ломать ее приходится со зверским трудом. Сегодня даже друг Абдула, секретарь хивинского райкома, заявил, что у меня якобы правооппортунистическая борьба против колхозов.

Но — ломаем.

У меня очень бодрое и уверенное настроение.

Пусть сильнее буря и ветер, пусть ужасней, мучительней физические страдания от визгливого вихря песков Кара-Кумской пустыни и с аральских просторов, когда едешь верхом в кишлаки и районы. Не в этих трудностях дело. Дело в людях: как следует их проинструктировать, организовать, вдохнуть в них непреклонную уверенность в победе — и дело в шляпе!

Но трудноато — это да! Порой крикнешь и не успеваешь поворачиваться.

Ну, всего хорошего. Звонит телефон из Хивы. Я заказал самолет в Ташауз, а погода скисла, и самолета нет.

Письмо шестое

12 марта.

Сегодня всю ночь сидели у телеграфного аппарата. «Юз» по буквам выкладывал нам из далекого Ташкента по прямому проводу «Головокружение от успехов», статью, напечатанную там 3-го. Глинобитная кибитка телеграфа накурена. Тусклая керосиновая лампа. Перестукивается и шипит «юз». Телеграфистка то и дело поднимает ногой блок с подвешенной к нему гирей. Буквы прыгают. Мы все сгрудились у аппарата и ловим каждую букву. Лохматые тени ползают по стенам.

«... коренной поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным...»

«... успехи нашей колхозной политики объясняются между прочим тем, что она, эта политика, опирается

на добровольность колхозного движения и учет разнообразия условий в различных районах СССР. Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно...»

«... Нельзя механически пересаживать образцы колхозного строительства в развитых районах в районы неразвитые...»

— Это про нас, — сказал секретарь окружкома.

А лента течет и течет.

«... Известно, что в ряде районов Туркестана были уже попытки «догнать и перегнать» передовые районы СССР путем угрозы «военной силой, путем угрозы лишить поливной воды и промтсваров тех крестьян, которые не хотят пока-что итти в колхозы...»

— Это про нас, — повторил Р.

«... искусство руководства есть серьезное дело. Нельзя отворачиваться от движения, ибо отстать — значит отворачиваться от масс. Но нельзя и забежать вперед, ибо забежать вперед — значит потерять связь с массами».

— Правильно! — восторженно закричал Сайбов.

— Тише! — крикнули на него.

— Читай громче, Ахмат! — сказал кто-то из присутствующих высокому черному узбеку.

— Читай громче! — повторили все.

Занималась заря. Мы идем к окружкому. Ноги чавкают в липком лессе. Голова пухнет от мыслей. Прошедшие двадцать дней воспринимаются совсем по-новому. Вспоминается:

... Шават, глухой уголок Хорезмского оазиса. Штаб коллективизации района. Группа местных работников. Товарищ Абдусаламов, секретарь райкома, ряд других товарищей, я. Декхан просит принять его в колхоз. Местные товарищи в упоении от того, что декхане просятся в колхозы. Этому отказывают. Он падает на колени. А я — представитель центра — не знаю местного языка и не интересуюсь по-настоящему истинными мыслями, опасениями, желаниями этого декхана, ослепленный «успехами» и цифрами. А теперь, сейчас, после статьи Сталина, выясняется, что в

районе был пущен слух, что всех непринятых в колхозы раскулачат, отнимут землю, не дадут хлеба и воды. Этим и объясняется такая «тяга» в колхозы и «тоска» по ним! Надо было легче, осторожнее начать, надо оставить только надежные и на основе добровольности созданные колхозы.

Телефон.

— Алао! Абдусаламов?

— Я.

— Что, брат, подго...ли мы, оказывается!?

— Я прав, — отвечает он. — Я знаю, что делаю.

— Брешь трепаться! Приезжай немедленно в Ургенч. Есть статья Сталина. Посовещаться надо. Исправлять ошибки надо.

— Хош! приеду! — кричит он в трубку.

Я лежу с открытыми глазами. Вопрос об изучении местных языков — не формальный вопрос. Это — острая необходимость. Без этого нельзя двигаться. В Средней Азии, в Хорезме в частности, большое количество остатков старого колонизаторского чиновничества, учительства, интеллигенции. Они еще живы, и часть притаилась в различных наших аппаратах. Они еще пытаются иногда «делать погоду». Это они распространяли «теорию» о том, что «мозг мальчика-узбека меньше мозга русского ребенка и что поэтому узбекский ребенок никогда не может постичь столько наук, сколько русский», что «узбеки — низшая раса». Это они тормозят проведение нашей ленинской национальной политики по реконструкции старых городов, по правильной организации снабжения «новых» и «старых» городских районов Средней Азии, по продвижению и широкому вовлечению в руководящую работу трудящихся местных основных национальностей, в частности в колхозное движение. Это они в первую очередь подкрашиваются в цвет «интернационализма», чтобы под этим защитным покрывалом спрятать свое гнусное лицо старых лакеев русского военно-феодалного колонизаторства. Это они в период борьбы с басмачами пытались понятие «басмач» сделать иден-

тичным с понятием «национал». Это они утверждали, что все «националы», мусульмане, — бандиты, басмачи. Это они препятствовали выдаче винтовок местному трудовому населению для борьбы с басмачами. Это в них товарищ Фрунзе сказал в своем знаменитом приказе 20-го года, что «местная советская власть до настоящего времени делала все возможное, чтобы оттолкнуть от себя местное трудовое население».

Вот почему необходимо каленым железом выжигать, жестоко бить по всем проявлениям великодержавнического шовинизма, как по главной опасности, выявлять эти проявления, вскрывать их классовые корни.

— А как ты сам борешься с этим великодержавным шовинизмом? — задаю я себе вопрос. — Ну, как? — помнишь случай —

... мягкий вагон поезда Красноводск — Ташкент. На маленькой станцийке в Туркменистане влезает туркмен в чистом халате, с большими хурджумами и занимает верхний диван двухместного купе. Едущий в этом купе пассажир, по видимому бывший чиновник, заявляет проводнику резкий протест по поводу того, что грязный туркмен занял место в купе, он напустит блох, будет сорить и прочее. Проводник резко возразил протестующему великороссу:

— Это вы зря. Он чистый. Никаких блох нет.

Мелкий, незаметный факт, а, по существу, факт огромного значения. А я промолчал!

Другой случай.

... Тавиль-Дара. Глухой уголок бывшего Каратегинского бекства, ныне район Гарамского вилайета Таджикской республики. Группа ответственных работников. Я и двое таджиков. Я требую, чтобы на совещании этой группы ответственных работников разговаривали только по-русски. Кончается заседание. В саях кибитки волисполкома один из таджикских работников, товарищ Д., схватив обеими руками меня за плечи, трясет их и взволнованно, с обидой шепчет:

— Мне надо верить! мне надо верить!

... Четвертый парткурултай КП(б) Уз. Резкое обострение страстей. Горячие споры. А классовый враг и его агенты — оппортунисты и уклонисты — пытаются использовать групповщину и внутрипартийную борьбу в своих целях.

Националисты пытались использовать четвертый курултай для провокации взрыва национальных антагонизмов. Оживились и великорусские шовинисты.

Кончилось очередное заседание. В дверях встретились старый русский партийный работник и партиец-узбек. Русский со злорадством кричит:

— А, наконец-то добрались до вас! Чудовищная, глупая сцена.

Мне не спится. Я даю себе обязательство: как большевик, биться в кровь, до смерти, жестоко и беспощадно, со всей ненавистью, скопленной в самой крови, против тех и других шовинистов.

И я обязываю себя с завтрашнего утра приступить к изучению здешних языков.

Письмо седьмое

16 III.

Друг!

Кругом тревожно. У растревоженных декханских хозяйств сильное недовольство против администрирования. Хорошую идею всегда можно испохабить на практике, это я давно знал, но так испохабить, как тутошние хорезмские головотяпы, очень трудно!

Ночь почти не спал. Висел на телефонах, на прямых проводах. Летаем на самолетах, — какие попадутся, — военных, пассажирских. Протираем брюки о седла. Агитируем. Убеждаем. Нажимаем. Угрожаем. Снимаем с работы. Арестовываем. Организуем массы. Бьем без пощады классового врага. Выполняем указания Сталина.

Трудно? — гораздо более беспокойно за исход, за выполнение большой политической задачи, возложенной партией. Ветер сейчас шумит по крыше, шуршит пригоршнями кара-кумских песков. Кругом мгла. Сшибает с ног. Такая погода установилась только сегодня.

А прошлую ночью в одном из районов байство организовало демонстрацию сотни всадников.

Была лунная ночь, сбоку постукивала коробка маузера. Через широкую площадь с треногой-трибуной мы спешили в штаб. Обалдевшие от бессоницы люди. Беспокойные звонки. Я уже научился быть совершенно спокойным: ну, убьют! ну, зарежут, сожгут, утопят, — что из того? Разве это может изменить пути нашего дела? Спокоен я внешне конечно, — внутри тревога за обстановку, за посевную, за партийное задание. Вызываем районы, даем директивы, успокаиваем, информируем, шлем по прямому проводу донесения в край, требуем директив, установок, указаний... С берегов Аральского моря кричат о помощи люди, о прорыве, об ускорении присылки хлеба.

Пульс посевной бьется учащено. Люди надрываются в работе, устают, не спят ночей. Дела налаживаются, выправляются. Уже закрепляются отдельные участки фронта, как надо. Но это не все. Каждый день телеграф, радио, аэропланы, нарочные верхом и пешком приносят вести о новых задачах, о новых прорывах.

Весна в разгаре. Она обещает быть впереди еще более тревожной и бурной, чем сейчас. Ну, что ж! нам не привыкать к трудностям и тревогам, на то мы и большевики, чтобы их преодолевать.

... Звонит телефон. Молния. Неспойно в Хиве...

... В боковом кармане, в кожаном бумажнике, лежит карточка любимой... Я каждый день смотрю на нее, я все больше и больше люблю ее. Эта любимая — ты...

Письмо восьмое

21 III 1930.

За это время я шесть раз летал в Ташауз на самолете, сейчас сижу в Чимбае, недалеко от Аральского моря, и убедился, что есть на свете такие дыры, которые похуже во сто раз, чем та, из которой я писал тебе прошлые письма.

За эти недели, как говорит друг мой Ахмат, у нас была «не жизнь, а укус».

Поэт Хаем Омар говорит: «Когда Чингизхан приехал в Хиву, то первым его требованием было в трехдневный срок доставить из каждого кишлака по мешку скорпионов, много!»

У нас в эти две недели было такое ощущение, что все эти мешки скорпионов ожили и налетели на Хорезм, на нас и на весь оазис.

Все это стоит рассказать по порядку. Открывается много неожиданных вещей. Мы летаем над Кара-Кумами, и, к удивлению своему, я узнаю, что пустыня весной ярко и красочно цветет, что верблюд предпочитает колючку (растение, широко распространенное в пустыне) любому корму, а в Мерве продают туркменский мед из этой же кара-кумской колючки.

Ночь. Нам угрожает волнение среди декхан из-за недостатка хлеба. Кто-то утопил каюк с несколькими тысячами тонн. Кто-то завел в тупик и посадил на мель другой. Кто-то вопреки нашим распоряжениям и от моего имени приказал не выдавать хлеб середнякам. Чья-то злая воля вмешивается в нашу работу, пытается приостановить ее, запутать. Аппарат расхлябан, инертен.

Телеграмма:

«Ташауз. Сейчас получил «молнию». На 20-е, по неполным сведениям, засеяно 69 проц. Из Хорезма сведения будут завтра. Из Каракалпакии — 24-го, а к 10 мая надо дать 100 проц. Каждый день, каждый час — как на фронте. Газет нет. Мы сидим с начальником отделения ОГПУ за анализом сводок — о ходе сева по кишлакам».

Он — крепкий большевик и хороший парень. Его характеристика: «любит все высокое и прекрасное, большой эстет, зачитывается беллетристикой и часто цитирует прочитанные ночью книги; беспощаден к врагам революции; не выносит орфографических ошибок в докладах подчиненных». Сегодня вечером вдруг над огромной лысой головой этого еще молодого человека, на самом притворе оконной рамы, повисла маленькая фалан-

га. Весной яд фаланги часто смертелен. Гадина прыгнула на стол и скрылась в бумагах. Быстрым движением товарища прессом — хрустнула раздавленная фаланга. На улице закричал ишак. «Он всегда в 11 часов кричит» — сказал вошедший фельд'егерь. Мы продолжаем нашу беседу о мерах обеспечения стопроцентного выполнения посевного плана к 10 мая.

На заседании окрпосевкома в Ташаузе — горячие споры. Исламов требует помощи своему району.

Мы говорим товарищу:

— Исламов, дерись, друг, ругайся, волнуйся, кричи, крепись, накачивай, накручивай, подгоняй, одним словом, крий и в хвост, и в гриву самыми последними словами, только выполни план к 10 мая.

— Зделаем, — отвечает Исламов.

.....

... Опять в Хиве. Улички, кала (крепость), город, точно слоеный пирог. Крепость — стена — около нее кладбище — дома — снова крепостная стена — снова могилы — дома — стены — могилы. Разрушающийся базар, мечети, ханские дворцы. В парке бывшего хивинского хана, около мраморного хауза, в гуще деревьев орут громкоговорители: сообщения об открытии московских районных партконференций. У хауза и по аллеям декханевывдвиженцы, курсанты; их топчаны, покрытые теплыми ватными одеялами, рядами стоят под густыми карагачами. Карагачи многолетние были свидетелями жизни, господства, самодурства не одной ханской династии. Узорчатые, украшенные искусной резьбой, деревянные колонны крепко вделаны в каменные основания. Внутренние дворы женской половины, «ичкари», рассчитаны были на сотни жен. Сейчас в нижних женских комнатах, ненужных, пустующих, — конюшни рика...

В этих внутренних садах учился сын хана «управлять страной». Во время этой учебы, практики ради, были случаи вешания своих товарищей собственноручно на сучьях чинар.

... Мы в ближайшем к городу кишлаке. Предколхоза — Абдула Пынаев. Увлекаясь и брызгая слюной, он рассказывает о положении дел у него в колхозе: тут прочно, и уже сколотился актив, и уже посея-

но все, что посеять нужно, и волна теплого чувства к нему переполняет меня. Мне хочется расцеловать его бритую увлекающуюся голову с красными от переутомления глазами. Он хорошо организует актив. Мы тянем терпкий чай с лепешкой и наслаждаемся тоненькими ломтиками прошлогодней, еще сохранившейся, дыни. Мне хочется расцеловать Абдулу, но он не понял бы такой «нежности» и высмеял бы ее. И, сердечно прощаясь, мы уезжаем дальше.

Хивинский пейзаж прекрасен. Весна. Едет всадник, на траве валяется жеребенок. Мать обнюхивает его. Декхан верхом, на огромной вязанке клевера, поет хайтарму. Бежит ишачка и ишаченок. Верховой гянет за веревку корову. Собака лает на кого-то в арыке, должно быть, уж! Я покачиваюсь в скрипящем седле и думаю о тебе.

Твою посылку с книгами получил и в восторге от Тынянова: «Смерть Визир-Мухтара» — чудесная вещь; прочитавши ее, я ощущал такое же наслаждение, какое испытать приходилось в жаркие дни, прикладывая губы к холодной и чистой родниковой воде. Автор молодец. Я благодарю и его, и тебя, познакомившую меня с ним.

— Ай мать, ай отец! — говорит Ахмат, — сколько жило людей и сколько их уже нет в живых!

Мы плывем по пыльной пелене проселка мимо кладбища. Множество лесенок стоит вертикально к небу у каждой могилы.

— Зачем это, Ахмат?

— Чтоб легче было на небо взобраться. Ты смотри, — говорит Ахмат, смеясь, — смотри, чем богаче покойный на этом свете жил, тем длиннее ставится ему лестница. У богатого больше грехов, ему и на небо трудно с ними подняться. Муллские выдумки, — заключает Ахмат.

— Я отношусь к смерти совсем безразлично, — заводит философский разговор Федотов. — У меня безразличное отношение и к своей собственной смерти, — добавляет он.

— Странно ты рассуждаешь! — накидывается на него Ахмат. — Значит, тогда у тебя безразличное отношение и к

жизни! А к ней нельзя быть равнодушным!

В арыках нет воды! Шесть часов. С высокого минарета кричит муэдзин, и его пронзительный крик несется по узким улочкам Хивы:

— Алла Акбар, Алла Акбар! Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его.

Вечером мимо гниющего огромного хауза, снабжающего водой всю Хиву (гнилой, малярийной водой), мы проходим в дом, разукрашенный внутри замечательными коврами. Десятки ковров на стенах, на полу, накрывающие столы, накрывающие диваны, ковровые подушки, просто ковры вдоль стен. Это заготовительный пункт «Туркшерсти». Мы пьем кок-чай, заливая жажду от плова. Ахмат мечтательно развалился на огромной тахте и делится с нами своими мыслями.

— Ахмат, расскажи про себя.

— Что про себя?

— Как раньше ты жил?

— За 15 рублей у кулака скотину пас.

— За год?

— Что за год?

— За год 15 рублей?

— Зачем, «как снег тает и как снег упадет», а у нас в Туркестане лето длинное, и снег лежит всего несколько недель.

— Значит, за год?

— Значит, за год.

— О чем ты тогда мечтал?

— Мечтал? Так просто. — Он помолчал, затаился папироской, выпустил дым. — Мечтал о том, что заведу салоги с головками, буду их дегтем мазать. Они у меня долго продержатся. Вот и все. Все некоторое время молчали.

— А теперь я хозяин страны, — неожиданно сообщил нам часть того, что думал, Ахмат. — А ведь будет мировая революция, Сергей, а?

— Конечно.

— Гм, — хмыкнул он. — Мы ждем, и наши ребята в тюрьмах там сидят и тоже ждут. А все-таки хорошо мы сделали, что завоевали власть, а то бы я век батраком жил. Теперь я ответственный работник, ответственный паек получаю, — сказал с озорством. И опять серьезно: — и партия ценит друг друга.

а я работаю в ней и себя там чувствую, точно должен я всем.

Письмо девятое

К 20 мая Хорезм выполнил посевной план. Кое-кто начал демобилизовываться. Потянулись из кишлаков назад уполномоченные. Меньше стали работать ночами. В ташаузском и хорезмском округках, каракалпакском обкоме — потише. «План сева выполнен» — печатала газета. Туркестанское солнце, от которого страдает, когда оно светит, и о котором скачешь, когда его нет, палят во-всю.

А дело наладилось, еще пятого я улетел в Ташкент. Наши обстоятельства совершенно неожиданно осложнились тем, что Аму-Дарья, чорт бы ее побрал, отошла к каракалпакскому берегу, переполнив и разрушая каналы там и засушив наш берег, то-есть земли Хорезма и Ташауза. В кишлаках — тоска. На самом дне глубочайших арыков текут маленькие ручейки и цветут плесенью лужи. Земля скована солнцем. Уровень поверхности Аму у правого берега на 30—40 сантиметров выше, чем у левого, только в этих среднеазиатских реках может происходить такая белиберда!

Из кишлаков стон:

— Су! су! су!

Письмо десятое

17 мая 1930 г.

Дорогой, любимый друг!

Меня вызывают в крайком вместе с Ахматов и Рамзи. Нам говорят:

— Берите в свое распоряжение аэроплан, чтобы завтра быть в Ургенче. Ваша задача: первое — догнать Аму-Дарью. Второе — обмочиться (обеспечить стопроцентный полив хлопка). Третье — обсеяться (выполнить посевной план). Четвертое — обкучиться (провести первую оочку хлопчатника).

Планы напряженные. К тому же сейчас в Хорезме хлеб дороже мяса. К тому же скорпионы. К тому же тысячи мулл в одной Хиве. К тому же басмаческая шайка одного курбаши бродит в песках, и в ней объединились, вопреки вся-

ким родовым распрям и склокам, узбеки с туркменами. Шайка большая и солидная. Узбекские и туркменские баи вместе поставили задачу помешать посевной и всячески терроризируют трудовое население. А планы невероятно напряженные и требуют огромной энергии для своего осуществления.

Вылетели из Чарджуя 14-го. Мне дали в распоряжение самолет «Ю-13-138», тот самый, о котором я тебе уже писал. Летчик новый, с берлинской линии. Болтает мало. Идем на высоте 1.500 метров. Русло Аму заметно высохло, мели. Вода глинистая, мутная, тяжелая. Известно, когда должен быть паводок. Его надо максимально использовать для полива. Я читаю книгу инженера Сазгипрова тов. Аскаченского; он пишет: «Ежегодно в апреле и мае ирригационные органы Южного Хорезма с тревогой следят за показаниями Керкинской рейки (опорная гидротехническая станция), каковые определяют весь ход полива и сева... Нехватка 20—40 сантиметров в течение одной-двух недель в этот период влечет за собой убытки, которые выражаются миллионами рублей».

«Такая катастрофа, — продолжает он, — произошла например в 19... году, и она неминуемо должна повториться в будущем».

Мне ясно, что наша боевая задача сейчас — использовать первейший паводок и им перекрыть недополив. Иначе — неурожай, голод, гибель хозяйства и результатов сизифова труда.

Механик требует от меня блокнот. Даю. Пишет: «Смотрите, скоро с левого крыла будет виден в песках разбитый самолет. Мы сделаем маленький поворот над ним». Действительно, самолет сделал резкий вираж и закружился над подбитым, лежащим на боку трупом товарища. «Дорнье-Меркур — «Правда». То самый, который был куплен на собранные ЦО деньги после гибели самолета «Правда» во время великого китайского перелета. Мы выравнялись и пошли дальше, уплыли под крыло барханы и завязший в них «Дорнье-Меркур».

— Су! су! су! — об этом кричит пыльная растительность уходящих назад пыльных полей оазиса. Об этом кричат декхане. Об этом же кричит вид «казу»¹⁾. На Шавате, над головой которого мы кружимся, урчит мотор, а внизу тысячи людей по колени в воде углубляют дно головы, расширяют входы в арык (их по несколько штук у каждого канала), ибо вода — это хлопок, джугара, пшеница, ибо в Хорезме нет неполивных посевов, и отсутствие воды есть катастрофа.

Но вода играет разные штуки. Паводок напоят оазис, но он же может смыть много посевов с лица земли. Погода в Таджикистане жаркая: вода прибавляется и огромной волной ползет вниз, несется, грозит, оплодотворяет, смывает одни посевы и дает жизнь другим.

... Уже урчит мотор самолета, пишу на аэродроме, спешу очень, так как время под вечер, а нужно лететь. Только сейчас по телефону передали такую телеграмму: «Из Турткуля сообщают катастрофе на Шараханском канале, срывающей десять тысяч га хлопковых посевов. Предлагаю немедленно принять участие работе комиссии Главхлопкома обследованию причины катастрофы, выработке мероприятий, обеспечивающих выполнение посева».

На самолете сменили пропеллер. Летим... Кто-то пытается вредить нам внутри аппарата. Кто — не знаю, потому что не всегда отличишь вредителя и сволочь от простого дурака и перегибщика. И те, и другие льют воду на мельницу бая, на мельницу врага, на мельницу курбаши, притаившегося в песках и подстерегающего каждую нашу ошибку.

Мы идем в огромную хивинскую медрессе. Здание превращено в домзак. Большой усталый камнями двор чисто выметен. Вдоль стен его, в два яруса, — маленькие комнатки бывших учени-

ков. Хан и духовные власти Хивы всегда славились большой заботой о подготовке своих кадров, а сейчас в каждой из этих комнат по несколько заключенных узбеков, туркменов и русских. Начальник домзака, узбек, с восторгом показывает нам достижения своей исправительно-трудовой политики. У него клуб, у него кружки ликбеза, у него...

— Сколько у вас сидит народу?

— Сотня-две.

— За что?

И тут начинается самое интересное. Ясно видно, что кто-то нарочно, для того, чтобы озлобить население, за всякие пустяки — за оскорбление председателя сельсовета, за нежелание итти в колхоз, за ругань с соседом — арестовывал декхан, стараясь этим подорвать авторитет советской власти и сорвать посевную. Так сотня декхан волей этих дураков и вредителей была взята на «государственное иждивение». Мы огобрали зря арестованных декхан и сказали:

— Вы за советскую власть?

— Да, мы за советскую власть.

— Хлопок будете сеять?

— Будем.

— Советскую власть от баев будете защищать?

— Будем.

— Советские законы будете выполнять?

Декхане кричат «ура» и идут по домам. Уже проходя мимо нас, старик выкрикивает лозунг Ахмату, говорившему прочувствованную речь.

— Тысяча богов на твою голову!

— Яшасун! Ура! — кричат декхане

В маленькой комнатке, мастерской домзака, куда пришли Ахмат, Рамзи и я, мы застаем старика, тщательно клеившего из тонких дощечек мандолину. Около него лежало уже несколько готовых инструментов.

— Кто это такой?

— Это Диван-Беги, — сказал начальник домзака.

— Диван-Беги, помнишь Шават? — напоминает Ахмат. — Его дворец здесь в Хиве, он — бывший ханский министр по воде, бо-о-льшой человек был!

Старик плачет.

¹⁾ «Казу» — общественная ирригационная повинность по очистке ирригационных систем от наносных илстых лёссовых отложений! «Казу» было всегда местом нечеловеческой эксплуатации бедноты; кулаки от этой работы откупались. Советская власть разрушила эксплуатацию и в этой области.

— Я так стар, я так стар, — говорит он, — я вам безвреден. Я такой старый, — повторяет он, — что, когда сижу, не могу стоять, когда стою, не могу сидеть, а когда сяду, не могу лежать. И потом я так люблю советскую власть, что когда вижу представителей советской власти, то в собственной коже не уместаюсь от радости.

Рамзи отводит меня в сторону и шепчет:

— Уртак! Я прошу, надо поставить обязательно вопрос относительно его освобождения. Зачем держать старика? Он не опасен нам.

— Посмотрим, Рамзи, — говорю я.

... Вечером заседание окружкама. Воды нет. В кишлаках стон. Еще неделя, и весь урожай — результат сизифова труда — погибнет. В перспективе голод, так как нельзя подбросить хлеба при таком обмелении реки. Каюк вместо 10 дней идет два месяца. Вода еле-еле покрывает дно Аму-Дарьи. Русло реки обезображено тысячами мелей.

Вода не только жизнь растения, но и транспорта. Вода не только жизнь растений, а именно потому и жизнь миллиона людей на хорезмской земле, жизнь тысяч га хлопка, джугары, шалы (риса), жизнь миллиона местных людей Кара-Кумского оазиса, Ташауза, Хорезма, Каракалпакии.

Инженеры из водхоза. Доклад:

«Аму-Дарья проносит за год около 250 миллионов куб. м. взвешенных наносов, которые частью откладываются в русле реки, ежегодно наращивая его, частью попадают в ирригационные системы и на поля, заливая их, и в основной массе доходят до молодой дельты, где идут на образование суши за счет Аральского моря. Ежегодно в одном только Южном Хорезме из ирригационных каналов население выбрасывает 7 миллионов куб. м. наносов. На полях откладываются мельчайшие фракции наносов, которые уменьшают проницаемость верхнего слоя и усиливают условия образования корки в период вегетации, и деятельность токов, обогащающих солями этот поверхностный слой. Приходится искусственно его удалять и ежегодно привозить на по-

ливные площадки рыхлую песчанистую землю, смешанную с органическими удобрениями («нан-бар» — навоз с землей)». «Хивинскому земледельцу и его лошади приходится на 1 га своих посевов перевозить до 700 и даже 1.000 арб удобрительной смеси собственного производства» (Кондрашев).

Если подсчитать всю сумму труда, затрачиваемого ежегодно на поддержание плодородия почвы, то можно получить огромные цифры в три-четыре десятка миллионов куб. метров, или около 6-7 миллионов рабочих дней только по одному Южному Хорезму. На работы по орошению и удобрению затрачивается 60—70 проц. всего труда, расходуемого на сельское хозяйство. Достаточно только один год не выполнять требующегося объема работ по поддержанию ирригации или ослабить работу по удобрению полей, — река забрасывает наносами каналы, и богатейший оазис погибнет с катастрофической быстротой.

Не менее опасен, чем поверхностный, также и подземный поток, с ничтожными скоростями, но огромным расходом воды, движущийся во всей толще речного песка, заполняющего Хорезмскую впадину. Культурно-поливные земли узкими полосами вытянуты вдоль оросительных каналов, а пространства между поливными площадями стихийно засоляются... Вековой опыт борьбы с засолением полей научил земледельцев Хорезма некоторым приемам, которые позволяют уменьшать поверхностные солевые накопления и тем самым преодолевать вредные действия грунтовых вод.

Однако, если ослабить эту постоянную и напряженную борьбу с засолением полей, подземный поток, действующий медленно и невидимо для глаз, приведет Хорезм к тому же результату, как и стремительные воды Аму-Дарьи, то-есть культурные земли превратятся в солончаки, и оазис ассимилируется с окружающей пустыней.

Аму-Дарья страшна для хорезмийцев:

1) недостатком воды весной и обилием воды летом;

2) разрушительными действиями на головные участки ирригационных каналов и на дамбы, защищающие от наводнений;

3) обилием наносов, заиляющих каналы и поля;

4) влиянием грунтового потока, отравляющего почвы избытком солей, которые в нормальных количествах оказывались бы не злом, а подлинным благом.

В течение многих веков борьбы с рекою земледельцы Хорезма изучили ее особенности и выработали свою ирригационную технику, которая хотя и требовала от них огромных затрат труда, но позволила до сих пор сохранить оазис, в котором живет около 1.000.000 человек и орошается около 300.000 га земель. Секрет успеха этой туземной техники необходимо изучить прежде, чем улучшать или заменять ее инженерными методами орошения».

— Все это очень интересно, но как помочь делу сегодня!

— Нет воды! — жмет плечами докладчик!

— Мы и без вас знаем положение. Вы скажите, что делать сейчас.

Молчание.

— Придет вода, будет паводок, тогда польемся.

— Когда будет паводок, сколько времени будет продолжаться?

Отвечают молчанием.

В Таджикистане пасмурно. В горах туман и облака. На Гиндукуше, на Тибетских хребтах не тают льды.

В Кара-Кумах смертельная пыль. В Хорезме поблекшие растения. Голод. В кишлаках стон: «Су! су! су!»

Цветут плесенью лужи на дне гигантов-каналов Шавата и Газавата.

Мы выходим из бюро без ясных мыслей и без всякой уверенности в том, что выход найден.

— Стойте, — говорит Ахмат. — Диван-Беги!

— Правильно! — подхватываю я его мысли. — Сейчас же в Хиву!

Но уже ночь, и лететь нельзя. Отдаем приказание Иванову—пилоту—быть в Хиве рано утром. Сами — на конях.

Опять медresse. Раннее утро. Старик Диван-Беги клеет мандолины.

— Слушайте, у нас засуха, нет воды. Аму-Дарья убегает к Турткулю. Сохнет хлопок, джугара, шала, бахчи.

Огонек обнадеживает, мелькает в глазах старика.

— Такой год был много лет назад. Я помню, мы делали, мы выход нашли.

— Вы можете помочь нам? Жалеть не будете, — говорит Ахмат.

— Надо посмотреть.

— Что посмотреть?

— Посмотреть саки.

Сака — головное сооружение каналов, через которое вода выливается в их русло. На каждые 10 тысяч га посевов, «подвешенных» на канал, нужно иметь одну голову. Таким образом, Шават, на который «подвешено» 60 тыс. га хлопка, имеет 7 огромных голов и похож, если смотреть с самолета, на гигантскую многоголовую гидру.

Инженер пишет:

«Урожай и благополучие Хорезма зависят в основном от сроков подачи и от количества воды, поступающей в каналы весной: чем раньше и чем больше воды поступает, тем лучше удастся промыть почвы от солей, и тем раньше начинается и заканчивается сев. Казалось, для удовлетворительного обеспечения водой можно было бы иметь каналы соответствующего сечения и достаточно заглубленные в головах. Однако при паводковых горизонтах в эти широкие и глубокие каналы поступали бы такие массы воды, что справиться с ними населению было бы не под силу. Размывая эти каналы, река могла бы использовать их как свои рукава и притоки, и, следовательно, над Хорезмом висела бы постоянная угроза затопления и смыва водой освоенных районов или, наоборот, при уходе всей реки в новое русло, — угроза гибели всех существующих ирригационных систем.

Старым ирригаторам Хорезма приходилось искать среднее решение, при ко-

тором не получалось бы катастрофы весной от недостатка, а летом от избытка воды.

Ирригационные системы Южного Хорезма представляют собой блестящий пример талантливой изобретательности, которую проявили хорезмийцы в борьбе с разрушительной стихией реки. Сущность этой остроумной техники заключается в том, что забор воды в каждую ирригационную систему производится не в одной точке большим потоком, а в нескольких точках малыми токами. Магистральный канал на некоторой длине идет вдоль берега, и на этом прибрежном участке в него впадают один за другим отводы из реки, постепенно доводя расход по каналу до потребных размеров. В каждой голове («саке») дно закладывается на такой отметке, чтобы при низких весенних горизонтах вода поступала тонким слоем; в сумме несколько сак дают нужный расход. Летом, когда при высоких горизонтах через каждую саку начинает поступать избыточный расход, лишние саки закрываются перемычками и выключаются из эксплуатации. Вести такую регулировку количества воды населению доступно теми средствами, которыми оно располагает.

Такие многоголовые системы оказываются чрезвычайно эластичными и в отношении деформации берега реки. Если река уходит от саки, откладывая перед ней наносы, сака, удлиняясь, тянется за рекой до тех пор, пока это считается выгодным; в противном случае население забрасывает эту саку и роет новую, когда это нужно. Если же река разрушает берег около саки, то во избежание катастрофы, которая произошла бы например зимой при смыве головного участка канала, на расстоянии 3—5 километров от берега имеются перемычки, идущие по линии оградительных дамб. Перед этой линией все саки пересекаются сбросным каналом («берероу») с выводом в реку. При образовании зажоров, если получается в реке достаточная разность отметок в начале и в конце берероу, сильным током с большими скоро-

стями отложившиеся в саках наносы сбрасываются через берероу в реку. Так как одна сака от другой отделяются несколькими километрами, то ухудшение в условиях забора воды у одной саки не влияет на работу других сак».

Летим на самолете «Ю-13-138». Пилот берет высоту. Летим к истокам Гавата, Шавата, Полван-арыка. Орет мотор. Диван-Беги жадно всматривается вниз. Напротив Ахмат. Кобура нагана отстегнута. Внизу тысячи, десятки тысяч людей роют сквозь ил, по колени в грязи, головы арыков, протягивая их к руслу, догоняя убегающую к Турткулю реку. Два часа мы кружимся над всей ирригационной системой Хорезма.

— Давно не видел родную страну, — говорит старик. Слезы стоят на глазах. — Я знаю выход, — повторяет он несколько раз.

Ко мне возвращается бодрость. Ахмат весело подмигивает.

Мы, глухо стукнувшись колесами пару раз о твердую обожженную землю ургенчского аэродрома, садимся на землю. Окружком. Группа водхозовцев и ответственных работников.

Диван-Беги пьет чашку чая—кабут—и медленно, спокойно говорит:

— Я знаю выход. Я знаю, — повторяет он, — как заставить чигири снова петь на полях. Как заставить воду снова бежать по арыкам. Как вернуть жизнь высыхающему хлопку и шале. — Я знаю, — подымается он с кресла, — как вернуть к жизни засыхающую растительность моей страны. Я люблю эту страну... но только без людей, которые в ней живут. Я знаю выход, но не скажу вам. Я, — торжественно кричит он в большой комнате секретаря окружкома, — не скажу: мы враги, врагами мы и останемся.

В комнате мертвая тишина.

— Убрать эту сволочь! — с бешеным кричит часовому во двор Ахмат.

Диван-Беги мелкими шажками ханского царедворца семенит между двумя часовыми по исполкомовскому двору. Он спешит делать изящные мандолины в хивинском домзаке.

Жизнь миллионов га, миллионов людей—в наших руках, и каких ге-

таров! и каких людей! Наша задача—завоевать массы, повернуть их на борьбу за воду, за хлопок, за закрепленные колхозов, за социализм! Кто-то мешает нам. Кто-то отменяет наши распоряжения о выдаче хлеба середнякам, не вошедшим в колхоз. Скорпионы и фаланги старого мира поднялись, ожили, бродят по кишлакам и распространяют слухи о близкой гибели советской власти, о близком крахе колхозов, о смертном наказании тем, кто вошел в них, потому что аллах накажет большевиков и всех тех, кто с ними, уже наказывает и поэтому не дает воды.

Вопрос о воде — теперь это вопрос не только об урожае, — говорит мне Ахмат, — это вопрос о всем авторитете нашей власти.

Он никак не может успокоиться после разговора с Диван-Беги.

— Чудак Ахмат, — успокаиваю я. — Чудак! Это — враг, у нас борьба. Фронт. Страшен не Диван-Беги, — он в наших руках, страшны те, кого мы не видим, но которые есть — это факт! — и которые срывают наши мероприятия. Друг Рамзи, поезжай в Хазарай, узнай, в чем там дело, почему не дают хлеба середнякам.

— Хош, — говорит Рамзи. Седлает коня и едет в Хазарай.

Мы с Ахматом наслаждаемся кофе в маленьком кафе в Ургенче. Это кафе открыл местный кооператив. И это и есть, кажется, единственный пункт, где мы позволяем себе роскошь посидеть полчаса, наслаждаясь кофе и замечательными пирожками с мясом. Таня — красивая подавальщица, веселая и жизнерадостная — особенно покровительствует Ахмату. Она всегда оставляет нам дефицитные пирожки с мясом. Она живо интересуется ходом нашей борьбы за сев, видимо, не из простого озорства. Каждый раз, встречая нас возвратившимися из района, первым долгом она спрашивает: «Как, скоро кончите план? Скоро польетесь, скоро закончите окучку кустов?»

— Почему вы сегодня такой печальный, товарищ Ахмат? — говорит она, подавая горячие пирожки.

— Воды хочется, Таня, — отмечает Ахмат.

— Воды, я вам сейчас принесу стакан.

— Стакан не утолит моей жажды.

— Я могу ведро принести!

— Ведро тоже не утолит. Мне надо много ведер, мне надо миллионы, миллиарды ведер.

— Лопнете, товарищ Ахмат! — говорит Таня, смеясь.

— Сохнет оазис, а-а-а! — говорит грустно Ахмат.

— А я думала, вы пить хотите.

Прибегал рассыльный из окружка.

— Вас к прямому проводу, товарищ Ахмат, — говорит рассыльный.

Он уходит. Я с'едаю его порцию пирожков. Таня, убирая со стола, спрашивает:

— Ну, а что же ваши инженеры?

— Инженеры бессильны, — говорю я.

— Слушайте, товарищ, — тихо, осматриваясь по сторонам, говорит Таня, — обратитесь к моему отцу.

Вид Тани таинственен.

— А кто он такой?

— Он был гидротехником у хана, сейчас он живет здесь без дела, со мной. Он все время работает над вопросом о воде, хотя ему уже 85 лет. Сходите вечером, мы живем недалеко от почты, видели домик с голубыми ставнями?..

— Хорошо, если будет время, — говорю я.

Вечером, после разговоров по телефону с районами и по телеграфу с Ташкентом, я стучусь в маленький домик за голубыми ставнями.

— Зайдите, — откликается голос Тани.

— Можно?

— Зайдите, — отвечает бас.

— Иван Дермидонович Краузе, — рекомендует высокий, седой старик.

— Очень приятно.

Выходец из немецко-колонистов, поселенных близ Хивы, впоследствии военный инженер, Иван Дермидонович участвовал в колонизации Хивы. Осел на русском берегу Аму-Дарьи, в Турткульской крепости. Во время поездок в Хиву полюбила его прекрасная узбечка. Он женился и перешел на службу к хану в качестве ирригатора. Он дослужился

до главного инженера при Диван-Беги, ханском министре по воде.

Комната завешена яркими кусками материи и обставлена книжными шкафами. Я смотрю: немецкий, французский и испанский языки.

— Моя библиотека, — говорит быстро Иван Дермидонович. — Тут все специальные вопросы. Эта книга о тоннеле под Ля-Маншем, а это — о тоннеле под Гибралтаром. Главной мыслью («мыслью» — говорит он) всей моей длинной и тревожной жизни является мысль о соединении Аму-Дарьи с Каспийским морем.

Старик оживился и, вытащив огромную папку карт, начал мне объяснять свой план:

— В условиях прибрежной полосы Аму-Дарьи, — говорит старик, — особенно хорезмского рельефа, ирригационные каналы на большой своей длине не командуют над орошаемой местностью, что обусловило развитие чигирного орошения. Во всех районах низовья Аму-Дарьи насчитывается свыше 70.000 чигирей, приводимых в действие чигирной тяговой силой, что поглощает около 200.000 голов рабочего скота (лошадь, вол, верблюд). Чигирь отличается крайне малой производительностью (4—5 лит.-сек.).

Поэтому сейчас перед научной ирригационной мыслью стоят для проработки и разрешения следующие задачи:

а) вопрос о применении нового способа орошения дождеванием в различных районах Ср. Азии, преимущественно в Хорезме, с заменой чигирного орошения на орошение с помощью дождевательных установок;

б) вопрос использования пресной почвенной воды в Хорезме путем откачки из колодцев, располагаемых вблизи магистральных каналов, для дополнительного орошения, или при помощи дождевательных установок, или обычным способом, с целью понижения уровня подпочвенных вод для разболачивания и рассолонения;

в) вопрос использования грунтовой воды в Средней Азии для орошения с помощью откачки из глубоких колодцев типа калифорнийских с одновременным

действием на понижение уровня грунтовых вод, способствующих рассолонению и разболачиванию почв;

г) вопрос использования силы ветра с применением ветродвигателей для откачки воды с исследованием вопроса о выборе рационального типа ветродвигателя для разных целей;

д) вопрос широкого применения дешевой гидроэлектроэнергии на насосных установках путем развития гидроэлектрических станций на ирригационных системах;

е) вопрос использования солнечной энергии преимущественно на электроцентралях по снабжению насосных установок электроэнергией.

Но проблема, разрешающая сразу, одним махом, все проблемы, — это соединение Аму-Дарьи с Каспием...

В уголке сидела Таня. Она была в синем шерстяном платье. Ее черные волосы и черные узбекские глаза блеснули от света лампы-«молнии». Это был грандиозный и, как мне казалось, трудно осуществимый план инженера Краузе. Это было очень интересно, но мне нужен был ответ на острый на сегодня вопрос, поэтому я перебил его.

— Я к вам за срочной помощью.

— Чем могу служить?..

Я не уверен, что я могу вам чем-нибудь помочь. О засухе знаю. Такой случай был в 189... году. Был. И тогда мы справились с водой. Но это было очень трудно, и я не знаю, что можно сделать сейчас.

— Мы обращались к Диван-Беги.

— Ну и что?

Я рассказал ему, как мы летели и как тот не сказал нам ничего.

Иван Дермидонович долго хохотал.

— Он вам не сказал потому, что ничего не знает. Все, что он делал по воде, делалось по моим указаниям и по моим планам. Это настоящий восточный депот. Но ведь он ни черта не понимает.

— Собственно, я же знаю выход, — сказал он после некоторого молчания. — Я не хотел сам идти к вам, я ждал, чтобы пришли вы. Вы понимаете, что было бы, если бы я, лишенец, бывший ханский чиновник, пришел к вам предлагать помощь. Почему Диван-Беги посту-

пил с вами так? Он не хотел, чтобы обнаружилось его незнание. Он поступил, как скорпион, попавший в огненное кольцо. Скорпион, когда попадает в огненное кольцо и не видит выхода, своим собственным ядовитым хвостом жалит себя в голову и умирает от собственного яда. Это скорпион, убивший себя.

— Так вы нам поможете?

— Я не уверен, что могу оказать помощь. Мне нужны многие данные.

— Какие?

— Берите бумагу и карандаш.

Девушка приносит бумагу и карандаш.

У Тани большие красивые пальцы.

«Чорт возьми, — ругаю я себя, — пришел за водой, а засматриваюсь на пальчики!»

— Надо узнать, какая температура была на вершинах Тибета и Гиндукуша, на туркестанских, гиссарских хребтах, на памирских склонах, в Северо-Западной Индии. Надо узнать дебет воды — секундный кубометраж — на реках Памира, на Пяндже, Хумбоу, Хингоу, Марксан-Су, Кизыл-Су, Вахш. Все эти данные я должен иметь за последние две недели. Надо также узнать, какое количество рабочего скота занято сейчас на орошении, на чигирях, — ишаки, лошади, верблюды. Дайте мне эти данные, и я тогда скажу вам, могу я вам помочь, или нет.

Я ушел на радиостанцию. Хивинская рация заискрилась: радиоволны пошли в Северо-Западную Индию, на Тибет, в Хоруг, Гарм, Куляб, Сталинабад, Керки, Термез и Чарджуй, туда полетели наши вопросы о температуре в горах, о расходе рек в секундо-кубометражном расчете.

Утром я принес вместе с Ахматом старому гидротехнику пачку телеграмм. Мы отвели ему в хорезмском водхозе огромную комнату и выделили в полное его распоряжение бригаду техников и инженеров. Тут же в комнате была поставлена кровать, и сюда же перешла Таня, чтобы следить за питанием своего 85-летнего отца. Она рассказала, что уже очень давно отец начал обучать ее основам своего инженерного искусства. Работа в кафе была единственным сред-

ством к их существованию. После и до рабочих часов дома Таня занималась освоением математики, гидротехническими расчетами, увлекаясь огромным количеством проблем, поставленных перед нею ее отцом. Сейчас она помогала старику в его работе.

Забавлялись надо мной ребята:

— Отыскал какую-то старую архивную крысу и думает посредством ее спасти Хорезм от засухи. Чудак ты, зря теряешь время, — говорил мне Рамзи, — зря, ничего не выйдет. Если Диван-Беги не сказал, то больше никто не поможет.

Диван-Беги — умный человек, знающий, — хвалил он ханского министра, — только он и может спасти оазис.

Мы продолжали нашу работу, забыв уже о старике. Ночью в окружном прибежала Таня, позвала меня.

— Товарищ Хохлов, отец зовет вас

— Ахмат, Рамзи, идем!

Мы целой группой, с секретарем окружкома идем в здание водхоза. При ярком свете нескольких «молний» старик встречает нас. Комната устлана картами и планами. На стенах, на столах, на полу — везде разложены схемы и карты.

— Перед нами бассейн Аму-Дарья, начиная от Северо-Западной Индии, — строго говорит старик. — Сегодня 15 мая, а температура на ледниках гиссарских, хорогских и так далее вчера и в последние три дня была следующая (он читает цифры, строгий старик). В Таджикистане жарко. Сегодня 15-е, — говорит старик, — 18-го в 12 часов ночи вода придет к нам, 21-го в 12 часов ночи вода уйдет.

Старик повернулся от нас и пошел в соседнюю комнату, где находилась его койка.

— Таня, — позвал он дочку.

Вода будет через три дня и продержится только три дня. В эти три дня надо полить хлопок и все остальные посевы. В три дня! В то время как обычно полив длился две с лишним недели.

— Это невозможно, — говорит Рамзи

— Что значит невозможно, — резко вступает в спор Ахмат. — Все возможно, если захотим. Надо широко оповестить население и немедленно организо-

вать подготовку к непрерывному поливу. Поливать день и ночь. Вот мы уже выиграем три дня.

— Темно, — говорит Рамзи.

— Ничего, у нас в магазинах много фонарей «летучая мышь». Бросить в кишлак весь керосин. Весь актив — немедленно в деревню. Оповестить всеми средствами население. Отпечатать листовки, газеты, лозунги: или в три дня польемся, или гибель посевов, неурожай и тяжелые последствия и для колхозов и для всех трудящихся — единоличников.

Письмо одиннадцатое

Любимый друг!

На хивинском базаре жарчи: «Алла Акбар, Алла Акбар! — нет бога кроме бога, и Магомет пророк его! — Правоверные мусульмане! 18-го советская власть присылает воду. Спешите поливать хлопок, джугару, шалу. 21-го, в пятницу, советская власть забирает воду. В три дня надо полить все посевы. Алла Акбар, Алла Акбар! Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его! — Правоверные мусульмане, 18-го советская власть пришлет воду!..

Жарчи, который раньше кричал: — «Пропал ишак с белым пятном! продается дом с глубоким хаузом! заходите в чайхану Мирзо Ахундова!», — теперь кричал о воде. В Ургенче, в Хиве, в Ташаузе не осталось ни одной незанятой лошади. Все брошены в кишлаки. Весь актив уехал на места. 4 пассажирских самолета и два военных истребителя носились над кишлаками на высоте 10 метров, пугая ишаков и осыпая дождем листовок взбаламученные кишлаки. В листовках было: «Вода! вода! вода! поливать день и ночь!», «Вода будет через три дня!», «Поливать в первую очередь хлопок!», «Кто не использует воду в эти три дня, тот враг советской власти!»

По почте, телеграфу, телефону, радио, — везде летело, гремело одно и то же: 18-го в 12 часов ночи придет вода, 21-го в 12 часов ночи воды не будет.

На моторной лодке «Спорт» по шоколадной воде Шавата мимо тянувшихся на лямках каюков мы спешим на турткульский берег. Жгучее солнце. Старый, древний фордовский моторик. Ветер ласкает кожу, солнце неприятно сжигает ее. Лицо лупится. Наконец мы в мертвом, пустынном казарменном городке Турткуле. Посредине города, против «русского» собора, огромная, когда-то предназначенная для военных упражнений, площадь, разбитая еще царями, маленькая будочка, очередь за квасом, и здесь все кричит о воде.

— Вы и не мечтайте политься, — говорит мне Рамзи. — Это есть мысли о немыслимом.

Мы ползем обратно на нашей моторке. Ветер рябит поверхность реки. Огромный каюк с несколькими тысячами тонн хлопка, аккуратно уложенного в тюках, под гигантским парусом с шумом пронесится мимо нас. Нос каюка разукрашен конскими хвостами и кругленькими зеркальцами и еще какими-то языческими реликвиями. Каючники лежат на кипах и поют песни, сочинения ныне живущего старого среднеазиатского поэта.

— Ты смотри, — говорит мне Ахмат, — ни в одной стране так быстро стихи поэтов не перекладываются на песни и так быстро не проникают в народ, как у нас. Вот например, эта песня, она о колхозе. Она уже поется по всему Хорезму.

Был захлестан, чахоточен и узкогруд,
Одинокий батрак, одинокий чабан.
У аллаха в характере много причуд,
О которых не знал близорукий коран:
Что такое деиханский разрозненный труд?

Он, как старый халат, излохмочен и рван.

Не нужны нам аллах и мулла-
словоблуд!

Создавайте колхозы! Да здравствует план!

«Политься в три дня!» Зашевелились гады ползучие по всему оазису. Вылезли из своих щелей скорпионы и фаланги старого мира, именно из щелей. Ахмат показывал мне такой опыт. Он брал нитку с крючком и, насаживая на нее ку-

сок мяса, бросал в вентиляционную отдушину окружкомовского дома. Через несколько минут он вытаскивал оттуда 1—2 фаланги, прилепившихся к прогущему куску мяса. А сейчас они сами вылезли наружу. Тысячи хивинских и еще многие тысячи хазарейских, куняургенчских и всяких других мулл вылезли и шипят повсюду против нас. «Алла Акбар, Алла Акбар,—нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его! Не верьте большевикам, правоверные мусульмане! Воды не будет, не верьте большевикам, они обманывают вас, не верьте им, советская власть не даст воды! Колхозы — ваша гибель! В них вы засохнете, засохнут ваши дочери, ваши жены. В Бухаре, — шипят они, — построена специальная швейная фабрика, на которой делают одеяла по 70 метров длины. Под этими одеялами будут спать все колхозники и колхозницы вместе!»

— Алла Акбар, Алла Акбар, советская власть не даст воды.

Надо было подготовить поля для прихода воды. Декхане делали борозды, готовя пути на полях, чтобы вода быстро могла пройти к корням растений, впитаться в землю. Привели в порядок водосбросы. Организовали водосбросы с хлопковых полей на поля хлебные и рисовые, — по нашему лозунгу: «В первую очередь полить хлопок». Заправлялись керосином фонари «летучая мышь». Подкармливались ишаки, верблюды, лошади, подгонялась упряжка в чигирях. Они должны были помочь поливу, вращая огромные колеса чигирей, черпающие из глубоких колодцев воду большими крынками, привязанными к этим колесам, и выливать эту воду из крынок в желоба; двести тысяч голов скота занято на чигирях, боевая задача — подкормить скот, так, чтобы он мог работать три дня и три ночи бесперывно. Смазать чигири, подчинить колеса, выполнить полив во что бы то ни стало в этот срок.

В огромных крепостеобразных домах крестьяне собирались на собрания — колхозные, аульные, кишлачные, где десятки агитаторов от имени партии и советской власти говорили о воде, о том,

как ее использовать, о том, что сделать для того, чтобы выполнить план. Мы обещали воду на 18-е. Наши товарищи обещали жизнь посевам. Наши товарищи обещали богатый урожай. Наши товарищи организовывали борьбу за этот урожай.

Муллы и баи кричали: «Воды не будет!»

Бой за воду превращался из боя между людьми и природой также и в бой между большевиками и старым миром. Весь оазис, — хорезмские, ташаузские, каракалпакские районы — втянут в эту борьбу. Даст ли не даст воду советская власть? Нег ни одного человека в пустыне и в оазисе, равнодушного к этой борьбе. Она касается каждого. Каждый получал или терял урожай. Он получал или терял авторитет. Он получал победу или поражение. Вода для нас — это борьба за урожай, сегодня — это борьба за авторитет пролетарского государства. Сомнения мучат меня. Украдкой от Ахмата и других я пришел к Ивану Дермидоновичу, в его заставленный немецкими, испанскими и французскими книгами кабинет. Таня, освобожденная нами от своей работы в кафе, сидела тут же.

— Мне надо поговорить с вами, — сказал я.

— Спрашивайте, у меня нет секретов от дочери.

— Иван Дермидонович, будет вода? Он молчит, сдвинув две пары старинных очков на лоб.

— Будет вода? — спрашиваю я.

Старик смотрит на меня и медленно говорит:

— Вода будет... Или я старый дурак и ни черта не понимаю в этом деле.

— Выпейте чашку чая, — кричит Таня.

— Хорошо! — говорю я.

Но под окном выкрикивают мое имя. Меня зовут к прямому проводу. «Некогда!» — кричу я и бегу на телеграф.

Прямой провод. Порсы и какой-то вопль.

«Немедленно вылетайте. Произошло крупнейшее несчастье, могущее сорвать всю нашу работу».

Порсы — 200 километров.

Письмо двенадцатое

18 мая 1930.

Любимая!

Было 10 часов утра. У меня отчаянный пилот. Погода плохая. Но он может лететь в любую погоду. В последние дни я каждый день в самолете. Однажды даже ночевал в кабине.

— Надо лететь, меня зовут в Порсы, Александр Иванович.

— Нужно?

— Да.

— Ну, значит, летим.

И мы несемся через пески вдоль Шавата.

Низко бреющий полет. В открытое окно кабины врывается зной разгорающегося дня. Ветер ломает высунутую в окно руку и не охлаждает, кожу обжигает горячее дыхание Кара-Кум.

Ориентировка очень плохая, и пилот то и дело спрашивает у меня дорогу на Ташауз. «Летите по правому арыку», — пишу я ему.

Порсы — дым.

Запах жареного мяса. Мы спускаемся прямо на большой пустырь. Самолет вздрагивает и останавливается. Я выскакиваю. Толпа людей.

— Огромное несчастье, — шепчет мне уполномоченный.

— Что такое?

— Налетел курбаши.

— Ну и?..

— А у нас было собрание по поводу полива. Собралось 240 человек, вот в том большом байском доме. Двор крыт соломой и хворостом. Накануне отряд самообороны отобрал у басмачей караван с фуражем. Собрание было посвящено организации полива. В самый разгар прений прискакали басмачи всей своей бандой, встали у двери, облили керосином, предназначенным для фонарей «летучая мышь», крышу, двери и — зажгли. Всех, пытавшихся выбежать в ворота, расстреливали. Только несколько маленьких ребят обезумевшие матери выкинули через стены, все остальные погибли либо в огне, либо в панике.

Огромная тысячная толпа гудит и стонет около развалин глинобитных крепостных стен байского дома. Груды ды-

мящегося мяса, обрывки халатов лежат перед моими глазами. На глиняный дувал вскочил Ахмат. Глаза его — в ненависти, все лицо — в боли и страдании.

— Будь проклят, курбаши Джуканд, и люди, послушавшие его. Будь проклят, Диван-Беги, хан и все их сторонники. Да здравствует советская власть! Смерть врагам трудового декханства!

— Спокойствие! Немедленно выделить отряд для погони за басмачами. Немедленно снова за керосин. Сегодня ночью будет вода, сегодня ночью мы польемся и достойно ответим на байскую и басмаческую, вражескую вылазку!

По следам шайки в пустыню уже ушло два отряда. Полетел самолет. Своего летчика мы с Ахматом отправили на ташаузский аэродром, решив до ночи остаться здесь.

Письмо тринадцатое

19.20 мая 1930.

Любимая!

По донесениям наших лазутчиков вчера ночью среди больших, широких песчаных кара-кумских пространств у подножья высокого бархана, поросшего саксаулом, около забытого пустынного колодца, отдыхала банда. Она «победила», но курбаши сумрачен и недоволен.

— Мы сделали большую ошибку, — говорил он своим приближенным. — Большую ошибку.

На собрании было много узбеков и много туркменов. Там были представители всех родов.

— Мы теперь подпали под кровавую месть всего оазиса. Все население против нас. Нет дома в Хорезме и Ташаузе, в котором не погиб бы от нашей руки член их рода.

— Что же делать?

— В Персию, к Джунаиду. Утром отправляемся в Персию.

Курбаши — старый узбек, не раз попадавший в серьезные переделки. Сейчас он собирает свою сборную шайку (30 узбеков и 30 туркменов) увезти в Персию.

— Стой, курбаши, — говорит мирза шайки. — Стой, — решительно повторяет

он, — все зависит от того, будет ли вода. Если воды не будет, нам можно не уходить. Тогда они не будут верить советской власти, и мы снова сможем спокойно продолжать нашу борьбу. Если вода будет, тогда нам надо уйти. Подождем до утра. Посмотрим, будет или не будет вода.

На кровных иомудских скакунах мы едем к Ташаузу. Впереди 30 километров. Вечер. Над кишлаками несется призыв к намазу. Старики расстилают коврики и отдают дань вежливости Магомету. Из мечети несется: «Алла Акбар, Алла Акбар!» — Темнеет. Поля приготовлены к приему воды. Ровные борозды прочищены. К каждому кусту сделана дорожка. Воде приготовлен путь. Воду ждут. В приход ее верят и не верят. Глубокие арыки и отводы от них к чигирям чисто обструганы железными лопатами. Ночь. На насыпях глубоких арыков светятся фонари «летучая мышь» и группами на короточках сидят декханы. Слышу, поют:

Пулеметы остались оскорбленными и
удивленными.

В Чаган приехал изменник.
Пропал Давлятман Энвер-паша.

Едем дальше. В чигирях запряжены ишаки, верблюды, лошади, глаза их завязаны, — «чтобы было не скучно», как говорил один декхан. Они будут ходить по одному и тому же кругу. Все ждет воды. Вода будет, вода должна быть. Опять песни тихие и грустные, опять огни «летучих мышей».

Но дорога здесь полна камней.
Захромал осел,
Мы чуть бредем.
Вот такой же путь, любовь, к тебе.
Трудно по камням итти босиком.

Ночь. Чигири. Фонари «летучая мышь». Люди. Новое канадское седло скрипит. Конь мотает головой, изредка цокают копыта о случайный камень. Я думаю: «В заднем кармане брюк браунинг № 1. А вдруг воды не будет? Если воды не будет — это обман миллионов людей. Это будет такая катастрофа, что я не выдержу!»

«Ничего».

«Ты ведь тогда можешь застрелиться», — уговариваю я себя.

«Так и сделаю».

Половина двенадцатого. Мы останавливаемся у каждого арыка. Но внизу тихо. Изредка квакают лягушки да прощуршит длинный уж в ночной пустоте.

Над нами Большая Медведица. Созвездие, с которым связано так много лирических воспоминаний: 1919 год.

— На фронт. Грунька.

— Серенька! когда будешь на фронте, смотри всегда на Большую Медведицу. И я на нее буду смотреть!

«Десять лет назад. Чорт возьми, как быстро течет время! Десять лет. Сейчас 1930-й. У Груньки наверное уже много ребят, а я — старый холостяк. Ношусь по узбекским, киргизским полям, добываю воду и хлопок».

Час! Воды нет. Ахмат далеко ускакал вперед. Я не выдерживаю напряжения и у глубокого большого арыка, бросая повод соседу, соскакиваю вниз. Прыжок — и я на дне глубокого арыка. Плесневая сырость, запах ужей. Воды нет.

Меня окликают откуда-то очень изда- лека. Я молчу. Я почти плачу от злости и обиды. Воды нет.

Вдруг я чувствую, как у меня промокают ичиги. «Все же сыро», — думаю я.

— Уртак! — кричат сверху.

— Батюшки, да это вода!

Вода уже по колени. Она начинает заливать меня, и уже я кричу. Ребята спускают сверху связанные уздечки и вытаскивают меня всего измазанного в глине.

— Ура! — кричу я.

— Ура! — подхватывает подскокывший Ахмат.

— Су! су! су! вода! вода! вода!

Мы скачем во весь карьер на иомудских конях. Пролетаем кишлаки, глинобитые кибитки, мостки через полные водой арыки. Безмолвие нарушено.

Ночь живет, сладкой симфонической музыкой кажутся крики, стоны, визги и пiski тысяч чигирей, качающих воду. Они поют на самые разнообразные лады. Начали свой упорный ход верблюды, лошади. Крынки зачерпывают коричне- вый глинистый раствор, драгоценную

влагу и выбрасывают ее в желоба. Люди провожают воду, как любимую девушку, на заранее приготовленную ложе. Мы останавливаемся у одного чигиря. Вода бежит быстро, стремительно, точно спешит утолить жажду иссохших растений. Ахмат сидит на корточках около арыка, ласково гладит поверхность быстро бегущей воды и говорит мне:

— Вот за что, Сергей, я люблю нашу страну. Куда ни пойдешь, везде течет вода.

— Эх, Ахмат, а что ты думаешь? Я сам никогда раньше воды не замечал, а после нынешних дней начинаю ее любить.

Иомудские скакуны несут нас мимо кишлаков порсинских и других, к Ташаузу. После мягкой, пыльной проселочной дороги кованые ноги коней гулко цокают по мостовой. Дежурный окружка не успевает принимать телеграфные донесения. Отовсюду, со всех концов округа несетя: «вода! вода! вода!»

Мы на аэродроме. В ночном сумраке, в еле-еле маячащем предчувствии и зари самолет кажется огромной, распластанной, притаившейся к земле птицей. Пилот возбужден. Он охвачен общим азартом.

— Легим посмотреть, что в Хивел!

— Куда вы? — кричит, горячась, начальник аэродрома Скворцов. — Я не даю вам разрешения на полет. Вы все заболели водянкой.

Легим. Самолет раз-другой подпрыгивает и отрывается вверх, ввысь, к Большой Медведице. Мы кружимся над арыками и над песками. Везде, куда только доходит вода, мы видим, вдоль каналов арыков, отводов первого и второго порядка, везде видим фонари «летучая мышь» и декхан, провожающих воду шаг за шагом на поля.

В 4 часа утра мы приземляемся у Ургенча. Я бегу к домику старика. Стучусь изо всей силы в дверь. Открывает Таня. Она почему-то одета.

— Вы уже встали?

— Я не ложила. Боялась и не могла спать. Отец? Спит.

— Пустите меня, — я отстраняю ее и вбегаю в комнату Ивана Дормидоновича.

Он спит, сладко, по-старчески, причмокивая во сне.

Я дергаю его за плечо.

— Иван Дормидонович, Иван Дормидонович!..

Он просыпается, протирает глаза и недовольно бурчит.

— В чем дело, что такое?

Вдруг видит меня, вздрагивает и тревожно спрашивает:

— В чем дело, пришла вода?

— Вода пришла, ровно в 12, как вы сказали!

Тревожное выражение пропадает с его лица. Он напускает на себя деланный, равнодушный вид, поворачивается ко мне спиной, закрывается одеялом и ворчит на Таню:

— Зачем ты его пустила ко мне? Я знал, что вода будет и должна быть. Что вы мне мешаете спать?!

Письмо четырнадцатое
20 мая 1930.

Любимая!

Сегодня гады, скорпионы, фаланги старого мира, плюс 20 тысяч хивинских, ташаузских, хорезмских, куня-ургенчских мулл переменили тактику.

— Алла Акбар! Алла Акбар! Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его! Воду дал аллах, воду дали не большевики. Не верьте им, что вода пришла на три дня, вода будет все время. Поливайте в первую очередь джугару и шалу. На хлопок воды хватит.

Кто-то ведет контрреволюционную работу. Это ясно видно. Кто-то выполняет лозунг Мустафы Чокаева, выброшенный в Стамбуле: «Эй, дети Туркестана, любящие свой народ и его свободу, боритесь с хлопком при помощи пшеницы!»

Рамзи говорит мне:

— Мне надо съездить в Шават. Там неблагоприятно.

— Поезжай, Рамзи.

Он уехал. Действительно, на другой день из Шавата пришли тревожные сведения. Там не хотели поливать хлопок Шават — главный, центральный район, вызывающий у нас тревогу.

— Хорошо, что туда поехал Рамзи, уладит, — говорю я Ахмату.

Снова летают над кишлаками самолеты, сбрасывая листовки. «Поливайте в первую очередь хлопок! Вода уйдет 21-го в 12 часов ночи! Поливайте в первую очередь хлопок! Боритесь за воду, не верьте сказкам баев и мулл!» Снова радио, телефон, телеграф, Снова джарчи кричат по базарам:

«Алла Акбар, Алла Акбар! Правоверные мусульмане, вода пришла, советская власть дала воду. Поливайте днем и ночью, советская власть забирает воду 21-го в 12 часов ночи».

Ахмат распорядился восстановить Ивана Дормидоновича в правах, и старика назначили консультантом местного водхоза. Таня поступила туда же чертежницей.

Сегодня, в 7 часов утра, нужно было срочно вылететь в Чимбай. Отдали распоряжение приготовить машину в полет. В четверть восьмого борт-механик доложил: «Машина готова».

В семь восемьнадцать мы уже стремительно неслись по полю и, оторвавшись от земли крутым виражем, идя на подъем, взяли курс на Ташауз. Мотор уверенно гудел, мелкой дрожью тряся корпус самолета, спутник прокричал мне на ухо:

— Маленькая прогулка перед утренним чаем!

Мы хохотали весело, шумно, запоем.

Вниз уплывали пирамидальные тополя. Петлила гигант-канал Шават, пестрым ситцем, сетью мелких и мельчайших арыков пронесли поля. У нас очень интересный пилот: — представь себе, коренастый, крепкий, уже пожилой и, как большинство летчиков, разговаривающий исключительно про самолеты, вынужденные посадки, аварии и удачные полеты, когда-либо совершенные им.

— Представьте себе, товарищ, лечу я из Ленинграда в Кенигсберг. Туман, дождь, нй эги не видать, еле-еле пробираюсь через Ревель. Прилетаю в Кенигсберг, ругаюсь за неверную подачу сведений, а немцы говорят: «Ведь вы же прилетели, господин, вначит лететь можно».

Этот случай напоминает мне всю ту невероятную, напряженнейшую работу,

которую проводим мы. «План хлебозаготовок напряжен». «Посевная гигантски перегружена нереальными заданиями». «Построить дорогу в год нельзя». «Повернуть реку в старое русло невозможно». Все эги, такие и подобные мысли, слова оказываются ложью, чепухой, невероятной белибердой. — П л а н в ы п о л н и л и, з н а ч и т, м о ж н о б ы л о в ы п о л н и т ь».

— Или вот тоже, — продолжает пилот, — какой случай был. Только это оторвался я от Ревеля, минут через 20 у меня мотор захрипел и «сдох». Внизу лес, в лесу дорога. Я — на нее, но места мало. Я и нацелился между двумя деревьями, убрал ноги на сидение. Очнулся, думаю: «Где я, что я?» Смотрю направо — крыла нет, смотрю налево — из крыла «растет» сосна. Оглянулся назад, а хвоста нет, — он оторвался от сильного толчка и повис далеко позади на ветках деревьев... Да... 22 дерева сшиб — эстонцы потом счет «Дерулюфту» представили. Вот какие дела бывают.

Мы спокойно читали, я просматривал последние страницы врученной мне перед отъездом пачки еще не сброшированных листов моей последней книги.

Вдруг мы заметили какое-то беспокойство, в кабине пилота альтиметр показывал 200 метров. В трубке, контролирующей подачу бензина из верхнего бака, запрыгала муть, и металлический шарик—пульс мотора—начал истерически биться. Мотор загудел с особенной силой. Альтиметр полз — 220—250—270—290. Мотор на одну сотую секунды дал перебой. Механик бешено вертел ручку ручной помпы. Крутым виражем через левое крыло «Ю-9-138» повернул на Ургенч. Нужно натянуть хотя бы четыреста. Вынужденная посадка при высоте ниже трехсот метров чрезвычайно опасна. При двухстах аппарат почти наверняка разбивается. 300! Мотор фыркнул, раз, другой и затих. — «Сдох!» — крикнул механик. Затихло, по инерции вертелся пропеллер. Я ошупал ремни и посоветовал товарищу из ГПУ, схавшему со мной на переднем кресле, положить постель на колени, Из-под багажа торчала полированная ручка

моего маузера. Самолет стремительно несся вниз. Странное спокойствие, и только на мгновение такое ощущение, как на качелях во время полета вниз. Мелькает мысль; «Все машины портятся в работе. Это почти неизбежно. Самолет — машина, она портится на-ходу, в воздухе». Ахмат, судорожно ухватившись за ремни, смотрит вниз. Мы все быстрее и быстрее планируем куда-то в огороды. Аэродром остается в стороне.

Чорт знает, почему вспоминается чье-то изречение: «Все люди лысые, только у одних лысына видна, а у других она густо поросла волосами».

Ахмат (говорил мне потом) уже видел, в какой палате ургенчской больницы мы будем лежать, и уже представлял себе, как это будет. Механик (говорил мне потом) покорно ждал по крайней мере 2 — 3 месяцев больницы.

Я ничего особенного не ощущал. Земля неумолимо летела на нас. Удивленно остановившиеся декхане, люди, машущие руками и куда-то бегущие по направлению нашего стремительного, со скоростью 120 километров, полета. Внезапный скачок — и резкий глухой удар левого крыла о вершину зеленого тута. Аппарат дернуло и на 90 градусов повернуло влево. Мы коснулись колесами какой-то полянки, перепрыгнули арык и ткнулись носом, задрав хвост перпендикулярно к земле, в мягкую, разрыхленную пашню...

Висим на ремнях томительную вечность, равную секунде. Потом хвост перевешивает, и с глухим треском мы обрушиваемся на землю. Я быстро отрываюсь и выскакиваю из кабины. Первый вопрос вылезавшему из пилотской рубки летчику:

— Ну, как у вас, все благополучно?

— Какое там, видите, что с крылом?

Действительно, глубокая, зияющая рана чернеет в дюр-алюминиевой обшивке, трещина в пропеллере...

Толпа декхан, с аэродрома прибежали с медикаментами и инструментами. Кто-то говорит с некоторым разочарованием: «А я ожидал худшего. Вот дров наломают!»

Мы с Ахматом всячески успокаиваем пилота, расстроившегося главным образом тем, что всего на втором месяце работы в Средней Азии с ним случилась такая беда. — Не надо было поминать про деревья, — интимно говорит он мне.

Хозяин поля — молодой декхан — все время заботливо охраняет посевы, выражая большое неудовольствие тем, что мы сели именно на его карликовый, с огромным трудом возделанный участок (к сожалению, мы были лишены возможности выбрать).

Механик горячится — недавно с военной службы, хороший малый, с особым пристрастием к субординации.

— Дайте мне инструмент, я моментально с ней (машиной) разделаюсь!

Пилот тихо делает ему выговор:

— Что значит «Машина готова», что значит это... а? Нельзя горячиться, молодой человек!

Опять мы едем в Ургенч. Я ругаюсь с Ахматом.

— Вот тебе и «утренняя прогулка», накаркал.

Начальник ППУ звонит на аэродром.

— Это вы, пилот?

— Да.

— Это вы сегодня навернулись?

— Извините, не навернулся, а, технически выражаясь, сел, — говорит пилот.

На другой день самолет был отремонтирован, и мы летели в Ташауз, — опять ревел мотор, и на левом крыле поблескивала жестяная заплатка в метр шириной, а за правым извивался гигант «Шават», построенный когда-то хивинским ханом, сейчас полный воды и орошающий шестьдесят тысяч га хлопчатника.

Обратно из Ташауза был просто жуткий полет. Ветер, буря подняли пески. Земли не видать — так, мусть какая-то с неясным рельефом. Капли дождя попадают в кабину. Самолет бросает вверх и вниз метров на пятьдесят. Мы никак не можем набрать нужную высоту и поворачиваем против ветра в Ташауз. Потом опять на Ургенч. И минут через сорок-пятьдесят с огромным трудом и риском приземляемся к особенно желанной теперь земле. Помнишь? —

— На покорной, но сильной земле —
Столько воздуха. Столько простора!

Иногда не очень приятно быть на каком-нибудь конце прямого провода. Но вчера мы вернулись на моторной лодке из Турткуля, и я с удовольствием разговаривал по прямому проводу с каракалпакскими товарищами, сообщавшими, что шураханский прорыв после принятия всех мер ликвидирован. Спасено десять тысяч гектаров хлопка. Это минимум пятьсот тысяч пудов,—для хорошей фабрики на целый год,—это десять миллионов рублей золотой валюты.

Скучаю (очень, очень) о тебе. Думаю все время о моей огромной привязанности, родная, любимая!

Честное слово, я окончательное, безнадежно втюрился в тебя.

Но дорога тут полна камней.
Захромал осел,
Мы чуть бредем.
Вот такой же путь — любовь к тебе.
Трудно по камням итти босиком.

Я тысячи раз перечитываю твою записку. Я несказанно счастлив ею. Родная, давай будем делить, так сказать, и мелочи быта.

Жизнь интересна и прекрасна. Мы много бы сделали с тобой.

Давай же жить вместе, а?

Твоя фотография всегда со мной. Если бы ты знала, какие путешествия и «вынужденные поездки» ты совершаешь!

Уже поздно. Я пишу на подоконнике комнаты приезжих. На улице темно, ветер, говорят, завтра будет заморозок. Это, значит, может сильно побить хлопок. Лает собака. Лампа уже начинает подмигивать. А мне не хочется отрываться от беседы с тобой.

Я много езжу — вижу людей и новые места, но, родная, везде и всегда я думаю о тебе. Жду того счастливого момента, когда ты, наконец, поймешь, поверишь, увидишь всю силу и глубину моего к тебе чувства.

Письмо пятнадцатое

5 июня.

Сводка окрпосевкома от 1 июня.
«Ташауз полит на 100 процентов.
Каракалпакия полита полностью на 100 процентов.

Хорезм полит полностью на 95 проц.
Из районов Хорезма не полился на 30 проц. Шават».

А что там произошло? Именно там была демонстрация. Наставление головоотяпов на ошибках довело некоторых декхан до отчаяния. Я пробыл в Хивинском оазисе ровно полтора месяца.

Снова Хива. Я подлетел к ней, как к старому знакомому городу. Колхозы полились, и колхозники значительно повеселели. Арыки полны водой. Поля, темные от принятой влаги, щедро расцветают. Зелень пышно цветет на них. Хлопок прет чуть ли не на глазах. Поднялась джугара. Около многочисленных чайхан журчат арыки. Снова на базарах джарчи кричат:

— Пропал ишак с белым пятном.
Продается дом с голубым хаузом. Заходите в чайхану Мирзо Сулеймана.

Мы с Рамзи и Ахматом идем в старый дворец хивинского хана. Библиотека. Подлинник договора хана с Куропаткиным о закабалении Хивы под иго русского военно-феодалного империализма. Старик-узбек библиотекарь рассказывает историю склоки Куропаткина и Скобелева при взятии Хивы. Мы идем по аппаратам, превращенным в музей, по широкому каменному двору. Мы читаем надписи на камнях. Рамзи переводит мне некоторые из них. Ахмат куда-то ушел.

— Слушай, — говорит Манон Рамзи, — вот здесь интересная надпись.

Он переводит ее мне:

Боже мой! Боже мой! Что я вижу!
Скаковые кони нзывают под вьюч-
ными седлами,
А в это время золото сбруи
блестит на ослах.

Чьи это стихи?

Стихи Хайпон-Амара.

Третьего июня в Новом Ургенче начал это письмо тебе. Третьего утром был в Ташаузе. Устал. Вдруг звонок. Молния: «Вылетайте в край». И через десять минут я уже летел в Новый Ургенч, покачиваясь на встречном ветру. Пилот, еще не совсем проснувшись, невнимательно вел машину, ее трепало, и мой спутник, ташаузский окрзем, заболел морской болезнью.

Письмо шестнадцатое

17 июня.

...Какой ужас, только сегодня узнал, застрелился Маяковский. Мне больно.

Любовная лодка
разбилась о быт.

Большой был человек, недавно читал его стихи. Замечательные! Хотелось написать письмо автору. Я завидую тебе, ты можешь пройти в дом Герцена и посмотреть последний раз на писателя.

Я видел много смертей — когда мозг близкого товарища, вырванный разрывной пулей, обрызгал густой серо-желтой жижей стену халупы; — когда вырванное басмаческим ножом сердце Зейнаб Курбановой было на голом ее теле прибито врачом перед похоронами; — когда разбирали пахнущие жареным останки двухсот пятидесяти сожженных живьем сурбашой порсинских декхан.

Но горько и больно, что нет Маяковского, что он ушел навсегда (какое это банальное и в то же время жуткое по своей неумолимости слово), на-все-гда.

Чорт возьми! Надо лучше и больше сделать в этой жизни для будущего! Уйдешь навсегда сегодня или завтра, рано или поздно. Надо прожить так, сделать так, чтобы максимально использовать свои силы, нервы, способности, знания, энтузиазм для большого, огромного большевистского дела.

Чорт возьми, очень, очень горько, — тупик большого человека. Ведь именно он писал про Есенина:

В этой жизни
Умирать нетрудно.
Сделать жизнь —
Значительно трудней.

Секретарь райкома сказал:

— А мне его мало жалко, так, горлопан какой-то.

Это неверно, это больше, чем неверно. Во всяком случае он был человеком, к которому нельзя быть равнодушным.

Надо бороться, надо строить. Пусть с ошибками, промахами, провалами. Надо бороться столько лет, насколько хватит сил. Мне стыдно за мысль о браунинге, если не придет вода. Ведь если бы не пришла вода, все равно

нужно бороться, а самоубийство — это дезертирство. Мне стыдно за те строчки и я с удовольствием разорвал бы то письмо, если бы мог. Я сталкивался с Маяковским в Алушке, в 1927 году. Мне не хочется сейчас писать о нем. А знаю, что пройдет месяц, год, десять лет, и рассусоливание критиков, размазня воспоминателей забрызгают обаятельный образ оригинальнейшего поэта слащавой слюной сплетен, которых «покойник не любил».

Заключение

В крае я случайно рассказал историю борьбы за воду в Хорезме. Секретарь внимательно выслушал меня, заставил пересказать, вызвал других товарищей, заставил рассказать еще раз. И только тут я начал понимать все величие дела, нами провернутого, и начал особенно интересоваться судьбой людей, участвовавших в нем.

Уже прошло несколько лет.

Старик Краузе умер советским гражданином. Дочь его учится в Ленинградском ирригационном институте. Он завещал ей свой великий план соединения Аму-Дарьи с Каспийским морем и весь архив — дневники, записки. Таня работает в проектировочном ирригационном бюро. Практиковалась на строительстве Днепростроя, а сейчас, работая по проектированию средневожских станций, не прекращает мечтать о том, чтобы осуществить замыслы своего отца. И в этих мечтах молодой девушки нет ничего необычного. Она мечтает о совершенно реальных вещах. Некоторые говорят, что трудно соединить Аму-Дарью с Каспийским морем. Конечно трудно. Но это же говорят вообще обо всем в большевистском Союзе, а для большевиков нет трудностей, которых они не могли бы преодолеть.

Я вспоминаю последний полет над Кара-Кумами. Чтобы не залететь в Чарджуй, летчик взял курс на Ташкент. Внизу стремительно уходили под крыло барханы.

— Ты подумай, — рассказывал я Ахмату, стараясь перекричать мотор. —

Ведь моя первая профессия золотарь, а сейчас я летаю над целой страной. И это — не исключительный случай.

— Да, — отвечает Ахмат, — а теперь мы ответственные работники, и я работаю и чувствую себя так, точно я должен всем.

Внизу барханы. Под одним из них видим массу лежащих людей и бродящих вокруг коней. Мы спускаемся вниз, на ровное, выдутое ветром плато. Спешим к людям. Трупы.

— Шайка курбаши, — говорит Ахмат.

Люди переплелись друг с другом. У одного торчит нож, у другого проломана голова. Стон.

— Дайте воды!..

Механик приносит флягу. Мы суем в рот стонущему несколько капель коньяку. Он раскрывает глаза. Загорелый туркменский лоб, большая папаха. Длинная черная борода.

— В чем дело? — спрашивает Ахмат.

— Узбеки из шайки напали на нас. Началась борьба, пришла вода, народ нас возненавидел, родной род проклял. Курбаши умер.

Оказалось, что после сожжения 240 человек родовые страсти внутри шайки Хал-Назара разгорелись во-всю. Басмачи-узбеки решили вырезать туркменов, басмачи-туркмены решили вырезать узбеков. В результате схватки те и другие уничтожили друг друга. Мы взяли труп курбаши и притащили его в край.

Так окончился путь вооруженного оплота фаланг и скорпионов старого мира, поддерживавших борьбу против воды, против хлопка, против советской власти, против социалистических Узбекистана, Туркменистана, Казакстана.

Прошел год. Ночь, сидя на хлебозаготовках в Ура-Тюбе, по радио узнал я об измене Рамзи.

— Алло, алло, говорит Самарканд! ГПУ в Узбекистане вскрыло вредительскую, контрреволюционную организацию, связанную с Мустафой Чокаевым и ставившую своей целью свержение советской власти в Туркменистане, передачу власти буржуазии и помещикам и отдачу его под иго Англии и западноевропейского империализма. Главные вожди—Мунавар Кары, Рамзи, Бату.

«Рамзи, — повторяю я мысленно. — Манон Рамзи!..»

Шават! Хлеб. Вода. Курбаши! 240 живьем сожженных. Ханский дворец, Стихи!

Боже мой, боже мой, что я вижу!
Скаковые кони изнывают под
вьючными седлами,
А в это время золото сбруи блестит
на ослах.

Я пишу письмо другу, секретарю хивинского райкома:

«Друг Абдула! Поди в старый ханский дворец, посмотри, пожалуйста, какая надпись имеется на большой каменной плите около выхода. Не сочти за труд, извести меня об этом».

Через три недели получаю по почте ответ:

«Хотя просьба твоя, Сергей, и странна, но я ее исполнил. На камне написано: «У оленя, бегущего напрямки, нет другого недостатка, кроме глаз».

— Ой дурак, ой идиот! — ругаю я себя.—У меня под носом был вредитель! Он водил меня за нос. Что ж, что он был уполномоченным центральных органов Узбекистана. Ведь я проглядел врага, я, коммунист!

В кибитке душно.

Мне не спится, и я записываю себе в дневник новое самообязательство: как большевик, еще крепче биться, в кровь, до смерти, жестоко и беспощадно, со всей ненавистью, скопленной в горячей крови, против всех наших врагов, против всех гадов, фаланг и скорпионов старого мира.

(Продолжение следует)

О Г Н И

Повесть

МАКС ЗИНГЕР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Вся земля под куполом тумана, и в этом тумане летит самолет. В маленькой летящей машине — всего лишь два человека, как в далекой тундре на собачьей нарте. И так же, как на побережье Полуночного океана, спряталась коварно под туманом земля.

Я вижу лицо Леваневского в маленьком зеркальце, висящем сбоку от головы пилота. Это зеркало уменьшает голову летчика, но полностью отражает строение воздушного каюра.

Я вижу неменяющееся, как изваяние, лицо пилота. Из окаймления коричневого, поблескивающего даже в тумане шлема далеко смотрят ясные, светлые глаза, большие, с просинью, будто краешек неба из облаков. Золотистые брови топорщатся над глазами, глядящими то вперед, то по сторонам самолета. Эти прожигательные глаза ищут дорогу во мгле тумана, давящего горы, леса и города.

Невидимые капли водяной завесы колют лицо, словно иглами. Самолет низко идет над землей, потому что с большой высоты ее не различить в тумане. И вдруг под самой машиной затемнеет притаившийся в тумане лес или неясно, но грозно покажется контур неведомой горы.

Словно мысы, в Студеном океане перед нами из тумана вырастают неясно

и неожиданно обрывистые горы и исчезают, как марево, как мираж.

В тумане показался молочно-белый, высоко поднявшийся столб пара. Где-то недалеко под нами проходит паровоз, один или с длинным составом вагонов. Значит, под нами — железная дорога. Будто в горелом лесу стволы, встают навстречу нам столбы телеграфа и электрической сети. Мы несемся над каким-то большим селением, но мы не видим его за водяною пылью тумана.

Самолет тянет над линией железной дороги, потом ложится круто на левое крыло, делает разворот влево, и мы кружим над железной дорогой в поисках вокзала. Склонившись в вираже, Леваневский пытается прочесть с воздуха название станции.

Мы летим в Донбасс, чтобы рассказать его героическим рабочим об ударниках Северного морского пути — освоителях необжитого края Советской земли. О первых архангельских моряках, пришедших сквозь льды с грузами к устью Лены. О первых летчиках, пришедших с востока по воздуху к устью Лены. О замечательной встрече моряков и воздушников на последних параллелях нашей планеты.

Проклятый туман не дает нам сразу определить местонахождение самолета. Мы кружим и кружим над железной дорогой, над безвестным вокзалом, и кажется мне, что я несусь на «гигант-

еких шагах» — качелях, как в солнечные годы детства. Наконец Леваневский отрывается от железной дороги, ее столбов и вокзала.

Под нами была Балаклея. Наш путь к Краматорску верен.

Башни градирен, заводские высокие трубы, провода неожиданно пересекают наш воздушный путь. Они показываются нам в одиночку, прячась за спину тумана. Вот неясно выглянула, словно в дыму пожара, высокая башня. И кажется, что эта башня стоит одна на голой земле. Но мы кружим над Краматорском, мы летим над городом, который весь щетинится трубами, словно пехота штыками перед атакой.

Леваневский ищет места посадки, кружит и кружит, как шаман, с громогласным бубном-мотором.

Я помню ледокол с желтыми высокими трубами, на которых горят красные звезды. Атлантический океан в волнении. Крутые валы пенисто вздымаются из океана, и корабль проваливается в водяные овраги. Вдогонку ледоколу, прячась за хребтами волн, несетя почтовый голубь, один над взбудораженным океаном. Умная птица пытается догнать судно, чтобы отдохнуть на его вантах от ветра и стужи. Но облако черного дыма из высоких труб ледокола застит путь смелой птице. Как голубь в этом дыму, так и Леваневский в дымке тумана находит путь к пристанищу.

II

Леваневский рассказывает конференции женщин-ударниц об ударниках Советской Арктики, о воздушниках, летающих над льдами Полярного моря.

По улицам я слышу:

— Смотрите, это идет Леваневский!

Страна читает газеты и знает своих героев.

Я стою у самолета в комбинезоне и шлеме. Я застегиваю свой длиннополый реглан. Вдруг на горизонте показывается точка. Она растет, приближаясь к нам с пчелиным шумом. И шум этот становится мощным. В Краматорск летит самолет. Он делает приветственный

круг над аэродромом и садится возле нас.

Константиновский аэроклуб прислал нам воздушного проводника, устроил воздушную встречу. И под эскортом константиновского соратника мы летим из Краматорска над лесом его фабричных труб в глубь Донбасса.

Шестнадцатую годовщину Октября мы празднуем в Константиновке. Леваневский катает на аэродроме константиновских ударников. Многие из них впервые садятся на самолет. В вьезде вся эскадрилья аэроклуба. И здесь, как в Москве, над земной демонстрацией идет демонстрация воздушная.

Сегодня людно по всей Константиновке. Все сто тысяч народу вышли на улицы и площади города праздновать Октябрь.

Сегодня людно по всей Советской земле.

Ночью на востоке, словно при восходе солнца, занялось небо розовым светом, будто загорелось сразу со всех концов большое село.

Это пламенеет металл в домнах. Его, расплавленный, выливают сейчас в формы на заводском дворе.

На горизонте загорается ползущая вниз с горы алая полоса. Это выдали шлак из домны.

Яркая огненная полоса долго не затухает в вечернем небе.

III

Мы мячиком взлетаем в воздух. Я думаю о том, что Леваневский сейчас будет прощаться с константиновцами, пришедшими нас провожать на аэродром. И действительно, пилот валит машину на левое крыло с такой силой, что струю воздуха мне жмет лицо, будто ладонью. Я повисаю на брюшном поясе и, склонившись в вираже, думаю о том, когда же наконец Леваневский закончит мучительный, но обязательный для воздушного этикета обряд прощания.

Леваневский вкладывает еще два крутых виража и уходит в сторону от аэродрома. Но это еще не все. Машина идет к трубам Константиновского

завода — прощаться с рабочими, у которых мы вчера выступали. Леваневский валит самолет на левое крыло и делает два круга над заводом, над самыми его трубами, и снова идет к аэродрому. Мне кажется, что прощание закончено, и я облегченно вздыхаю, действительно потрясенный этими проходами, как вдруг поровнявшись с аэродромом и увидав под собой еще не ушедших провожатых, Леваневский делает с машиной такое, что вначале мне кажется, будто мы начинаем «лететь».

Но самолет всего лишь делает «горки». Пилот то взмлет кверху, то скатится вниз, как школьник со снежной горы. Но потом я перестаю понимать, что делается с машиной, только мою голову в тонком кожаном шлеме будто сдавливали каменные глыбы или зажали в железные тиски. Я не скоро догадываюсь, что машина валится попеременно то на левое, то на правое крыло. Это Леваневский «помахивает» крыльшками самолета. Это высший воздушный акт вежливости.

Когда наконец самолет принимает нормальное положение, ложится на курс, и я перестаю видеть заводы Константиновки, в маленьком зеркальце смеется Леваневский, а я грожу ему кулаком.

Машина набирает высоту.

Я привык на Севере летать опасным брющим полетом низко над землей, льдами или тайгой, в туман, пургу и непогоду.

Только в брющем полете, когда видишь под собой мелькающие верхушки лиственниц Севера, чувствуешь бешеную скорость самолета. А на большой высоте чувство скорости полета утрачивается совершенно. И кажется, что машина не движется вперед, а повисает, как на ниточке воздушный детский шар.

Передо мной в кабине все приборы пилота. И я вижу по альтиметру, что самолет быстро набирает высоту.

Вот мы уже на тысяче двухстах метрах. Мне кажется, что машина повисла и мы не можем оторваться от магнита неизвестного городка.

Я пишу записку пилоту:

— Если можно, лети на четырехстах метрах.

И вдруг я перестаю слышать гул мотора. Он выключен. Сразу притих самолет. Я чувствую всем телом, как мы падаем вместе с машиной. Леваневский оборачивается ко мне и что-то говорит. Но, право, мне не до разговоров. Я не понимаю новый «гитик» Леваневского. Стрелка альтиметра бежит с тысячи двухсот на тысячу, на девятьсот, восемьсот, семьсот метров! Высотомер показывает уже четыреста, триста метров! Леваневский перестает мне что-то рассказывать, и я вижу, как он пытается запустить безмолвный мотор. Но он недвижим.

Двести пятьдесят метров! Я вижу под собой уже близко фабричные трубы. Сколько осталось до нашего конца? И как бесславно мы разгрохоемся здесь в тепле южного Донбасса после удач на суровом Севере.

Двести метров!

Машина неожиданно устремляется носом на фабричные трубы, и я невольно поджимаю ноги, готовясь к неприятной встрече с землей.

И вдруг загудел мотор. Сильная струя воздуха, давя на лопасти падающего носом вниз самолета, оживила его мотор. Леваневский ласточкой взмывает над самыми верхушками труб, которые всего лишь миг назад грозили рассчитаться с нами за дерзость.

Леваневский «пикнул», — сделал «пике», — и этим заставил завертеться винт.

Пилот часто говорит мне о самом страшном для летчика — о «тормозимости мышления». Вот если эта тормозимость была бы у пилота на сотую долю секунды, мы бы сейчас лежали котлетой на одном из заводских дворов Донбасса. А так... мы летим, и радостно смотреть на торжественную картину новых корпусов, горделивых труб, молодых скверов, вытянувшихся под нами.

Сияет морозный прозрачный день. Небо бледно-голубое, осеннее, не замаскировано облаками. На горизонте встают терриконы гор пустой породы, выданной из шахт горнорабочими Донбасса.

Перед нами тянется горной цепью дорога терриконов, сложенных здесь из подземных пород в течение сотни лет шахтерами.

Леваневский набирает снова высоту. Ему хочется идти в ногу с высокой жизнью.

Дымятся донбассовские города. Земля, поливавшаяся кровью рабочих в гражданскую войну, теперь дает буйные всходы новой жизни. Под нами новые селения, новые улицы, тротуары в городах и колхозах, сады и цветы и мощные трубы, градирни и лабиринты газопроводов.

С высоты кажется, что Донбасс — это один сплошной город заводов. Что по всему Донбассу идут непрерывной цепью голиафов высокие трубы заводских городков.

Мы приближаемся к областному центру — Сталино.

Из фиолетовой дымки встает перед нами широко раскиданный город.

Коченеют от мороза ноги.

Я смотрю в зеркальце самолета, где виднеется в коричневом шлеме без полетных очков лицо Леваневского. Оно спокойно. Леваневский покусывает губы, — это его привычка. Пилот поглядывает то слева, то справа по борту самолета. И в зеркальце я вижу золотые топорщащиеся брови и под ними глубоко поставленные большие глаза, которые охватывают воздушные просторы. В этих глазах — уверенность и мужество воздушного солдата Советской страны. Вчера он прокладывал дорогу советским кораблям в Арктике, а завтра, если потребуется, вылетит на защиту мирного труда гражданина Советской земли.

IV

Мы летим в гости по голубым клубам Донбасса с вестью о великих северных походах.

Аэроклубы — это слово какое-то голубое, я ощущаю его, как вещь, оно кажется мне даже куполообразным. И вот по советским новгородам поднимаются стены ангаров. Из крохотных отчислений вырастают аэроклубы. И над

ними летают самолеты, выпущенные рабочими, как голуби из широкого рукава.

Ночью Сталино горит заревом металлургических заводов. Мы избегаем по шоссе на высокую гору, и вдруг под нами, за фарами трясского «форда», в глубине, в котловине, показываются огни. В темном густом небе они горят, как звезды. Это огни Макеевки. Вон полыхают огнями домны.

Все небо окрашено пламенем расплавленного металла. Южное небо в огнях, будто северное — в полярном сиянии. Огни то вспыхнут, то погаснут, чтобы загореться вновь.

Я вспоминаю бухту Тикси в Полярном море и необычайные огни ее ночных сияний. Но то были огни небесные, здесь же горят огни, зажженные человеком.

Первый советский блюминг прокатывает здесь огненные столбы чугуна. Домны варят чугунное варевое. Все, что столетия дали инженерному искусству, сосредоточено в этом городе.

На первой линии города Сталино, на главной его улице, в клубе имени Шевченко,людно и тихо. Так тихо, что слышно дыхание докладчика. Так людно, что не протиснуться в проходах.

Герои Донбасса слушают героя Арктики. Он стоит в форме морского летчика с орденом Красной звезды на груди. Летчик не докладывает, он рассказывает. И вот встают в тумане Берингова моря вершины гор Лаврентия, и самолет на последнем бензине идет к Аляске, к Номе. На борту самолета американец Маттерн, рекордсмен, пытавшийся совершить кругосветный перелет и разложивший машину «Век прогресса» в тундре, близ Анадыря.

Леваневский рассказывает о полете воздушного корабля «СССР Н-8».

Летчика слушают с раскрытыми ртами, с задранными вверх головами, и по залу то катится смехок, то гудит гул одобрения, то сыплются возгласы удивления, то рукоплещет народ.

Зал слушает, как ребенок сказку.

— Закормили нас в Номе всякими яствами. А мы думаем так: доставили

в Америку Маттерна, пора и честь знать, лететь к себе на советскую сторону, чтобы искать во льдах свободную дорогу грузовым пароходам к Колыме и Лене. Американцы нас забросали на прощание цветами, апельсинами и бананами. Сыпанули мы, несмотря на плохую погоду, и вскоре попали в туман. Видимости никакой! Концов плоскостей не видать! В окне тумана мелькнуло вдруг озеро, решили садиться. Сели — и сразу оказались на мели. Пробовали на полном газу сорваться с мели, — не удалось. Грунт каменистый. Исходили мы озеро вброд. Оно мелкое. Только в одном месте, где очевидно проходила когда-то драга, искавшая здесь золото, мы нашли канавку.

Решаем: разгружать, облегчать самолет, чтобы затем сползти на глубокое место и с него отрываться. Туман несколько поредел, и мы увидели, что озеро в каменном мешке. Мы — в плену, на американском берегу.

Сидим. Скучаем. Харчить нечего. Увидели мои ребята оленя на берегу. Просят разрешить поохотиться. Я не могу разрешить охоту на американском берегу. Повесили носы ребята. А олень стоит на берегу, стоит, скучает. Никуда не уходит. Подумал я: «Не пропадать же здесь голодом». Говорю ребятам: «Топайте!»

Летнаб Левченко и борт-механик Крутский пошли с наганами в охват оленя. Шлепнули его, шкуру и рога забросали камнями, чтобы не заметил никто следов браконьерства. Подхарчили мы свежины, и как-то веселее стало. Разгрузили самолет, сползли на глубокое место. Экипаж высадили на берег. На самолете остались я да борт-механик. Больше никого! Сейчас будем взлетать.

— Давай запускай мотор! — говорю я Крутскому.

— Что-то вроде водица показалась, — отвечает мне борт-механик.

Не успели мы найти место течи, как вода стала подходить к самым бакам. Самолет погружается в воду, тонет. Гибель самолета — это гибель людей.

Мы, летчики, свою жизнь без самолета не представляем. Надо скорее спасти самолет.

Разделся один из наших летчиков и с берега пошел вброд к самолету, схватил за конец и потянул машину к берегу. Вытащили мы самолет на мелкое место, чтобы не затонул. Заткнули пробойну ветошью. Вода прибывает. Вычерпываем ее ведрами, выкачиваем гидропультом. Бежит вода в лодку. Тогда снял я свое белье, борт-механик — свое, заткнули пробойну. Течь как будто приостановилась. Распоролли мы капковые спасательные жилеты, вынули оттуда непромокаемую вату, забили ею пробойну. Сидим и ждем погоду. А туман не уходит с озера. Ждем день, ждем два, ждем три дня. Сидим. Скучаем. Оленя схарчили. Харчим сырых уток.

Как только раз'яснело, решили сыпать. Условились так: если взлечу, то опущусь на другом озере, где будет глубже. Оставшийся экипаж должен следить, куда будет планировать самолет, — туда и итти.

Озеро маленькое. Машина большая, морская.

Оторвемся или не оторвемся? Если не оторвемся — вмажем в скалистый берег и... котлета из людей и машины! Оторвемся — спасены!

Простидись мы с товарищами. Не знаем, увидимся ли еще с ними. Дали полный газ, быстро вышли на редан. И вот вижу — бежит на меня скалистый берег, сейчас вмажем. Вырвал машину из воды и, набрав высоты, делаю разворот, чертя крылом над самой водой. Развернулся и свечкой кверху!

Спасены!

И сразу как-то полегчало. Кружим, ищем место посадки. Озер кругом много, но садиться некуда. Озера предательские. Остается одно — сделать посадку не в озеро, а в море, на волну. Стали мы кружить над морским берегом, чтобы нас заметили люди из экипажа.

Высокие накаты ходят по морю. Штормит кругом. Садиться на волну скучновато. Сядем или опрокинемся?

Сели благополучно. Поджидаем к себе с берега экипаж. Последним переходил на самолет летнаб Левченко. Он шел на клипперботе и потерял в шторме одно весло. И вот, что индеец на пироге, он мотается с одним веслом по бурному морю.

Выгребет ли?

Видим: прибило его к берегу. Вышел из клиппербота на землю, упал, — обесилел парень. Полежал недолго, взял за конец клиппербот и потянулся вдоль по берегу. Едва идет. Хочет выйти на самое близкое расстояние от берега к самолету. А вода снова стала прибывать в машину.

— Скорей! Скорей! Левченко!

Опять вода в баковом отделении. Остаются считанные минуты. Быть может, нас уже ищут, как без вести пропавших. Быть может, к нам летят на помощь советские или американские легчики. А нам бы вот только Левченку, Левченку на самолет и — в воздух!

И вот Левченко садится на клиппербот и снова идет к самолету. Море сильно расхотелось. И то Левченку подкинет волной выше самолета, то самолет взберется на водяную гору, под которой Левченко в клипперботе размахивает веслом.

Наконец летнаб с нами. Полный газ и — в воздух!

Ну, а потом... потом чесанули и были на советской земле! —

Рассказ Леваневского окончен, и зал дрожит от рукоплесканий, от гула голосов.

Поздней ночью мы возвращаемся домой из шумного клуба.

— Сейчас в бухте Тикси, небось, полахают северные сияния, — говорит мне Леваневский. — Пургой замело дома. Зимовщики поехали проверить песцовые ловушки... Мне предложили лететь зимой в Тикси. И сами зимовщики просили об этом. Я слетаю к ним. Хочется посмотреть, как они там живут. Привезу к ним письма. Ребята будут очень довольны.

— Давай, что ль, слетаем вместе? — обращается ко мне воздушник.

V

Прибежала зима и на юг.

Наш самолет обледенел на аэродроме. С плоскостей зеленых, как трава, свисают серебряные сосульки. Мы счищаем их. Мелким морозящим снежком снова затягивает крылья, и с них стекают студёные капли, и снова вырастают на плоскостях длинные ледяные клинья, словно бахрама.

Низкая, как на Севере, облачность; в тумане слился с небом горизонт. Только пятнами среди тумана взметаются, как взрывы шрапнели, облачки паров паровоза.

Агитоблет закончен, улетает к родным пенатам маленький самолет. За ручкой его управления сидит большой пилот, мужественный освоитель Севера — Леваневский.

В дымке тумана стоят терриконы у донецких рудников, словно египетские пирамиды. Сколько тысяч шахтеров работали здесь, чтобы выдать из-под земли «на-гора» отвалы пустой породы, создать эти терриконы!

И вот стоят остроконечными пиками эти великие памятники великому труду. Самолет летит над горным хребтом терриконов.

На смену древнему обушку пришел отбойный молоток и врубовая машина. Они облегчили труд шахтера. На смену лачугам и балаганам выступили высокие здания социалистических городов с тротуарами и цветами на улицах.

Дорога терриконов стала дорогой рабочих клубов, театров, техникумов и институтов.

И над этой дорогой летит самолет, воздушный часовой, страж мирного строительства, свидетель бурного роста рабочей страны.

От форпостов крайнего Севера советской крепости мы перенеслись к ее южным границам — к Донбассу.

От огней северного сияния мы прилетели к огням мартенов, домен, коксовых печей, к таким ярким огням, что смотреть на них можно только через цветные стекла.

Мы видели северную иллюминацию одной шестой части нашей планеты.

Огни полярных сияний и огни полярных новостроек!

Огни новой культуры и жизни!

Теперь перед нами индустриальный край нашей земли, кажущийся нам с высоты одним сплошным городом заводов, домен, шахт, терриконов. Перед нами Донбасс, светящийся миллионами сгней.

Ночью эти огни кажутся волшебными. Их свет, зажженный человеком, озаряет сейчас всю великую индустриальную страну.

И передо мною вдруг вспыхивают огни Севера.

Я вижу огни судов, идущих сквозь льды Карского моря в Якутию, к устью Лены. В тяжелом льду пробивает дорогу грузовому каравану отважный ледокол. И движется ватага моряков на Север, к последним параллелям, в поисках нового пути в Якутию.

Я вижу бортовые огни самолета — воздушного часового, крылатого разведчика льдов, проводника морских парходов.

В дымке тумана горит далекий огонек. Это светятся окна новой радиостанции на краю мира, на мысе Челюскин.

Огни кораблей, самолетов, радиостанций и новых полярных городов.

И эта ледяная дорога советских моряков и воздушников, то закрываемая туманами и снегопадами, то воюющая штормами и ураганами, кажется мне дорогою великанов. О ней рассказывает моя повесть. Она говорит об огнях, свет которых озаряет Север Советов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Тревожная ночь. Люди на верхней палубе. Идут у кормы ледокола появления водолаза из воды. На воде пузырьки — след водолаза.

Доктор стоит с секундомером, считывая время хождения подводного человека.

— Идет! Идет! — закричало сразу несколько моряков.

Люди придвинулись к релингу, затихли, ждут водолаза Веселова.

В скафандре выходит подводное чудовище, по трапу взбирается вверх, на корму, кладет свои могучие резиновые лапы и послушно наклоняет голову, с которой ручьями стекает вода.

Ледовое Карское море В небольшой полынье — ледокол. И вот у кормы металлическая голова водолаза. Эту голову отвинчивают люди.

— Ну что? Как? — спросил, нагнувшись к побледневшему Веселову, стармех.

В ответ водолаз махнул наискось своей тяжелой рукой, словно многопудовой палицей. Он показывал, что винт среван начисто.

Постояли люди на корме и молча разошлись, словно с похорон.

II

В каюте Лаврова, начальника Ленского похода, горит настольная лампа. На диванчике, по левому борту, валяются радиogramмы — синие квадратики, исписанные карандашом, — да ружье-двустволка.

В каюте душно. Второй час ночи.

— Все пропало! — говорит капитан Легздин, — «Красин» теперь баржа! Случилось то, чего я единственно опасался. Сломан вал левой бортовой машины. Потерян винт. Надо выручить ледокол. Он бессилен помочь Ленской! Ему только бы самому выбраться! По чистой воде он в состоянии будет делать лишь шесть-семь узлов.

Лавров вызывает старшего механика.

— Итак, сломан вал! Что мы можем сделать в нашем положении для того, чтобы восстановить машину?

Механик уныло качает головой.

— Дело дошло! Нужен сухой док! В Полярном море нашими силами в короткий срок ничего не сделать!

Молчание. Оно тягостно, как погерь близкого.

Легздин садится на диван. Лавров шагает по короткой каюте, морщит лоб, сдвигает брови. Он останавливается и, как будто рассказывая свои мысли, говорит:

— Ленскую ликвидировать не будем! «Красин» вышел из строя. Надо «Кра-

сина» обязательно вывести из льдов! Зимовка для него в этом положении означает самое меньшее — потерю целого года. Ленские суда должны отступить на безопасные позиции от льдов. Этой позицией являются острова Русские. «Ленин» стоит в Карском море без дела. Надо «Красину» выбираться к островам Русским насколько возможно ближе, чтобы облегчить «Ленину» задачу подхода к каравану.

Без стука открывается дверь в каюту Лаврова. Просовывается рука, размахивающая синим листком радиограммы.

Суда Ленской экспедиции, оставленные «Красинным» в полынье, попали в сжатие. Опасность угрожает непосредственно «Володарскому». Необходима срочная помощь ледокола.

Трубка у Лаврова погасла. Он шарит по карманам. Спичек нет. Будто полированная, блестит выбритая голова. Мысли толпаются, и становится жарко от набега дум. Нет у ледокола силы. Не верит ему его командир. Судам угрожает сжатие.

Лавров дает радиограмму «Сибирякову», просит помочь «Володарскому»

В каюту вошел Сорокин. Лицо красно от ветра. Смотрит на Лаврова, молчит.

Лавров. — Что же, Михаил Яковлевич, ликвидируем Ленскую?

Сорокин (после некоторого раздумья). — Нет, Ленскую ликвидировать подождем. Мы слишком близки к цели. Теперь надо надеяться на погоду. А там посмотрим... На «Красина» надежда конечно плоха.

«Льды нажимают сильнее, требуется немедленно приход «Красина», — радирует «Сибиряков». Он не в силах совладать со льдом, спасти караван от гибели. «Сибиряков» сам испытывает сильное сжатие.

— Легздин встает с дивана и тихо закрывает за собой дверь. Слышен звонок телеграфа в машинное отделение. Сегодня особенно тревожно звенит этот телеграф. Этот звон долго стоит в ушах. Он напоминает звон колокола в деревне во время пожара. Так бьют в набат — тревожно и долго.

Слышно в каюте, как громоздится ледокол на большое торосистое поле, которое распростерлось перед ним.

Идет ледокол. Шумит ледокол.

А может быть, все это сон? И целы винты корабля. И он попрежнему величествен в Полярном море, прокладывая северный морской путь в Якутию.

Легздин снова заходит в каюту.

В глазах искрится огонек. Светится радость.

— Вы еще не вызывали «Ленина»? — спрашивает Легздин.

— Нет!

— Не вызывайте! Мы еще не сдаем! «Красин» продолжает слушаться руля и колет лед.

— Будем бороться! — говорит Лавров. — Стоит бороться за первую Ленскую! Большевики не отступают перед трудностями!

Каюта Лаврова пустеет.

Все поднимаются на верхний мостик. Снова начинается жизнь.

Сила ледокола растет.

«Красин» хрустит льдом, давит его под себя, и звенит в буфете посуда.

«Красин» идет вперед, но уже не с прежней силой.

Совсем недавно он не задерживался перед льдинами, у которых теперь приходится терять время на повторные разбеги.

Отчетливо на горизонте показался вкрапленный черными точками во льды караван ленских судов.

Весь дежь на ледоколе по всем каютам, кубрикам и отделениям разговор только о потерянном винте.

Больно смотреть на аварийное судно, как на рысака, перебившего ногу перед самым финишем.

В такие минуты вспоминаются слова старых моряков о том, что каждое судно — это живое существо: оно рождается, оно живет, работает, оно умирает.

«Красин» еще живет, он работает и не сдается. Он продолжает носить свое тело в бои со льдами, заковавшими Ленский караван вместе с «Сибиряковым» и «Русановым».

III

Машина Алексева снова в воздухе. Он вылетел к судам на помощь с мыса Челюскин. Работу рации «СССР Н-2» слушает радист «Красина», бывший краснофлотец Любке.

Машина показала над караваном. На всех судах стоят люди и смотрят с надеждой на самолет, под которым сплошные льды. Следят с гордостью за работой советских воздушников. «СССР Н-2» кружит над торосистым полем, где нет ни одного разводья, где исключена благополучная вынужденная посадка.

Если сдадут моторы, то здесь над караваном совершат свой последний круг освоители воздушного Севера — Алексеев, Молоков, Жуков и Побежимов.

Самолет дает два круга и затем проходит прямо над мачтами ледокола.

— Это он указывает нам направление к ближайшей чистой воде, — говорит старшему помощнику Легздин и быстро идет к компасу заметить указанный летчиками курс к свободе.

Выход судам из ледового тупика найден.

«Красин» бьется в тисках моря, вытаскивая по одному из ледяного плена корабли за кромку. Он выводит их целые сутки, дымя высокими трубами. По горизонту тянется черное облако. Оно далеко от каравана. Это черное облако — дым флагманского корабля. «Красин» выручает караван. Ветер помогает ему расшевелить лед, образуя полыньи и разводья. Ледокол зачернил своим дымом все полярное небо.

Поход на Лену продолжается.

IV

«Красин» поломал бы все три своих винта, но не разыскал бы свободной от льдов дороги. А дорога была рядом с караваном, которого зажимало тяжелыми полями. И потому, что свободный путь был близок, и потому, что он лежал не по курсу, а на юг, его бы не найти с безысходных, казалось, позиций каравана. Только широким взглядом

дом летчика с поднебесья можно было увидеть и указать свободный путь кораблям. Это и сделал Алексеев.

Не силой, а искусством вышел первый в истории караван судов к мысу Челюскин. И победа была стремительной.

Алексеев, Молоков, Жуков, Побежимов летали на машине, давно излетавшей свои часы. Но других машин во всем Карском районе не было, и пришлось летать на изношенном «Н-2».

Разбился Бухгольц. Исчез неведомо Леваневский. Пропал Демченко¹⁾.

Но «Н-2» летал. Он был воздушным флагманом Ленского похода. Лавров верно выбрал южный вариант пути. Без этого выбора суда напрасно теряли бы время во льдах, идя на север по стопам «Седова» и «Челюскина». Но без Алексева каравану судов нельзя было бы выбраться из льдов у Норденшельда. Великую услугу экспедиции здесь оказал самолет.

V

Медленно сползает с кораблей и берегов кисея тумана. Героическая флотилия, взявшая приступом заветный мыс Челюскин, стоит в проливе Вилькицкого, и на открывшемся берегу видна мачта заброшенной на край света радиостанции.

Ночь. Но еще светло. Недалеко запряталось солнце; оно посылает сквозь облака и хлопья тумана свои световые сигналы, говорящие о жизни даже здесь, на последних параллелях.

Море раскошено ветрами. Волнуется пролив Вилькицкого. Стучат его налеты в борты кораблей, дерзко пришедших с запада к морю Лаптевых. И в этом проливе я вижу одинокий мотгэрный катер, то выскакнвающий на гребень волны, то прячущийся за нею.

К пароходам идет на ботишке промышленник Серега Журавлев.

Скоро хриплый голос его слышен на верхней палубе ледокола. Окающую северную скороговорку Журавлева трудно сначала разобрать. Журавлев ищет на-

¹⁾ Были такие слухи.

чальника Ленского похода. От Сереги пахнет вином. Но он еще не пьян. Он крепок на ногах. Лицо, словно помятая постель, все изрыто ямками да морщинами, большие уши разлопушились из-под шапки-ушанки, которая тесна зверобую. Полушубок Сереги вымок от воды, от соленых захлестов бурливого моря. И на лице человека еще искрятся морские брызги.

Лавров угощает Серегу чаркой, и дегтина не закусывает ничем, а крикает, словно дровосек.

Туман хлопьями проносится над проливом и то поглотит мыс Челюскин и корабли, то явственно покажет их, уйдя далеко в море.

Слышно, как на «Правде», почуяв близость земли и ее раздражающие запахи, лают застоявшиеся промысловые собаки.

Иссиня-зеленые воды пролива все в беляках, так и прыгают они по зеленым кустам моря как зайцы. Порывистый ветер свистит в оснастке корабля. Свист тревожный. Любо ветру поиграть в паутине такелажа.

По штурмтрапу мы спускаемся с Лавровым в трепещущий на воде, словно живой, бот Журавлева. Идем на нем по водяным горкам, скатываемся и снова взбираемся на их пенистые маковки. Навстречу нам плывут синие и зеленые льды с предлинными закраинами. И мне кажется, что захмелевшего от выпитого вина Серегу Журавлева тянет к этим странникам Северного океана. Наш бот чертит бортами по краям этих льдин. На далеком берегу яснее становится домик рации. Хлопья тумана проносит ветром перед самым ботом.

Берег у рации забит льдами, которых пригнал сюда нордовый ветер. И на берегу самолет. Тот самый «Комсезерпуть 2», который пронесил меня два года назад над дремучей енисейской тайгой, опускался впервые на Нижней Тунгуске, девственном горном плато Енисей, залетал в Игарку, на Диксон и Гыдоямю. Теперь на борту самолета и под его крыльями горят буквы «СССР Н-2». Это—новое имя самолета, его отличительные знаки. Вот куда за-

летел этот воздушный корабль! На мыс Челюскин!

На берегу у одиноких построек бегают собаки. Их много. Я вижу серых, кофейных, белых и красных собак, больших и малых. Мы пристаем к рубану, под который морская вода подрылась, как крот. По льду мы добираемся до берега, оставив бот на якоре у льда.

Лавров идет к самолету. Надо проверить здоровье этого лучшего друга полярника, лучшего ледового лодмана.

Сереги уже нет около нас. Он — с собаками. Они прыгают возле него, лижут ему руки. Он треплет их морды, подкидывает собак, а те визгливо и радостно приветствуют своего знакомого. Год не виделись они с этим человеком. Год назад Журавлев покидал первую зимовку на Земле Северной, с тех пор не видел он собак с мыса Челюскин. Многих он знает по имени, и они откликаются на его сиплый зов.

— Что же ты, милая, окривела? — участливо спрашивает Серега собаку, у которой вытек глаз. И Серега ругает зимовщиков.

— Ишь раскормили собак-то, куда они теперь годятся! Пока не войдут в норму, работать не будут! — говорит Серега. — А кормов-то сколько! Кормо-о-ов! Вот бы моим собачкам на «Русанов»! Непременно попрошу!

Сколько Сереге лет? Думаю, что за сорок. А, бегают он, как молодой. Говорит прибаутками да пословицами. Жить бы с ним год в одной избе да писать чудесную книгу о познавателе крайнего Севера, о землепроходце неведомых краев. Все в нем самобытно: и его острый, пронзающий взгляд, и быстрая походка, и шапка, сбившаяся на лоб, и манеры, угловатые, словно у медведя. Землистое лицо Сереги, мало видевшее солнца, безборода, как беслесна эта унылая, голая северная земля.

Серега подходит к козлам, на которых просушиваются шкуры медведей и морских зайцев (больших тюленей, держащихся одиночками).

— Вот это промысел! Богато люди живут! Попрошу у них раушки! Авось, повеселят мои собаки, соскучились по

звериному мясу, — все о том же говорит Серега.

У него одна забота — о собаках. Он о собаках, а собаки о нем позаботятся. Они повезут его зимой по пастям собирать придавленных песцов, наведут на след медведя или дикого оленя, покажут нерпичью лунку во льду, где нерпа выставляет голову, чтобы подышать воздухом.

За нами послушно бегут собаки, жмутся к сапогам, поднимают морды в ожидании ласки. Мы бесшумно идем к рации. Тихо на орошенной сильным туманом земле. Плещет вода пролива на берег, звонко разбиваясь о лед, прижатый к мысу.

Мы заходим в дом. И там тишина. Вот кают-компания. У стола выстроились в ряд стулья. В углу дремлет буфет, такой же, как на Тишинке в Москве выставляют раз в пятидневку кустари-одиночки. На буфет высоко взгромоздился самовар. Зачем его сюда завезли? Люди конечно пьют чай из эмалированного чайника, в нем скорее растопишь лед или снег.

Из кают-компания мы вышли в коридор и открываем дверь первой попавшейся нам комнаты. Там на оленьих шкурах спят два зимовщика.

Они просыпаются и удивленно смотрят на нас, протирая глаза. Мы первые гости за целый год, проведенный первыми зимовщиками на мысе Челюскин, у края мира.

Мы жмем крепко руки пионеров далекого края и угощаем зимовщиков лимоном и газетамй, взятыми еще в Мурманске. Но для мыса Челюскин газета трехнедельной давности — драгоценный подарок. И он доставлен сюда первой Ленской.

Зимовщики встают и ведут нас в кают-компанию. Проснулась, зашевелилась вся станция. Еще светлы ночи, хотя уже близка зима. Висит пока без дела над столом лампа в эту белую ночь.

На стене последний номер стенгазеты «Северный форпост», — так озаглавили ее зимовщики — солдаты полярной крепости Советов. Портрет Сталина в воен-

ном кителе. Стенные часы. И тишина, вспугнутая нами.

Накинув кожаный реглан, пришел в кают-компанию и летчик Алексеев. Он недоволен работой ледокола, заторопившегося во льды у Норденшельда без авиоразведки. Зачем надо было так уклоняться на север? Ведь караван судов оказался миль на двадцать западнее условленного с Алексеевым курса.

— «Сибиряков» нам тоже советовал итти ближе к осту, но предупреждал о подводных камнях. Ледокол имеет глубокую осадку. Море мелкое. Карта бела. Глубины не промерены. Вода закрыта льдом, и скоро не возьмешь, глубины. Если здесь посадить «Красина» на камни, кто его отсюда вытащит? Вот почему уклонялся Легздин на запад, — говорит Лавров.

VI

Берет слово Георгиевский — первый начальник рации Челюскина, а за Георгиевского — его сотрудники.

От серьезного люди переходят к пустякам, от пустяков — к серьезному.

Так торопливо, подробно и нервно рассказывают всегда зимовщики. Мысли их скачут после одиночества зимовки.

Проделан ряд маршрутов в глубь материка. Заснято шесть тысяч квадратных километров. Вычерчена топографическая карта Таймырского полуострова. Сделан гидрологический разрез пролива Вилькицкого. И вдруг... длинный рассказ о том, как белый пес целый месяц пропадал в тундре. Пришел обратно на рацию исхудавший и одичавший. Собаки встретили его, как чужака.

Не все зимовщики с бородами, не все обросли копнами волос. Я вижу выбритые и свежие лица.

Мне кажется знакомым зимовщик, прислонившийся к косяку двери.

— Вы снова на Севере? — удивляется он мне.

— Но где же мы с вами встречались? — спрашиваю я зимовщика.

— В Игарке, — улыбается человек в свои длинные, как у репинского запорожца, усы

И я вспоминаю встающую в тайге Игарку, огни ее полярных сияний и электрические огни морского порта на реке. Я слышу вновь цыплячий писк ее радиостанции. Я вспоминаю и вижу перед собой первого радиста Игарки Дождикова.

Теперь этот Дождиков — первый радист мыса Челюскин. И эта встреча на краю земли волнует своей необычайностью.

Убито за зимовку пятьдесят два медведя и чегыре моржа. В феврале появилась в проливе полярная, и челюскинцы убили на льду моржа у самой полярники.

Весенний ход песца был сильный, дружный, но короткий. Дикие олени близко подходят к радию, и их много.

Олени впервые пришли к Вилькицкому в середине июня небольшими гнездами (до шести в каждом).

Много белухи идет с востока на запад. В прошлом году густо шел зверь, целыми сотнями. Незадолго до прихода полярной эскадры на Челюскин зимовщики видели табун белух; звери делали попытку пройти в Карское море на разведки, но вскоре вернулись, встретив непроходимый лед. Он мешал белым зверям продвигаться в Холодном океане.

На месте убоя моржей медведи устроили полярную пирушку. Здесь зимовщики и брали медведей.

Медвежатина надоела зимовщикам, они скормили ее собакам, которые ожирели до того, что лениво передвигались, благословляя сытую жизнь.

Десять тонн мяса поели собаки на мысе Челюскин в первую зимовку.

— Вот бы моим собакам мяса! — сказал уныло уже в третий раз Серега.

— А сколько тебе надо? — спросил Георгиевский.

— Пудов пятнадцать, по-русскому выразиться, — ответил Серега.

— Бери! — сказал начальник зимовки.

— Теперь они у меня повеселеют, — говорил повеселевший сам Серега, перетаскивая раушку на свой мотор.

Жизнь на мысе Челюскин раскрывается перед нами страница за страни-

цей. И первая зимовка встает, как великий памятник труду в этом отдаленном крае. Сюда за сотни километров не подходят даже самоеды со своими стадами. Отдельные смельчаки приминали ступнями эту безлюдную землю.

До советских зимовщиков этот край изучал морской офицер восемнадцатого века Челюскин, открывший самый мыс и впервые описавший его. А на востоке Таймыра работал Прончищев. Он умер от цыгги на несколько дней раньше своей жены, именем которой названа бухта, куда идет впервые на зимовку человек. Это конечно Серега Журавлев со своими собаками и хорошо подобранным десятком людей — ватагой поморов.

Нерпичьи залежки были в мае. Нерпы приходили одиночками. Чернобрюхая казарка осеневала на мысу: осенью много рыбы проходит проливом.

Молодой лед стал появляться с середины октября; этот лед подавало в пролив Карское море.

С Карской стороны лед шел густо, до десяти баллов, забивая нередко весь пролив, который не успевал пропустить через себя массы карского льда, гонимого вестями и норд-вестями.

С моря Лаптевых лед шел редкий, до трех баллов, когда дули осты или норд-осты.

Два течения в проливе: одно — на запад, другое — на восток. Эти течения помогают передвижкам льдов.

Пролив вскрылся четырнадцатого июля. За три часа ветрами разломало и унесло лед неведомо далеко.

Перед мысом Челюскин высятся горы Аструп и Свердруп, — названия в честь норвежских моряков.

Стольких гор нет на Севере, сколько есть замечательных советских моряков, имена которых достойны носить самые высокие сопки.

VII

Лавров оставляет раненого «Красна» у мыса Челюскин и сам с грузовыми судами идет в море Лаптевых без проводки ледокола. Лавров приказывает ледоколу отступить за острова Русские и ждать там возвращения архангельских судов из Тикси.

— Не хотелось, чтобы зазимовала первая Ленская. Но, если льды будут не под силу «Красину», — уходите! Пробивайтесь одни, без нас, через Карское море, а мы становимся на зимовку по способности, — сказал Лавров на прощание капитану Легздину.

Нету с нами ледокола. Нет возле нас мыса Челюскин. Пусто море Лаптевых. Флагман «Володарский» идет впереди грузовых кораблей в этом пустынном море. И льды вдруг выходят нам навстречу, словно кто-то забыл закрыть двери клеток ледяного парка.

Кто знает, что делается в ста милях от нас на восток, — может быть, и там лед. И разрушена теория о неледовитости моря Лаптевых в летнее время.

Мы идем, лавируя между ледяными полями, всю ночь и весь день.

Смелости капитана Смагина сопутствует удача. На вторые сутки мы видим встречную зыбь, она катится с востока. Эта зыбь — признак близкой к нам чистой воды. С востока на нас движется с яростной силой шторм. Буря в этом неведомом море. Команда флагмана готовится к встрече со штормом. Задраиваются люки, найтовятся ящики и бочки на верхней палубе. Володарцы не хотят отдавать несущемуся на них шторму никаких даров.

Я перешел с Лавровым на «Володарский». Сюда Лавров перенес флагманский вымпел. Сильный остовый ветер открыл дорогу теплоходу «Первая пятилетка», ожидавшему у Диксона вызова Лаврова к устью Лены. И Лавров вызвал «Пятилетку» в этот восточный шторм, который освободил дорогу речному теплоходу.

VIII

Первый караван архангельских судов штормовал вторые сутки в море Лаптевых. Северная оконечность Евразии — мыс Челюскин оставался позади за кормой пароходов. Выполнялся смелый план Лаврова — прорваться в тяжелый ледовый год из Архангельска вокруг Таймырского полуострова к устью Лены, к Якутии, с грузовыми пароходами. Недоснабженный по артериям рек се-

верный край Якутии получил грузы новым путем через ледовые кордоны Студеного океана.

В героическом одиночестве продвигались на восток пионеры — корабли с грузом. Море Лаптевых вздымалось все в бурунах и пене, стуча грозными накатами в борта пароходов.

Сюда еще не заходили караваны судов, не бороздили неизвестные воды.

На горизонте по курсу головного корабля показалась высокая скала. Люди приняли ее сначала за остров, не помеченный на карте. Но чем ближе подходили корабли к этому острову, тем становилось яснее, что эта высокая скала движется навстречу каравану и отвешивает морю поклоны. Это был аквамаринный айсберг, пригнанный с Земли Северной сюда течением и ветрами.

На верхнем мостике флагмана «Володарский», едва сдерживая от стремительных размахов парохода свой треногий циклоп, кинооператоры Беляев и Масленников снимали светящуюся голубым блеском скалу, над которой тешилось разгулявшееся море. Накаты, ударяясь об айсберг, дробились в мелкие брызги. Как вздохи китов, водяная пыль разбитых вдребезги волн поднималась высоко к свинцовому небу, выше самого айсберга. Наветренная часть ледяной горы была изъедена волнами, и казалось, будто гора разинула ледяную пасть. Эту пасть в ледяной скале высекло море талантливо и грандиозно.

Художник Рыбников пролетел над всем Енисеем вместе с начальником Ленского похода Лавровым. Рыбников побывал на графитовых рудниках Курейки, в полярном порту Игарке и с острова Диксон пошел вместе с караваном архангельских судов в Лену. Еще молодую голову художника покрывала шапка серебристо-седых волос, но годы не избородили свежего лица извилинами морщин.

Придерживая одной ногой мольберт, поправляя спадавшее с носа пенсне, Рыбников записывал в свой художественный блокнот (на маленький холст) этот удивительный айсберг.

За две недели до этого в Карском море, идя на ледоколе «Красин», мы встретились с пароходом «Челюскин», окованным тяжелыми льдами. На «Челюскине» в кают-компании висели панно — карикатуры, исполненные молодым художником, краснознаменцем Решетниковым. Рисунки вызывали искренний смех и вселяли бодрость в каждого, кто пришел в эти суровые льды учиться их побеждать.

И на «Красине» молодой художник Тягунов записывал сочными красками своей палитры новую Советскую Арктику. И я видел, как по небольшому холсту шли, расталкивая льды, архангельские суда, держась в кильватер флагману — ледоколу, прокладывавшему путь вперед Ленскому каравану.

Из мансард и ателье художники вышли вместе со всею новой жизнью на широкие советские просторы и красками передавали запахи незнакомого мира тысячам рабочих зрителей, которым предстояло увидеть после окончания похода эти искрящиеся полотна.

IX

После пяти бурных дней ветер и волна улеглись. Накаты перестали стучать в борты корабля. Появились крикливые чайки над самой палубой «Володарского». Табунами проходили над мачтами гуси. Утки низко тянули над водой. На миг выглянуло скупое солнце.

Под вечер открылись разорванные гористые берега. Чудилось, будто из Полярного моря вставали и шли к кораблям высокие и острые камни. Будто огромный Евразийский материк посылал своих парламентаров навстречу победителям ледяного пути — советским морякам, открывшим дорогу грузовым судам с запада в Якутию.

Коротковолновая радиостанция Тикси сообщила нам, что все буксиры уведены из бухты вверх по Лене и нечем будет подводить баржи к пароходам для их разгрузки.

Люди очевидно не верили гому, что в тяжелый ледовый год суда придут из Архангельска в Лену. Ленской морской экспедиции, впервые пришедшей с за-

пада в Якутию, был оставлен для разгрузки лишь непаровой флот.

Морякам нечем было разгрузиться!

Лавров показывает мне радиogramму. На «Сталине» горят кормовые трюма. На судне — спички, порох, водородные баллоны, бензин, керосин, динамит, аммонал, детонаторы.

Я читаю радио с «Правды», она не нашла входа в Нордвик. Глубины не позволили ей войти в заветную бухту. Коснувшись грунта, она, напуганная, ушла обратно на север в бухту Прончищевой. Там ледокольный пароход «Русанов» выгружал Серегу Журавлева. В первый же день Серега убил там четырех медведей, на второй день — пять моржей и на третий снял всю моржевую залежку — пятьдесят шесть моржей. Серега подтвердил правильность предположений летчика Чухновского и капитана Бурке о больших звериных богатствах моря Лаптевых, куда еще не заходили зверобои.

На Тикси нет катеров! Горит пароход «Сталин»! Самолет Алексеева в плену у льдов на Челюскине. Он попрежнему стоит недвижно на гальке. «Сибиряков» пытается вызволить своего воздушного соратника.

И последнее радио с «Правды».

«Правда» села на мель у Прончищевой.

Бой, разыгранный в Полярном бассейне ленскими экспедиционными судами с исключительным упорством и смелостью, грозит закончиться вничью или поражением.

Лавров не выходит из радиорубки «Володарского». Радист, поправляя сверлящие мозг наушники, все пишет и пишет новые радиogramмы.

Идет охват Полярного района и с моря, и с реки.

Морские суда пробиваются сквозь тяжелые льды вперед к Диксону, Норденшельду, Челюскину, в море Лаптевых, в Лену.

И вдруг, будто на фугасах, рушится все. Виден только дым.

Что это? Конец Ленской?

И напрасна вся красота победы? И зря в тяжелый ледовый год продвигался

в море Лаптевых из Архангельска караван судов с грузами?

Да этому же удивился бы сам Норденшельд — первооткрыватель Северного морского пути.

И Нансен крепко пожал бы руку советским морякам.

Похвалил бы их и старик Амундсен.

Лавров приказывает радисту «Володарского» непрерывно слушать «Сталина».

К вечеру Сорокин, идущий на «Сталине», сообщает, что принятыми мерами опасность пожара устранена, люки горящих трюмов наглухо задраены. Скоро «Сталин» будет в Тикси.

«Сибиряков» радирует о том, что «СССР Н-2» освобожден и вылетел на Диксон.

Рапортует «Пятилетка», включившаяся в героический поход морских судов в Якутию. Она ведет на буксире лихтер с углем и горючим. Она пришла уже на мыс Челюскин.

«Правда» помогает «Русанову» выгружать партию Журавлева, а затем будет сама выгружаться на «Русанова», обещавшего помочь ей стянуться с мели.

Волнами, накатами идут радиосообщения в каюту Лаврова.

— Мы еще не сдаемся! — говорит Лавров.

Темная, густая ночь. Протяжно, волнующе гудит «Володарский».

Моряки Запада приветствуют Якутию, ленские скалистые берега.

Безмолвно море. Никто не отвечает нам.

Одинок «Володарский» у этих берегов в эту беззвездную ночь. Не слышат его люди на берегу. Ветер идет с берега и уносит с собой далеко в море приветы корабля-пионера.

Но вдруг там, где должен быть якутский берег, мы видим мигающие огни радиостанции Тикси. Кто-то сигналил нам с берега огнями. Радист «Володарского» выходит из рубки на палубу, где свистит студеный ветер. Радист читает огневую азбуку товарища с материка.

Радиостанция Тикси шлет боевой привет архангельским морякам.

И в этой тишине, безмолвии ночи, над шопотом волн сияющие огни гово-

рят нам о конце безлюдья, о том, что недалеко от нас живет человек.

Радист Тикси все сигналил нам огнями.

Есть что-то высокотожественное в этих то взрывающихся, то потухающих далеких огнях.

X

Два дома у моря Лаптевых и несколько палаток в бухте Тикси, в заливе Сого.

Люди в домах и палатках отчаялись уже дожидаться прихода архангельских судов. Каждый день выходили зимовщики на берег Тикси — посмотреть, не идут ли корабли.

И вдруг в темную ночь зажглись в море, засияли ходовые огни «Володарского». И красный, и зеленый бортовые огни донесли свои искорки до залива Сого, в бухту Тикси.

— Пароход пришел!

— Парохо-о-од!

Народ зашумел радостным шумом на зимовке. Постояли люди на холоде возле дома с непокрытыми головами и разошлись по одному.

— Пароход пришел!

— Парохо-о-од!

Это было кличем в заливе Сого незабываемой ночью, когда впервые на западе загорелись ходовые огни грузового парохода в бухте Тикси. Огни у самого края земли.

XI

Баржи стоят в Булунгкане. Их видно с «Володарского», но некому подвести к пароходу, чтобы разгрузить прибывшее из Архангельска судно. Уже полдень. Шесть часов простоя, а баржи не подведены.

Лавров идет в Булунгкан по каменистому берегу. Слоистый шифер хрустит под ногами, словно разбитые грифельные доски. Надо долго итти тундрой к баржам, которые на другом конце Булунгкана.

На баржах в каютах люди пьют чай, В трюмах баржи, превращенных в общежитие, слышна залихватская гармонь.

— Сколько у вас моторов?

— Один.

— А наши два? Да станционный! Это уже четыре!

— Так они же слабы! Ими с трудом людей перевозить, а не баржи буксировать! При ветре, на волне, на них не выгребешь.

— Ну вот что! Кончайте гонять чай! Запрягайте два мотора и сейчас же тяните баржу к «Володарскому»! — приказывает Лавров.

— У нас главный мотор не в порядке!

— Работайте теми, которые есть! Неисправный мотор немедленно исправьте! Мы не для того ломали в море винты и корабли, чтобы уйти отсюда неразгруженными! Если к вечеру мотор не будет готов, я взыщу с виновных за простой морского парохода! Перестаньте работать по-речному, учитесь у наших моряков!

Через час из-за мыска показались два мотора. Они впряглись влочкой, словно собаки в нартяной упряжке, и тащили упрявившуюся тупоносую баржу.

На палубе «Володарского» столпился народ у релинга и смотрел, с каким упорством продвигались катера с баржей вперед к пароходу.

— Вот молодцы! Вот это по-нашему! — говорили радостно люди на «Володарском».

На переднем моторе виднелась высоко стоящая фигура человека в мохнатой собачьей дохе.

Это был Лавров.

XII

Глубокой ночью засветились ходовые огни «Володарского» в бухте Тикси, в море Лаптевых.

За «Володарским» через два дня приходит в Тикси «Сталин». Он приходит в темную ночь. Идет смело на наши огни, которые дерзко горят у Тикси, где идет героическая разгрузка.

На баржах, обступивших пароход, как поросята свою мать, шумно и людно.

Слышны окрики моряков, стоящих у лебедек.

«Володарский» отдает ленским баржам свой груз, который пришел в Тикси

морем Белым, морем Баренцовым, льдами карскими, проливом Вилькицкого и штормовым морем Лаптевых.

На баржах разные люди. В широченнейших штанах бывший копач-хищник, которому годы неудач сбили желание искать золото по притокам Лены. Он пошел сюда, на устье Лены, к Полярному морю в поисках счастья, за «длинным» рублем, на разгрузку архангельских судов. Слух о Ленском походе облетел всю Лену и ее притоки...

«Если не хочешь зимовать, разгрузайся в кратчайший срок!»

«Володарец! Береги каждый мешок груза, храни свяшенно социалистическую собственность Союза Республик!»

«Даешь ударные, большевистские темпы разгрузки!»

Это были призывы стенной газеты «Володарец».

Старший помощник капитана «Володарского» Никифоров в первую ночь разгрузки совсем не приходил к себе в каюту.

Я видел его то у лебедки, то на полу-баке, то на полуюте, или он кричал с баржи на пароход о том, как и что надо сейчас разгружать.

Вся верхняя палуба парохода, пришедшего первым в Тикси, была заставлена бочками с горючим. От этого груза надо было освободиться прежде всего, чтобы затем расклинивать, открывать трюмы. Там, в глубоких трюмах, лежали штабели муки, мешки с сахаром, рис, соль, мануфактура, спички и машины.

Бывший военный моряк, ходивший на канонерской лодке «Альтфатер» в волжской эскадре, которой командовал Раскольников, старпом «Володарского» Никифоров работал, не зная сна, здесь, у входа в Лену, борясь за освоение отдаленного края, как некогда за советскую Волгу.

В Булунгане, где стояли баржи, за мыском находилась вся сила разгрузки архангельских судов. Но этой силе — ста с лишним людям — нужны были моторы, чтобы подходить с баржами к «Володарскому» и «Сталину».

В кормовых трюмах «Сталина» пожар делал злую и черную работу. Груз, до-

ставленный с таким трудом через моря Карское и Лаптевых, предавался огню от самовозгорания угля. Начавшийся в море пожар не прекратился в Тикси, как сначала подумали на «Сталине». Огонь вел свою подпольную работу, уничтожая труд людей. К «Сталину» надо было срочно подвести баржу, чтобы перекидать в нее бочки с бензином, аммонал, водородные баллоны и все взрывчатое.

Только к утру подвели баржу к горевшему судну.

На пароходе было много людей, которые пришли сюда, чтобы зимовать и работать в новом Усть-Ленском порту. Горело продовольствие, имущество и снаряжение тех людей, которым предстояла огромная работа по переделке края.

На корме «Володарского» под полуютом жили зимовщики, шедшие на смею тоزاریщам к Ляховским островам.

Я сидел в радиорубке «Володарского». Радист «Сталина» переговаривался с Володей, передавал последние новости о пожаре кормовых трюмов. Сталинский радист вскоре рассказал о том, что все имущество едущих на Ляховские острова в огне. «Открыли люк, так и полыхнуло» пламя. Коробки консервов вздувались и лопались от жара. В огне — все новое обмундирование радиостанции Ляховских островов — стучал радист «Сталина».

Рядом с Володей стоял молодой парень, ехавший радистом из Архангельска зимовать на Ляховские острова.

Мне были непонятны точки и тире радистов. Но ляховский парень вслушивался в них, как в приговор. Все, на что молодой радист потратил в Москве, в Архангельске месяцы стараний и хлопот, теперь обращалось в ничто, в пепел.

Капитан «Сталина» просил прислать противодымные маски и бригаду людей на помощь с «Володарского».

Кто-то вспомнил, что на «Сталине» в суматохе запропастился ящик с детонаторами, — если они взорвутся, то взлетит на воздух баржа с бензином и аммоналом. Баржу с горючим выпустили на длинном конце за кормой «Сталина». На баржу сталинцы выгру-

зили все, что было огнеопасно, и когда раскрыли горевший трюм, то пламя длинным языком вырвалось из-под брезента. Огонь сбивали паром и водой. Пришлось итти на порчу части груза, который был в корме парохода.

Пожар на «Сталине» прекратился.

XIII

Седьмого сентября речной теплоход «Первая пятилетка» прибыл на мыс Челюскин. Прибыл не один, а ведя на буксире лихтер с горючим.

«Пятилетке» помогал «Красин». Он вышел ей навстречу, когда льды стали очень тяжелыми на пути речного теплохода. Моряк помог своему речному товарищу.

Четвертого сентября в международный полярный год я подходил на «Литке» из Владивостока с эскадрой грузовых морских судов и речных катеров и барж к мысу Медвежьему, к Колыме, и одновременно в тот же день и час с запада, с другого края света, из Архангельска к Колыме подходил пароход «Сибиряков».

Моряки Запада встречались с моряками Востока.

Запад протягивал руку Востоку.

И теперь, в сентябре, в море Лаптевых, к бухте Тикси, пришел караван архангельских судов с запада, и в ту же бухту, к устью Лены прилетел с востока самолет Леваневского «СССР Н-8».

Героические воздушники протягивали руки отважным морякам — открывателям нового водного пути в Якутию.

Ровно в месяц дошли суда из Архангельска до Тикси. И если разгрузочные средства — моторы — были бы наготове, морские суда сбросили бы груз для низовьев Лены в несколько горячих дней.

Из четырех слабосильных моторов оставались к концу гнетких суток работающих только два, и те доживали последние часы.

XIV

На битом щебне стоят военные палатки, дымят костры и походные кухни.

И сюда, в Тикси, как несколько лет назад в Игарку, пришло сразу много людей и пароходов.

Еще нет строений в Булунгкане. Пока сложены лишь чегыре венца первой избы из плавника. Плавник крепкий, недолго побыл в воде. Дерево еще не потеряло своей желтизны, но заморилось и приобрело огромную силу.

Здесь будет Усть-Ленск.

Я вижу начало стройки первого дома Усть-Ленского порта.

Капитан Смагин в день прихода «Володарского» в Тикси не говорил, как обычно, за чаепитием, о морских авариях по разным морям и океанам. Он говорил совсем о другом.

— Раз мы пришли с запада в Тикси, в Лену, то мы запросто из Архангельска придем и в Колыму. Ведь от Лены до Колымы по чистой-то воде я в четверо суток сгоняю пароход. Обязательно на будущий год надо итти в Колыму из Архангельска. Кажется, что так будет ближе, чем из Владивостока. Зазимуем, так зазимую, ведь и владивостокские суда в Восточносибирском море зимуют каждый год. А пробовать надо. Карским морем легче пройти в Колыму, чем Восточносибирским. В Карском один архипелаг Норденшельда, а в Восточном вон их сколько мысов: Северный, Ванкарем, Якан, Биллингс, Шалауров, Шелагский, Баранов. Да всех мысов и не упомнишь! На будущий год идем в Колыму из Архангельска!

Вот о чем говорил капитан Смагин.

Он делал выводы из первого Ленского похода.

XV

Я пришел на «Володарском» в Лену и был свидетелем первых героических дней разгрузки в бухте Тикси первой Ленской экспедиции архангельских судов. Я решил пойти на «Пятилетке» в Якутск, стать участником первого рейса речного теплохода от устья Лены к ее среднему плесу.

На «Володарском» я вижу вдруг знакомое лицо. Черные зачесанные назад густые волосы. Черные глаза. Медленный разговор. Это «Турка» — летчик-наблюдатель самолета «Р-5» Левченко,

который указывал пути во льдах северо-восточной полярной Колымской экспедиции всего лишь год назад. Это — Левченко. Вместе с ним мы зимовали в Чаунской губе.

Я несколько раньше его выехал на собаках из Чаунской губы через Восточносибирскую тундру, по ее горам, глубоким снегам и перевалам. На месяц раньше его я входил в Нижнеколымск, Среднеколымск, Абый, Верхоянск и Якутск.

Теперь привелось свидеться в бухте Тикси, у края света, куда мы пришли с разных сторон. Я — с запада на корабле морском, Левченко — с востока на корабле воздушном.

Левченко передает мне приглашение командира воздушного корабля «СССР Н-8» Леваневского участвовать в первом перелете над Леной тяжелой морской машины.

Я иду на верхний мостик в походную каюту Лаврова.

Он стоит на верхней палубе в свитере, без шубы, с непокрытой головой и смотрит на баржу, которая принимает грузы с левого борта «Володарского». Грузы дошли до Якутии. Мука, сахар, машины геперь идут в ленские баржи.

— Езжайте в Москву! Летите! — говорит мне Лавров. — Расскажите Москве о первой Ленской, расскажите о наших трудностях и о том, что мы сделали. Скажите о капитане Смагине. Вот с такими моряками надо итти войной на Север! С такими Север завоеешь. Смелые моряки! Я получил сейчас радио с «Сибирякова» — просят отпустить ледокол поскорей из пролива Вилькицкого. Бежит зима. Уже начинается смерзание. Легздин радирует с «Красина» о том, что старая наша дорога из пролива к архипелагу Норденшельда завалена льдами. Норд-весты сделали свое страшное дело. Придется искать другую дорогу или... зимовать. Не хотелось бы зимовать с первой Ленской. Что скажет тогда про нас Москва? Нашей победы могут не понять. А сделано большое дело!

Мы проложили путь с запада не только в Лену, но и Колыму. Теперь

ясно, что можно отправлять суда из Архангельска в Лену и Колыму. Но при лучшем стечении обстоятельств, чем это было в первой Ленской.

XVI

Леваневский не исчез после вылета из Аляски, как нам говорили. Вот он, Леваневский, стоит передо мной, улыбается. Я вижу его густые золотистые брови и взгляд глубокий, словно в лупу рассматривающий человека.

Светлые глаза будто созданы для охвата холодных полярных просторов.

— Сегодня летим!

На улице снегопад. Метет пурга, закрывая горы, дэма, тундру и мачту радиции. Но на самолете уже работают мотористы, уже сняты чехлы с винтов и моторной гондолы. Леваневский и в самом деле решил лететь из Тикси.

Я не раз летал на самолете в туман, в дождь, в непогоду. Но сегодня предстоит полет в пургу над пересеченной местностью, над гористыми берегами Лены.

— Сегодня летим! — говорит Леваневский.

Хрустит под ногами галька, седая от морской пены, и шумно плещет море. Тундра спит в топах и зыбунах, запорошенных пургой. И над покоем Тикси маячит высоко мачта радиостанции. Возле мачты, сгрудившись, будто перед врагом, готовясь к самозащите, стоят одинокие дома. У домов скучают от осеннего безделья собаки. Я вижу первых жителей радиостанции Тикси.

Я вхожу в деревянный дом. На стене, словно картина, висит красная лисица — огневка — трофей зимовщика, и рядом с пушистой лисой синее карта Советского Севера.

Люди не читали газет больше года. Отвыкли от шума, от многоголосья. Они ошеломлены приходом судов, прилетом летчиков.

В Тикси все ждут «Пятилетку». На ней должны уйти в Якутск сменившиеся зимовщики.

Ложась спать, все думают о ней.

«Пятилетка» — это знамя! Символ освобождения сотен людей от зимнего плена в Тикси.

И «Пятилетка» приходит.

Ночью радиостанция Тикси видит огни приближающегося речного теплохода. Он идет один в этом суровом море Лаптевых. На речном теплоходе в жестокое океане, омывающем полночную страну, горят в ночном небе яркие ходовые огни.

XVII

Ветры и течения перекрыли Полярное море белым мостом льдов. Карское море обложилось льдами, закрыв новоземельские проливы. Льды восстали против своих победителей. Но победители не остановились перед тяжелыми преградами.

Под руководством начальника Ленского похода Лаврова ледокол «Красин» с помощью воздушного корабля Алексеева «СССР Н-2» пробил путь в море Лаптевых, к устью Лены, грузовым пароходом из Архангельска.

Раненный в боях со льдами, обессиленный ледокол не смог проложить обратную дорогу домой, в Архангельск, героическим морякам «Володарского». «Сталина» и «Правды». Они зазимовали в море Лаптевых, у острова Самуила, оставленные здесь ледоколом.

«Сибиряков» открыл ряд неизвестных островов у берегов Таймырского полуострова. Сменил зимовщиков на крайнем севере Евразии — мысе Челюскин.

Пароход «Челюскин», оставшись без помощи «Красина» один в Полуночном океане, пробился в тяжелых льдах Карского моря и вступил в героическое единоборство с грозными чукотскими льдами. Эти льды остановили замечательный рейс корабля у самой кромки перед выходом на чистую воду Берингова пролива.

Сроки полярной навигации сократились холодами рано примчавшейся зимы. Но советский флот с исключительным упорством прокладывал себе широкую полярную дорогу.

Белые поляны Арктики, ее ледяные поля, еще не раз будут восставать против своих победителей. Полярники знают это и готовятся к новым боям

с суровой природой. Строятся сверхмощные советские ледоколы и полярный морской и воздушный флоты.

Конечная победа останется за советскими моряками, воздушниками и учеными.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Огни бегут по небу, нарядные, дрожащие.

Погаснут вдруг огни. Потухнет небо и снова вспыхнет где-нибудь высоко над головой яркая желтая полоска, разгорится сильнее, и пойдут от нее по всему небу цветные брызги волнами да крутогорами. Пишет огонь по небу свои переливчатые узоры. Брызжет небо желтыми, зелеными да палевыми лучами.

Из палаток, у края земли, в Булунгкане, из трюмов баржей торопливо выходит народ на землю, хрустящую под ногами рассыпчатым, слоистым шифером. Восхищенно смотрят на небесные огни, на горящее звездное небо, на северное полярное сияние.

Ярко плещут полярные огни в Тикси, над морем Лаптевых, перед самым устьем Лены.

Рано зажглись огни Севера над Леной. К холодам это. Идет коварная зима. Надо торопиться из бухты кораблям морским и воздушным.

Неподалеку от радиостанции в бухте Тикси — воздушный корабль «СССР Н-8». Он с конца августа сидит у входа в Лену, — нет в Тикси горячего.

В бухту Тикси пришли морские гости с запада, из Архангельска. Впервые в истории полярного плавания загремели якорными канатами в бухте архангельские пароходы первой Ленской экспедиции, проведенной Лавровым к месту назначения в тяжелый ледовый год. Тысячи тонн груза пронесли суда в своих трюмах сквозь льды Полярного океана к берегам бездорожной Якутии.

Тысячам оленей не под силу подвезти нартами сюда, к крайнему Северу, эти горы мешков с продовольствием, эти тяжеловесы и фабрично-заводское оборудование.

Открыт морской путь с запада в Якутию. Доставили пароходы и бензин для самолетов Севера.

С вечера самолет заправлен горючим. Но недаром огни Севера полыхали по вчерашнему небу в Тикси.

С утра запурговало. Крупными хлопьями падает снег на еще не остывшую землю, быстро тает, и мокрой становится неприветная, тундряная земля.

Летчики идут на самолет. Сейчас начнется рейд тяжелой морской машины над Леной от самого моря Лаптевых, от устья великой реки мира до ее истоков к Ангаре, к Иркутску, за пять тысяч километров.

Все летчики в кожаном, в шлемах, такие же, как на всех воздушных линиях мира.

Они летели от солнечного Севастополя к Волге. Через Урал, через всю Сибирь — к Хабаровску и оттуда над Охотским туманным морем, над полуостровом Камчаткой — в Анадырь, на помощь американскому летчику Маттерну. Из Анадыря — в Ном, на Аляску. С Аляски над Полярным океаном — в ледовые разведки от самого мыса Дежнева до бухты Тикси.

— Я вас провожу до Столба, я покажу вам вход в Лену. Все равно мне надо посмотреть, где сидят на мели шуны, — говорит летчик Линдель Леваневскому.

— Нет, мы пойдем без провожатых! Где в тумане мы увидим второй самолет? Только вмажешь в него, — говорит Леваневский.

— А так вы в Столб вмажете! — не успокаивается Линдель. — Остров стоит при входе в реку, высокая скала, в тумане ее не увидишь.

— Увидим! — закончил разговор Леваневский.

— Какой порядок запуска? — спросил борт-механик Крутский командира.

— Сначала кормовой, а потом без предупреждения носовой, — ответил Леваневский.

И один за другим, простившись с провожавшими их людьми, летчики ступили на жабру, и каждый ушел с нее на свой пост.

II

Завихрились оба винта самолета, выбежал на простор «СССР Н-8». Полный газ! Машина вышла на редан, уже над водой обе жабры самолета, не плещет через них пенная вода бухты. Под днищем лодки самолета слышен звенящий шум дюрала об воду. И вдруг — прыжок, затих шум воды, самолет свечкой идет к небу. Леваневский прижимает машину к воде, и мы не сразу, не горопясь, набираем высоту. Мы не кружим прощально над провожающими нас зимовщиками Тикси, первыми строителями Усть-Ленского порта.

Не до этикета сейчас, в пургу, когда не видно ни моря, ни горных берегов, караулящих самолет за снежной стеной бурана.

Я высовываюсь из кормового люка и не вижу впереди пути для самолета. Привстали из-под козырьков кабины и пилоты. Вспатриваются в пургу, ищут в ней просвета.

Они стоят, как на дозоре, и будто кричат:

— Эге-э-эй, кто идет?

Это идет наш враг — пурга.

Метет пурга. Гудит самолет. И в пилотской кабине вполоборота ко мне приподнялись два летчика — Леваневский и Левченко. Вот так, как стоят они сейчас в эту пургу над Тикси, в море Лаптевых, и запечатлеть их в бронзе, их — освоителей новых воздушных путей советских окраин.

Распростертые крылья «Н-8» склонились в выраже.

Привставшие пилоты ищут путь в Лену.

Местами, где угасает внезапно пурга, дымит туман, словно разгорающийся пожар.

Но, чем дальше отлетаем мы от Тикси, тем лучше становится видимость, и уже темнеют в оконцах тумана кусочки берегов.

Еще в пурге горы Тикси. Но видны на берегу лагуны. Они одеты по-зимнему, — во льду.

Вон на мели два бота. Они стоят недвижно и, не зная ничего о прилетевшем из-за тридевяти морей и земель

самолете, думают, небось, о том, откуда взялась здесь в непогоду, в такой дали, эта жар-птица.

«Уже прошел час. Впереди нас должен быть Столб. Но его не видно из-за тумана и пурги» —

это пишет мне мой сосед.

На самолете так шумно, что самому не слышно своих слов. И мы переписываемся в воздухе.

Я высовываюсь из открытого люка. Пурга метет, но уж не с прежней силой, поредел и туман. Но не видать Столба.

Не сбился ли самолет?

Не отвела ли магнитная аномалия компасную стрелку в сторону, не обманула ли нас в пурге?

Из тумана, снимая шапку-невидимку, выходит остров Столб, показывая свою могучую каменную спину.

Стоит, как часовой, охраняющий вход, в реку с моря Лаптевых.

И за Столбом — будто в другой стране. Поредел туман, разредело пургу. Я оборачиваюсь и вижу за стабилизатором вдаль, на горизонте, уже пройденный нами Столб.

«Мы вошли в Лену!» — пишет мне мой сосед.

Под нами река вся в осередышах, рукавах и протоках.

Вон на берегу показался первый лесок.

Я не видал его уже давно на каменистом, голом Севере.

Таежные притоки наполняют Лену своей водой, текущей с гор. Сбегают речки и ручейки к матушке Лене.

Холодно наверху. Нет ни тумана, ни пурги, только коченеют от холода колени.

Со мною рядом сидит Скачко. Он прилетел в Якутск обследовать север Якутии. Из Якутска спустился вниз по Лене на зверобойной шхуне до Столба и оттуда — по воздуху в Тикси на «Р-5» с летчиком Линделем.

Как перекрещиваются пути людей на земном шаре! Начальник Ленского похода Лавров и Скачко жили в Москве в одном доме, на углу Воздвиженки и Моховой. Лавров уезжал из Москвы в Красноярск, одновременно в Иркутск уезжал Скачко. Лавров летел над Ени-

сеем, Скачко — над Леной. Оба — на крайний Север.

Лавров с караваном судов обогнул Евразию вокруг мыса Челюскин и пришел в Тикси седьмого сентября. И в тот же день в Тикси прилетел с Линделем Скачко.

Вот какие встречи бывают на Севере!

Скачко устал от тревоги бессонных ночей на «Володарском» в Тикси, где квартировал несколько дней, и дремлет сейчас на сиденьи в самолете.

Моторы работают на полном газу, и с чертовской силой вертятся тянущий и толкающий винты самолета.

«Н-8» мчит на юг, но до юга еще далеко. Якутск южнее нас на тысячу с лишним километров, но и в нем зимой меня встречали шестидесятиградусные морозы, и, пролетая над зимней Леной, спускался вынужденно наш самолет. У него замерзал в воздухе маслопровод, и надо было разогреть до кипения масло и таким горячим вливать его в картер и в баки. Тогда только можно было лететь еще час-полтора до следующего разогрева.

Так холодно и ветренно, что не хочется доставать далеко запрятанные часы, но мне кажется, будто замерло время и не движется совсем.

Уже не стало пурги, тумана. Но вечер берет свои права. Темнеет заметно, а мы все тянем и тянем на юг вместе с лебедями.

Вот идет их длинная шеренга.

Они тоже покидают Полярный бассейн.

Я думаю, что мы пролетели уже не менее шести часов и скоро должна быть посадка. И в самом деле, летчики сбавляют газ, мы идем на снижение. Под нами Жиганск.

III

Мы ночуем в просторном доме.

Давно это было. Пришли жиганы-разбойники, разграбили и сожгли город.

Передо мной Жиганск, выросший на месте пожара, древнего, теряющегося за каменными плитами надгробий дошедшей от прошлых столетий жиганской церковочки.

«Под сим камнем погребено тело отставного казака Саввы Кузьмича Махурдина, поживе от рождения 46 лет и 11 месяцев, скончавшегося 1833 года, октября 3 дня, тезоименитства его 12 генваря».

А вот надпись на плите, помеченная 1801 годом.

В алтаре церкви живет «нарсуд», и в комнатах, оклеенных евангелием, за ситцевыми перегородками квартирует секретарь рика и строители. Здесь все учреждения Жиганска: изба-читальня, рик, райком, нарсудья, ячейка, райкомол.

Расписанная акварелью, вывешена стенгазета на якутском языке, — «Сардана».

Что значит по-русски «Заря».

Это заголовок стенгазеты. Она вышла в свет за несколько дней до нашего прилета.

В рике огромный плакат, я прочитываю и записываю на память в свою «колдочку»:

«Труддисциплина

и нутрянной распорядок.

1) Во время занятий с корнем ликвидировать: а) частные разговоры, б) уход без никакого основания, в) смехи, г) борцы¹⁾ и т. д.

2) Без спроса кое-какими завами отделения получение канцелярских принадлежностей и делов с корнем воспрещается».

Двадцать один дом — вот и весь городок. В Жиганске не более ста жителей.

На улице, единственной улице, пахнет стройкой. И сюда дошла она. Отделяется здание больницы, под самую крышу уже выведен просторный склад.

В больнице масляной краской выкрашены полы, белизной отсвечивают рамы окон и двери. Полурусская-полуякутка, с черными маслинами глаз и запрятанной под халат косой, стоит медицинская сестра.

Газеты пришли сюда недавно только за прошлый год, и теперь лишь зимой придет следующая почта.

Лимоны, которыми я угощаю нашу хозяйку Будищеву, — мой паек с ледокола «Красина» — видят в Жиганске

¹⁾ Борьбу.

впервые, и наши хозяева пьют подкисленный чай с каким-то трепетным восторгом.

Передо мною доктор Краснова — худенькая, маленькая женщина, но с огромной внутренней силой. Это ее энергией поднялась больница в Жиганске, и здесь, за полярным кругом, выросла капуста, завилась большими вилками в колхозном огороде.

Будищева угощает нас рыбой, двумя большими стерлядями, только-что выловленными в реке. Рыба и олень в гербу этого маленького городка.

Вон внизу, под обрывом, речка Стрекаловка, и в ней распластал крылья воздушный корабль «СССР Н-8». Левый берег высок у речки Стрекаловки, изогнулся дугой. Речка узкая, но полноводная. Один берег выложен камнем, другой зеленеет тальником.

Вчера под вечер самолет валился на правое крыло, будто присматривался, выискивал в таежных берегах Лены затерявшийся в вечерней синеве тумана городок.

А сейчас солнечное утро золотит крутой обрыв, и в нем лохматится зеленый тальник, и небо распушилось белыми, будто невесомыми, облаками.

Слышен визг пилы и стук кровельного железа.

Слышен, но как-то необычно.

В ушах еще стоит этот звон моторов самолета, несовпадающий гул двух винтов.

— Уу-уу-уу...

Не помогает и паковка ушей.

В лесу краснеют кровавыми пятнами листья крушины. Пахнет сыростью лесотундры, пряным багульником, травой, хвоей, навозом, землей.

Я вдыхаю запахи земли полной грудью. После льдов и Полярного моря дорогим становится каждый кустик.

Только после опасной и долгой болезни и случайного выздоровления чувствуешь всю радость жизни.

И после Севера таким родным и теплым веет от мхов, выбунов и кочек лесотундры, где переспела сладкая брусника, хваченная морозами, и черными гроздьями свисает на кустиках голубица.

В носовом моторе выгорел клапан при перелете из Тикси. Мы днюем в Жиганске. Борт-механик Крутский, широкоскулый, широкоплечий и краснощекий, поправляя редкие косички волос на своей голове, целый день выстаивает у мотора. Возле Крутского длинный, как свеча, стоит Моторин, он помогает доктору моторов Крутскому в его операциях над сердцем самолета. На сутулящейся фигуре Моторина смешно чернеет берет с тонким мышинным хвостиком посреди головы.

— Скучновато было лететь, — говорит мне Леваневский.

«Скучновато». Это словечко летчиков. Летный человек не скажет: страшновато. Он не знает страха, но ему скучно лететь в пурге и в тумане, рисковать машиной и экипажем.

Да, действительно было скучновато лететь в пурге и тумане от Тикси к Столбу.

— Но еще скучнее было лететь над Охотским морем. Гробовитые были моменты. И кто это выдумал рейсы через Охотское море? — недоумевает Левченко.

Первый вопрос у летчиков к Жиганску:

— А есть ли горячее?

Оно должно быть, по заверению тиксинцев, ну, а вдруг его нет, что тогда зимовать в Жиганске?

Горючего в Жиганске с избытком. Оно завезено сюда пионером Северного воздушного пути Красинским.

Ночью на оленьих шкурах мы засыпаем в квартире Будищевых, как дети, сладко, без просыпа до самого утра.

IV

Вчера Лева Будищев, мальчик шести лет, учил меня по-якутски:

— Эн атын кими?

— Как тебя зовут?

— Утуем суоха!

— Спать не буду.

Мальчик рассказывал мне о том, что был в Сангар-Хая и видел памятник разбившимся летчикам Кальвице и Леонгарду — первым освоителям северного воздушного пути от Providения до Лены.

Еще вчера я говорил с мальчиком в просторном доме Будищевых. Мы сидели на полу, поджав колени на оленьей шкуре. И тихий дом, и сам я были в какой-то дремоте.

А сегодня я уже снова сижу в кормовом отсеке воздушного корабля. И передо мною вдали, будто на пригорке, — голова Леваневского в шлеме. Он полуобернулся к моторам и слушает их ритм. Это всегда перед взлетом Леваневский на-слух проверяет работу моторов, он вслушивается в их шумовую музыку, как дирижер большого оркестра.

Борт-механик Крутский спустился по трапику из гондолы в баквое отделение, замочил обеими руками, как крыльями птица, давая этим знать нам в кормовом отсеке что сейчас начнется полет.

Замечаю время взлета. Двенадцатое сентября, двадцать три часа с половиной.

Остров Аграфена, зеленый остров посреди реки, — это грань Севера, здесь проходит полярный круг.

Аграфена уже за кормой самолета, значит, и Север уже позади.

Не видать под самолетом голубой ленты воды. Желтеют пятна песку, и в них, словно озерами, раскидалась Лена.

На берегу — шалаш и возле него — человек. О чем думает этот таежный человек, видя самолет, летящий с моря?

Машины бросает, словно бумагу на ветру. Стремительно падает или вздымается самолет.

Ветер поддувает то под левое, то под правое крыло или вдруг «Н-8» проваливается неожиданно в воздушные ямки.

Опять туман — лохматое одеяло Лены. И Леваневский идет под туманом над самой водой бреющим полетом.

Здесь, на Лене, до самого Якутска нет телеграфа, нет проводов, перекинутых с берега на берег, опасных для самолета, и вмазать можно только в высокие камни.

Туман поднимается, и все выше становятся гористые, синие берега Лены.

Это отроги Верхоянского хребта, они уснули в снегах и синеве. Они такие же, как в январе, когда я с оленями спустился с Верхоянского перевала.

«Смотрите, это Вилюй» — пишет мне мой сосед.

«Левченко завел в сухие протоки. Надо было держать левее. Боюсь, как бы мы не ушли по Вилюю» — получаю я снова записку от Скачко.

«Но ведь он же смотрит не только в карту, но и в компас! А курс?!» — отвечаю я на записку.

И Скачко подтверительно кивает мне головой в серебристо-пыжиковом махлае.

Красота горного Жиганска скрылась за изгибами реки. Еще недавно народ бежал по берегу за самолетом, устремлявшимся против ветра на отрыв.

И вот поднялся туман над хребтом. Показав величие безлюдных гор. Они в мрачной синеве стоят голые, заснеженные.

Кажется, что за хребтом, там, где берега будут пониже, на Лене станет яснее. Я вижу, вон желтеет полоска яркого неба среди хмурого, заволоченного туманом дня.

«Вот это Вилюй! — пишет мне Скачко. — Я ошибся тогда».

Далеко от нас уходит Вилюй, словно водный рукав Лены. Он прорыл себе извилистый путь в горах, тайге, поглощая мелкие речушки.

Сангар-Хая, угольные копи. Здесь близко разбились пионеры воздушных путей Лены.

Вон налево течет Алдан, он отдает здесь свои воды Лене.

Моторам сбавлен газ. Затихает шум винтов. Самолет проваливается. Ширится быстро Лена, растет под нами, и ближе к нам стали верхушки лесов. Я различаю уже отдельные лиственницы на косогорах.

«Зачем они идут бреющим?» — спрашивает меня в блокноте Скачко.

Я вижу впереди над рекой дымок парохода.

Летчики ведут прямо на него, едва не касаясь жабрами зеркала воды.

Пароход тянет баржу вниз по Лене.

Мы проносимся со скоростью ста восьмидесяти километров в час.

Речники высыпали на палубу. Неистово машут руками, подкидывая вверх шапки. Речники приветствуют воздушников.

Мы разминулись борт о борт с парходом, и самолет, словно гимнаст, делает подскок от трамплина вверх, и мы снова забираем высоту.

«Это они, черти, шиковали!» — пишет мне, улыбаясь, Скачко.

Идем на мыс, высокий, голый, каменистый. За ним река круто уходит вправо.

Из-за мыска поддуло вдруг со страшной силой и стало валять, и будто притягивать самолет. Летчики пытаются отжать самолет влево.

Но самолет тянет к мысу, и не сразу Леваневский отрывается от него.

«Мархинский совхоз! Тридцать пять километров до Якутска» — получаю я записку.

Солнце, луга, сено остожено. Оно стоит маленькими комочками на выстриженных косою лугах.

Опять я приближаюсь к Якутску, как совсем недавно, в январе. Тогда на конях с северо-востока, теперь на воздушном коне с крайнего севера.

Мы низко проходим над Якутском. Видно, как люди задирают головы к небу, смотрят на птицу, затмевающую солнечный свет.

Леваневский кружит над Якутском, ищет место посадки. Пройден уже второй круг над городом, и самолет садится у аэродрома, где беспомощно висит «колдунчик».

Маловетрие, вода зеркальная, безмолвен берег.

Мы пролетели около пяти часов от городка жиганов.

Мы — в столице Якутии!

К нам бежит военный. Он соскочил с автомобиля, подехавшего к аэродрому. Кобура бьет по заду, прыгая на ремне, и военный придерживает ее рукой.

Возле нас собралась большая толпа.

Подшли от строек рабочие.

Высокий, кряжистый, сереборородый, стоит сибиряк-плотник, на плече топор, в зубах изогнутая трубка.

— Скажите, это чей самолет, заграничный или какой?

— Советский.

Несомненно, наши радиogramмы из Тикси и из Жиганска не получены в Якутске, поэтому так неожиданна эта встреча.

На машинах, высланных из города, мы долго ехали с аэродрома по проселочной дороге на якутскую воздухостанцию.

V

Я проходил зимой этот город.

Не видно было улиц Якутска, они были в тумане. Нельзя было различить соседнего дома. Шестьдесят один градус холода. На улицах не слышно людского говора, и редко проскрипят по морозному снегу санки извозчика. Одиноким, в камусных торбазах, пройдет человек и спрячется горопливо за калитку.

Это — зимний Якутск.

А сейчас небо синее, погода теплая, солнышко пригревает, будто по-летнему. Ясно видны все дома людных улиц.

Это — осенний Якутск.

Я иду на почту. Около нее не видно ямщиков ни с севера Якутии, ни с Алдана. Почта и люди идут летом к Якутску пароходами и самолетами.

Напротив почты крепко стоит приземистый серый бревенчатый дом.

На его стене памятная доска.

«Монастыревка».

Кровавая бойня над политическими ссыльными.

22 марта старого стиля 1889 года. «Распоряжение губернатора Осташкина о порядке отправки ссыльных в Верхоянский и Колымский округа (еженедельно по четыре человека с ограничением количества багажа на каждого пятью пудами), создавшее убийственные условия пути, вызвало протесты ссыльных. 22 марта 1889 они собрались в этом доме (б. Монастырева) в числе 31 в ожидании ответа на поданные заявления об отмене осташкинского распоряжения. Царские слуги — губернатор Осташкин и полицеймейстер Сухачев ответили им солдатскими пулями и штыками. В результате обстрела дома 5 ссыльных убито, 8 ранено. Фамилии убитых: Шур, Ноткин, Муханов, Пик, Софья Гуревич (заколота штыком). Убит еще Подбельский, окончивший срок ссылки и не участвовавший в протесте. Оставшиеся в живых были судимы

«за вооруженное сопротивление» (защищаясь, ссыльные сделали несколько револьверных выстрелов) и приговорены:

Н. Л. Зотов, А. А. Гаусман и Л. М. Коган-Бернштейн к повешению, остальные — к каторге — 20 человек, к тюрьме 1 человек и ссылке с лишением прав 2 человека. Казнь совершена во дворе Якутской тюрьмы.

7 августа 1889 года».

Памятка об убийстве русских революционеров в якутском застенке.

Старая Якутия — тюрьма народов.

В новом Якутске мы едем к строительству первой якутской тепло-электростанции — «ТЭЦ».

Летчиков «СССР Н-8» окружает толпа рабочих стройки. Полсотни цементных башмаков стоят у вырытых в вечной мерзлоте ям. В эти ямы строители ТЭЦ опускают цементные башмаки. Это фундамент будущей электростанции на семьсот пятьдесят киловатт — строительство первой очереди.

При мне в вечной мерзлоте рыли первый котлован для электростанции в

Игарке. Это была героическая работа. Тяжелыми кувалдами загоняли железные клинья в вечную мерзлоту, а днем под тепловым влиянием хоть и полярного солнца обваливались стены котлована, и наутро сызнава надо было начинать тяжелую работу.

И здесь, в каждой яме, желтели деревянные распоры. И здесь, в Якутске, каждая яма для цементного башмака осыпалась на солнце, заставляя людей повторно работать на нее.

Один метр земли, и за ним уже мерзлота. Моряки Архангельска и Ленинграда на «Красине», «Сталине», «Володарском» и «Правде» боролись с полярными льдами, рабочие Якутска борются здесь со льдами подземными.

Леваневского окружили рабочие. Они просят его рассказать о полете в Аляску, о спасении американского летчика Маттерна.

Леваневский выходит на середину живого круга и рассказывает якутским людям о своем далеком полете между двумя странами света, между Евразией и Америкой.

(Окончание следует)

Недра

Роман

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

Урал... Лысый человек со лбом в печную заслонку сидит за плохеньким столом. В раскрытом окне на ночном небе сверкает золотое созвездие Верх-Исетского завода. Время от времени по горизонту шарит рыжая лапа прожектора.

На столе — старая клеенчатая тетрадь.

... Таинственного исейдона или исейдонита, доисторического обитателя берегов Исетского озера, может быть, следует отнести к древнейшим народам. Сумеро-аккады, первые из людей научившиеся ковать медь, существовавшие за восемь тысяч лет до наших дней в Месопотамии, ведь причисляются же к урало-алтайским племенам. Во всяком случае исейдоны существовали в ту пору, когда на территории Европейской России и в значительной части Европы, так гордящейся теперь своей техникой, обитателями были только четвероногие.

Лесное непроходимое море, простиравшееся от Балтики до Великого океана, колоссальнейшие озера, неисчислимые стаи хищных зверей. — и среди них слабый пещерный житель, вооруженный дубиной и каменным топором...

В открытое окно врывается улица с пестро-разнообразными звуками. Волной пахучего весеннего воздуха доносится стон металла, вздохи машин, грузные удары листобойного молота. Широкая глотка радиурупора с ближней площади зычно кричит:

— Слушайте!.. Мировой колосс — Магнитогорский металлургический комбинат — во втором квартале выполнил строительную программу на девяносто девять процентов!..

Лысый человек раскрывает толстую клеенчатую тетрадь.

... Гунны, авары, обры... Булгарское царство... Приуральская чужь.

Скандинавские саги говорят о несметных богатствах Великой Биармии, или Пермской земли.

Века величия, нищеты, войн.

Крепкий в своей «правой» вере кержак, забитый приуральский мужик, беглец-каторжанин дни и ночи копаются в железных и медных рудниках, промывают золотоносные пески, извлекают из сланцев чудесный камень — изумруд.

В Екатеринбурге, в низком домике у плотины, безграмотные резчики-артисты годами трудятся над гигантскими вазами для королей и музеев.

Загулявшие «старатели» от кабака к кабаку выстилают дорогу красным сукном, чтоб не испачкать сафьяновых сапог, которые куплены вчера и пропыются завтра.

Модничающие жены директоров, инженеров и скупщиков свои шелковые платья посылают чистить в Париж...

По широкой «Сибирке» тянутся, тянутся под железный лязг группы кандалычников.

Но Екатеринбург умер, — возник Свердловск.

— Слушайте! Слушайте!.. На ряду с Уралмашем — гигантом тяжелого машиностроения — в текущем году в районе Свердловска будет приступлено к строительству нескольких огромных комбинатов...

В двухсотлетнем доме у пруда, в кабинете, сидит еще не старый человек. На стене — карта, чертежи, диаграммы. На столе, на маленьких листках, — аккуратные колонки цифр... Утро. По асфальту проспекта бесшумно проносятся автомобили с людьми, перестраивающими край. По широким тротуарам деловито выстукивают каблучки торопливой молодежи.

Над бывшей «Сибиркой», над горными хребтами, над тайгой гудят пропеллеры. Ученые, инженеры, хозяйственники высматривают, ощупывают каждый метр площади. В земную толщу вонзаются стальные и алмазные зонды. Гремят ковши экскаваторов.

Человек в кабинете углубленно просматривает испещренные знаками листки — краткий, выразительный язык мудрой науки. И за этими однообразными знаками он видит, как миллионная армия штурмует степь и тайгу, взрывает скалы, запирает реки, — строит новый, небывалый, казалось, невыслышимый, мир.

Беснуются палящие степные смерчи и кровососущий таежный гнус. Свиристуют мегели, буйствуют всеумертвляющие морозы, но люди день и ночь ведут свой штурм, веря и сомневаясь, радуясь и негодуя, любя и ненавидя.

Идут в одну ногу старые и молодые — железным шагом железной необходимости, не останавливаясь и не оглядываясь. Кто отстал, тот смят.

Идут бойцы тридцати пяти национальностей...

Часть первая

ВСЕ СТРОИЛИ ОДНО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В окна кабинета входили два неба. Одно из них — внизу, опрокинутое, близкое и ошутимое, — шумело сосед-

ним проспектом, плеском воды и веселыми детскими голосами.

У окна стояли двое и задумчиво смотрели на плывущую лодку. Лодка лениво тянула по небу струящийся серебряный клин. Эти двое думали каждый о своем, не относящемся ни к опрокинутому небу, ни к лодке, ни к той комнате, в которой они находились. Они в эту минуту думали о затерянной в жизненных дебрях далекой и невозвратимой своей юности.

Позади них на широком кожаном диване и в глубоких креслах с высокими спинками сидело с десяток деловых людей. Курили, смеялись, вполголоса вели приятельские легкие разговоры. Хозяин кабинета, склонясь над столом, доканчивал просмотр спешных бумаг.

Заседание еще не начиналось.

В приемную, отдуваясь от жары и от тяжести собственного тела, вошел человек средних лет, на коротких ногах, с большой бритой головой и распахнутым воротом белой рубахи.

— Фу, чорт возьми! Когда же эта жарница спадет. Востряков, как ты на этот счет думаешь? А? — Он выгнул из брюк скомканный платок и стал тыкать им в жирную шею и лоснящуюся, погнутую грудь. — Долго так мы будем истекать салом?

— С небес еще никакой информации не получено, Федор Евсеич! Радио испортилось! — смеясь глазами, серьезно отвегил молодой секретарь и потянулся к ручке.

— Испортилось, говоришь? Ах, чорт их возьми!.. Ну, а ты как — не растаял еще?

— Нет, ничего. Мне легко.

— Да-а. Тебе что-о! Ты — моща мирликийская. А я вот расплываюсь, как сальная свечка... Ну, что там, собираются?

— Человек пяти нехватает. Дожидаются вас и Максима Андреича. — Секретарь обмакнул перо и заячьей белгой стержней закрепил на лежащем перед ним листе:

«Кирсанов. Крайметалл».

Большоголовый, тяжело ступая оплывшими ногами, неспеша направился в кабинет.

Вслед за ним в приемную вошли начальник новостроящегося механического завода товарищ Грибанов, и инженер-консультант с «Пятилетки» Оберман, только-что прилетевший в Свердловск. Вылетел он сегодня после завтрака и уже успел здесь, в центральной гостинице, принять ванну и выпить два стакана кофе.

Грибанов, в серой блузе, подвижной, легкий, с проворным взглядом, что-то доказывал, темпераментно жестикулируя.

Инженер Оберман, в клетчатом заграничном костюме, массивный, широкоплечий, шагал за ним тяжелым, медлительным шагом, слегка покачиваясь. Лошадиного типа лицо его с узкой приклеенной бородкой никак не реагировало на речь спутника, лишь папираса с толстым мундштуком время от времени переключивала из одного угла рта в другой. Они, не останавливаясь, не обращаясь к секретарю, прошли в кабинет.

Начальник Механостроя Грибанов всего десять лет назад был простым откатчиком на Высокогорском руднике. Революция нащупала в нем организаторский и хозяйственный талант и потянула кверху. За десять лет он поднялся до самой верхней ступени административной лестницы. Теперь, в роли начальника строительства и директора будущего завода, бывший чернорабочий полностью развернул свои способности.

Хмурый инженер Оберман, слушая его сейчас, недоумевает: «Ну, сметка. Ну, природный ум. Ну, большой жизненный опыт и великолепное знание людей, но откуда же у него теоретические познания? Посещал какие-то курсы? Не могли же они ему столько дать... Удивительны эти русские люди!.. Эти большевики!»

Многое непонятно инженеру Оберману, урожденному пруссаку, живущему в России около шести лет...

Молодой секретарь записал на лежащем перед ним листе еще двоих: экономиста-плановика Зарницина и члена президиума облСНХ Веденеичева.

В окно кабинета врывается приглушенным грохотом, автомобильными гуд-

ками и уханьем копра на реке Исети жизнь города. Через пышный бордюр зелени сверкает голубым великолепием огромный пруд, жадно захвативший в себя и впопыхах опрокинувший верхушками вниз все человеческие сооружения. Здания, как и деревья, как и заводские трубы, торчащие обгорелыми черными пальцами, отражаются в нем со всей полнотой разнокрасочных тонов и четкой глубиной линий.

Хозяин кабинета, Павел Кондратьевич Зверев, отрывает от бумаг голову и снимает пенсне. Без стекол глаза его беспокойно мигают и мутнятся.

— Чего они там... заставляют дожидаться? — Опять, вскинув на мягкий крупный нос пенсне, он взглянул на часы и недовольно дернул бритым подбородком. — Целых полчаса ждем... Через семь минут начнем без них, а им — головоломку! — Снова уткнулся в стол.

Плановик Зарницин и Веденеичев стоят у окна.

— Я здесь, на Урале, только три месяца. Еще мало знаю его. Почти совсем не знаю, но чувствую себя покоренным. Вероятно, не уеду отсюда, — говорит Веденеичев, скользя взглядом по шире голубого, лучащегося разлива. — В Москве я имел неплохую квартиру, на службу ездил на машине, ел и спал во-время, и все-таки меня туда обратно не тянет...

Зарницин сегодня не в духе — сидел до пяти утра за докладом, кроме того, обойден во время недавних повышений ставок. Он смотрит пронизывающе на мягко вычерченный профиль Веденеичева, на его заросшую седой щетиной худую щеку, на взерошенную, густую бровь и мрачно определяет: «С таким профилем бывают очень милые, добрые, но неудачливые люди».

— А вы давно здесь, Александр Васильевич? — поворачивает Веденеичев к собеседнику свою тощую фигуру в белом чесучевом пиджаке. — Вы тоже вероятно недавно?

— Кто? Я? — откликается плановик. — Я на Урале живу десять лет. Не знаю, как это — много или мало?.. «Да, неудачливый. И пиджак шит не по нем, и галстук набоку, — подтвер-

ждает он свою мысль, взглянув на него в упор. — Но по службе такие люди все-таки двигаются — тянут приятели». Он наклоняется к уху худого человека и почти кричит тяжелым, грачным голосом: — Вы поживите здесь столько времени, сколько живу я, тогда узнаете! Тогда вы узнаете!..

Речь сразу обрывается, точно кто отсек ее. Плановик резко, враждебно отвертывается. Ведененцев, чувствуя себя виноватым, хочет сказать что-нибудь смягчающее, но подходящих слов нет. Он неловко, боком, отходит и садится на первый подвернувшийся стул.

Зарницин, — узкоплечий, сутулый, похожий на большую нахохлившуюся хищную птицу с подбитым крылом, которой все теперь надоело, потому что нет сил подняться, — прижавшись к портьеру, исподлобья оглядывает присутствующих. Когда-то в этом кабинете он делал свои доклады охотно. Еще недавно горел воодушевлением, рвался к работе, и вот эти же люди относились к нему с большим уважением, каждое слово его принимали на веру. А теперь не хочется ни говорить, ни делать. Вот и сегодняшний его доклад... Как это утомительно и ненужно для него!

Грузный, большеголовый Кирсанов сидит на диване, широко раздвинув оплывшие ноги, и беззаботно, заражающе смеется на какую-то остроту Грибанова. У Зарницина неприязненно мелькает: «С таким положением, а держит себя, как мальчишка... Легкомысленный человек...» — Всплывает слышанная история отношений Кирсанова к одной из своих сотрудниц. Час тому назад он не верил в нее, считая это бабьей болтовней, а сейчас мысленно с сарказмом произносит: «Ловелас!.. Да и Грибанов — гусь не из последних на этот счет. Почему партия терпит это, не намылит им шею?»

В кабинет ворвался степным ветром молодой, жизнерадостный человек в парчевой тубетейке.

— Извините, товарищи! Заставил вас ждать! Подкузьмила машина: в дороге — как: ни взад, ни вперед! Хорошо, что подвернулась исполкомовская,

ехал Тучков. А то к шапочному разбору явился бы... Ух! — облегченно выдохнул он и шлепнулся на стул.

— Ты куда ездил-то? — сердито поднял голову Зверев.

— На медный. Да задержался — там авария с новой машиной.

— Вечно там аварии! А у тебя, Славичев, постоянно опоздания... Ну, давайте начинать. — Павел Кондратьич по привычке скользнул ладонью по коротким, жестким волосам и поправил пенсне. — Товарищи, внимание! Александр Васильевич! Ваше слово!..

Ученый экономист-плановик Зарницин переложил портфель с подоконника на письменный стол и обвел собравшихся спокойным, уверенным взглядом опытного оратора.

Доклад о перспективном плане строительства нового комбината начался.

II

В пять утра член правления Краймметалла Федор Евсеевич Кирсанов и инженер-консультант «Пятилетки» Оберман ехали к аэродрому. В четырехместной открытой машине, кроме двоих мужчин, сидела молодая женщина, жена Кирсанова.

Свердловск еще только просыпался. Над домами и зеленью садов вставало розовое, блестящее утро. В прозрачном, свежем воздухе одинокие звуки слышались с особенной четкостью: шарканье по брусчатой мостовой ранней метлы, отдаленное цоканье конских подков и деловитые выкрики паровозов.

Машина, мягко покачиваясь, шла бесшумно. Позади женской головы упруго колыхался тонкий шелковый шарф, казавшийся обрывком сиреневой волны. Инженер Оберман, смотря улыбающимися, возбужденными глазами на шарф и на рыжий, играющий локон женщины, говорил изысканным, как он думал, очаровывающим голосом, пониженным до бархатистого тембра:

— ... Мы сейчас несемся вскачь. Мы хотим во что бы то ни стало скорей преодолеть намеченное пространство. Художественные детали природы при таком бешеном галопе, естественно, не

замечаются, — видим только наиболее яркие, красочные пятна, а думаем о ногах, извините, — о брюхе и о конечной цели...

Молодая женщина внимательно прислушивалась, следя за медленным переливом его сильных, выдавшихся скул и глубокого складок вдоль щек. Инженеру показалось, что она хочет ему возразить. Он сейчас же предупредил ее движением длинной руки.

— Да-да! Это верно, Ольга Павловна! Не случайно, не прихоть, что революционный цвет — красный, что любимое в боевой обстановке музыкальное произведение — марш, а совершенными инструментами в этом случае являются барабан и труба. Это законно, потому что целесообразно, как законно и целесообразно в момент атаки кричать «ура», «хрх», «банзай» и тому подобное. Все это поднимает в человеке элементарное, основное, наиболее действенное. — Он помолчал, скользнул взглядом в сторону члена правления и, улынувшись большим лошадиным оскалом, снова продолжал: — Но вывод отсюда для нас не совсем утешительный. Наша эпоха, в сущности, обкрадывает человека. Она почти предельно упростила его психику... Да-да! Это так, милейшая Ольга Павловна! Высокий интеллект сейчас лишен своих прежних преимуществ: от него отсекали тысячи тончайших нитей, которыми он чувствовал жизнь. Мы теперь всё воспринимаем утилитарно...

— Товарищ Оберман! То, что вы говорите, простите меня, — ерунда! — резко перебил Кирсанов, подняв на него беселье брови. Ему не нравился этот эстетствующий тон инженера. Кроме того, он был недоволен и женой, с которой сегодня крупно поговорил. — Вы разводите антимонию, сами в нее не веря.

— Позвольте, Федор Евсеич! — захотел обидеться немец. — Я вас не совсем понимаю... По крайней мере вашу манеру выражаться.

— Э-э! Манеру!.. Бросьте этот деликатес! Я говорю настоящим русским языком. Если он грубоват, то ничего не поделаешь... Высокий интеллект, о

котором вы говорите, в наше время получил возможность вывить себя со всей полнотой. До революции разве возможен был такой размах технического творчества? Нет! А научно-исследовательская мысль, плоды которой мы сейчас реализуем. Разве сузился теперь для нее простор? Конечно нет! Из гнезда лабораторий, где часто высиживала мертворожденных или уродливых птенцов, она теперь вышла на завод, на фабрику, на рудник творить вместе с миллионным рабочим коллективом!..

— Федор, опять ты начинаешь свою дискуссию! — недовольно поморщилась молодая женщина. — Вчера чуть не целый день спорили — и теперь снова. Как вам не надоест?

— Извините, Ольга Павловна! Это у нас сегодня по инерции, — улыбнулся инженер тяжелой, медленной улыбкой, повертывая к ней лицо. — Я сегодня совсем не намерен был вступать в какие-либо прения, но ваш супруг, как видите, не выдержал. — Он опустил ладонь на жирное колено сидящего напротив спутника. — Кончим, дорогой Федор Евсеич. Как-нибудь в следующий раз, в более соответствующей обстановке. Видите — уже некогда.

Машина въезжала в ворота аэродрома. Кирсанов хмуро молчал.

Над широким, гладко укатанным полем, на уровне зданий, кружилась коршуном, выскивающим добычу, стальная птица. Две таких же, окруженных людьми, мирно стояли у ангаров. На шесте полинявший полотняный раструб, похожий на надутую штанину, указывал направление ветра.

В кабину сели четыре человека. Пропеллер загудел. Здания покачнулись и поплыли — боком, друг друга обгоняя. Медленно, по спирали закружилось поле. На машине, где осталась молодая женщина, внизу, заколебался белый комок и сейчас же растаял. Инженер Оберман поднес к глазам цейсовский бинокль и вновь увидел белый, колыхающийся платок, сиреневый шарф и серое заграничное пальто. Через минуту ангары стремительно побежали вниз.

Оберман и Кирсанов сидели рядом. Напротив, прижавшись к ним колен-

ками, разместились двое. Одного из них Оберман знал, только не помнил фамилии: молодой инженер с «Пятилетки», другой — средних лет, бритый, в кожаном полупальто и широчайшем кепи. Лицо этого пассажира было мало примечательно, почти типичное лицо русского полуинтеллигента — вояжера или разбитного приказчика из большого магазина.

Но немецкий консультант опытным взглядом много видавшего европейца сразу определил: перед ним находится иностранец. В этом убеждали своеобразие и добротность костюма бритого человека, а также и его манера держаться. Он как будто ни на кого не обращал внимания, но чувствовалось, что все видит, все фиксирует в своей цепкой памяти. Время от времени из кармана пальто привычным движением извлекался великолепный блокнот, и по нем усиленно бегало американское «вечное» перо.

Другой пассажир, юноша-инженер, встречаясь взглядом с Оберманом, первое время непроизвольно растягивал губы в смущенной, приветливой улыбке. Но спустя некоторое время его, по видимому, начало мутить, он побледнел, подобрал живот, скрестил на нем руки и так сидел, с мутным взглядом и ввалившимися, пожелтевшими щеками. Ко всему был равнодушен. А вокруг весело гудел воздух, густо звенело блестящее небо и лениво плыл по безводному океану золотой шмель — солнце. Плыл и согревающее жужжал.

Кирсанов, упрочившийся на своем сиденьи грузной, рыхлой глыбой, рассеянно глядел на развернувшуюся панораму строительства. Думал он в это время о предстоящей поездке с правительственной комиссией по ряду уральских заводов и рудников. Поездка длительная, а дома у него начались недоразумения с женой: «Что-то надо сделать в семейной жизни: расслаживается...»

На запад, почти у черты города, среди вековых сосен, сверху кажущихся густой темнозеленой щетиной, лежали квадратами, ромбами, длиннейшими параллелями серые площади с десятками

растущих зданий. Через год здесь будет жить и заниматься сорок восемь тысяч человек. Возникнет несколько десятков высших учебных заведений и научных институтов.

От втуз-городка хлестнулось рыжей лентой шоссе, решительно раздвоенное зеленую толщу, точно кто разрубил ее одним взмахом. По сторонам шоссе сверкают плешины просек. С будущего года на них начнется постройка энергетического хозяйства с рядом огромных комбинатов.

Потом поплыла обширная территория гиганта Механостроя. Черные пасти котлованов, траншей, железные фермы будущих цехов, хаос строительного материала.

Член правления наклоняется к Оберману и кричит в самое ухо, показывая книзу:

— К осени пустим чугунолитейный, а к весне загремит и кузнечно-прессовой.

— Так... Это хорошо, — утвердительно кивает немец. Но каменное лицо его при этом ничего не выражает. Он отвертывается и начинает внимательно разглядывать свои пальцы, длинные, с красиво обрезанными ногтями.

У Кирсанова вспыхивает мальчишеское желание шлепнуть по барской, коленой руке, — как будет он на это реагировать? Любопытно.

Среди сочно-зеленых полей и темных ущелий сверкают озера и горные реки. Озера кажутся окнами в другой мир, с более синим и более лучащимся небом. Четко обозначился горный хребет, лег недвижимой, лениво изогнувшейся змеей. Не видно начала и конца.

Местами аэроплан снижался настолько, что можно было разглядеть древесные породы. Поднялся с каменного обрыва вспугнутый белоголовый сиц. После нескольких мощных, пружинящих взмахов он скользящим полетом ринулся вниз, стремительно катился, точно по наледи обломок гранита, все уменьшаясь. И пропал в ущелье.

Консультант Оберман, взглянув снова в лицо молодого человека, вдруг вспомнил: «Инженер Кузьминых. Странная фамилия! Почему не Кузьмин, не Кузь-

минский, а Кузьминых? Гм! Нелепо!» — Об этом он не стал больше думать, а закрыл глаза и погрузился в приятное полужабитье.

Лицо молодого человека теперь было свежим, и глаза юношески блестели, — приступ тошноты миновал.

Кузьминых только вчера прилетел с «Пятилетки». Туда и обратно — три четверти месячного жалованья. Но не побывать дома нельзя: жена лежала в послеродовой горячке. Ему дали только тридцать шесть часов. Из них семнадцать он провел у постели жены и завернутого в пеленки розового комочка тела, который назывался его сыном, его первенцем. «Выздоровеет ли жена? Останется ли живым этот маленький, недоношенный кусок мяса?» — Эти мысли не переставали волновать молодого человека. Кроме того, он никак не мог осознать и почувствовать, что он — отец, что тот, слабенький, с искоркой жизни, — его сын, что малютка вырастет и будет настоящим мужчиной, будет работать, мыслить и станет сам отцом. Странно.. Раньше об этом он по-настоящему не думал...

Дремавший Оберман поднял тяжелые, опухшие веки и боком, по-птичь посмотрел на размягший профиль Кирсанова. Член правления сидел бронзовым буддой с широко открытыми глазами, вытянув ладони рук на жирных коленках. Недвижный взгляд его был устремлен в голубое, гудящее пространство с кучами ватных облаков внизу. Земля уже давно утонула в пенном, белом океане.

«Если бы вот так лететь и лететь, унести навсегда от «Пятилетки» и вообще от всякого строительства со всевозможными прорывами, достижениями, с горячками, опустошительными буднями. Отдохнуть бы по-настоящему» — подумал утомленно Оберман.

Но в следующую минуту у инженера-консультанта блеснула другая мысль, привычно овладевая сознанием. Мозг наполнился формулами и расчетами. В воображении деловито и отчетливо возникли картины гигантских бетонных бункеров и огромных подземных зал с американскими машинами будущей ду-

добогатительной фабрики, над созданием которой он работал. Нехватало людей, был недостаток в строительных механизмах и материалах, а сроки выполнения приближались, давили. Следовало все тщательно продумать...

Машина летела в звонко гудящем потоке, казалось, по снежной бескрайней равнине, прикрытой хрустальным голубым колоколом. Двое дремали, один сидел с блокнотом, а четвертый — инженер-консультант Оберман — неся в неведомую страну неведомого социализма. Там, с тысячами незнакомых людей, еще неясными для него методами он будет строить основу этого социализма. Как не строить, если он мечтал об этом с юности?!

Когда над степью, мреющей в желтой, горячей строительной пыли, выключили мотор, и стало вдруг тихо, и почувствовалась близость земли, близость разлива творческой мощи человека, бритый пассажир в кожаном пальто неожиданно подался к инженеру Оберману:

— Мой имя — Джён Чарли. Корреспондент «Америкен пресс говард», — проговорил он по-русски с сильным акцентом и протянул маленькую, сухую руку сначала немцу, потом изумленному неожиданностью Кирсанову. — Я второй года на СССР. Был в Кавкасс, Украин, Поволжи, видел всяких постройка и совхоза. Теперь я здесь, на Урал. Ваш гость... — говоря это, он смотрел на обоих одновременно. Бритое лицо его было серьезно, приятно и внушало уважение.

В тот момент, когда на аэродром подали для Обермана и Кирсанова управленческую машину, мистер Джон Чарли, не дожидаясь приглашения, первый вошел в нее и расположился, как ему хотелось. Он чувствовал себя не гостем, а хозяином.

III

Задолго еще до того, как начинали желтеть и рыхлиться снега, набухать покрытые льдом реки и обнажаться на солнцепеке, на буграх, пригретая земля. — задолго еще до того времени

сухой и слабогрудый Евсей принялся заготавливать ржаные сухари. Вялил, сушил и толок мясо. Все это делал старательно и со вниманием сам, не доверяя жене. Просыпалась в нем неожиданно беспредметная тревога, какая бывает у птиц перед отлетом на юг. Он становился задумчивым, малоречивым. Не тянуло к работе. Хомуты, сбруя, кожаная обувь, если не были исправлены заблаговременно, то теперь подолгу лежали на лавке, в задней половине избы, часто с незаконченным стежком, с торчащим варным концом, на котором нехватало последнего узла.

Стояла во дворе без дела необоженная лошадь, лежала на грязной соломе в хлеву забытая корова, — не до них было загрустившему Евсею.

Если весна приходом своим запаздывала, Евсей становился раздражительным, терял сон и аппетит. Выходил перед закатом смотреть на небо, определяя по облакам будущую погоду. Прислушивался к карканью ворон, к мычанью коров и крику домашней птицы. Приглядывался к пауку, ткавшему в переднем углу над иконами искусные тенета, — все это могло предсказать погоду, указать на ход весны.

В продолжение многих лет жена, привыкшая к такому состоянию мужа, мирилась с этим, и, только когда он становился подчас неменяемым, она поднимала свой голос:

— Ты что ж дурь-то на себя напустил, ходишь утопленником? Кто за нас будет работать — Федор Стратилат?.. Только смешным людей!.. Поспеешь еще нашататься! Твое от тебя не уйдет!..

Мужик смущенно, с недовольством мычал и принимался за работу. Работал молчаливо, озлобленно, выжимая из себя остаток сил.

С прилетом грачей Евсей уходил в тайгу, — по таежному приволью тосковало сердце. Уходил искать золотую жилу. За плечами — мешок с провиантом, сменой белья и куском мыла. На поясе — чайник, маленькое кайло, лопатка, посуда для промывки песку. За пазухой — надежный, кожаный кисетик, не для табачного зелья, — в нем будет копиться золотое богатство. Оно

плотно прикинется к мужицкой груди, и чужими руками оторвать его можно только вместе с жизнью.

В деревне оказывались еще два-три таких тоскующих человека, и они, соединившись, уходили в лесные, нелюдимые дебри. В тайге разбредались в разные стороны, снова соединялись на день, на два, поделиться таежными рассказами, разузнать, кому как пофартило, и опять расходились, как струи лесного ветра, — кого куда тянуло. Их золотое счастье не уживалось на одной площади...

Через месяц-полтора Евсей возвращался домой. Хмуро, без слов вытаскивал из-за пазухи заветный мешочек и бережно прятал его на тябло за икону. За обедом на вопросительные взгляды семейных он неохотно сообщал:

— Не одну сотню верст исколесил, — коренного нет, словно чорт с кашей слопал. Рассыпного мало-мало намыл.

— А где мыл-то? Далеко от прошлогоднего? — живо интересовалась жена.

— Нет. Часа два ходу, не дальше.

— А как, больше летошнего?

— Ну-у! Не впримерно.

— И не топко?

— Берег крепкий. Работать вольготно.

Этим все решалось. Спустя несколько дней в тайгу отправлялась старательствовать почти вся семья: отец, мать и двое детей. Домовничать оставались только древняя бабка и старшая дочь — девка-вековушка.

В тайге весной царствует гнус — крошечное насекомое, страшное для человека и зверя своей неисчислимостью, своей буйной рождаемостью. Хозяина тайги, медведя, оно загоняет в непролазные чащи и там заставляет выть от боли и бессильной злобы. Нежным, молодым зверенышам выедаёт глаза. Спасенье только в ветреных ущельях и на горных высотах.

У человека против этого насекомого есть надежное оружие — дым. Вечером, когда из болотных низин, из древесной вековой гнили, из зарослей жирных пахучих трав поднимаются тучи звеня-

щего гнуса, чтобы в течение ночи вонзять свое кровососное жало во все живое, — старатели зажигают костры. В ночной темноте по берегам речушек, возле золотиносных песков сверкают гирлянды огней старательских артелей. Бабы варят поздний ужин, мужики лежат, вытянувшись у тепла, и ведут бесконечные, всегда пленительные рассказы о неуловимых кладах, о самородках в несколько фунтов весом, о золотой горячке прошлых дней.

Подросток Федька больше всего любил огни костров и эти волнующие рассказы взрослых. В памяти крепко запечатлелась одна осенняя, ветреная ночь. Мать варила кулеш, сестра, Аксютка с отцом таскали из лесу дрова, — привлекали целые лесины. Он, Федька, сушил на огне портянки. От речушки и болотистой пади поднимался белый, таинственный в ночи туман. Шумели верхушки деревьев, и совсем близко зловеще ухал и заливался диким, медленным хохотом невидимый филин. Мать, мешая в казане веселкой, сердито ворчала:

— Ишь, лукавый его разносит! Не птица, а настоящий леший, не к ночи будь сказано! Еще беду какую накличет.

Отец, подойдя к костру, выгреб уголек, закурил от него и, циркнув привычно в огонь, повернулся к сыну.

— А что, мог бы ты сейчас, скажем, изловить эту птицу? — спросил он, процеживая дым сквозь густые усы.

Федька подумал, всматриваясь в чернеющую стену леса, и уверенно изрек:

— Изловил бы.

— А ну-ка, вали, за фунт кренделей.

Сын, отбросив портянку, подтянул штаны и сделал шаг вперед. Мать схватила его за рукав:

— Куда ты, оболтус, в такую темь пойдешь? Смеется он над тобой!

— А как ты будешь его ловить? — поинтересовался отец.

— Подкрадусь, выжду, когда он будет кричать, и схвачу.

— За хвост схватишь?

— Придется, так и за хвост схвачу.

Отец еще раз пропустил дым сквозь усы и, смотря на сына, безнадежно покачал головой:

— Выходит, что ты — круглый, набитый дурак, хотя тебе и четырнадцать лет. Я думал, ты сообразительнее. За хвост и петуха не поймаешь, а не то, что лесную птицу. — Евсей насупился и сердито начал поправлять горящие дрова.

Больше стемнело. Тумана над рекой и падью уже не стало видно, только веяло оттуда холодной сыростью. Тьма надвинулась вплотную, сляясь захватить людей и самый огонь. Она была густой, липкой, знобящей. Птица в лесу молчала. Евсей опять заговорил своим обычным, немного суховатым тоном:

— Лет десять тому назад, по весне, я вот также хотел поймать... И звереныш-то был с двухмесячного котенка, — лисенок... — Евсей вдруг расплылся в довольной улыбке. — Но я все-таки поймал... получше чернобурой лисы... Самородок, почти фунт весом... Возле самой норы оказался...

От реки неожиданно донесся плеск, потом хруст песка под человеческим шагом. Евсей поднял голову, нашаривая положенный неподалеку топор.

— Здорово, землячки! Можно у вашего огонька прохожему погреться?

В свете костра стоял седенький, маленький человек с батошкой и сумой за плечами, из-за спины торчала рукоятка лопаты. Евсей успокоился: один, и старик, к тому же, должно, свой брат. Он приветливо предложил:

— Садись, дружище, гость будешь! Вот баба варево сготовит — станем ужинать... Старатель, что ли?

— Да, зимогор. На изумрудах старательствовал, да не пофартило. Теперь домой пробираюсь, под Пермь.

Старик снял со спины обемистую холщевую суму, поправил короткий, заплатанный армячишко и расположился у костра.

— То ли дело вечерком посидеть у огонька, поговорить с хорошими людьми! А если с пяток картошек найдется — в горячую золу их, а потом с солью... Самое райское кушанье!.. Как ты мекаешь, паренек? А? — Он ласково

похлопал мальчугана по плечу и опять повернулся к взрослым. — Гоже в тайге в летнюю пору. Я вот, почитай, сорок лет слоняюсь по зеленым дебрям, топочу по всяким звериным тропам. Сколько разов с самим лешим и другой лесной нечистью встречался. Только нападешь на настоящее место, а они — тут как тут: оберегают свое добро. Помню, однажды встрелся с ним на Медвежьем броде...

И полились неторопливые таежные полуреальные, полуфантастические рассказы изумрудника-зимогора.

Утром, с восходом солнца, старик взвалил свою суму на спину, пожелал добрым людям старательского счастья и неспеша углубился в лес. Евсей с семьей принялся за привычную работу. И вдоль всей речушки, на протяжении многих километров, в песчаных отмелях копались артели и семьи золотоискателей, мечтая об удаче, о неожиданном счастье-фарте.

Все было, как прежде. Но мысль мальчика, зажженная рассказами старика-изумрудника, уже не привязывалась к знакомым, прискучившим пескам, она смятенно носилась по глухотам тайги, выискивая таинственные глинистые сланцы с драгоценным зеленым камнем, который носят в своих коронах цари и короли...

Спустя день к Евсею прибежал парень с соседнего «старательства».

— Идем скорей: брат нашел в лесу мертвеца...

Под кустом орешника лежал пожилой человек, без рубахи, с пустым мешком сбоку. На горле, под жидкой бороденкой, темнела запекшейся кровью и снующими бронзовыми мухами большая рана. Тут же валялся и нож с самодельной ручкой. Федька торопливо поднял его и, внимательно разглядывая, подошел к матери:

— Мам, а знаешь, у нашего старика на поясе висели пустые деревянные ложки, похожие на эту ручку...

— Молчи! — испуганно остановила мать. — Ты постоянно что-нибудь напугаешь.

— Право, мам, такие же! А ножик, он сказал, что потерял...

Мать поспешно отвела сына, строго внушив, чтобы он больше ни о каком ноже не говорил.

Но мальчик отлично все понял. Он вспомнил, что на старике была надета не в меру большая рубаха с подвернутыми рукавами, что мешок его был чересчур полон. Все это Федька вспомнил. И старик, и полуголый мертвец с копошащимися мухами в ране у него крепко, на долгие годы, на всю жизнь закрепились в памяти.

Отец вскоре простудился и умер. Золота добывалось все меньше: мать с сестрой перешли на крестьянскую работу, а Федька, ставший Федором, ушел на изумрудный прииск к французам.

Революция из шахтера-изумрудника сделала крупного хозяйственника и организатора — Федора Евсеевича Кирсанова.

IV

Жена Кирсанова после приезда с аэродрома снова решила ненадолго прилечь, — чувствовалась слабость, и ломотно стучало в левом виске. Нужно успокоиться. Хорошо бы заснуть. Ах, эти нервы!

Совсем еще недавно Ольга Павловна не имела никакого представления о подобном состоянии и думала, это — просто бабья блажь, болезнь пресытившихся жизнью или нытиков, слабовольных, раскисающих при первой неудаче. Человек, физически и духовно сильный, с установившимся мировоззрением, знающий, куда он стремится и чего хочет, застрахован от этого. Таким человеком она до сего времени и считала себя.

Но неожиданно что-то случилось. В сущности, даже ничего особенного не случилось. Просто она однажды обнаружила, что между нею и мужем для полноты их семейной жизни чего-то нехватает. Чувственная связь, казавшаяся прочной и нерушимой, неизвестно в какой час начала ослабевать, постепенно превращаться в привычку.

Ольга Павловна много раз над этим задумывалась и всегда приходила к

одному и тому же выводу: «Разумеется, острота чувства с годами должна пригупляться. «Медовый месяц» не может продолжаться всю жизнь. А в остальном у нас как будто все в порядке, — относимся мы друг к другу по-товарищески. Да нам и некогда создавать какое-то иное чувство, и не нужно оно, непонятно. Дружба, товарищество, — вот основное, что должно связывать людей». Если у них нет детей, то об этом она особенно не жалеет. При современной обстановке дети только связывают, накладывают лишние заботы. Они — больше бремя, чем радость. Тоски материнства она пока не чувствует. Да и муж как будто не особенно опечален их отсутствием. Он вечно с делами. Ему некогда думать и заботиться о своем потомстве...

Но эти умозаключения, казавшиеся неопровержимыми, не рассеивали выплывшую мутным пятном непонятную тревогу.

Молодая женщина наравне с мужем целый день была занята службой, общественной и партийной работой, — для дома, для себя оставались только вечер и ночь. Тем не менее домашняя жизнь протекала организованно. Все было предусмотрено: часы уборки, приготовление пищи, время обеда и чая, — пожилая домработница неуклонно вела установленную линию. До последнего времени думалось, что их жизнь идет так, как и надлежит итти...

Приготавливаясь лечь, Ольга Павловна предварительно приняла порошок цитронанили и натерла одеколоном виски. В левой половине головы продолжало глухо, болезненно стучать. В квартире казалось нестерпимо душно. Она попробовала открыть окно — ворвались лающие выкрики автомобильных гудков и раздражающее громахание пустых телег.

Происшедшая вчера сцена была неоправданно дикой и непоправимой. Началось с того, что Федор Евсеич в полушутливой форме заметил жене, что в квартире у них, как в меблированных комнатах, мало пахнет жильем. Она чувствовала себя не совсем здоровой, была расстроена только-что полученным

письмом от московской подруги и реагировала на это с неожиданной болезненностью. Посмотрев на мужа с холодной отчужденностью, она жестко с'язвила:

— Что ж! Если у нас мало пахнет жильем, то давай откроем у себя приют или будем сдавать углы.

— Ольга! Твоя ирония не к месту. Чужие люди здесь не при чем. Дело не в этом.

— В чем же? Ха!.. Мало уделяю внимания домашнему очагу? Не греет?..

— Не знаю. Может быть.

— Так!.. Может быть!.. Следовательно, то, что я делаю, ни к чему? Ценное и главное — это очаг. Первобытный семейный очаг, как у дикаря.

— Я таких выводов не делаю.

— Верно! Не высказываешь их, но они сами заявляют о себе.

— Ты — женщина! Ты больше меня должна понимать, в чем здесь дело, — взорвался внезапно Федор Евсеич. — Никакая твоя другая работа с тебя как с женщины не снимает этой обязанности. Она всецело лежит на тебе..

— Это не большевистское рассуждение! — выкрикнула Ольга Павловна. — Ты хочешь оторвать меня от общестственности и втиснуть в рамки семьи и мещанского уюта..

— Да, да, уют! — обрадовался Кирсанов. — Уют — это уже не такая плохая штука даже и для коммуниста. Уют — это значит, чтобы квартира не напоминала сарай, пускай и чисто выметенный, но все-таки сарай, холодный; скучный, пахнущий плесенью! Уют — это возможность отдохнуть по-настоящему, в располагающей к этому атмосфере! Не знаю, что ценнее... Во всяком случае я предпочел бы видеть хорошую хозяйку и жену, чем... — не договорив, он махнул рукой и вышел из столовой.

У себя в кабинете Федор Евсеич долго шагал взволнованный. Он был озлоблен и на жену, и недоволен собой. Ему не это следовало сказать и не в таком тоне. «Раздражением и криком ничего не докажешь... Но ведь она сама вынудила меня... Уют, мещанство... Эти слова мы каждый день десятки раз слышим. Всякий, желающий поднять

себя, непременно приклеивает их к месту и не к месту... Мне наплевать. Я не хочу знать, как это называется: мешанство, уют или чорт в ступе, но я хочу и имею право хотеть после рабочего дня найти в своей семье соответствующую атмосферу для отдыха. Если этого нет, если у меня вместо жилой квартиры меблированный сарай, пускай и украшенный лозунгами, то, значит, нет элементарного! Никакими возвышенными донятиями его не заменишь» — так рассуждал сам с собою Кирсанов, взволнованно расхаживая в тишине своего большого и хорошо обставленного кабинета.

Ольга Павловна в другой половине квартиры сидела в кресле удрученная. Возмущение, вызванное необычным поведением мужа, угасло раньше, чем она предполагала, осталось только удивление от раскрывшейся перед ней новой стороны семейного быта и непонимание: в чем же, в сущности, дело? Чем он недоволен?

Приятное лицо ее, обычно носившее выражение уверенности и превосходства перед другими, — не все понимают то, что понимает она, — казалось теперь тусклым и постаревшим. Некрасиво выпягившаяся нижняя губа время от времени вздрагивала...

Возбужденные взаимной обидой и непониманием, легли они в разных комнатах. К утру остался тяжелый, горький осадок и неловкость друг перед другом. Но оба были с достаточно сильными характерами, чтобы в момент отъезда Федора Евсевича на «Пятилегку» вести себя внешне спокойно.

Теперь, оставшись одна и успокоившись, Ольга Павловна могла серьезно обдумать и проанализировать все происшедшее. Подобное столкновение было не первым, но раньше не проявлялось такой страстности и, пожалуй, злобы. Кто в этом виноват? Во всяком случае не она. То, что произошло вчера, может случиться завтра или через неделю. Она своей невыдержанностью только ускорила ход событий... Для мужа она делает все, что может. Чего же ему еще нужно? Непонятные требования. Может быть, причина в доу-

гом?.. Ольга Павловна вздрогнула, сжала локотники кресла. Взгляд внешне сделался острым и напряженным.

Мысль о том, что муж может увлечься какой-либо другой женщиной, возникла у нее и раньше и обычно не вызвала никакой реакции. На это она смотрела определенно: никто ни к кому на вечные времена не привязан. «Мы — люди новой эпохи, и с остатками буржуазных взглядов на собственность должны бороться». Но теперь, вопреки сознанию, из каких-то неведомых гнояников кверху медленно просачивалось ядовитое, гнусное чувство и наполняло всю ее горечью и бессильной злобой...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В душный, томительный июньский полдень по широкой и длиннейшей улице Ленина неторопливо идет высокий, худой, еще не старый человек в очках. В правой руке у него палка, в левой — старенькая кепка; копна светлорусых волос то и дело щетинится от ветра, но он не обращает на это внимания.

Улица Ленина, как и другие близлежащие, загромождена кучами песка, щебня, гранитной брусчатки. Высокий человек сосредоточенно, упорно взбирается на кучи и ныряет по рытвинам. Когда налетает волна рыжей пыли, он испуганно приостанавливается, втягивает голову в воротник и жилистую руку с кепкой поднимает к лицу. После чего затажно кашляет, осторожно подерживая очки, и снова продолжает путь.

Город Свердловск перестраивался. Значительная часть старых домов уничтожалась, и на их месте возникали огромнейшие многоэтажные здания; улицы перепланировывались; появлялись новые площади и скверы. И от всего этого над городом носилась едкая, долго не оседающая пыль.

На углу, около маленького старинного здания, наполовину ушедшего в землю, человек с палкой остановился, внимательно и будто крадучись, заглянул

в решетчатое окно и сейчас же поднял голову кверху.

На фронгоне четко выделялась резная старинная, видимо обновленная, надпись:

«Государственная гранильная фабрика».

Человек про себя улыбнулся. Потом перешел на другую сторону улицы в узенький скверик возле пруда и снова остановился, всматриваясь в белое приземистое здание. С лица все еще не сходила тихая улыбка воспоминаний.

«... Изумруд... Знаменитая, великолепнейшая екатеринбургская грань... Теперь наверно уже нет, — не до этого...»

Через два десятка шагов опять пришлось остановиться: под ногами была плотина, та самая, которую он знал с детства и видел последний раз двадцать четыре года назад.

Она была все такая же. И пруд, и плотина, и насупившийся белый дом гранильной — как будто все те же. Годы прошли стороной, не дохнув на них своей гнилью.

Состояние удрученности, которое вчера охватило его при выходе из вагона, теперь медленно исчезало...

... Вся страна перестраивается. Конечно и Свердловску нельзя отставать. Наоборот, ему, как областному центру, ведущему тяжелую промышленность, нужно идти впереди многих других городов.

Все это высокий, худой человек прекрасно знает. Несравненно больше-знает, чем простой обыватель. Но когда вчера он впервые взглянул на разрушаемые дома, на месте которых должно строиться что-то новое, когда вступил на вскрытые мостовые. — ему стало жаль прежнего, такого близкого, родного Екатеринбурга. Его скоро совсем не будет.

Двадцать четыре года назад этого человека провезли по знакомым екатеринбургским улицам на казенной подводе, — направляли из Москвы в «места отдаленные».

Десять лет из них он жил ненавистью и тоской.

... Разумеется, очень хорошо, совсем замечательно, что Екатеринбург вместе со своим царским именем сбрасывает с

себя и прежнее барахло. Эта вчерашняя грусть по старому есть не больше, как обывательский, старческий патриотизм...

Высокий, худой человек опустился на скамейку, вытащил из кармана областную газету.

Крупные заголовки кричали живыми, волнующими голосами о фронтах пятилетки, о строящихся металлургических и машиностроительных гигантах и химкомбинатах; били по прорывам, указывали на достижения. В коротких, сжатых строках заметок и сообщений напряженнейше хлопотала творческая жизнь страны

Человек с палкой достал платок и вытер вспотевший лоб.

— А все-таки, все-таки... — неожиданно проговорил он вслух и, не докончив фразы, резко поднялся.

За поворотом, направо простирался вширь и вдаль все тот же двухсотлетний пруд, возникший при постройке Екатеринбурга на потребу местных заводов. Он был похож на оловянное зеркало в бронзовой раме. Налево тянулся, попеременно с зеленью, ряд невысоких домов и среди них — один, особенный. Задумчиво смотрит в зеркало пруда его двухсотлетняя колоннада коринфского ордена на массивных аркадах первого этажа. Верх венчает нечто в роде мезонина, тоже с колоннами.

Верх и колонны построены позднее самого дома чуть ли не на сто лет, и тем не менее оригинальность стиля выдержана отлично. Первый проект дома, имевший собственноручную надпись Татищева: «По сему чертежу надлежит строить канцелярию», куда был хуже. Он поражал безвкусицей форм и пропорций. Этот — изящен и строг.

Думая о прошлом, высокий человек вошел во двор, где находился парадный вход. В вестибюле за столом сидел юноша в военной форме.

— Вам, товарищ, кого нужно?

Не ожидавший этого вопроса высокий человек с недоумением повернул голову. Потом снял очки, протер нечистым платком стекла и снова прилепил их на нос.

— Кого мне нужно? Мне нужно товарища Зверева.

— Ваш документ!..

— Мой документ?.. — он стал суетливо ощупывать карманы. — Вот, пожалуйста! Я — приезжий, из Москвы!.. У меня командировка!

— Можете итти, товариш! Второй этаж, комната номер пять! В самом конце!

В боковых комнатах за столами сидели мужчины и женщины в белых рубашках и легких платьях — писали, стучали на машинках, щелкали костяшками счетов. Звуки и голоса оттуда доносились приглушенными, — может быть, потому, что были открыты все окна. Но приезжему казалось, что слышались, как и большинство посетителей, стараются как можно тише говорить и ходить без шума.

В комнате номер пять, продолговатой и светлой, с двумя окнами, расположился молодой секретарь: воротник нараспашку, рукава подвернуты выше локтей, волосы — под щетку. Направо молчаливо вытянулась двухстворная высокая дверь, пухло обитая войлоком и клеенкой.

«Значит, там... чтобы не слышно было. Чтобы полная тишина...» — подумал вошедший, направляясь к секретарскому столу.

В кабинете шло заседание. Несколько посетителей покорно томилась на стульях по обе стороны двери. При каждом громком стуке за стеной они настораживались и выпрямляли спины. Потом снова становились равнодушно-скудучивы и ко всему безразличны.

Из окон приемной открывался великолепный вид на пруд и на значительную часть города. Высокий, худой человек думал: «Из этих окон смотрел граф Татищев, по мысли которого возник ряд первых екатеринбургских заводов и самый город. В феврале 1721 года этот жестокий и талантливый создатель казенной уральской промышленности писал в Петербург, в берг-коллегию, ведавшую горными промыслами, разрешить ему построить новый завод на реке Исеги с четырьмя доменными печами и сорока кричными молотами, чтобы готовить ежегодно не менее ста двадцати тысяч пудов железа.

На свое обширное мотивированное донесение Татищев получил отказ. Берг-коллегия определила:

«Железных заводов до указа строить не велено, а производить те, кои до сего времени только были, а паче же производить ноне и стараться всеми мерами серебряные и квасцовые заводы, которых в России нет, а железных везде довольно. Также опасно в том месте железные заводы заводить, чтобы медных дровами не оскудить».

Полгода спустя, по проишкам миллионера-заводчика Демидова, Татищев был совсем удален с Урала, и только через двенадцать лет, уже по возникновении Екатеринбургa, ему снова удалось занять положение главного командира уральских, сибирских и казанских заводов.

Худой человек смотрел в окно на раскинувшийся город; смотрел на тяжелый, древний карниз потолка и на молодого секретаря с засученными рукавами, — точно в драку итти собрался... Хотелось провести аналогию между прежним и настоящим, но это плохо удавалось. Прежнее мелькало в каком-то тумане расплывчатыми пятнами, а настоящее выпирало, давило домами-небоскребами, развороченными мостовыми, гигантами-заводами.

«В этих стенах, — думал он, — теперь рождаются первые творческие мысли, схемы проектов, иногда, быть может, очень дерзких, на первый взгляд неосуществимых, но... но самые безумные из них осуществляются и скоро будут жить подлинной, небывалой жизнью...»

Тяжелая, мертвая дверь в кабинет после этого стала еще грузнее и таинственнее.

Кто он, находящийся там, за этой дверью? Каков на вид? Сколько ему лет?..

II

Первым вышел большоголовый член правления Краймегалла, неся с собой волну испарений жирного тела. Не оборачиваясь и не останавливаясь, он раздраженно ронял идущим позади — молодому в парчевой тубетейке и высо-

кому с длинным, лошадиного типа, лицом, в заграничном клетчатом костюме.

— ... Да-да!.. Именно так! Все это — чепуха! Сапоги всмятку!.. Завтра вы со мной оба согласитесь.

— Вы очень самоуверенны, гер Кирсанов... — У инженера Обермана на больших, выпяченных губах спокойно переливалась усмешка; верхняя же часть лица была недвижно-каменной. — Ни завтра, ни послезавтра... Вы приезжайте к нам на «Пятилетку», и я вам докажу непосредственно на объектах, — говорил он металлическим, крепко внедряющим-ся голосом.

«Где я слышал этот голос? Что-то знакомое...» — подумал худой человек в очках, мельком взглядывая на длинный, жесткий профиль. Но немец Оберман уже подставил ему свою отутюженную серо-клетчатую спину. Шел монументальной, величественной походкой, не обращая ни на кого внимания.

Спустя несколько минут приезжий, забывая проскользнувшие мимо него лица, как и свои внезапно всплывшие в связи с ними случайные мысли, отворял тяжелую дверь кабинета. За письменным столом сидел пожилой человек с живыми, юношескими глазами.

— Прошу, садитесь. Что вам угодно? Вошедший стоял, взволнованно сжимаемая в левой руке старенькую кепку, глядел припоминающим взглядом в крупное, с прямым носом, лицо хозяина кабинета.

Тот медленно поднялся и так же, не сводя взгляда с посетителя, протянул ему руку.

— Здравствуйте! Чем могу быть полезным?

Вошедший все еще стоял.

— Я — инженер Дородный... — начал он. — Я — Степан Гаврилович Дородный. Вчера из Москвы...

Но лицо начальника не изменилось, хотя он попрежнему продолжал всматриваться в стоящего перед ним человека.

— Пожалуйста, садитесь. Что вам угодно?

— Я — инженер Дородный, командирован сюда... — опять с того же начал посетитель.

— Послушайте! Вы никогда не были в Туруханске? — неожиданно спросил Зверев.

— В Туруханске? Как же, как же! В Туруханске я жил с шестого по пятнадцатый год, — обрадовался худой человек. — Меня Синицей звали. Кличка — «Синица». А вы, кажется, товарищ Авдей?

Начальник взметнулся из-за стола, широко раскрывая руки.

— Синица!.. Степа!.. Чорт возьми! Как же это так? Ведь не узнал. Смотрю — в физии что-то знакомое, но не могу припомнить... Вот замечательно! — Он порывисто нажал кнопку звонка. — Пожалуйста, два стакана чаю, да что-нибудь этак... булочек, что ли! — Опять повернулся к посетителю: — А ты, знаешь, брат, Степа... Степан Гаврилович, ты постарел! Как будто в землю стал расти. — Он похлопал его по плечу. — Как же я рад, что опять встретился с тобой!

Зверев, немного успокоившись, сел на свое место, продолжая смотреть на старого друга ласковым, влюбленным взглядом.

— Я после возвращения жил в Москве, в Совнархозе служил. Потом семь лет отрубил в провинции, на Юге; потом со мной случилась некая история, и в заключение меня вот сюда направили. Не думал я, что здесь встречу старых приятелей.

Дородный говорил спокойно и с неторопливой осторожностью. С одной стороны, его смущала разница положений: сановник, высшее краевое начальство и — рядовой инженер без имени, без заслуг. С другой, как посмотрит Зверев на его «некую историю», о которой он вскользь упомянул. История эта такова: в Москве у него имелись приятели — инженеры-коммунальники, двое из них были арестованы как вредители, двоих вместе с ними взяли за то, что они знали об этом и не донесли, а еще троих, в том числе и его, прихватили за связь с ними, за застольную дружбу. После шести месяцев сиденья Дородному вежливо предложили: «Днепрострой, Урал, Сибирь — куда хотите...» Он выбрал Урал... «Как посмо-

грит на это его старый приятель? Лучше бы его не встречать...»

— Значит, работать сюда приехал? Это хорошо. Знающие люди нам чрезвычайно нужны. Ты не можешь себе представить, что у нас здесь делается. Всё поставили кверху тарманом. Все — на дыбы!

Зверев, когда говорил, делал широкие жесты, ни на секунду не сводя взгляда с собеседника. Взгляд у него был ясный, располагающий.

— Урал обладает мировыми запасами калия и дает девянсто шесть процентов мировой добычи драгоценнейшей платины. Промышленный уральский асбест — один из лучших в мире по длине и шелковистости волокна, и запасы его у нас колоссальные. Уральский изумруд почти двести лет пользуется огромным успехом за границей... Да, между прочим, куда девался Алеша Грач? Тогда он как будто удрал за границу, а потом так и сгинул.

— Его во время побега застрелили. Узнали мы об этом три года спустя, — сообщил Дородный.

— Жаль! Очень хороший товарищ был и большой умница. Пригодился бы теперь... Так вот! На Урале добываются высокоценные металлы: магний, вольфрам, ванадий. Огромнейшие залежи угля, торфа, мрамора. Есть нефть, яшма, селенит, и, чорт его знает, чего только здесь нет!.. Ну, ты пей и ешь! Проголодался, небось... Помнишь Ваську Гвоздева, который по целой буханке хлеба с'едал и по три кринки молока выпивал зараз?

— Как же, помню. Жив он?

— О-о! Как еще жив-то! Раздобыл. Пудов на семь потянет. В Челябинске хозяйственником работает... Ну, вот, говорю, Урал... В прошлом, начиная с петровских времен и почти до последних лет, он был местом варварского труда и азиатской техники. Здесь шли не разработки, а хищение. Брали только то, что лежит сверху, что можно достать без машин — руками и лопатой. Легкость добычи определяла и всю экономику края. Теперь мы все это старое кверху ногами. Довольно нищенствовать, заниматься крохоборством! Под

ногами у нас — миллиарды! Надо их взять, и мы их возьмем!

Дородный, слушая своего старого приятеля, удивлялся. Откуда у него столько силы, темперамента и этой любви к грандиозному? Мысли свои он бросал, как тяжелые слитки золота, не взвешивая, не учитывая, — так делают при крайнем их избытке. Нет самовлюбленности, так часго встречающейся, нет и самобичевания.

А Зверев, увлекшись, бросал:

— Легче построить, чем пустить. Момент рождения особенно мучителен, — так же, как и в природе. Первый сепаратор в СССР дан Уралом в 1925 году. Этот первый стоил нам 300—350 тысяч рублей. Не одну партию пришлось бросить в мартены для переплавки — ни к чорту не годилось. А теперь наши сепараторы не только выдерживают конкуренцию со шведскими, — лучшими в мире, — но и превосходят их по точности работы и жиороотделению...

... Эмалированная посуда Лысьвенского завода более чем превосходна; мы ее экспортируем в Германию...

... Завод так реконструировали, как — пришили штаны к пуговице...

... Нужно иметь отвлеченный ум. быть поэгом, чтобы не думать о сегодняшнем дне, а восхищаться завтрашним...

Морщился широкий лоб в ясно-мудрую складку, прыгала коротко остриженными усами мягкая, добрая губа, в середине речи растягиваясь в улыбку. Улыбка сверкала мимолетно, приятно, заражающе. И сухой, обычно хмурый инженер Дородный сейчас же послушно отражал ее на своем лице.

— Мы строим Магнитогорск с годовым выпуском чугуна в четыре миллиона тонн, Тагильский вагоностроительный с проектной мощностью в пятьдесят пять тысяч вагонов в год. Как тебе это нравится?

Мимолетная, задорная улыбка.

— Строим Челябинский тракторный, Чегрэс, Стальность, Уралмедестрой, Березниковский химкомбинат...

Снова улыбка.

— Все это вновь создаваемые уральские колоссы. Дальше — ряд заводов вокруг самого Свердловска. Механиче-

ский № 1 с выпуском ста тысяч тонн в год машин специально для горной промышленности. Запомни — ста тысяч тонн... шести миллионов пудов! Электротехнический комбинат с пятью огромными заводами, с общей первоначальной продукцией в 414 миллионов рублей, которая в 37-м году повысится до двух с четвертью миллиардов. Пять заводов цветной металлургии с валовой продукцией в 900 миллионов рублей. Потом — завод тяжелых станков, инструментальный комбинат, завод химаппаратуры, завод электрокареток и наконец районная электростанция на торфяном топливе, мощностью в 500 тысяч киловатт. Одновременно с этим омолаживается, перевооружается новейшей техникой, увеличивающей продукцию в некоторых случаях во много раз, длинный ряд других заводов: Верх-Исетский, Нижнетагильский, Алапаевский, Надеждинский, Бакальский и так далее, и так далее. Отживающее умирает на глазах. А новое строится теми, из числа которых шестьдесят процентов не знали самодержавия... Так-то вот, голубчик!.. Да, совсем забыл — как поживает наша старая приятельница, Маша-Сибирячка? Встречал, не Сось, ее после...

Инженер Дородный вышел из кабинета совсем поздно, когда занятия в управлении уже закончились, уборщицы подметали помещения и откуда-то снизу доносились крики и смех. Он шел и мысленно определял своего старого приятеля, который поднялся перед ним на недостижимые высоты...

«Замечательный человеческий экземпляр! Счастливое и нужное в наши дни сочетание: поэт, настоящий, подлинный, широчайшего размаха, и — хозяйственник, рационалист. Для него в одно и то же время может быть: дважды два — четыре и дважды два — Механический № 1 с шестью миллионами пудов горных машин.

То и другое одинаково точно и непреложно.

Откуда это у него? В ссылке был обыкновенный, рядовой революционер, бывший рабочий, кажется, горняк...

Замечательное время! При прежнем социальном строе рабочие и крестьяне

обычно кончали свое существование за станком или за деревянной бороной. Теперь многие из них становятся настоящими инженерами, — не только в узком, специальном смысле, но и в широчайшем, — инженерами-строителями новой жизни. Обстановка, требования момента, общая атмосфера учат их с предельной ясностью видеть и чувствовать бег современности. Учат мечтателей — строить, строителей — мечтать. И в тех, и других возвращают железную волю к целеустремленности...

Почему он не спросил, где я остановился и обедал ли? — мелькнуло внезапно у Дородного. — В этой головокружительной горячке забыли о человеке: негде переночевать, и ни за какие деньги приедем нельзя купить без карточки фунта хлеба... Когда же окончится вся эта кутерьма и все придет в норму?»

Он задумчиво поскреб ногтем узелок морщины над переносицей и почти вслух спросил себя:

— А что такое норма? Что-о такое норма?

И тут же как будто кто-то другой ответил за него:

— Норма — это застой, прекращение всякого движения. Тишина, спокойствие, мещанский уют и довольство ведут к загниванию ума и духа. Где есть спокойствие, там нет творчества. Нет восхождения человека к вершинам культуры. А где творчество, там душевное смятение и гнетущие вопросы. С победами и достижениями всегда переплетаются неудачи, недостатки и провалы...

С такими противоречивыми мыслями и чувствами инженер Дородный шел по знакомым улицам, разыскивая фабрику-кухню.

В кармане у него было пять рублей и два гривенника.

III

В 1696 году Петр Первый повелел верхотурскому воеводе узнать, где имеется лучший камень магнит и добрая железная руда.

Этого требовала затянувшаяся война с Швецией и круто повернутая на Запад

новая хозяйственно-экономическая политика. Образцы, присланные с берегов рек Тагила и Нейвы, показали, что в камне магните содержится сорок пять, а в руде — тридцать процентов чистого железа. Тульский кузнец-оружейник, Никита Демидович Антуфьев, из этой первой руды выплавил металл и сделал несколько фузей, сообщив царю, что руда к плавке годна и железо из нее не хуже шведского.

Вопрос об уральских недрах был решен, и спешно приступлено к постройке первого уральского железного завода на реке Нейве.

Но Никита Антуфьев, родоначальник будущих миллионеров, королей уральской горной промышленности Демидовых, острым мужичьим нюхом учуял открывающиеся великие возможности. Он представил Петру свои соображения, доказывая, что производить литые пушки и снарядов выгоднее не в Туле, где недостаток леса, а на Урале, на новом металлургическом заводе, и предлагал свои условия, на которых может взяться за это дело.

Указом от 4 марта 1702 года царь постановил Невьянский завод передать с прирезкой земли на тридцать верст во все стороны Никите Демидову с тем, чтобы он отливал на нем пушки и мортиры и делал фузеи, шпаги, сабли, тесаки, копыя, а также прутковое железо и проволоку. Для обеспечения завода рабочей силой к нему прикреплялись две слободы и монастырское село, «дабы завода не остановить и не привести в разорение».

Царский подарок пышно расцвел в крепких практических руках Демидовых — Никиты и его сына Акинфия. Спустя немного лет наследник приумножил оставленное родителем наследство. В этом отношении он оказался талантливее отца. При царской помощи в короткое время им сооружен целый ряд заводов: Верхнетагильский, Бынговский, Выйский медеплавильный, Федьковский, Черноисточинский, Висимо-Шайтанский...

Одновременно с Демидовыми постройкою заводов занимается и само правительство. Возникают: медеплавильный

в городе Кунгуре, Уктусский, Каменский и Алапаевский.

Из Петербурга посылается знаток горного дела граф Татищев для постройки новых заводов на реке Исети. Но, не поладивши с могущественным сыном тульского кузнеца, граф вынужден был вскоре вернуться назад. Вместо него берг-коллегия прислала немца, генерала Гейнина.

В начале 1723 года Геннин выписал из Тобольска плотников, слесарей, кузнецов и полк солдат для постройки исетских заводов и крепости при них для защиты от башкир. Весной он писал в Петербург:

«... а плотину и завод, и мануфактуры строю крестьянами, которые приписаны к заводам из трех дворов по человеку. А понеже на них недоимки не малое число и не могут деньгами платить, то легче оную недоимку истребовать».

А солдатам дается по одиннадцати алтын в месяц жалованья да провизиянт...»

К половине лега работы на Исети развернулись. На диких, пустынных берегах реки валил лес, готовя место для плотины, клали доменные печи, строили казармы для рабочих и дома для администрации, воздвигали крепостной вал. Был острый недостаток в одежде, обуви и продовольствии. Рабочим в счет заработка выдавали ржаную муку, смешанную с голокном и овсянкой. Нехватало жилищ.

Источенные люди, поедаемые таежным гнусом, гибли сотнями: от лихорадки, от цынги, от неведомых болезней. Большинство не выдерживало и разбегалось. Часть бежала в поволжскую вольницу, грозно хозяйничавшую по речным путям, другие устремлялись в окрестные леса и образовывали местные грабительские шайки.

Генерал Геннин в ход пускал батоги, плети, заточение. За убийство и грабежи вешали за ребра и живых колесовали.

Заводская крепость с поселками называлась вначале просто «Исетские заводы», но потом Геннин переименовал ее, назвав в честь царицы городом Екатеринбургом.

Спустя два года на Исети была сделана вторая, запасная плотина, и возле нее заложен Аннинский железодельный завод, вскоре получивший какое имя — Верх-Исетский.

В городе к этому времени насчитывалось двести три жилых дома и два балагана.

Так строился Екатеринбург — сердце и мозг горнопромышленного Урала.

На окраине города, в маленькой комнатке сидит лысый человек. За окном отдаленно грохочет Верх-Исетский завод.

Имя лысого человека — Илья Федотыч Кузьминых.

На узеньком столике, покрытом пожелтевшим газетным листом, лежат три обемистых, последних его тетради — «История края». В этих трех — последнее, современное, то, что прощупано его чувствами. Но мысль этого человека тянется назад, к далекому. Откинув на спинку стула тяжелую голову с огромным лбом и полужакрым глаза, он наблюдает чередование возникающих картин, изредка делая вывод, давая формулировку.

За тенью Петра всплывают фигуры временщиков, первые бунты, «посессионное право», разоренные крестьянские хозяйства...

«... Ведь нет дома, — писала Екатерина про частных заводчиков, — в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в сей несчастный класс, где нельзя разбить оковы без преступлений».

Встают царедворцы, дельцы и просто авантюристы: Строгановы, Мосоловы, Яковлевы, Шуваловы, Всеволожские...

«Вторым резервуаром, из которого черпалась рабочая сила, — формулирует лысый человек, — являлась покупка крепостных у помещиков. И третьим источником были беглые из царских тюрем, с военной службы, от гонителей «правой» веры. На таком «вольном» рабочем росла и ширилась уральская промышленность. Такой пестрой на-

родностью населялся горнозаводский Урал...»

Из соседней комнаты доносятся детский беспомощный писк и заботливые женские голоса. Третьего дня появился на свет новый внук, от младшего. «Семья прибывает — это хорошо. Когда родится человек — всегда добро», — отменил тогда радостно Илья Федотыч. Но вместе с радостью было и другое: опасно больна роженица. Поправится ли? Да и младенец такой слабенький: выживет ли? Как трудно живому существу переступить кровавый порог в жизнь...

«... В течение с лишком ста лет Екатеринбург был единственным горным центром, в котором существовал свой уклад, свои законы, свой суд, — продолжает Илья Федотыч думать и делать умозаключения. — Николай Первый... «Рабочие чины...» Для того, чтобы получить свободу, нужно было проработать на заводе беспорочно тридцать пять лет. Целых тридцать пять! И оставалось только одно — бунтовать, нелепо, безнадежно и снова сгибаться под ударами плетей и шпицрутен...»

И потому пугачовщина могла среди горнозаводского населения так успешно вербовать грозную людскую силу, потрясавшую трон Екатерины, в своем буйном разливе уничтожившую больше пятидесяти заводов.

И потому уральские рабочие спустя сто двадцать лет одни из первых выступили на борьбу с самодержавным гнетом...»

Илья Кузьминых выпрямляется, проводит по своему широченному лбу маленькой ладошкой и стягивает возле глаз насмешливые морщинки...

«... Сто девяносто пять лет Екатеринбург был крепчайшим оплотом самодержавия, и в стенах его самодержавия нашло свой бесславный конец. Последняя страница царского Екатеринбурга заключена подобающей концовкой.

Начало — Ипатьевский монастырь.

Конец — подвал Ипатьева.

А между ними — трехвековая кровавая династия...»

Он встает, чтобы размять ноги, отдохнуть от сиденья. И сразу оказывает-

ся маленьким, сказочным Карлой-Черномором, лысым, большеголовым гномом.

За стеной слышится новый голос: пришел старший сын, Семен, вероятно с собрания. С тех пор, как выбрали членом завкома, у него и выходные дни заняты. А второй сын, Павел, недавно добравшийся до высшей ступени познаний, до инженера, вчера улетел в степь, строить металлургический завод. Без дела только два внука, сейчас бегают по двору. У них никаких забот.

«Счастливая пора, — мелькает о них у Ильи Федотыча. — Весь тяжкий груз современности пройдет мимо их плеч. Войдут в новую жизнь не измученными, не как старшие их братья и сестры. Может быть, им будет казаться странным, что их отцы не знали юности. Настоящей, многокрасочной, влюбчивой, цветущей юности, прошедшей у них под ружьем, на царских и гражданских фронтах. А в зрелом возрасте они воевали за пятилетку, недоедали, недосыпали. Что деды их только под старость увидели трактор, услышали радио...»

Илья Кузьминых раскрывает последнюю свою тетрадь.

«... В дни, когда поднималось и росло пламя революции, бодрый, кипящий город железного Урала, Екатеринбург, был центром и мастерской, где ковались оружие революции.

К тебе присылали заводы красных ходоков, в стенах твоих выносились решения, звучали призывы к борьбе и победе, лилась наша песнь, рабочих всего мира.

Екатеринбург был трибуной революции, ее штабом, ее передовым постом. И строились ряды, росла наша армия, железным кольцом пролетарской рати вставал и отвечал твоему зову железный Урал...»

Такими словами приветствовал Екатеринбург в двухсотую годовщину его существования один из виднейших революционных работников...

Илья Федотыч Кузьминых переворачивает страницу и обмакивает перо в чернила.

IV

Старый уралец и вечный городской канцелярист, Илья Кузьминых почти все свое свободное время просиживал в архивах. Каждую заинтересовавшую его мелочь он старательно записывал мелким и четким почерком в толстую пронумерованную тетрадь.

В продолжение многих лет никто не знал, с какой целью этот сухогрудый и коротконогий человек со лбом в печную заслонку копаются в архивной пыли. Думали — просто блажит. У каждого есть своя слабость. Один гоняет голубей, часами любясь полетом какою-нибудь турмана или черной «галочки»; другой все свое состояние и время тратит на собирание почтовых марок или монет, или трубок; третий помешан на глиняных черепках, четвертый — на собирании анекдотов.

Предполагали, что и у Кузьминых такая же безобидная и неизлечимая страсть к затхлому и ненужной уральской старине.

Пусть забавляется, как может. Тем более, что других пороков у него не было: не пил, не курил и не играл в карты.

Но вот однажды откуда-то появился слух, что Илья Кузьминых читает архивные бумаги не просто для интереса, но что он пишет историю края. Пишет серьезно, основательно, почти двадцать лет, что труд этот в нескольких книгах, возможно, будет напечатан.

И отношение к Илье Федотычу резко изменилось. Те из сослуживцев и просто знакомых, которые до сего времени смотрели на него сверху вниз, с некоторой долей пренебрежения: «так, мол, непутевый человек, в роде блаженного, пыльным мешком ударен», теперь стали к нему почтительны.

Завотделом на второй же день, как бы между прочим, задал вопрос:

— Вы, говорят, товарищ Кузьминых, какую-то книгу написали?

— Да, пишу. Много лет работаю над ней. Историю края, — ответил скромно Илья Федотыч.

— Историю края? Та-ак. Это хорошо. Такие книги очень нужны: мы по

ним учимся любить и ценить свою родину.

Он постоял немного, подумал и добавил:

— Я всегда присматривался к вам, думал, серьезный, глубокомысленный человек, наверно занят чем-нибудь серьезным.

После занятий заводелом столкнулся с ним у выхода:

— Вы далеко живете, Илья Федотыч?

— Нет, не очень. На Тургеневской.

— А я на Первомайской... Вы и о людях конечно пишете?

— А как же без людей? — удивился Кузьминых. — Историю делают люди, поэтому о них прежде всего.

— Вы не так меня поняли. Я хотел спросить: пишете ли вы о тех людях, с которыми сталкиваетесь сами, или руководствуетесь только историческими данными?

— То и другое. Историю свою я доведу до наших дней... Честь имею кланяться. Я — на ту сторону. — Кузьминых вежливо и с достоинством, какого не было раньше, приподнял серую истасканную шляпу.

С этого дня служебная карьера Ильи Кузьминых стала быстро расти, авторитет в собственной семье сразу поднялся.

Насколько скрытен и молчалив Илья Федотыч был раньше, настолько же стал словоохотлив теперь. Он начал прилепляться чуть не к каждому встречному, после нескольких слов неуклонно вставляя:

— А я, знаете, пишу историю края...

Знакомым несколько разнообразил:

— Нечто подобное я между прочим привожу в своей «Истории».

Или:

— Об этом я уже набросал в своих исторических записках...

Как прорвавшийся поток стремительно заполняет все ближайшие канавки и ложбинки, так Илья Кузьминых грозил теперь загопить своих слушателей наводнением разнообразнейших исторических мыслей, справок, догадок, анекдотов.

И отношение к нему вскоре стало опять меняться. Если раньше на него

смотрели, как на человека, тронутого тихим помешательством, никому не делающим зла, то теперь было иначе — Илья Федотыч всем причинял неприятность, всем надоедал. Его начали сторониться.

Карьера также остановилась на должности городского архивариуса.

В тот день настроение у Ильи Федотыча с самого утра было прекрасное — родился третий внук.

«Семья прибывает — это хорошо. Новый человек в мир появляется — всегда добро» — думал он, неторопливо идя по бесконечной Ленинской улице.

День у Ильи Федотыча был нерабочий, выходной. С утра он похлопотал по дому: наколот дров, исправил в сарайчике обвисшую дверь и прочистил керосинку. После обеда кое-что почитал, немного пописал и перед вечером вышел прогуляться.

Улицы на окраинах перед вечером обычно многолюдны и шумливы. Рассказывают взад и вперед рабочая молодежь, выходят к воротам старички, открывают заманчивые двери киношки. На тротуарах — галдеж, толчея. Взад и вперед процеживаются цветные рубахи и платья, загорелые молодые лица, звонкие голоса, здоровый смех. А сверху — косые, нежалеющие, приятные лучи нежаркого солнца. Навстречу — ласковый ветерок.

Илья Федотыч, пройдясь почти до самой Вайнеровской улицы, повернул назад и шел тем же неспешащим, благодушным шагом, каким ходят, когда некуда торопиться и на душе светло.

Возле клуба «Красная кровля» ему сзади кто-то осторожно положил руку на плечо.

— Извините, гражданин!..

Илья Федотыч вскинул голову.

— ... Нет ли у вас спички? Не могу закурить.

Перед ним стоял, смогря сверху вниз, казалось, изумленно, на его непомерно широкий, желто-восковой лоб, незнакомый человек с палкой.

Бросались в глаза: его худоба, высокий рост, мочальная, в треугольник, борода и под левым глазом дрыгающая жилка.

— С моим большим удовольствием бы, но, простите, не курю. Отроду не курил, — проговорил Кузьминых, распространяя свое благодушное настроение на случайного встречного.

— Жалы! Очень жалы! У третьего человека спрашиваю, и все оказываются некурящими. Любопытное явление. Уж не борьбу ли с табаком здесь об'явили.

— Нет! Какая борьба!.. А вы, повидимому, приезжий?

— Да, из Москвы. Позавчера приехал. Вот хожу по улицам и припоминаю, — я почти двадцать пять лет не был здесь.

— О-о! За двадцать пять лет тут очень много изменилось. Я, знаете, историю края пишу...

— Историю края? — удивился худой человек.

— Да, да. «История Уральского края», — так будет называться мой труд. Два десятка годиков корпею над ним. Моя фамилия—Кузьминых. Самая что ни на есть уральская, — Илья Кузьминых.

— Очень приятно! А я — Дородный, инженер. Приехал сюда строить. Ведь Урал теперь растет. Ох, как растет! Удивительно! Только вот насчет продовольствия скверно: приезжому человеку хлеба негде купить. Балыка, икры, всяких там деликатесов — сколько угодно, а хлеба без карточки — ни за какие деньги.

— Послушайте! Товарищу инженер! Может быть, вы не обедали? — взметнулся Илья Федотыч. — Может быть, ко мне? Я с большим удовольствием. Страшно буду рад. У меня там новый человек на свет появился, но это ничего, мы устроимся.

Он уже взял его за рукав, готовый потащить, но Дородный с улыбкой дружески отвел руку.

— Очень вам благодарен. Я уже обедал на фабрике-кухне. Я просто так это вам пожаловался. Мне, как приезжому, бросилось в глаза.

— Тогда, может быть, просто зайдете, хотя бы в другой раз. Приятно поговорить с ученым человеком.

— В другой раз я с удовольствием найду посидеть часок, поговорить об Урале. Я его тоже люблю.

Дородный записал адрес и отправился своей дорогой. Илья Федотыч также пошел к дому, немного ускорив шаг, — солнце уже садилось, жена вероятно приготавливала ужин.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Инженер Дородный в этот день много ходил по городу, вспоминая прежнее и сопоставляя его с новым, уже готовым или возникающим почти на всех улицах и площадях. Внешний вид города стихийно, сумасшедше с каждым днем, с каждым часом изменялся.

Все это хорошо, великолепно. Так и должно быть.

Вот здесь стояла маленькая, старинная церковка, нахохлившаяся, как курица перед дождем. А теперь тут электростанция. Немного подальше был особняк золотопромышленника: громоздкая, безвкусная постройка с круглым подъездом, с вычурным карнизом, с нелепыми балконами. К нему часто с'езжалась краевая знать. Сюда текли золотые ручьи со многих мест Урала и Сибири. Сейчас на этом месте возвышается семиэтажная громада с сотнею квартир.

Это отлично, превосходно. Так и надлежит быть.

Но прошлое вспоминается почему-то с приятной грустью. Его — чуть-чуть жаль. Жалко даже этот безвкусный особняк: в нелепости его был своеобразный романтизм, лицо истории.

Старое бесповоротно ушло, только в нем, Дородном, остались невыкорчеванными дognивающие корни и подчас ноют, как остатки больного зуба. Новое надвигается могучей, сокрушающей и обновляющей лавиной. Пожалуй, страшновато, — ведь он еще не готов понять и принять его.

Вот например втуз-городок. Удивительное и волнующее. Возле окраины Свердловска строится целый город выших учебных заведений и исследовательских институтов с населением в сорок восемь тысяч человек.

В самом Свердловске — пыль, зной, звонки, гудки, металлический крик

радио — хор напряженных, горячечных, пестро-разнообразных звуков. Улица Ленина, первая и лучшая из улиц, пробежавшись по всему городу, останавливалась, как внезапно осаженная тройка, у зеленой полосы пустыря. По этой полосе двумя струнками тянулась железнодорожная линия, кой-где махровели огородные грядки, — всюду веяла тишина и томление летнего душного дня. Дальше, в полкилометре, спокойно возвышалась темнозеленая стена соснового леса.

В этом лесу как-раз и строился этот необыкновенный учебный и научный городок с полстатусным населением.

Инженер Дородный ходил, изумленный, по широким улицам лесного городка — великолепнейшей социалистической сказки. В раскрытых окнах еще не совсем готовых каменных корпусов-гигантов видны были занавески, изредка цветы, мелькали головы юношей и девушек. На спортивных площадках играли в волейбол, в теннис. Тут же лежали горы строительного материала: камня, цемента, дерева, железа. Планировались участки, выравнивались площадки. У строящихся зданий по лентам транспортеров безостановочно текли кверху красные потоки кирпича. Машин виднелось мало, — все делали человеческие руки. Рук этих — многие тысячи. Пилили, стругали, копали и твозили землю, укладывали в тесные, вечные ряды кирпич. По взрытым и загроможденным улицам двигались цепи подвод с деревом, с камнем, со строительными отбросами. Непрерывное движение, работа рук и неустойчивой творческой мысли.

Восемь месяцев назад здесь ничего не было, только шумел пустынный бор. Через три месяца во многих корпусах уже раскроются двери обширных аудиторий и с кафедр, еще пахнущих краской и лаком, польется методическая, уверенная речь лекторов, в многочисленных лабораториях институтов зазвонит стекло пробирок, задымятся кислоты, пылкий ум ученых погрузится в размышления над тайнами вещества.

Степан Гаврилович Дородный прошел уже большую часть безлюдной Твери-

тинской улицы, не замечая окружающего. Навстречу пахнуло освежающим ветерком, и вдруг в этой струе почувствовался гнилой, омерзительный запах разложения. Инженер поднял голову. Впереди улица пересекалась полувысохшей, смердящей речонкой, лениво протекающей в широком грязном ложе. Он сразу узнал ее. Все та же старая Исеть. Километром выше, за плотиной, она образовывала грандиозный пруд и свою воду отдавала на потребу городу и заводу, здесь же напоминала выгребную яму.

На одной и той же улице были два полюса: в одном конце — социалистический втуз-городок, в другом — гниль и запустение.

Инженер повернул назад и в этот момент услышал хор женских голосов, доносившихся сверху, из гущи ветхих домишек. Он с удивлением поднял голову.

Оказалось, звуки шли из небольшой деревянной церкви, схоронившейся между домов. На противоположной стороне, у ворот, сидел кудлатый старик с газетой, неуклюже держа ее огромной, корявой пятерней, другая рука, высохшая, мослистая, безвольно покоилась на коленке.

— Дед! Почему сегодня служба? — обратился к нему Дородный.

Старик опустил газету, неторопливо засунул в бороду здоровую пятерню и провел ею, как гребнем до половины груди, где кончалась борода.

— Вы, что же, не здешний, видимо?

— Да, недавно приехал.

— Так... Теперь все к нам едут. Об Урале опять заговорили. — Старик вытер рукавом блестящий лоб. — Томительно сегодня. Духота... А там — какой-то церковный праздник. Теперь мы за церковными не следим, у нас есть советские. Баб надо спросить.

Дородный пошел через дорогу к церкви.

В верхнем этаже молилось около полусотни женщин. Одеты они были, в особенности молодые, по-современному: в модные платья, шелковые чулки и фасонные туфли. Но головы у всех без исключения покрыты платками. по-двев-

нерусски, кверху коньком, и под подбородком скромно сколоты булавкой.

Посреди убогой церковки — простенький поп с волосами в кружок. Деловит и скучен. Добросовестное отбывание привычной и надоевшей обязанности.

Чувствовалось, что церковное средневековье, сохранившееся только в одинаково повязанных платках и деланно смиренных взглядах, доживает последние дни. Древняя, отжившая Русь осталась только в одном: в фарисейски повязанном платке. А остальное — все в современности. Модное платье, ажурные чулки, душистая пудра. Еще немного, и от старого ничего не останется. Новое, идущее на смену, не замедлит смести оставшийся показной пережиток.

Старик с газетой все продолжал сидеть. Увидав вышедшего инженера, он крикнул через дорогу:

— Ну, как? Любопытная штука? Во всем Свердловске почти ни одной церкви, а тут сразу в трех помещенных наяривают. Три прихода объединились... Поди, наверху были, у белокриницких старообрядцев... Садитесь, если не торопитесь. — Он повернулся к открытой калитке: — Аксинья! Сваргань-ка нам чайку!.. Так, приезжий, говорите? Из Москвы наверно? Послушаем, как там живут люди...

Этот сидевший у ворот старик с газетой был Федор Петрович Славичев, когда-то один из лучших мастеров по яшме. Больше половины жизни он провел на гранильной фабрике, у городской плотины. Дед и прадед также работали на императорской гранильной.

Славичевых в Екатеринбурге расплодилось достаточно, и все они шли по изумруду, по яшме, по всяким поделочным камням.

Лет сто, а может и больше назад, из Пермской губернии, скрываясь от гонителей древней веры, прибежал сюда с женой и дочкой раскольник Никита Славичев. Красивая дочь его вскоре вышла замуж за старообрядца, торговца Крутикова, внук которого потом, сделавшись управляющим многих уральских заводов, отличался жестокостью к рабочим и нажил миллионы. Сам Никита Славичев сразу попал на изумру-

ды — на рудник возле Березова, где спустя немного времени нашел свой преждевременный конец — разбило голову сорвавшейся бадьей.

Этот Никита и явился родоначальником славичевского рода на Урале, в продолжение сотни с лишним лет работавшего на других, жившего подлинной пролетарской жизнью.

Чай пили в маленьком палисадничке, во дворе. Над столом спускала широкие ветви береза, чирикали воробьи, в весеннем, душистом наряде курчавилась сирень.

— Вот что, товарищ инженер. У меня за горбом — шестьдесят пять, и вы не молодой, друг друга мы с полслова пойдем, а хватать мне не резон, — говорил убедительно Федор Петрович. — Изумруд у нас, можно сказать, — валюта. Дороже самого золота. Железо — это серьезная и долгая статья. Надо сначала руду добыть, потом переплавить ее в чугуны, для которого требуется уголь и всякое другое. А после из чугуна варить железо, из железа делать изделия. А какие нужны заводы? Домны, мартены, прокатные станы. Одним словом, в дело нужно вкладывать миллионы. А для изумруда ничего не надо. Добыл руду, — она у нас почти наверху лежит, старатели голыми руками добывают, — значит, у тебя и богатство. Ограничь «зелень», придай ей настоящую ценность — пара пустяков. Мой Иван, вон, тридцать лет гранью занимается. Наш один Первомайский прииск мог бы дать нам неопровержимые богатства...

Он шумно схлебывал с блюдца жидкий чай, степенно вытирал шершавой ладонью губы и привычным движением левой руки приводил в порядок бороду. Говорил, не торопясь, с хрипотцой, в нужных местах делая соответствующие паузы и подчеркивания.

— Французы, до революции владевшие прииском, — продолжал он, — называли миллионы и не разрабатывали, а просто грабили. Сверху брали... Тут, товарищ Дородный, на Урале, есть и другие доходные статьи. Конечно, изумруд дело хорошее. Платина — тоже неплохое. Теперь мода на железо, и же-

лезо можно добывать. Но зачем же упираться только в эту стену? Есть у нас к примеру тальк. Кто знает о нем? Почти никто. А у нас его — горы. А за граница жаждет его больше золота. Так вот и давайте вывозить его. Проведем железную дорогу к горе и будем прямо грузить эту гору. Можно несколько поездов в день нагрузить. Сроем одну, под'езжай к доугой. Есть горы — чистейший тальк. Я только к примеру говорю о тальке, — у нас много и других ценных минералов, только уметь к ним подойти. Богатства всюду неопровержимые... Аксинья! Васютка-то дома, что ль? Вот тут с гостем, с московским инженером, познакомиться...

Сухоньяка, опрятная старушка повернула с крыльца желто-деревянный лик:

— За книжки сел. Скажу сейчас. — Она скрипнула дверью.

— Американец у нас на Первомайском был, — я ведь теперь там в роде как бы контролер. На другое-то ни на что не годен... Так — ого-о! — как об изумрудном отзывается! Говорит, что за один этот прииск можно целый флот купить. Умный, знающий человек. О России книжку пишет... Вот, тоже, яшма. Я, можно сказать, во, как ее знаю. Сколько на своем веку порезал этой самой яшмы и порфира. Одних только больших ваз тринадцать штук сделал. Теперь стоят у королей да в музеях, по всему свету раскиданы. А маленьких и не перечесть. Когда этот американец узнал, что вазу, которая находится во дворце у английского Георга, сделал я, Федор Славичев, го и пожелал меня видеть. Хочу, говорит, посмотреть, какие у него руки и какая голова. — Старик засмеялся, покрутил головой, провел здоровой рукой по шапке белых, с синеватой чернью волос и еще раз засмеялся. — Голова у меня, действительно, всобенная. Шестьдесят пять на свете бесценно живет и волос не убавляет. Вон их сколько! Пимы можно скатать. А руки, говорю, что! Обнаженные руки: кульгяпые и в желваках. Это все от резки. На правой еще больше было, да высохли. Мне ее переломили, — порфировая глыба свалилась и

придавила. Если бы не это, и посейчас бы резал.

II

Когда инженер Дородный впервые вошел в маленький дворик на Тверитинской улице, все Славичевы были дома, но выходить к незнакомому гостю, разговаривавшему с отцом, никому не хотелось: каждый был поглощен своими делами и заботами.

Первой перед этим вернулась с постройки дочь, комсомолка Зоя. Мать штопала чулки, — сухоньяка, опрятная, складно подобранная, точно вырезанная из старого дерева для католической статуи великомученицы. Священной статуи на грешной земле. Казалось, и не сгнить никогда этому пожелтевшему дереву.

Дочь — изделие той же руки, но вся земная, предельно насыщенная жизнью.

Сдернув с шеи полосатый вязаный шарфик, Зоя поправила перед зеркалом стриженный вихор и обернулась к матери. Лицо обветренное, с загаром.

— У нас сегодня ночью в теплоцентралке пожар был. Чуть не погибла целая бригада плотников, одиннадцать человек... Ужасная вещь...

Мать поднимает голову, в глазах — материнский испуг, деревянная ложка с чулком застыла в руке.

— Пожар? Как же это? От чего?

— Пока еще точно не известно. Идет расследование... Едва успели выбежать.

— Ах, боже ты мой!.. Ну, а ты как?

— Что, я как?

— А до тебя далеко было?

Зоя посмотрела на мать широко раскрытыми, удивленными глазами и внезапно взорвалась стеклянным детским смехом. Пришла в движение вся ее маленькая, крепкая фигурка.

— Чудная же ты, мамага! Вот чудная, честное слово! Ведь пожар-то был не в нашем цехе, а в теплоцентрали... пойми ты!

— Могло и к вам перекинуться, сколько у вас лесу-то везде! — обиделась мать. — Жара теперь. Сушь. Разве долго?

— А, кроме того, это было ночью. Пожара? Но-очью! А я работала в

дневной смене. — Зоя стояла перед матерью, все еще лучшая молодая беспечностью. — Ты всегда за меня дрожишь, точно я малюсенькая, вот такая... с палец. А я — во-о! Целых полтора метра. И старая уже: мне двадцать два года-а! — Она чмокнула ее в седой висок. — Не бойся! В огне не потону и в воде не сгорю!..

— Уйди ты! Вечно меня насмех поднимаешь! Что я для тебя — посмешище, что ли?

— Не сердись, мамочка! Мамусенька, не сердись!.. Сидишь ты здесь, такая древненькая, седенькая... Не по годам, не по волосам. Нет-нет! А по чувству своему, по понятиям... И не видишь, что вокруг делается. Ведь строится новая жизнь. Замечательная жизнь! Честное слово, замечательная! Но разные враждебные элементы, а то и просто пакостные людишки всячески мешают этому. Не дают развернуться. Если бы только не мешали — ого-о! Что бы мы сделали!.. Не мы конечно, не я, а партия, советская власть. Мы — только рядовые работники, ну, землекопы, что ли, или подносчики материала, но работаем мы, мамочка, на-говесть, стопроцентно. Несмотря ни на что, делаем и делаем... А что касается того, буду ли я, Зоя Славичева, благополучно здравствовать, или меня сожрет пожар, раздавит сорвавшейся балкой, или что-нибудь в этом роде, то от этого на строительстве ничего не изменится...

Мать в ужасе замахала руками.

— Тьфу! Тьфу! С ума ты сходишь, девка! Мелешь нивесть что! Уйди от меня: не хочу я слушать таких речей!

— Мамочка!.. Пелагея Максимовна! Вот тебе честное комсомольское слово — ничего от этого события не изменится! А умирать раньше времени конечно я не хочу.

— Я заткнула уши, не слышу. Не хочу слушать! Не хочу! — Старушка, воткнув пальцы в уши, отвернулась от дочери.

В дверях появился старший брат, Иван, широкогрудый, длиннорукий, на деревянной култышке. Закидывая циркулем деревяшку, он прошел к столу и

грузно, точно мешок с крупой, опустился на стул.

— Гы!.. Значит, строим!.. Как, бишь, его? Мудрено называется-то, забыл.. К примеру, когда ж построим? К какому сроку? Или уж построили? — Он смотрел на сестру насмешливо, прищуренными глазами, выпятив замшелый подбородок, под которым борода висела неестественно, привязанной черной подковой. — Колхо-озы! Соревнование! По карточкам хле-еб!.. Быть может, это и есть он самый... тот, за что мы народную войну ведем? А? Как? Правильно я говорю?

Зоя сразу напряжинилась, вскинула голову. Атака начинается. Что ж, она примет ее, хотя это страшно надоело, ничего в этом нет нового. Повидимому, у брата какая-либо неприятность или кто-нибудь взвинтил его, в этих случаях он к ней всегда становится придиричив и держит себя вызывающе.

— А тебе сразу бы на казенные хлеба? Лежать бы, ничего не делать, и само все в рот текло бы... Откуда у тебя такое буржуйство? Помещиком бы тебе быть, крепостных иметь. Вот бы жизнь-то! А ты торчишь на фабрике за гранильным станком...

— Да, торчу и жду, когда придет ваш си-ци-лизм. Все жданки потерял! Невтерпеж! Поглядеть хочется, что это за штука, с чем ее едят, чем запивают!..

— Иван! Будет тебе! — вмешалась мать. — Уж все переговорено, перебуторено, а мне ваши споры в зубах навязли. Оглохла я от них. Не хочу больше! — она махнула рукой и выдавила на желтом, сухом лице страдальческую гримасу.

— Постой, мать! Ведь я вдвое старше ее. Жизнь-то знаю я или нет? Она без году неделю вылупилась на свет, а я на войне был, гражданские фронты прошел, вшивым тифом болел, ногу потерял. Вот! — Он постукал по деревяшке. — Это все за ваш прекрасный социализм! Значит, я имею право о нем говорить! Пускай она мне скажет: имею или нет?

— Ты — обыватель! Ты не вдумываешься в исторические процессы! Ты

только злобствуешь, тычешь пальцем в мелкие недостатки и не видишь подлинного лица жизни, новой, рождающейся в муках! Ты, ты... гниешь! — Зоя от волнения напряглась, покраснела, сжимала маленькие кулаки. — Такие, как ты, путаетесь под ногами, отравляете воздух своим брѳужанием! Мешаете строить!..

— Ха! Много вы построили! Рано еще хвалиться.

— Не видит только тот, кто не хочет видеть или просто слеп.

— Если заводы, так они строились и раньше. А домов каждый год делали столько, что жить в них некому было. Пустовали!.. Ты похвались другим. Жизнь, мол, мы построили лучше. Сытнее, теплее и вольготнее стало человеку. Вот чем хвалиться надо, а не заводами! Заграница строит их чортову уйму, и не бахвалится. Ты вот насчет жизни, жизни. Вот о чем!..

— Господи! Как вы мне этим надоели! Зоя, перестань хоть ты. Разве перекричишь его? Вон у него глотка-то какая! — Мать просяще вытянула сухие, безжизненные руки. Она казалась беспомощной со своим материнским чувством.

— Пускай он оставит меня в покое! Не я начала, а он!

— Ты агитируешь! Всех хочешь в свою веру перекрестить.

— Не тебя я агитирую.

— Ну-у! Меня бесполезно. Не из того материала сделан. — Иван самодовольно ухмыльнулся. — Чтобы обточить камень, надо особое точило. Песчаником его не возьмешь. Не-ет!

— Ты — не камень, а дерево... осиновая колода, источенная червями!..

Бросив в сторону брата полупрезрительный взгляд, Зоя с неостывшим волнением гордо повернула ж выходу. Иван проводил сестру хитрой, многозначщей улыбкой и некоторое время барабанил пальцами по деревянной ноге, вытянувшейся горизонтально черной воронкой.

— Вот ты, мать, сердисься, и она тоже злится, — начал он уже спокойно и без насмешки. — А я что ж? Разве я против всего этого? Разве я — контра

какой? Я все понимаю, что и как? На плечах у меня — не кочан капусты. Не глиняный горшок... Против Колчака я дрался? Дрался... За новую-то жизнь я отдал не меньше других. Где сын у меня? Где жена? Где правая нога?

Мать не отвечала.

На дворе, по ровной, круговой дорожке, скрипит и визжит деревянными колесиками маленькая тележка с двухлетним седоком, младшим сынишкой Ивана. Старший, десятилетний, с хлыстом в руке идет рядом, а вместо коня — дворовый кудлатый пес, Полканка.

Седок, солидно держа веревочные вожжи, захлебывается в звонком, радостном смехе.

— Тетя Зоя! Смотри! Полканка научился! — кричит старший племянник. — Мы теперь скоро по улице будем ездить!..

Собака, увидав девушку, замахала хвостом, глядела на нее понимающими глазами, как бы говоря: «Похвали меня, я такая умная, понятливая...» С длинного, розового языка у нее капало, лохматые бока часто и равномерно ходили. Зоя ласково потрепала ее по голове.

— Умник ты, Полкаша. Умник! Покатай их! Ребятишки они хорошие, не отца. Настоящими строителями будут... Хм! Идиоти-изм!.. — Зоя отвернулась, пошла в палисадник, где под березой стояла скамейка и рядом на четырех колышках, вбитых в землю, — тесовый самодельный стол. Неподалеку цвела сирень, зеленело несколько кустиков малины и пестрели цветы. Девушка прошла по узкой тропке, тщателью посыпанной яркожелтым песком, несколько раз наклонялась к цветам, бережно приближая к себе их головки. Старалась потушить вновь поднимающееся волнение.

Ее возмущал не сам по себе брат, — она иногда извиняла его: революция взяла у него слишком много и не только не возместила его потерь, но со злой усмешкой ударила еще по самому больному месту — его перевели на второстепенную работу с пониженным зара-

ботком. Во всем этом было некоторое оправдание.

Скрипнула калитка. Второй из молодых Славичевых, Василий, сразмаху плюхнулся на скамейку.

— Ну, как у вас там на стройке? Что нового?

Василий был членом президиума плановой комиссии, выдвиженцем от рабочих Верх-Исетского завода. Немного склонный к полноте, краснощекий, с порывистыми движениями, выше сестры на целых две головы, — весь в отца, — он казался моложе своих двадцати восьми лет. Сняв с гладко стриженной головы зеленую парчевую тубетейку и помахивая ею от жары, Славичев смотрел на сестру внимательным, беспокойным взглядом.

— В нижнем этаже, говоришь, загорелось? Где же именно, в каком помещении?

— Кажется, в складе. Там сложены пакля и толь.

— Гм! Вероятно от короткого замыкания. Я не допускаю мысли, чтобы...

— А я думаю, и многие ребята думают... — торопливо перебила Зоя. — Это — поджог. Злой умысел.

— Возможно, и это. Разве мало всякого хулиганья. От них не скоро очистишься. Недавно мы подсчитали: оказывается, на наших новостройках работает до тридцати пяти национальностей. С'ехали со всех концов Союза. Конечно известная часть из них — классово-чуждая, настроена далеко нам не сочувствующе и вероятно проявляет себя активно. Еще больше в общей массе — просто людей, озлобленных своей тупостью, недавним звериным бытом и нищетой. Они мстят мелко, бессмысленно, часто не вдумываясь в свои действия. С этим ничего не поделаешь. Неизбежное явление. Нужно много времени, уменья, большой политической работы, чтобы всех их перестроить на наш лад. Уменья конечно у нас много, и мы их перестроим. Одних позднее, других раньше, но всех перестроим и уже перестраиваем, с каждой неделей они становятся нам ближе и ближе, работать начинают лучше... Ну, я сегодня еще не ел, — некогда было. Пойду обе-

дать. Потом поговорим. — Он поднялся, чтобы идти, но, вспомнив, остановился. — А насчет Ивана, так ты должна бы к этому давно привыкнуть, не первый день с ним живешь. Дай срок — и его перекуем...

Василий Славичев легко, какой-то особенной, веселой походкой направился к дому. Сестра с завистью посмотрела ему в спину: почему она не такая уверенная и смелая, как он? Почему ей не дается все так легко и свободно, как ему? Может быть, потому, что она маленькая и невзрачная, а он силен и красив?

И Зое на минуту стало обидно за себя, за свою внешность и слабосилие. Она быстро поднялась и застучала каблуками по каменной дорожке вслед за братом.

В эту минуту Дородный и появился на дворе, идя за стариком Славичевым. Взглянув мельком на крыльцо, он увидел там молодого человека в зеленой тубетейке, вежливо приподнял перед ним кепку. Тот ответил приветственным поклоном. Память сейчас же подсказала Дородному: этого человека встречал он в кабинете у Зверева... Должно быть, видный коммунист...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Фыркая и хрипя, как большое, злобное чудовище, медленно полз по вытоптанному пустырю траншейный экскаватор. Двадцать стальных челюстей вгрызались в почву, выворачивая камни, корни кустарников — все, что попало по пути. Позади машины рождалась двухметровой глубины канава, вытягивался по ее правому берегу ровно и прямо, как жирный дождевой червь, земляной вал. Гусеничные колеса печатали по бокам мягкую бесконечную лестницу.

Здесь, на границе поля и леса, через три месяца должна лечь улица заводского городка, в канаву на будущей неделе заруют трубы. Таких канав-траншей на территории завода бесчисленное множество. В них, как в сложном орга-

низме, разветвляются артерии и вены: водопроводы, газопроводы, канализация, отопление.

Направо, с востока на запад, выстроились металлической шеренгой на цементных массивах ажурные конструкции будущих цехов.

Стихи железа и цемента.

Цемент, серый, вечный, приник к земле, присосался к ней миллионами пор, крепко внедрил в нее могучими корнями.

Железо неукротимо стремится кверху, в самые облака. Стрелы подъемных мачт, похожие на камышевое плетение, неустрашимо пронизывают их, играют с ветром, смеются веселым гудением.

Тут цеха: чугунолитейный, сталелитейный, механический, кузнечно-прессовой. Немного поодаль — полуготовое, еще в лесах, здание теплоцентрали. Она будет давать свет, движущую силу машинам.

В южном открылке механического величественной аркадой вытянулись серые железо-бетонные рамы. Немного жуткий, но влекущий вход в какую-то новую, неведомую страну, наполненную солнечным светом, стоном и скрежетом металла.

Тут же просяще склонил стальную, прозрачную шею-гусеничный кран, трудящийся над установкой торцовой колонны. Наверху колонны мухами прилепились люди: сверлят, стучат, прилаживают. Гигантская стрела крана послушно переносит по воздуху десятитонные стальные арки и столбы так же уверенно, как человеческая рука. Скрип блока, несколько ударов молотком, несколько человеческих движений, — наверху установки и внизу, в машине, — и стрела снова поплыла по воздуху, к новой части, чтобы так же легко, играючи, схватить ее и в три минуты поднять на двадцатиметровую высоту.

Дальше располагаются другие цеха: термический, модельный и металлических конструкций. Но это не все. За ними следуют: бетонолитная фабрика, ремонтно-механические мастерские, ремонтно-строительные мастерские, водо-

проводные сооружения, электроотопительная и компрессорная станции. Но и здесь еще не конец. Имеется бесчисленный ряд подсобных хозяйственных сооружений: складов, парков, всевозможных хранилищ, всяких служб.

Еще дальше — жилые корпуса. Значительная часть из них почти готова, другая — в начальном периоде стройки. Стоят они в строгой симметрии, грузные, спокойные, с прямыми, глубокими каналами улиц. Через месяц окна во многих из них расцветятся занавесками, украсятся растениями, — начнется привычная, повседневная жизнь с домашними хлопотами, заботами, с семейной толчеей. Сейчас там только стук, крик, безостановочный бег транспортеров с потоками кирпича, громыханье бетономешалок. Денно-ночная производственная суета.

В десять с четвертью к управлению мягко подкатил четырехместный изящный «фиат». Круто повернув у подезда, он остановился. Был тот час, когда на строительстве скапливалось особенно много приезжего делового народа. На площади, перед зданием, выжидающе стояли извозчики, мотоциклы, легковые машины. Подходили один за другим автобусы. Из прибывшего автомобиля вышел Зверев с Дородным и торопливо направились в подезд.

Управление занимало все три этажа с несколькими десятками комнат, в которых больше сотни людей разных специальностей считали на счетах и арифмометрах, стучали на пишущих машинках, писали, чертили, копировали планы, делали фотографии и просто вели деловые переговоры. Комнаты, где велись эти переговоры, были обставлены лучше и уютнее, — мягкой мебелью и большими дубовыми, с резьбой, письменными столами. Со стен смотрели портреты вождей. Пестрели всевозможные карты, планы, диаграммы.

Всюду просачивались взад и вперед, толклись озабоченные посетители и служащие с портфелями, с папками, с бумагами.

Управленческая фабрика напряженно гудела глухим, скрытым внутри, человеческим рокотом.

Зверев и Дородный вошли без доклада в кабинет начальника. Сидело пять человек: шло совещание. Заведующий строительством, бритый, в серой толстовке, недовольно поднял голову, но увидав знакомое лицо, широко, простоушно улыбнулся.

— А-а! Павел Кондратьич! Расчудесной! Как-раз до тебя дело есть! — Он поднялся и протянул руку. Встали почтительно и остальные. — Теперь держись: насядем на тебя со всех сторон. Очень кстати припожаловал.

— Ничего! Спина и шея у меня крепкие. Батька постарался, да и я поразвил малость. Как-нибудь выдержит, — отшучивался Зверев, тепло со всеми здороваясь. — Ну, какая у вас до меня нужда? — Зверев, слегка прищуриль серые глаза с густыми нависшими бровями и растянув в привычной, мягкой, улыбке губы, выжидающе смотрел на заводское начальство. — Да, вот, познакомьтесь. Этот человечье, я думаю, вам пригодится, — показал он большим пальцем вбок на высокого и худого своего приятеля. — Старый, испытанный спец, мой давнишний друг. Вместе в ссылке были. Степан Гаврилович Дородный...

Прилепившийся к подоконнику красивый шатен с аккуратной бородкой, помощник инженера Шухаев, беспокойно вскинул взгляд на незнакомца, по спине пробежал колющий холодок.

«Неужели тот самый Дородный, который?..»

Стараясь заглушить поднимающееся волнение, он всматривался прощупывающим взглядом в будущего своего сослуживца.

Тот, не замечая этого, спокойно со всеми поздоровался и скромно сел на первый подвернувшийся стул.

В прошлом у инженера Шухаева лежало черное пятно, за которое в свое время его не преминули бы поставить «к стенке», если бы открыли. Но оно осталось нескрытым.

Диалектика жизни помогла молодому специалисту перешагнуть мрачную полосу этого своего прошлого. В течение десяти лет многое изменилось и в окружающем, и лично в нем самом. Черная

пена расплескалась, и в сознании осталось только страшное, мучительное — «к стенке». Оно теперь отравляло самые лучшие его часы, угнетало во время работы, проявлялось в кошмарах сновидений.

Тяжесть усугублялась еще тем, что рядом с ним жил и работал человек, крепко вклинившийся в этот период его жизни, — техник Дубенец. От него, пожалуй, не трудно было избавиться, — перевести на какую-либо другую стройку, но едва ли бы стало легче. У, себя, ежедневно на глазах, надежнее.

И вот теперь неожиданно другой.

«... А, может быть, не он, с тем Дородным ничего общего не имеет?..»

Инженер Шухаев, сидя в отдалении, продолжал украдкой всматриваться в незнакомое, слегка утомленное лицо старого инженера, пытаясь найти в нем ответ на свой вопрос.

Спустя полчаса начальник строительства Грибанов, помощник главного инженера Шухаев, Зверев и Дородный ходили вчетвером по постройке. Говорили больше двое начальствующих. Грибанов возмущался: обком и облСНХ недостаточно нажимают на поставщиков, — плохо идег поступление стройматериалов и оборудования. Нет людей.

— Но вы сами-то почему спите? Надо больше проявлять энергии. Самим принимать меры, устранять всякие причины... Ты, брат, Максим Андреич, потерял здоровое, рабочее чутье. — Зверев товарищески погрел начальника по плечу. — Не посылают — требуй! Возьми их по-настоящему в обработку. Ты ведь — рабочий, значит, действуй по-рабочему — быстро, решительно. Направь бригады, обратись к посредству печати... Мало ли что можно сделать?

— У вас больше авторитета. Вы можете воздействовать по партийной линии, — не соглашался тот. — У вас все административные пружины в руках. А мы задыхаемся.

— Вы хвост опустили, вот что! Хвост надо держать грубой, а зубы оскаленными, и главное — рычаг, рычаги!

Испугаются и будут присылать, — смеялся Зверев.

— Вам хорошо приказывать. А мы мечемся, обезумевшие. Из Ленинграда отправили нам турбину больше месяца назад. Тридцать седьмой день она едет. Цемент с Катав-Ивановского завода шествовал недавно сорок дней. Подумай — сорок дней! Точно патриарх какой... Пропускная способность дороги возмутительна. Нам нужно триста вагонов в сутки, а дают семьдесят — девяносто. Что ты на это скажешь?

В сталелитейном цехе шла установка первой мартеновской печи. Огромное металлургическое сооружение с черным зияющим горлом было все в лесах, вокруг него копошился не один десяток людей: свинчивали, склепывали, проводили трубы. Стучали молотки; визжали напильники, сверкало ослепляющее пламя сварщиков.

Шухаев подошел к технику, о чем-то неслышно поговорил с ним и возвратился к своей группе.

— Бригада Глушка вторую смену снижает темпы. В последнюю — двадцать процентов недовыработки, — сказал он, нагибаясь к начальнику. Он был выше его почти на целую голову.

Тот, скользя взглядом в сторону засмотревшегося Зверева, недовольно поднял брови на инженера и сухо, полуприказом, выжал из толстых, гримасно сжатых губ:

— Надо установить причину.

Они пошли дальше. Снаружи цеха возвышались три гигантских дымоходных трубы. Массивные кирпичные тела их через каждые два метра были стянуты железными обручами. Возле труб стояла длинная шеренга красноармейцев и пропускала по рукам поток белого огнеупорного кирпича.

— У нас сегодня красноармейский субботник, — повернулся к Звереву начальник. — Ловко это у них: живой конвейер!

— Раньше на Волге так арбузы на пароходы грузили. Только грузчики стояли значительно реже и кидали друг другу, — сказал Дородный, приятно вспоминая прошлое.

— Но арбузы-то раньше стоили по грошу. Буквально по грошу штука, а наш кирпич — это золото. Валютный кирпич. Из-за границы получаем. Вот поэтому и трясутся над ним, передают из рук в руки, как стеклянную вазу или как пирожное, — точно со злобой ответил Максим Андреич, не поворачивая головы.

— Подожди! И свой наладим! Не хуже заграничного будет. — Зверев тронул за локоть Шухаева. — Скажите, Анатолий Викторович, как обстоит дело с проектом внутрив заводских путей, получили?

— Нет еще. Не выслали. Это нас страшно связывает. У нас из-за этого задерживаются земляные работы. — Шухаев достал портсигар, протянул Звереву, потом Дородному, взглянул прямо в его зрачки, — узнал или нет? — и начальнику. — Третий срок назначают и все не дают. — Он затыкнул и подняв голову в приплюснутой рыжей кепке, неторопливо выпустил дым вверх. При этом его красивое, но слишком сухое лицо с серыми, блеклыми глазами приняло почти злое выражение. — Давно следовало бы заняться, кому полагается, этим проектировочным бюро.

— Да, да. Это плохо. Очень плохо, — самому себе ответил Зверев и повернулся к Дородному. — Понимаешь, сколько везде всяких подводных рифов и мелей. Один обошел — возле носа другой. С одной сполз — перед тобой выросла новая, больше первой. Все это — обломки старых буржуазных привычек, традиций и всякой там нечисти. И главная беда в том, что не всегда можно итти напролом... Эх, скоро ли это все выметет! — Он неожиданно обернулся к начальнику. — Ну, Максим Андреич, погостил у тебя — и довольно, времени уже много. Надо еще заехать на строительство втуз-городка. А в четыре у меня экстренное заседание... Чтобы поспеть.

Зверев повернул к центральной площадке, на которой помещалось управление. Дородный и остальные последовали за ним.

II

Проводив автомобиль, Шухаев пошел опять на стройку, хотел посмотреть, как идут работы в чугунолитейном и модельном. Шел он прямо, по кучам строительного материала, мимо штабелей магистральных водопроводных труб, мимо неподвижной, застывшей на половине хода землечерпалки. Заглянув внутрь кабинки, возмущенно отвернулся: «Не умеют обращаться. Только портят механизмы... Чорт знает, что такое!..» Зашагал дальше, тем же неспешащим, уверенным начальническим шагом. Мысль о новом инженере на некоторое время заслонилась повседневными заботами.

По пути остановился возле сварщиков, работавших у нефтебака. Стояли трое в одну линию. Слепяюще сверкали три огненных ползущих пятна.

— Здравствуйтесь, товарищи! Как идет работа?

Рослый, загорелый человек с краю отвел лицо от деревянного щитка с темносиним стеклом и, не выпуская из рук газовой рукав, скупно ответил:

— Ничего, идет. Гоним во-всю.

Он опять приник к стеклу, наблюдая за раскаленным, белым пятном, похожим на огненного паука с сотнями ног. Белый, шипящий паук медленно полз по стыку двух железных листов, заполняя его расплавляющимся металлом проволочки.

Остальные сварщики не повернулись. Шухаев постоял возле них, наблюдая игру светотеней на рыжих листах, и, не сказав больше ни слова, пошел дальше.

Инженера всегда смущал этот крайний, Шилов, хмурый, сосредоточенный, с колючим, недоверяющим взглядом. Сколько ни пытался помощник главного инженера вызвать его на тот или иной разговор, Шилов отделялся короткими, обрывистыми фразами.

«У каждого мужика своя фанаберия», — подумал он с неожиданно вспыхнувшей неприязнью.

Инженер-механику Шухаеву многое из окружающих его явлений было совершенно ясно, многое он пытался понять,

ежедневно, ежечасно вглядываясь и вдумываясь. Но еще больше проходило перед его глазами недоступным пониманию. Находимые им объяснения часто внезапно разбивались, превращались в прах, и клубок вопросов снова запутывался.

Революция, диктатура пролетариата, социалистическое строительство — это все ясно, точно и неопровержимо, как математическая формула.

А почему в кооперативе за шесть месяцев сменилось восемь заведующих за пьянство, за грубость, за хищение? Часть из них была незадолго до этого безупречными, стойкими коммунистами... Что это — разложение?

Не только это, но и что-то другое. Да и что значит «разложение»? Из каких слагаемых состоит сумма ведущих к нему причин?

Почему группа беспартийных плотников в январские тридцатиградусные морозы работала на улице по двенадцати часов без смены, не желая уходить? Некоторых уводили с обмороженными конечностями, но другие продолжали работать добровольно, без принуждения.

Или сквозная бригада землекопальщиков, показывающая чудеса выносливости и напряжения... Что их толкает к этому: тщеславие? Азарт? Погоня за большим заработком?

Не только это, но и что-то другое, более значительное.

Почему при невероятной костности и невежестве масс, при халатности, возмутительном отношении к механизмам со стороны отдельных лиц, при наличии чуть ли не ежедневных аварий, прорывов, промахов строительство идет с такой скоростью, какая при нормальных, более благоприятных условиях невозможна?

Какими секретами воздействия на человеческую психику обладает большевистская партия, из ленивой и ко всему равнодушной мужичьей массы высекающая огонь?..

На эти и подобные вопросы у инженер-механика Шухаева не находилось ответа. Для него это было непонятно, загадочно. Сам он никогда не загорал-

ся энтузиазмом и к работе подходил обычно спокойно, выполняя ее вполне безупречно, с отличным знанием. И только такой метод работы считал надежным. На ударничество же и соревнование смотрел отрицательно. Об этом он смело заявил начальнику строительства в первую же неделю работы на заводе:

— Максим Андреич! А не находите ли вы, что ударничеством и соревнованием у нас слишком увлекаются. Как вы на это смотрите? — обратился он к нему сначала осторожно.

Начальник взглянул на нового помощника с некоторым недоумением и сухо спросил:

— Вы имеете в виду изнашивание человеческого организма?

— Да. Но я далек от проповедей гуманности. Я рассматриваю это, как механик. Наибольший производственный эффект мы получаем только при рациональном использовании механизма. Мало того, что преждевременно изнашивается человеческий организм, эта ценнейшая машина, что само по себе является уже расточительством, но систематическая перегрузка ничуть не увеличивает в конечном счете продуктивности. Чем больше напряжение, тем длительнее реакция. В итоге выходит нуль, если не хуже.

Грибанов скривил усмешкой губы.

— Говорите, что в итоге выходит нуль, если не хуже? А хуже, — значит, два нуля?

Шухаев смущенно мотнул головой.

— Так вот. К этим двум нулям, — продолжал начальник строительства, — мы ударничеством приставим единицу. Одну простую единицу слева. И вы видите, что получается? Неплохо? Как вы скажете? — Грибанов внезапно рассмеялся, как-то особенно, серьезно и многозначуще. — Ваши законы механики, или экономии сил, что ли, уж не знаю, как их назвать, товарищ инженер, мы на этот раз не хотим принимать в расчет. У нас есть свои соображения. А вам советую попристальнее присмотреться, может быть, вы тогда в свои выводы внесете некоторые поправки. Это бывает.

Начальник отошел с достоинством, как учитель от бестолкового ученика.

Инженер Шухаев за это время ко многому присмотрелся и увидел, что получается иногда, действительно, странное. Большевицкая тактика часто преподносит неожиданные и мало понятные сюрпризы.

При слове «неожиданные» Анатолий Викторович снова представил себе высокую, худую фигуру Дородного и почувствовал к нему нарастающую ненависть.

«... Если бы можно было одним взмахом освободиться от надвигающегося кошмара! Когда же, когда все это кончится?..»

Чугунолитейный цех был уже открыт. Первый, действующий из всех цехов завода. В далеко не законченном здании на скорую руку сделали боковую обшивку, поставили временную вагранку и сказали: «Литейная готова». Открывали торжественно, с речами, с музыкой и флагами. Газеты трубили о победе на строительном фронте на весь Союз.

По лицу Шухаева пробежала ироническая гримаса. «А настоящей пользы от этого шума — на грош!..»

В цехе несколько десятков формовщиков копались в серой земле, возились с белыми кирпичами, готовя опоку для литья. Они работали на земляном полу, кто сидя, кто стоя на коленях или на корточках, в синих перепачканных спецо костюмах, с грязными руками и лицами. Не в пример другим цехам и зданиям здесь неожиданно резала слух необыкновенная тишина и чувствовался серный запах раскаленного металла. На кирпичной стене висело десятка полтора бумажных плакатов: противоакольных, профсоюзных и комсомольских, тянулась на несколько метров красная коленкоровая полоса:

«Выполним пятилетку в 3½ года».

Работа у формовщиков была кропотливая, малоподвижная, и на первый взгляд казалось, что они не работают, а просто копаются, как дети. Большие, с бородами, но — дети.

Зато в следующем здании, где готвились части металлических конструкций для заводских колонн, стропил и

всячески соединений, работа происходила в каком-то хаду звуков и движений. Все свободное пространство заполняли полосы железа, тонкого и толстого, прямого, многометрового и короткого, выгнутого по всевозможным формам. Машины сверлили, пилили, клепали. Люди расчерчивали, наставляли, били ручными и паровыми молотками. Рабочие, машины, металл — все было единое, живое, движущееся в каком-то звуковом потрясающем смерче.

Возле входа двое рабочих, точно играючи, выдавливали электрическим прессом на полудюймовых железных полосах отверстия для заклепок. Металл сопротивлялся не больше, чем сырая картошка под кухонным ножом. Железные кружочки тяжелыми каплями непрерывно капали в ящик.

На воле, куда уползали на вагонетках готовые детали, шла сборочная работа, более спокойная и величественная. Здесь из отдельных небольших частей вырастали колоссальнейшие конструкции в несколько десятков метров длиной. Целые колонны и арки с ажурным плетением. Работали здесь исключительно ручными пневматическими молотками, удары которых были необыкновенно быстры и точны. Как будто строчили громкозвучные швейные машинки. От каждого молотка лился поток звенящих отчетливых звуков.

Части, менее грузные, подвозились на низких тележках к висевшему под навесом на блоке центральному «молоту». Этот молот по заклепке не колол, а только мягко и неслышно прикасался к ней один раз. И заклепка в палец толщиной, словно сделанная из воска, беззвучно поддавалась и крепко, навеки, смыкала железные полосы двумя аккуратными красными головками, которые тотчас же чернели. Огромный кран, как хобот слона, подхватывал готовые арки и колонны и осторожно грузил на железнодорожные платформы. Паровоз вез их к месту установки.

Этот цех работал на себя, строил собственный завод.

К помощнику главного инженера пошел заведующий цехом, инженер-конструктор Вейс, старый, грузный

прибалтийский немец, страдающий одышкой.

Шухаев, подавая ему руку, сообщил:

— Сейчас приезжал Зверев с новым инженером, — будет работать у нас, кажется, по постройке жилых зданий.

— Откуда он?

— Из Москвы приехал. Фамилия — Дородный. Не слышали такого?

Вейс подумал. Пощипал рыхлый подбородок, где белела короткая щетина, посмотрел на корявые пальцы с грязными ногтями и вместо ответа спросил:

— Молодой или старый?

— Лет сорок пять, сорок семь. Высокий, сухой... — Шухаев неожиданно и зло рассмеялся. — Старый подпольщик, бывший политический ссыльный, так я понял из их разговоров. Теперь у нас прорывов не будет. Все пойдет, как по маслу!

— Партийный?

— Не знаю... Как у вас установки для южного? — Помощник снова стал серьезен и заботлив.

— Завтра во второй смене закончим. Снял и поставил сюда две бригады с арок. Обе выдвинули встречный. — Вейс опять потрогал подбородок закордулой, много работавшей рукой. — Я уверен — покроют с излишком.

— Отлично! — Шухаев шагнул через железные полосы, этим заканчивая беседу начальнича с подчиненным, но, сделав три шага, он обдернулся и добавил немного измененным тоном: — Александр Иосифович, вечером я вас жду: приезжайте, если будете свободны.

Инженер Вейс вместо ответа утвердительно кивнул тяжелой головой на короткой, апоплексической шее и вразвалку пошел к месту сборки установок.

III

На следующий день Шухаев на службу не поехал. Утром, около восьми часов, он постучал в дверь соседней комнаты, где жила девушка-инженер по фамилии Бобкова, и, передавая ей записку, попросил:

— Нина Александровна, передайте, пожалуйста, вот это главному инженеру

или начальнику. Я сегодня на строительстве не буду: чувствую себя нездоровым. Грипп, должно быть. Пожалуйста, не забудьте. — Не став выслушивать расспросов, он повернулся и пошел к себе в комнату.

Жене Анатолий Викторович сообщил уже более определенно и так же немногословно, — после очередной размолвки они были скупы на слова:

— У меня грипп, температура немного повышена, на службу не поеду: надо отлежаться.

И, спустя несколько минут, он остался один, как того и хотел. Затворив плотнее дверь, Анатолий Викторович вытянулся на диване, заложив руки за голову, и уставился взглядом в пространство между собою и потолком.

Гриппа у Шухаева не было, и температуру он не мерил, но у него оказалось другое, гораздо худшее: с появлением на стройке нового человека он переживал душевное потрясение. Все, что с таким невероятным трудом завоевывалось: материальное обеспечение, общественное положение, даже семья, — все теперь ставилось под удар, все придвинулось к опасной грани; одно неосторожное движение, и он может оказаться в пропасти. Надо все осмыслить, рассчитать. Хоть один раз ему следует стать математиком в жизни: ни одного нерассчитанного шага, непродуманного действия, непроанализированного слова. И конечно никакого интеллигентского идеализма. В жизни у него много было таких моментов. Первый — десять лет назад: на деникинском фронте. Смерть от большевистского нагана дышала у самого виска. Спас случай, нелепый, благодетельный случай. Второй раз — встреча с техником Дубенцом. Но техник сам пресмыкался, как издыхающий пес. Его можно было зашибить каблук, у Шухаева на это нехватило духа, оказался трусом, предпочел кинуть ему кость в тайной надежде, что тот подавится ею. А он все грызет и грызет и время от времени скалит на него зубы.

Но это уже не так страшно: привык к нему, а, кроме того, в руке есть надежный усмиряющий хлыст. Настоящая опасность надвинулась только со

вчерашнего дня. Как и десять лет назад, черное дуло снова придвинулось к виску и сверлит его своим стальным глазом.

Как же теперь быть? Где выход? Все опротивело: работа, собственная квартира, люди. Больше всего — люди. Не хочется видеть жену, детей, страшно смотреть им в глаза.

Шухаев поспешно одевается, крадучись от жены и домработницы, выходит на улицу и устремляется за город. «Подальше куда-нибудь. В лес, в лес. Там похожу, подумаю. Все надо обстоятельно продумать». В автобусе он сидит, забившись в угол. «Только бы не встретить знакомых, ни с кем не разговаривать...»

В лесу тихо и чуть прохладно. Огромные сосны не шелохнутся, льют смолистый, приятный запах. Кой-где весело зеленеют березы и черемуха.

— Хорошо! — вслух говорит Анатолий Викторович и мысленно заканчивает: «Отдохну здесь, соберусь с мыслями. В голове — настоящий кавардак...»

Он медленным шагом идет неподалеку от опушки, старательно обходя кочки и мелкие заросли, — как бы не поцарапать желтых ботинок и не порвать брюк. То и дело приходится смахивать с лица длиннейшие нити паутины.

«Откуда столько этих противных пауков?»

Шухаев опускается на маленькой полянке на траву, лежит некоторое время, собирая мысли и настойчиво убеждая себя: «Надо все до конца продумать, во всем разобраться, здесь как-раз подходящее место для этого: никто не помешает...»

Но голова плохо работает: какая-то вялость. Проходят минуты, скука течет и течет, всего заполняет; начинает давить. И вдруг у Анатолия Викторовича мелькает, точно кем подsunутая, чужая мысль: «В лесу он сейчас один, далеко от жилья, мало ли везде теперь скрывается бандитов: ограбят, убьют...»

Он быстро поднимается. Лес сразу становится неприглядным и страшным. Где-то и как-то странно-незнакомо крикнула птица, в ответ свистнула дру-

гая. Совсем рядом застучал по сухому сучку дятел.

Шухаев торопливо пошел к выходу в поле.

Сидя опять в автобусе, он доказывал себе: «Чтобы успешнее защищаться, надо наступать. Только в активности — спасение, иначе — провал, уничтожение, смерть. Необходимо бороться всеми способами, умно, тонко, настойчиво, не отступая ни перед чем...»

Не имея еще никакого плана, Анатолий Викторович решил позвонить одному из старых своих приятелей — ученому экономисту-плановику Зарницину: может быть, удастся от него что-либо узнать. Встречу назначили на сквере, у городского пруда.

Придя раньше времени, инженер долго сидел в нетерпеливом ожидании, часто смотря на часы. Плановика все не было. По дорожкам сновала весенне-возбужденная, шумливая публика, слышался смех молодежи, и особенной, напряженной походкой проходили празднично одетые женщины, некоторые торжественно несли себя, точно знамя, и загадочно светились, разливая вокруг очарование. По глади пруда скользили лодки, и опять — заражающий смех весны и юности.

Шухаев неожиданно начинает ощущать, как у него из самых глубин поднимается мало знакомое чувство тоски по смеху, по красоте, по любви. Он разучился смеяться, не воспринимает уже давно по-настоящему красоту. А любовь? Пожалуй, у него и не было ее никогда. В тридцать шесть лет он почти старик. Жизнь проходит, почти прошла, мимо. Великолепная, чудесная жизнь.

«А если?.. — Инженер вздрогнул от внезапной страшной мысли. — Если это случится, то на целые годы ни семьи, ни знакомых, ни окружающей природы, а главное — свободы, — ничего этого не будет. Но может, может произойти и хуже, в миллион раз хуже... — По телу пробежал колющий озноб. — Неужели и самая жизнь?.. В чем же его вина? В том, что он искренно заблуждался? Но ведь это же было честное заблуждение... Теперь он искренно и

честно служит большевикам и делу социализма. Чего же еще?»

«А честно ли? По доброй ли воле?..»

Шухаев болезненно дернулся и в этот момент увидел подходящего к нему сутулого, остроносого человека в чесучевом пиджаке. Человек, серьезно улыбаясь, проговорил:

— Извините, товарищ! Заставил вас ждать. Все непредвиденные обстоятельства. — Не протягивая инженеру руки, он протирал большие круглые очки. Глаза без стекол были узенькие, часто моргающие, и вид лица жалкий. — Кажусь небольшой случился, по семейным обстоятельствам.

Остроносый человек слегка иронически улыбнулся, водворил очки на место, сделавшись от этого сразу важным и глубокодумным, и только теперь с достоинством протянул руку.

— Товарищу инженеру!.. С хорошей погодой!..

— Я думаю, нам лучше зайти в кафе, — предложил Шухаев. — Ведь вы не торопитесь?

— Я? Нет. Я ни при каких обстоятельствах не тороплюсь, помня, что жизнь отпущена один раз.

— Да, это верно, — один раз, — согласился Шухаев, многозначительно подчеркнув слово «один».

Когда они сели за столик, остроносый человек достал из кармана белого пиджака красный платок и стал вытирать им потную шею.

— Я полагал, вы совсем пропали. Уж не в Соловки ли, думаю, крабов ловить... Спецов знакомых у меня там много. — Он пристально посмотрел на инженера острым, птичьим взглядом. — Но вот вы объявились. Это хорошо, значит, покада все в порядке. Бог грехам терпит.

Шухаев на эту издевку не обратил внимания, — это просто была манера Зарницина говорить. Знал Анатолий Викторович экономиста еще по Москве, не любил его, считал сплетником и эгоистом, но изредка все-таки встречался. Сегодня же для встречи имелась особенно уважительная причина: экономист знаком был чуть не со всей инженерской Москвой и обладал исключитель-

ной памятью, позволявшей ему вмещать в своей голове тысячи разнообразнейших фактов из жизни интересующих его людей. Он для Шухаева мог быть очень полезным.

— У нас, Александр Васильевич, так уплотнено время, что мы свободного часа не видим: днем — на постройке. а вечером — общественные и всякие иные занятия. Я всех друзей растерял, ни у кого не бываю, — ответил инженер, протягивая Зарницину портсигар.

Тот закурил.

— Дело, что ли, какое случилось? Нужда объявилась ко мне? — Он напавил круглые очки на собеседника.

— Да как вам сказать — нужды, пожалуй, особой нет, но поговорить кое с чем найдется... Это, между прочим, после... Вот хотел взять отпуск, думал поехать на юг подышать морским воздухом, устал очень, да не дают, — вздохнул Шухаев, горестно улыбнувшись. — Говорят, что для отпусков не время теперь, надо сначала построить завод... Ну, а вы как живете? Что в вашей жизни нового?

— Как я живу? Гм. А вот так и живу: ем, сплю, удобряю собственным навозом землю, ну и, разумеется, хожу на службу, что-то там пишу, считаю, говорю... Вот и все.

— Значит, похвалиться нечем?

— Почему нечем? Подлинная человеческая жизнь. В конечном счете самое важное для человека заключается не в том, что он думает и что делает, но совершенно в ином. Когда ему не больше тридцати лет, то для него главное — сексуальные функции его организма, если же он перешагнул за пятьдесят, как я, то, поверьте мне, существенное заключено в желудке. Все зависит от его работоспособности. Отсюда, если хотите, идет вся философия, творческие взлеты, оптимизм и пессимизм.

Шухаев, глядя на него, подумал: «Все такой же злоязычный, противный. Как с ним люди работают?» — и, закуривая новую папиросу от окурка старой, сказал:

— Уж слишком мрачно вы смотрите на мир. Если назначение человека лишь в том, чтобы удовлетворять свои фи-

зиологические потребности, то, честное слово, не стоит называться человеком, надо снова стать на четвереньки, возвратиться к предкам животным.

— А что ж, мы к ним и идем. Если мы завоевываем всякие технические высоты: летаем по воздуху, разговариваем на расстоянии, стреляем без пушек и тому подобное, то это ведь вот-вот может все опрокинуться, и окажемся мы, деликатно говоря, кверху сиденьем. Взгляните-ка на Европу...

— Я думаю, это — вопрос дискуссионный, не стоит углубляться, — прервал его Шухаев. — Давайте поговорим лучше о другом. Недавно к нам приехал Зверев со своим приятелем-инженером. Очень интересный человек. У нас остался работать. Фамилия — Дородный. Не слышали такого?

— Дородный? Знал одного такого. Встречался с ним на юге. Каков внешностью?

— Высокий, худой, ходит с палкой. Звать, кажется, Степаном Гавриловичем.

— Ну, звать, я не знаю, как, а с палкой любой человек может ходить — это не признак. Но вот, что касается — худой и высокий, это подходяще: тот тоже, как телеграфный столб... С ним одна неприятная история случилась... так, малость: на Лубянку угодил.

— На Лубянку?

— Ну, да, на Лубянку. Чего же тут особенного? Понемногу все там будем... Оказался замешанным во вредительстве.

— Нет, повидимому, не он, — разочарованно проговорил Шухаев. — Это — старый подпольщик, энтузиаст. Большие связи... Может быть, припомните имя?

Зарницин некоторое время копался в своей памяти.

— Имя не припомню: нето Степан, нето Семен, — «С» как будто мелькает. Помнится только, у того один глаз подмаргивал. Говорит, а глаза у него — чик, чик...

— Значит, он. Никакого сомнения — он, — не скрывая радости, воскликнул Шухаев и тут же развел руками. — Но

как же — политкаторжанин, связи и прочее? Не понимаю.

— Нечего тут и понимать. Сидел он за то — не водись с кем не надо. Это бывает. Его после трех-четырех месяцев отпустили, а те загремели, рабы божии. Все это в порядке вещей. Энтузиазм и подполье здесь не при чем.

Инженеру Шухаеву уже трудно стало скрывать свое удовольствие, хотя он всячески пытался сдерживать себя.

— Удивительно! Удивительно! Странно! Я никак не мог этого допустить. К тому же приятель Зверева. Это — не шутка, — повторял он задумчиво, смотря в одну точку, и в этой точке ему уже рисовался план дальнейшего поведения. — А как вы думаете: Зверев знает об этом его прошлом или нет?

Зарницин из толстых губ изобразил подкову и гмыкнул:

— Может знать, а может и не знать, от этого дело не меняется. Освободили, значит, и вины особенной нет. Зря на все четыре стороны не отпустят.

Сидеть Шухаеву дольше стало неинтересно: он узнал больше, чем ожидал. Поговорив из вежливости еще несколько минут, инженер поднялся.

— Пожелаю вам всего... Думаю, что в ближайшее время...

— Как, уже уходите? — удивился Зарницин. — А я полагал, что мы зайдем тут по соседству, на счет пива сообразим. А-а? Следовало бы.

— С удовольствием бы, но некогда. Благодарю.

— Ну, вам виднее: на горе стоите. А то не мешало бы, Анатолий Викторович. Москву вспомнили бы.

— В другой раз, в другой раз... — Шухаев с искренним удовольствием и благодарностью пожал протянутую ему руку.

И, когда он шел опять по скверу, вслушиваясь в беспечный смех молодежи и засматриваясь на интересных женщин, прежней тоски у него уже не было: все казалось привлекательным, радостным и зовущим.

К Василию Славичеву Шухаев зашел прямо на квартиру и увел его из-за стола. Гуляли сначала по пустынной Тверитинской улице, потом вышли на

проспект Ленина. Гремели пробегающие вагоны трамвая; радио наполняло улицу музыкой и пением оперных арий из городского театра; по тротуарам и по бульвару текла ярким потоком гуляющая публика. Жизнь была живыми родниками отовсюду, по-весеннему полнокровная, поющая и зовущая. Била она и из самого Анатолия Викторовича, откуда-то из неведомой дотоле глубины. Он взволнованно, стараясь сдерживаться, доказывал:

— Василий Федорович, мы находимся на передовом посту, нам нужно быть чрезвычайно бдительными. Ничтожный промах может принести серьезные последствия, которые почувствуются всей страной.

— Конечно, вы правы, — соглашался спокойно Славичев. — Стройка очень ответственная, но у вас крепкая партийная организация. Ребята зоркие и толковые: если что не так — сразу заметят и разберутся. Бояться нечего.

— Это верно, партийная и комсомольская прослойка у нас большая, руководство отличное... Я просто поделиться с вами, в порядке, так сказать, товарищеском и конфиденциальном. Я думаю, что вы понимаете меня: мною руководят не личные побуждения, но дело, которому я целиком предан.

— Да, я понимаю. Но страшного здесь, по-моему, ничего нет. Конечно, со Зверевым я поговорю, выясню, может быть, он ничего не знает. А бить тревогу пока еще рано. Не надо.

— Я сам тоже так думаю, — поспешно согласился Шухаев. — Лично на меня Дородный произвел очень хорошее впечатление. Возможно, что зря на него болтают: он искренно предан делу. Он — наш... Хотя, как говорят, дыма без огня не бывает. А в общем, во всем этом весьма трудно разобраться... Ну, я пожелаю вам всего лучшего. Дома меня вероятно уже ждут. — Анатолий Викторович неожиданно сделал просящую, ласковую улыбку. — Василий Федорович! Когда же вы ко мне зайдете посидеть, так, не торопясь, за чайком? Моя жена давно ждет вас, сколько раз спрашивала... Ну, дорогой, не забывайте!

Анатолий Викторович удовлетворенно зашагал поперек улицы по направлению к своему дому. Но глубоко внутри у него все-таки таилось беспокойство и периодами просачивалась отравная мысль, что последний поступок его неэтичен. Инженер старательно подавлял его всякими доводами: «Иначе нельзя. Так нужно. Или — ты, или — тебя. Середины нет».

На площади, недалеко от своего дома, Шухаев догнал свою жилицу, Ни ну Александровну. Она возбужденно сообщила:

— Ко мне сейчас придет Дородный, Степан Гаврилович. Я вчера с ним познакомилась. Замечательный человек! Он спрашивал о вас, я сказала, что вероятно будете дома, что...

Шухаев поспешно оборвал с недовольством:

— Почему вам нужно было говорить, что я буду дома? У меня нет свободного времени для бесед с первым встречным. Я сейчас должен заниматься, у

меня спешные дела, да к тому же я и не совсем здоров.

В знакомстве Дородного с Бобковой он видел скрытую цель. Мелькнуло: «Сразу принялся за слежку. На квартиру хочет попасть. Что ж, посмотрим, кто кого!..»

Девушка сконфузилась. Ее квартирный хозяин и непосредственное начальство никогда не говорил с ней таким тоном. Она смущенно ответила:

— Анатолий Викторович, ведь он придет ко мне, в мою комнату, и если вы не пожелаете, то можете с ним не встречаться. Простите, я не думала, что это будет вам неприятно.

— Вы не так меня поняли, Нина Александровна, — попытался сгладить Шухаев нехорошее впечатление. — У меня сейчас просто скверное настроение, и ни с кем посторонним не хочется разговаривать. Знаете, расстроен. Все неприятности. — Махнув рукой, он круто повернул прорь от своего дома.

(Продолжение следует)

Два паспорта

Поэма

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

Я не могу забыть часов счастливых,
Промчавшихся
Сквозь яркий строй бесед:
О съезде партии,
О наших перспективах,
О роли Сталина, вершителя побед...

Мой старый друг,
Восторгов не исчислю
В живейшей благодарности тебе —
За каждый штрих
Твоей кристальной мысли,
За каждый звук
Рассказов о борьбе...

И — знаешь что:
Теперь, в социализме,
Встает таким же юным образ твой,
Как в эпизоде
Из подпольной жизни,
Среди других рассказанном тобой.

— Так вот:
Работой и борьбою пылкой
Мы старых дней полади лебеду...
Я в Петербург бежал из новой ссылки
В тяжелом
Девятьсот восьмом году.

В столицу прибыл, позабыв тревоги.
Снял комнатку. На сутки опочил.
В прописку паспорт сдал...
(А по дороге
Я настоящий паспорт получил.)

Мой паспорт не был ни в одном
из'яне,
Он чист вполне — со всех своих углов.
По паспорту я значился: «Крестьянин
Сергей
Андреевич
Орлов...»

И в этом тихом званьи в летний вечер.
Гулял я у Елагиных озер...
Знакомых — никого...
Вдруг кто-то мне навстречу
У фонаря об'яття распростер.

— А! Это ты...
— Да! Это я... Здорово!
Встречались в Петропавловске!.. И тут
Целуемся. Затем — об'яття снова...
— Скажи, а как теперь тебя зовут?

— Орлов, — я говорю...
— Орлов! — он отвечает.
— Да я — Орлов... Не надо лишних
слов!

— Представь себе, что Питер
величает
Меня такой же кличкой: «Орлов»...

— Сергей!
— Андреевич?
— Ну, да!
— Вот совпадение!
— Крестьянин?
— Да!
— И паспорт есть?
— Ну, да!

— Прописан?
 — Да.
 И, не сдержав волненья,
 Я очень громко заключил:
 — Беда!

Он сразу понял все. Мы зашагали
 На конку, кажется, тропинкою кривой.
 — Ты был в Челябинске?
 Выходит так, что дали
 Тебе там
 Настоящий паспорт мой?

— Выходит так... А ты?
 — А я по дубликату
 Прописан здесь. Работу подыскал.
 В Челябинске в тюрьме сидел
когда-то
 И паспорт свой потерянным считал.

Вдруг у тебя
 Он появился снова,
 Целехонек, здоров — и ни черта?..
 — Я думаю по поводу другого,
 Того, что вскоре
 Наши паспорта,

Два паспорта
 На одного субъекта,
 В Центральном встретятся бюро.
 Тогда конечно в полицейском некто
 Поспешно вставит мне перо.

— А почему не мне?
 — Ну, как! Ты все же
 Всамделишный Орлов... А я — увы
и ах! —

И не Орлов,
 И даже не Сережа,
 А главное,
 Что нахожусь в бегах.

И этот факт
 Полиции конечно
 Установить удастся без труда...
 Бежать, бежать
 Из Петербурга спешно,
 Бежать без промедленья...
 Но... куда?

Такой погоды
 В жизни не припомню.

Азарт грозы —
 До самой до зари...
 Тряслись дома. И от безумства
молний
 Тревожно меркли фонари.

Ряды дождя
 Безудержно в атаку
 Через Неву к Сенатской пронеслись.
 И отступили. Небосвод заплакал.
 Я под дождем бродил,
 Отогревая мысль,

Которая, как молния, сверкнула
 В сознании моем, в сознании моем...
 Она слилась потом с громовым гулом,
 Немного охлажденная
 Дождем...

Пришел домой,
 Спеша сомкнуть ресницы.
 А мысль моя перерастала в сон:
 Свободен я.
 Я где-то за границей!
 Вот хорошо:
 Я молод и влюблен!

Я каждый день
 В просторной зале клуба
 Сажу на лекциях. Учусь. Расту.
 Со мною Любочка...
 Моя зазноба Люба
 И тут сумела
 Проскользнуть в мечту?

Я спал недолго,
 Как всегда бывает
 И в дни надежд, и в дни больших
тревог...

И вот
 Реальный облик принимает
 Ночных мечтаний
 Кружевной поток...

Бежать!
 Ни на каком другом исходе
 Остановиться в этот раз нельзя.
 Побывать хотя б немного на свободе,
 Там, где ЦК,
 Где Ленин,
 Где друзья.

Потом вернусь
 С запасом сил и знаний

Он простоял
С открытым ртом.

Потом сказал:
— Варшавский... Семь пятнадцать.
Родной мой...
Говорят, что нет чудес...
И, позабыв
Со мною попрощаться,
Исчез...

А я скрывался в Питере немного.
К путиловцам вела тропа моя.
Оттуда вскоре —
В дальнюю дорогу,
В знакомый путь,
В сибирские края...

Я сделал то, что должен. Не
раскаюсь.
Прости, свобода! И, любовь, прости...
Ты жив, Лавров!
Я по дороге в Кайнск ¹⁾
Желал тебе
Счастливого пути...

Счастливый путь
Началу этой темы,
Одним штрихом затронутой пока...
Пусть создает нам песни и поэмы
Молодость
Большевика!..

¹⁾ Место ссылки.

Равноденствие

Роман

П. СЛЕТОВ

Часть первая

I

Осенний воздух меркнул над просторной ладьей стадиона. Еще не выпал первый снег, но редкие сухие хлопья его носились в легком ветре. День шел к сумеркам.

Зрители не смогли заполнить огромного амфитеатра, жались на южных трибунах. Посреди, в кольце газонов, полуголые спортсмены бросали ядра и диски. Вокруг, как горячие жеребцы, ржали мотоциклы, взвивались на виражах, совко скатывались на дорожку, силлись опередить собственный хохот.

Полуголые атлеты зеленели смесью загара и проступившей на холоду синеватой крови, мотоциклы по всему стадиону облетали их истерикой, атлеты стойко зябли, но наконец покинули поле, не выдержав сравнения с машинами, ничего никому не доказав, не убедив сегодня ни в чем и Степана Уманцева.

В гонки вступали тяжелые мотоциклы, и все зрители, почувствовав конец спортивного дня, переместились так, чтоб удобнее видеть, навалились взглядами и вниманием на ту черту, где среди гулких выхлопов горячились у старта «харлеи». Махнул флажок, беспорядочные выхлопы перешли в затяжной гром, захлебывающийся хохот, три машины рванулись вперед, плавно опрокинулись и прошли по отвесной стене дальнего виража в твердом равновесии движения.

... Тачанка прыгала, как мельничное сито, когда Грицко прицелился по живому хвосту дороги—краем жита, искосившись на галопе, догоняли казаки, двое их было, а Грицко целил по-своему, прижавшись подбородком к ручкам пулемета: «Обожди, Степане, я их, як жуциков!..»

Уманцеву никто не мешал наклоняться над барьером южного виража побелевшим от волнения лицом. Первый раз его затащили на мотогонки товарищи, а теперь он пришел почти мимовольно. Взлетавшие к его ногам гонщики нажимали на машины, не выключая газа на поворотах. В короткую секунду, пока они пролетали под ним, Уманцев заглянул каждому в глаза, но прочел оглолосок только одного из чувств, осаждавших его самого.

— Наддай! Наддай!—кричали справа.

— Митя, не отставай!..

... Лента расхоталась и бахнула под конец в него пороховым горячим ветром, а Грицко уже лежал на дне тачанки с лохмотьями вместо лица, — взорвались патроны в коробке...

Эти вскрики еще сильней подстегивали волнение Уманцева. Он всматривался в гонщиков, мчался взглядом за ними, он забывал себя, покидал сознанием у барьера южного виража и несся вместе с машинами. Руки цеплялись за барьер, сознание летело, взвивалось и падало вместе со взглядом, с заездом «харлеев».

Гонщик, весь забранный в желтую кожу, вел машину по безупречной линии с бешеным спортивным опытом. Быть может, только на полколеса опережал он остальных, выше всех взвиваясь на виражах. Второй, усатый, в грубых сапогах, держался в середине, сидел в седле скобочась, консервы его были взброшены на лоб, и рассекал он встречный ветер правым виском. Третий, весь в черном, в полушубке, меховых крагах и пробковом шлеме, шел низом, и, входя и выходя из виражей, ставил свой мотоцикл в предельный наклон к плоскости дорожки, вот-вот грозя поскользнуться на всей оседланной скорости. Военные петлицы виднелись из-под воротника полушубка, риск его поворотов играл, как солнце, на ноже спокойных веселых глаз. Уманцев жадно спросил себя и узнал, что хочет победы именно ему, командиру.

Пути машин ложились с таким однообразием, что гонщики становились бегущими звуковыми пятнами. Каждое, уходя в скорость, зловеще таяло, как будто навсегда стремилось исчезнуть. Вместе с улетающим звуком каждое умирало, по-насекомьему прикидывалосьдохлым под догоняющим взглядом. И стремилось уйти в землю. И уже прикрывалось сумерками, как вдруг расправляло жесткие крылья и, вымчав вверх, влево, против солнца, уже сбегало осыпью выхлопов, росло, росло, возвращалось звуком, наваливалось в уши, отшатывало от себя и превращалось в предел силы — прома — тяжести.

... Двое рухнули в пыльных столбах, а третий летел на гранату в руке Уманцева; она шипела в руке капсулом — раз, два, три, четыре, пять... И — подбросил под брюхо лошади, в громкий столб новой пыли крови, но Грицко не стал жить...

Уманцев не мог оторвать взгляда. Он видел, как под колесами машин звонкий бетон становится мягким, как мнут они вместе с сумерками полотно трека. Как трек, изгибаясь от их тяжести, начинает кружиться вокруг своего центра, судейские трибуны качаются, поле кренит, вся ладья стадиона отчаливает и выходит в какой-то

огромный холодный морской простор. Он слышал, как гром мотоциклов смолк, радиорупор выкрикнул результаты заезда, как толпа зрителей, шумя, пошла к выходам, и не заметил в этом ничего странного: на кораблях по выходе с рейда так же смолкают лебедки, кто-то командует в рупор, и пассажиры, простившись с берегом, расходятся по каютам.

Все тише и тише. Последние зрители прошли мимо Уманцева, не обратив на него внимания. Стадион опустел. Внизу, у выходов, еще горели огни, но стали гаснуть. Когда последний погас, Уманцев поднял воротник демисезонного пальто, надвинул кепку и тихо побрел по трибунам, вниз, мимо сторожей.

... Батько Прочан был справа, в Плавнях, а на Мелитопольский шлях вылетел кутеповский связист на мотоцикле, но Грицко еще жив был, устроил ему за семьсот шагов вираж к Дулоничу с белым паром и белым пламенем — даже сумки с пакетами не нашли: «вин ее с собой до штаба взяв, як пидсвичене»...

Петровский парк был люден. То были обычные прохожие. Толпа зрителей уже успела схлынуть с площадок трамвайной остановки. Фары легковых автомобилей и автобусов далеко ощупывали шоссе асфальт. Уманцев подошел к освещенному вагону трамвая и хотел вскочить на подножку, но сразу понял, что не найдет нужного номера, что его нет, что не нужен ни один номер. К остановке подходили люди, вскакивали в вагоны, перебрасывались громкими фразами, уезжали. Это было обычное и по-обычному осмысленное движение. Присутствие Уманцева здесь — он это чувствовал — было совершенно бессмысленно. И тем более было бессмысленно в этом спокойном предместьи Москвы его волнение. Посмотреть на Уманцева со стороны, на светлые, медленные в повороте его глаза, на румянец худощавой щеки, — кто бы решил, что он еще захлебывается воздухом, как иные гонщики-шоферы, которые на больших скоростях грызут резину, чтобы не прокусить губы? Кто бы угадал в нем оторопь и связанность движений, которую

так не любят замечать в себе летчики на ухабах высот? Он был совсем обыкновенен среди обычной вечерней публики,—в этом-то и была бессмыслица, потому что его привело сюда из ряда вон выходящее несчастье, душевное падение, с которым он играл в жмурки на мотогонках, но которое предстало сейчас во всю свою непоправимую, непомерную величину в сжатой мысли: и з г н а н и е.

Она была впрочем еще сжатей. Она вовсе не имела объема, не знала формулировки, была бесконечно малой мозговой точкой. Но, как атом, силы которого вскрыты, надсечены вмешательством извне, она источала огромный поток скрытой энергии—энергии распада—и никак не иссякала в своей разрушительной работе. Степан Уманцев давно умел противопоставлять жизни выдержку, суровость, всю твердость зрелых сил. Он знал, как надо обрушиваться на зачатки душевных ран и изломов, давить, топтать их со всей тяжестью выработанной воли, со всей беспощадностью, которой обладает всякий, перенесший в себе борьбу долга и личных желаний, обуздавший в себе личное. Но для этого нужно было найти, нащупать самое ядро боли. Его не находилось, очаг распада был безмерно мал, безмерно губителен, и каждое усилие Уманцева подавить его, вот уже с середины дня, с той минуты, как стало известным решение партбюро, было напрасным. Очаг не затухал, нарушал все течение мыслей, не было и не могло быть такого места, такого плана жизни, где мысль ежеминутно не спотыкалась бы о случившееся.

Все текущие поступки стали пресными, как будто пропала соль, которая сообщает вкус каждому явлению жизни. Исчез интерес решений, все стало безразличным: итти ли направо, или налево, тот или другой номер трамвая. Уманцев вскочил в вагон не глядя,—под Павлоградом Пас, бандюга, задумал отколотиться с частью ребят, поуголовничать, тогда было больше всего этого х о х о т а, как пришлось их разоружать, потом штаны свои, мокрые, грязные, а

их набралось пятьсот человек; и разоружил сначала восьмерых, с ними пятьдесят и уж дальше пятьсот,—оказалось, что вагон шел к Тверской заставе. Уманцев сидел у левого окна и отсчитывал в кармане потными пятаками встречные трамваи—раз, два, три, четыре, пять—бросить в гневный столб, полный пыли, грома и крови!

Шум города приближался, под мостом проблестела звездистая скважина Белорусской дороги, черным прохожим пошла Тверская. Не зная, почему, не дав еще себе отчета в своем движении, Уманцев прикрыл глаза руками. Он почувствовал, что входит в какую-то тень. Это было подобно тому чувству препятствия, которое испытывают слепые перед тем, как наткнуться на стену. Оно локализуется где-то на лбу, где-то в висках, оно безошибочно, точно предупреждает об опасности ощущением нависшей незримой тени. Тень надвигалась, нарастала, Уманцев, закрыв лицо, сжимался в ожидании и вдруг пробился сознанием к той грозной мысли, что приближается остановка переулка, ведущего к Миусам, что там, на Миусах, стоят вечерние здания коммунистического вуза. Что остановка эта насквозь привычна и соединена с острой бодростью, со свежим возбуждением, которое каждый раз сопровождало его на пути в Миусы. Что нужно во что бы то ни стало удержаться, чтобы не спрыгнуть с трамвая, не посмотреть сейчас же на эти здания. Глаза Уманцева прорезали две едких слезы. С минуту эта высокая, давящая тень твердой рукой сжимала его виски, потом стала уходить, рассеиваться вместе с движением трамвая. Уманцев так и не отрывал ладоней от лица, пока не вобрались резкие слезы, он так и довез до Страстной чувство огромной боли.

Здесь он вышел.

Он мог бы тут же вскочить в любой вагон трамвая или автобуса любого маршрута. Он мог бы поддаться зову первой кинорекламы, он мог бы пойти вслед за каждым прохожим... Но только не домой, где не удастся скрыть от

жены случившегося, где надо будет принять ее утешения и ободрения. И даже не к Грачеву, ближайшему товарищу по занятиям, нет, только не к нему,—он может принять конфузливо-нравоучительный тон и будет нестерпим счастьем своего благонаравия.

Уманцев пересек площадь и медленно пошел по тротуару, не заботясь о направлении. Так он дошел до какого-то переулка и тут заметил, что правый ботинок у него расшнуровался, шнурки втоптаны в грязь, и, значит, произошло это давно, быть может, еще на стадионе. Он быстро покачал головой—ай-ай-ай, это не метод дискуссии — и, оглянувшись, присел на ступеньку чьего-то крыльца. Он так бы затем и пошел по переулку, не обратив внимания, что свернул с пути, если бы какой-то громоздкий мужчина не опустился рядом с ним на крыльцо, сказав:

— Эх, вдарь те тыщу, — устал, пока дошел.

В полутьме Уманцев разглядел бородастого пожилого человека. Он хотел было встать, но тот сказал:

— Обожди, помоги посидеть.

Тут он вытащил из кармана расстегнутой ватной куртки полбутылки водки и, обломав о стену сургуч на головке, одним шлепком выбил пробку. Затем запрокинул голову, в два приема выпил водку, сунул пустую бутылку в карман и закусил запасенным яблоком. Уманцев следил за этим без отвращения, с механическим интересом.

— Извините,—сказал бородач, — я вот уже четвертый день пью. Слабая полоса пришла.

Он закурил папиросу. Оба продолжали сидеть на неизвестном крыльчке. И тут начался этот серьезный разговор, о котором Уманцев не раз вспоминал впоследствии. Впрочем он даже не начался, а как будто был продолжен из глубины веков. Как будто с незапамятных времен они сидели и длили важную беседу наедине друг с другом, одни во всей вселенной. Неожиданный встречный вдруг задал Уманцеву ряд вопросов, которых обычно не задают люди, даже давно знакомые, и Уманцев, к своему удивлению, охотно и подробно

ответил. Быть может, причиной этого была именно случайность встречи, необходимость соседства на чьем-то крыльчке, быть может, далекий от любопытства, тихий и разборчивый тон, с каким бородач касался самых интимных сторон жизни Уманцева.

— Ну, и как,—спросил он,—трудно в твои годы?

— Что трудно?

— Жить, жить трудно ли?

— Как когда. Сейчас вот—трудно.

— Это хорошо, — отозвался тот. — Каждая трава трудно цветет,—сквозь холод. Небось, партия замучила? Давно ли в партии?

— Давно.

— Женат? Детей нет? Это вот плохо. Детей иметь умно. А не будешь иметь, из дураков не выйдешь. На аборт жена, что ли, бегаешь?

— Нет, не нуждается. Просто так не хотят к нам дети.

— Ну, тогда с вас и спрос другой. А я от детей всему учился, у меня их чегверо. И сейчас все учусь. Ко мне жизнь приходит через них, она уж, как сказать, обтесана.

— А к ним — через тебя. Так у всех.

— Нет. Они ее с воздуха ловят. Им еще горюшка мало, — наслажденцы жизни. Умри отец — и не почешутся. Разве только после вспомнят, когда сами начнут искать свой особенный дух. Тогда им и семья понадобится. А у тебя-то, бездетного, небось, часто на сердце кошки скребут.

— Отчего?

— Промахнешься — не на чем себя выверить. На работе—так это дело запойное. Кто тебя осадит?

— Осаживают, да еще как.

— Я об этом не говорю. Когда осаживают,—сверху ли, снаружи,—это еще ничего не значит. Как ты изнутри-то осядешь? Удила закусишь—дураком будешь, так покоришься—будешь в пришибленных ходить. В уклон, что ли, угораздило?

— В уклон, не в уклон а шатанулся.

— Ну, и как же тебя?

— На полтора года сняли из вуза.

— Так!..

Бородач посмотрел на Уманцева и опустил голову. Потом медленно поднялся с крылечка.

— Пойдем-ка. Тебе направо ли? Мне на Арбат. Вот и пройдем по вечеру. Я хоть и мостовщик, камни ворожаю, но под водку-то и мне пора домой.

Они пошли потихоньку, как гуляющие в веках люди. Уманцеву вдруг стало очень спокойно и необыкновенно отраднo, что он не один и что спутник его именно такой вот—совершенно незнакомый, которого он никогда не увидит, говорит обо всем, как о пережитом, человек, который интересуется важнейшими фактами его жизни и вовсе не спрашивает о пустяках имени и рождения.

— Так, здорово тебя. Но ты от этого сразу-то ни лучше, ни хуже не становишься.

— Это еще неизвестно, — отозвался Уманцев с угрюмой горечью, — то-есть насчет хуже.

— Эге, друг, вон ты какой гордый! А, я тебе, знаешь, что скажу: ты ведь сейчас не живешь! Честное слово, ты вроде дохлого.

— Почему это?

— Да все потому. Гордый человек сегодня не живет. Он может и никогда не живет. Ему либо вчера, либо завтра милей. А я тебе так говорю: пройдем-ка по вечеру, по сегодняшнему вечеру, со всеми с мыслями? А? Пройдем? Пройдем к Арбату?

— Пройдем, — сказал Уманцев, подумав. И еще раз повторил: — Пройдем...

— Ну вот. Так-то лучше. И я тебе скажу: по каждому камню колеса ездют. Кабы вынуть из мостовой, — может, в песок бы растолкли. А в мостовой лежит, — поди-ка, сдвинь его! И еще скажу: расти свой смысл. Хочешь силу узнать — вон там, на бульваре стоят силомеры всякие. И взвесить тебя могут, сколько потянешь. А, может быть, когда-нибудь такой придумают силомер, чтобы мысль измерять — сколько потянет да в какой уклон. Но и тогда по нем человека мерить не станут. Больше ничего не скажу.

Они проговорили еще немного — столько, сколько можно сказать, идя неторо-

пливой походкой от Никитских ворот к Арбатским. Уманцев позже понял, что спутник его мог не только быть выше обычной деликатности, но и знать в этом меру. Он действительно больше не вернулся к прежнему предмету разговора. Речь шла теперь о московских трамваях, о том, как ухаживают за колесными ульями в Полесьи, и о Харькове. И не было речи о харьковской товарной бирже, где после ликвидации фронта пришлось Уманцеву взять к себе в охрану взводного Павлицу, что на глазах жену расстреляли; и на глазах из рук в руки переходят десятки тысяч, и ковры, и бриллианты, и золото, и вагоны с хлебом — что? сколько вы сегодня сделали, что? — ну, крикнул что-то нелепое и дал из маузера по незнакомому напману два выстрела наповал, — не смог перехода от военного коммунизма; но Степан Уманцев понял и выдержал же!

Вдруг мостовщик пошатнулся сильнее, чем раньше, и тотчас сказал:

— Будь здоров, товарищ, я что-то хмелею, пора одному пройти.

Уманцев почувствовал в своей руке шершавую, сухую ладонь и остановился проводить глазами высокую пошатывающуюся фигуру. Она уносила просторный мир, только-что странно расширивший его ощущение времени. Ощущение было физически живо: Уманцев вдруг почувствовал страшный какой-то, стародавний голод, вспомнил, что не ел с утра, а, казалось бы — много ли сказано? Он удивился и обрадовался голоду, как безвозвратной, но неожиданно возмещенной утрате. Надо было искать места, где бы поесть — о, как хорошо! Это была естественная забота, требовавшая разумного усилия, доказывавшая, что законы тела остались в полной силе, «а, значит, не все и потеряно» — подумал Уманцев. Он побежал по Арбату, разыскивая столовую, но все было уже закрыто, кроме ресторана в подвале, где он никогда не бывал.

Пивной вихрь пополам с музыкой ударил ему навстречу. Уманцев разделся и присел к дальнему столику. Подвал был пуст наполовину. То был час, когда ночная публика еще не появилась,

и за столиками сидят только застрявшие с обеда во второй дюжине бутылок энтузиасты пива. Уманцев спросил ужин. Ему подали что-то сухое, хрустящее на зубах. Официант принес карту вин, но он отказался от напитков. Официант перестал им интересоваться, и вскоре опять взвыла музыка. Тогда Уманцев спросил чаю и вынул бумажник.

Дежурные кутилы—широкие, на пол-оклада шире собственного кошелька натуре—то и дело подозрительно косились на посетителя, который менял трезвые стаканы чая и все время перелистывал какие-то фотографии и записки, вынутые из бумажника. За ним целый час следила присоседевшаяся до упрямства кокетливая девушка, но, кроме десятирублевки да двух пятирублевок, ничего не насчитала и отсела подальше. Официанты о нем забыли. Пышная женщина, обносившая столики бутонами роз и шоколадом, бросив наметанный взгляд, обошла его. Торопливо шебуршал, выл, синкопировал джаз. Подвал заполнялся прибывающей публикой, меж столами пошаркивали двуглавые коконы фокстротных пар, а Уманцев все перелистывал содержимое бумажника. Тут были копии старых документов и фотографии умной, строгой лицом бабы, с низко опущенным на лоб платком, до странности похожей на самого Уманцева, — эх, растак его, куда все подевалось?!

Вдруг он поднял голову и оглянулся. Глаза его стали совсем ошалелыми. Испуганным движением он собрал карточки и спрятал бумажник в карман. Потом подозвал официанта, торопливо расплатился, побежал к выходу. Швейцар распахнул перед ним двери. Он выбежал на черные искры залитых дождем тротуаров.

Автомат в аптеке был свободен. Уманцев назвал номер по записной своей книжке и ждал ответа с таким замираньем сердца, с каким вызывают помощь из осажденного города по единственному проводу, который вот-вот будет перерезан. И было так не раз, но старшие братья почему-то думали, что он, пятнадцатилетний, негоден в дело,

как будто бы неспособен, даже чужд, и устранили его от всех разговоров, в которых участвовали легальные члены комитета вагостроительных мастерских, а он с жандармами был хладнокровнее их обоих, и теперь, в Истпарте, его дело раз в десять пухлее комитетского.

— Михаил Гаврилович, — крикнул Уманцев в трубку, — здравствуйте, Жнец говорит... Да, Жнец, здравствуйте! Вот видите, как я скоро вас разыскал. И сразу к вам дело. Не по телефону бы говорить и не с того бы начинать, но вы меня знаете. Так я без обиняков: нанимаюсь. Нельзя ли мне у вас где-нибудь?

— Подумаем... — ответила трубка. — Как же быть?.. Я уезжаю, завтра вы бы уже меня не застали. Вот что: здесь, в Москве, остается один мужчина, некто Габараев. Я вам сейчас дам адрес, завтра вы к нему зайдите от моего имени. А я ему сегодня же позвоню.

— Габараев? — упавшим голосом переспросил Уманцев. — Если только через него, то же нужно, Михаил Гаврилович. Это ведь харьковский?.. Нет, нет, тогда не стоит. Тогда простите, что побеспокоил, желаю пути...

— Да подождите вы! Что за причины, Жнец?.. Ну, ладно, ваше дело. Тогда, знаете что, приезжайте ко мне немедленно. Можете? Да, сейчас же...

Повесив трубку, Уманцев долго еще стоял в автоматной будке. Только нетерпеливый стук в двери напомнил ему о том, что пора уходить.

II

Мимо скорого «Тифлис—Москва» уже мелькали пустые, ночующие станции — Царицыно, Люблино, — но в памяти еще слышался слабый перезов молотков, тех, с длинными ручками, которыми проверяли на последней передышке, в Серпухове, исправность колес. Окружив глаза козырьком ладоней, Николай Захаров прижался к оконному стеклу и вглядывался в темноту до тех пор, пока слева по горизонту разлилась огненная река Москвы. Тогда он встал, одел пальто, взял в руки чемоданы и

вышел из купе, забыв проститься со спутниками.

На площадке вагона было холодно и шумно. Стук колес и буферов стал таким обнаженным, словно с него сняли вату. Вагон шатало по стрелкам, мимо неслись все более частые огни сигнальных фонарей, по сторонам разливались широкой дельтой рельсы, затолпились составы вагонного парка, над поездом, по мосту пробежал трамвай. Искусственная ночь становилась все светлее, поезд замедлял. Сверху надвинулась крыша перрона, проводник открыл двери, по всему составу пронесся шип тормозов.

Захаров вышел одним из первых. Багаж его был не тяжел, но он взял носильщика и преднамеренно переплатил ему. Туннель, вокзальная площадь, — Захаров взглянул на часы: половина первого. На машине он еще, пожалуй, уснет.

Мирная вокзальная площадь закружилась каруселью, автомобиль повернул вправо. Покровка, Маросейка, площади центра слились в удивительную встречу с Москвой. Шесть лет каменной весной пронесли над столицей. Захаров узнавал журнальные снимки. Если бы не поздний час, он сказал бы шоферу объехать Тверскую, Крымский мост, бог знает, что еще. Он вздохнул во всю ширину груди, ночью, Москвой, молодостью, а главное, жизнью, раскрывшейся для него в этом году, как никогда.

Уж как шу-ука-то шла-а из Но-ва-го-ро-да-а, сла-а-ава...

Она хво-ост волокла-а из Бела-о-зе-ра-а...

— У-уррр!.. у-уррр!..

— ... А, дьявол полоротый, не видишь, что ли?!.

... Из Бела-о-зе-ра-а...

Машина остановилась около высокого серого дома в одном из тихих переулков Никитской. Захаров был здесь впервые. Он расплатился с шофером и позвонил. Швейцар показал ему путь, — отлогие лестницы поднимались вверх, но нужный номер был внизу, в глубине длинного вестибюля.

Дверь в квартиру открыла пожилая женщина.

— К Илье Михайловичу? Здесь... Пройдите в конце коридора. Он уже спит, должно быть.

Опа указала дальнюю дверь, запахнула халат и ушла к себе. Захаров пошел по незнакомой большой квартире, задевая своими чемоданами стоявшие по стенам сундуки, освещенные пыльной лампочкой. Он отугился перед невысокой дверью со стеклянной фромугой наверху и тут только пожалел, что второпях не предупредил телеграммой, — за стеклом было темно.

На тихий стук никто не отозвался. Захаров постучал сильнее. Послышался слабый голдс.

— Кто там?

— Я, — отвечал Захаров, чувствуя обычную нелепость такого ответа.

— Кто я?

— Я, твой сын. Папа, отвори.

Но, видимо, отец из-за двери не разобрал. После небольшого молчания опять послышалось:

— С какой фабрики? Кто вы?

Нелепица возрастала. Захаров почувствовал на миг, как у него вывихиваются мозги от ужасного предположения, что он говорит с помешанным. Все это было тем более нелепо, что приходилось кричать в общем коридоре незнакомой спальни квартиры. Понизив голос, но как можно отчетливее и обстоятельнее, он проговорил, и это было в духе знакомой с детства отцовской несколько педантичной точности:

— Я — твой сын, Николай Ильич Захаров. Приехал из Грозного. Отвори, папа.

— Сын, — раздумчиво отозвался отец. И уже радостно прибавил: — Ну, сейчас, сейчас!..

Фромуга сверху засветилась, послышался звук отпираемого засова, крючка, внутреннего замка, — молодой Захаров узнал привычную с детства манеру отца тщательно запирается на ночь. У него отлегло от сердца — все в порядке вещей.

Дверь отворилась, отец стоял перед ним в какой-то долгополой сорочке, бабахонившейся поверх кальсон. Голова

его была острижена под машинку, поредевший седой ус замят подушкой.

Поцеловались колючим мужским поцелуем. Так бывало всегда при встречах после разлуки, и этим ограничивались. Но на этот раз отец схватил сына за голову и еще раз поцеловал в лоб. Николаю пришлось нагнуться, и в этом своем движении он сразу ощутил постарение отца за шесть лет, свою относительную крепость, даже громоздкость. Отец быстро отвернулся, скрывая лицо, одел поверх белья летнее пальто, а на босые ноги — бурки. Потом вытер платком слезу, такую, какая набегала после долгой, напряженной работы, и, протерев стекла, надел очки. Теперь он стал почти привычным.

— Ну, тащи сюда чемоданы или что там у тебя, — говорил он, — а я пока займусь чаем.

И вышел с чайником в руках.

Николай окинул взглядом маленькую комнату: так вот где спит отец... Когда-то ногный пюпитр в большой гостиной был всегда перегружен: этюды Маркези, вокализы Конкона, а раньше были: «Гусельки» — «Как яхонты, синеют в долине васильки», «Уж как щука-то шла из Новагорода», «Гриб-боровик, над грибами полковник» — и с головки отцовской скрипки свешивался спиралью конец струны ми: «Ты детонируешь, ниже... ниже, вот верно, не привыкай только со скрипкой, руководись камертоном, я в твои годы свободно читал голосом с листа, с семи лет зарабатывал в церковных хорах...» Так вот как, стены у него закопчены — жжет в комнате керосинку. На оконных стеклах, на полках этажерки — слой пыли. Немытый чайный стакан на столе, завернутый в бумагу хлеб, — следы одинокого мужского самообслуживания. Все угадывалось еще по письмам. Все убедилась в том, что кончены дорожные мелькания, непрерывный напор новых впечатлений. Это — уже знакомое, это — конец, это — цель дальнего пути. Жизнь еще ни разу так широко не распахивалась, и первый раз в жизни Николай Захаров так сильно стремился к встрече с отцом.

Не в том дело, чтобы на широком повороте жизни притти снова, как бы-

вало, с отчетом, притти за отцовским влиянием. Этот оттенок отношений так невозвратно ушел, что даже хорошо бы снова, если б можно, на миг его восстановить. Но пора было повидаться со стариком. К этому влек глухой шопот крови, об этом напоминало тайное чувство течения времени в тесных пределах человеческого века.

— Ну, дай на тебя посмотреть, дорогой мой сын, — говорил Захаров старший, вернувшись и сев на свою кровать. — А ты, того, возмужал. Гимнастикой занимаешься? — он поправил очки. — Когда будешь ложиться спать, не забудь, покажи мне свои бицепсы. У меня тут тесно, ничего лишнего не поставишь, но я сохранил мою старенькую походную кровать на случай твоего приезда. Я ее купил на фронте, она там, в коридоре.

Что-то тихо шевельнулось и защемило в душе младшего: дорогой мой сын. Как трудно было выговорить, — до сих пор такие слова находили место только в письмах. Да, пора была повидаться.

— Кончил ты наконец свой институт? Совершенно? Никаких хвостов не осталось?

— Никаких, уже служу. Я начал работать сразу же по окончании, только выговорил себе эту вот поездку для устройства дел. Вернее, повидаться с тобой.

— Как я, признаться тебе, боялся, что ты не получишь высшего образования.

— Что же в этом страшного?

— Все же, остался бы недоучкой.

— На мой взгляд, дело в характере.

— Да ведь окончание тоже — дело характера. А мне как-то обидно было бы: я четверых детей покойника Александра, плохо ли, хорошо ли, вытаскил в свет, сам, ты знаешь, на гроши, бегая с Петербургской стороны на Пески по грошевым урокам, учился... Семь лет торчал в университете, а ты бы вдруг остался без высшего образования. Это, может быть, эгоистично, но человек уж так устроен, что хочет видеть в своем потомке прогрессирующую линию, а не регресс.

Он все так же любит вспоминать прошлое. А настроивал отец скрипку, — тю-дю-рю-дю, — она служила затем, чтобы вести дискантовую партию, шла вместе с голосом маленького Николая, а отцовский бас шагал в каких-то темнотах, сверху, который называется в низу, иногда он сверху падал, иногда опять взбирался наверх и там пирамел, как Эльба «под снегом холодной России, под знойным песком пирамит», и тогда отдавался сквозь дискант в груди. А вообще, когда отдавалось и пирамело в груди и в воздухе, значит, пели складно, и он уже не детонировал.

— Но теперь ты спокоен? — улыбнулся сын. — Хотя я конечно дальше тебя не пошел, не остался например на научной работе, но и не сдал позиций.

— Нет, ты уже пошел дальше, и я тебе сейчас скажу, почему. Моей мечтой было работать в промышленности. Но когда я кончал, в России был только один химический завод. Разве он мог поглощать ежегодные выпуски специалистов? Недавно я прочитал статью академика Баха, — не знаю, кто он такой, в наши времена о нем не было слышно. Статья мне понравилась, я отложил ее, чтобы послать тебе. Ты читал уже? Тем лучше. Так вот, я не жалею конечно, я всю жизнь честно работал для народа. Но ты счастливее меня, твоя работа будет действеннее. Что ни говори, без техники куда не сдвинешь нашего неграмотного, темного крестьянина. И я — очень доволен тобой, поздравляю тебя от всего сердца. Мне так тяжело было, я так виноват, что я ничем не мог тебе помочь от своей пенсии...

— Что ты, что ты, — замахал рукой Николай, вдруг ужасно застеснявшись. — Я тебе должен бы помочь.

— Разве я очень постарел? Как на твой взгляд?

— Ты — молодец, — ровно отозвался сын.

— Мне в нынешнем году пошел шестьдесят девятый. Время идет, и я конечно, как и все люди, перед его шествием беззащитен. «Глагол времен,

металла звон...» У меня уже нет ни одного темного волоса. Но чувствую я себя хорошо. И, право, если бы нас, стариков, больше ценили, тебе не пришлось бы так кидаться от учебы к материальному заработку.

— Чудак ты, папа, — пожал плечами Николай. — Давай-ка лучше, если хочешь меня поздравить, выпьем кахетинского, я привез с собой.

— Я ведь не пью, — отозвался отец, как будто приняв предложение за призыв к бурному кутежу. — Пей ты один, а я чуть-чуть себе жалью, чтобы чокнуться с тобой. Только вот с посудой у меня слабо.

Он стал шарить в посудном шкафчике, ничего подходящего не нашел и был очень тронут, когда сын вытащил из чемодана привезенный в подарок серебряный стаканчик.

— Ну, вот, спасибо тебе, — говорил он, — а то у меня, знаешь ли, есть только большая кружка, из которой я пью чай или кофе, когда приходят мои знакомые Андрей и Алексей Худяковы. Они оба пороха не выдумают, но развитые и милые люди, я надеюсь познакомить тебя с ними... Так вот, видишь ли, кружка эмалированная и уже облупилась, поэтому очень хорошо, что у тебя есть с собой чайный стакан. Я тебе покажу завтра все свое хозяйство, а пока только вот, посмотри: это уборная. Как видишь, совсем напротив. А налево — общая кухня.

Отец распахнул двери и показал рукой.

— Ладно, ладно, — улыбался Николай. — Не суетись, я все найду.

Теперь сквозь старое просвечивали новости. Старая терминология, вынесенная отцом из студенческих кружков восьмидесятых годов, — «народ», разумей главным образом крестьянство, «передовой человек», мечтательность и практический идеализм иных его высказываний перемешивались с советскими неологизмами, с кособокой бытовой непрактичностью: еще уезжая на фронт, искал на базарном развале смену старому чемодану, подошел к корзиночному Монблану мерить (в своих целях) четвертями руки длину первой, второй

корзины — «Вам что?» — четвертой (молча), пятой — «Ты что там шарить?» — шестой... — «Эй ты, меря рачья, долго ты тут корячиться будешь? А то, гляди, наподдам!..» — «Вы — невежливый торговец, не умеете разговаривать с покупателями, я у вас не куплю корзины!» — «Иди, иди отсед!..» — Старой была отцовская обстоятельность, многословие домоседа. Его стремление дотошно рассказать все мелочи обихода, чтобы больше не возвращаться к презренной стороне материального бытия. Говорить мимоходом о важном и в конце концов, поскорее, о самом главном: о жизни, назначении человека, об отношении к природе и науке, о проблеме размножения и смерти. Незнакомы были вещи, убогая мебель отцовской комнаты, но в расстановке их был целиком старый уклад жизни, старые привычки. Видимый беспорядок показался бы нестерпимым глазу всякой женщины, и тем не менее была внутренняя логика в аккуратности тщательно завернутых сверточков, в рациональном размещении кухонной утвари и книг, стоявших на этажерке, в неподметенных углах комнаты, в копоти, осевшей на чайное блюдечко: копать — не грязь, химически чистое вещество.

Отец мимоходом осведомился об окладе Николая, заметил:

— Это неплохо. Вам со студенческой скамьи платят в три раза больше, чем получал например я на первой службе.

И больше не интересовался, забыл об этом. Также вскользь спросил:

— Ты не женился еще? И не собираешься? Помни: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Богатой сестры я тебе не оставлю, так уж находи сам себе здоровую подругу жизни.

И забыл также об этом. «Почему ты раньше не хотел меня так называть, а теперь всегда зовешь Зайкой?» — «Я думал, что это мешанство». — «Какой глупый... Теперь-то ты понимаешь, что это очень хорошо? Подожди, ты еще не умеешь расстегивать этой комбинации, это другая, я сама... Но чего ты смеешься?» — «Теперь-то я понимаю, потому что вспомнил, что я — Ко-

лобок». — «Первый раз слышу. Это тебя другая так звала?» — «Нет, это я сам себя». — «Это мне нравится. Колобок... Хочешь, я буду тебя звать так: Коля-Колобок?» — «Ага. А я тебе скажу: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел и от тебя, Зайка, уйду». — «Погоди! Что-то не расстегивается, я и сама не умею... Подожди, это ты серьезно? Посмотри мне в глаза». — «Ну, смотрю?..» — «Подожди, я сяду туда, на кресло, мне неудобно так... А если я хочу быть Лисанькой? Это я серьезно, Коля: если я — Лисанька? Ну, отвечай, что ты будешь делать?» — «Я еще должен встретить Зайку, Серого Волка...» — «Ах, так!..» — «Чего ж ты замолчала?» — «Фу, как ты мне платье измял. Ну, и встречай... Это ты совершенно серьезно, Коля?.. Когда же мы с тобой встретимся?.. Нет, нет, мне надо уходить!.. В буфете, за завтраком, хорошо? Там удобнее всего встречаться и с Зайкой, и с Волком. До свидания, нет, нет, ты опять изомнешь». — «До свидания, Зайка». — «Не смей, не смей меня так никогда называть! Слышишь?!»

Зато отец снова вспомнил о статье Баха:

— Хорошо, что ты ее читал, она мне многое объяснила в политике советской власти. Я, знаешь ли, даю тут, случается, уроки: подготавливал в вуз одного молодого человека, а затем одну девушку. Какой же это безгрр-рамотный народ! — он сделал раздраженную и презрительную гримасу. — А ведь поступают и кончают, становятся инженерами, врачами. Какой же, говорю, голубчик, из вас выйдет инженер, если вы не умеете отличить неопределенного наклона от третьего лица и в обоих случаях лепите мягкий знак? Чему вас учили в семилетке? Я бы, говорю, вас раньше в пидцы к себе не взял. Смеется: то, говорит, раньше, а я хочу быть конструктором моторов, мне больше нужна математика... В математике он, верно, проявлял способности и усидчивость. Но как же можно ограничивать себя знанием прямой специальности, оставаясь недоразвитым в остальном? Писать «правелло»?.. Я всю жизнь работал над собой, всю жизнь чему-нибудь учился,

и я не могу этого понять, как не мог я понять сужения предметных программ наших вузов. Что же, мы с новым поколением будем говорить совсем на разных языках?.. И вот статья Баха мне многое раз'яснила. Я помню хорошо это время, я ведь ученик Менделеева и Сеченова. Действительно, гениальный умница Менделеев не находил себе работы по плечу, да и не мог найти во времена Александра, — он ездил консультировать американцам. Я люблю Менделеева, кроме всего прочего, он мне земляк по Тобольской губернии. Но верно пишет Бах: он был звездой в императорской короне, не больше. Разве он мог применить у нас всю свою прозорливость и знания, разве мог им воспользоваться народ, когда я — живое доказательство нашего тогдашнего хозяйства: естествовик, химик по образованию, а всю жизнь служил в учреждениях земства.

Старик Захаров уже разволновался. Он уже вошел в русло застарелого своего спора с убожеством российского быта, жестоко мявшим и его собственную судьбу, — к государственному экзамену пришлось на крепчайшем чае бессонных ночей, настигавших растроченный по нищете год; потому-то после предпоследнего лег спать и проснулся на рассвете, оказавшемся вечерними сумерками следующего дня. Бежал, как затравленный, но аудитория пуста, и Сеченов вышел, одетый в пальто, под руку с каким-то профессором-гуманистом: «Да, очень печально, батюшка, но ничего не могу поделать, в десять отходит поезд за границу, и у меня билет в кармане... Пропустить экзамен — первый случай в моей практике!» — пожал плечами, а это опоздание задержало на год окончание курса и всю жизнь, всю жизнь было предметом тяжелых снов...

Уже почувствовалась близость тематического конька — природы и ее законов. Тема эта еще была впереди, еще только подразумевалась, но Илья Михайлович уже успел обругать мимоходом «врачишек-аллопатов» и «подлейшую канцелярщину», не дававшую ему всю жизнь заняться ближе практикой, связанной с естествознанием: ка-

ждый культурный человек должен быть более или менее естествовиком.

Николай смотрел на него и старался уловить признаки своего внешнего сходства с отцом. Сейчас можно было, пожалуй, заметить его только в общем строении черепа. Морщины, отсутствие зубов уже сильно деформировали черты лица Ильи Михайловича. Глаза уже потухли старческой желтизной, и только разрез их напоминал сыновьи. Прозрачно-седые волосы не позволяли вспомнить прежней их окраски, но растительностью они всегда различались: сын унаследовал от деда по материнской линии сизый под бритвой, тяжелый раздвоенный подбородок и черную шевелюру, отец же был смолоду шатеном. И все же отец ему нравился: лицо его словно удерживалось от дальнейшей деформации мыслью, было до сих пор энергично и одушевленно.

Илья Михайлович тем временем, расправившись с адвокатами, «этими словоблудами, питавшимися народным невежеством и путаницей законов, — ведь создадут же люди, чорт их поberi, закон над законом, раз'яснение над раз'яснением, примечание над примечанием, сам чорт себе ногу сломит!» — и с художниками, которые «рисовали голых баб — нет, прости меня, я не вижу в этом искусства!» — вдруг спохватился:

— Ну, ладно, мой милый, мы еще поговорим обо всем этом. Ты едва с поезда, а я тут увлекаюсь.

Оба курили, комната была полна дыма. Поэтому отворили окно и тогда заметили: без десяти четыре.

Уже погасив огонь, заговорили еще раз:

— Где ты питаешься? — спросил отец. — Старайся брать в столовых вегетарианские блюда. Тебе тридцать без малого, долго ли нажать катар желудка. Я в твои годы был уже совершенно больным человеком от этих обедов в кухмистерских.

— Я пока здоров.

— Не выпивай за обедом. Лучше, уж если есть такая потребность, два раза в месяц нализаться, чем тянуть по рюмочке в день. Ну, спи...

И Николай окунулся в то промежуточное состояние между сном и явью, какое приходит, когда есть большая усталость, но нервы еще возбуждены.

Сначала он потерял ощущение места. Он не знал, где лежит, как возле него идут стены, в какую сторону изголовье. Пространство вокруг располагалось идеальным вместилищем несуществующих вещей, ровной и бесконечной средой темной пустоты. В этом пространстве кровать, которую он ощущал под собой, была ничтожным островком ни с чем не связанного бытия, колебалась, как стрелка, силящаяся найти полюс, стать параллельно линиям земных сил. Силы эти исчезли, не стало никаких направлений. Не стало геометрии и всех представлений, связанных с ней, осталась одна изначальная аксиома бесконечности пространства, и она была ужасна! Тогда полуспящее сознание, как будто испугавшись за себя, стало вырываться из паутины сна, стало отчаянно кружиться, барахтаться в небытии, теряя все силы. Бессилие мгновенно перешло в полное изнеможение, окончившееся предсмертным головокружительным падением и бешеным толчком сердца. Сразу воскресла геометрия, пространство наполнилось твердыми вещами: рядом стена, столик, спящий в своей кровати отец. По улице пронеслись на автомобилях лебединые вскрики московского пожара: «А только-что я был в Грозном» — подумал Николай. Сон слетел.

Вот ночь, когда так же спали: я, Коля, — мне уже целых пять лет, — и няня Ульяна обо всем рассказывает, а папа в земстве пишет дела, и рябая Ульяна говорит иногда: «Нехорошо так, Колюша, в церкви плеваться, грешно, дьявол тебя на том свете на сковородке поджарит». — «Как?» — «На огоньке. Знаешь: сел чорт...» — «Рыжий?» — «Ну да, рыжий... Вот послушай: сел чорт на колоду...» А папа в земстве писал дела и только вечером приходил, тогда Ульяна укладывала спать в папину спальню. Проснулся в темноте, — целых пять, поэтому стыдно кричать, — а проснулся оттого, что какой-то похожий на обезьяну коричневый дьявол подо-

дил к нему, что-то тихо шепча, — но целых пять, и стыдно, — а все-таки дьявол где-то в темноте оставался, и очень страшно крикнуть, потому что дьявол услышит, а папа не проснется, и вот уже невозможно терпеть, и — крикнул: «Папа! Папа, я боюсь дьявола!» Даже папа проснулся и пробормотал спросонок: «Плюнь ему в физиономию, а если он еще будет сниться, скажи, что я его суну в поганое ведро». Тут-то сразу подскочила ульянина сказочка:

Сел чорт на колоду, и бултых в воду
Уж он мок, мок, мок,
Уж он кис, кис, кис...
Вымок, выкис, вылез...

Ох, как забавно, если папа сунет его в поганое ведро, с помоями от стирки, и он там прокиснет. Какой он станет, вот смешно-то! И совсем нестрашно, спокойно, спокойно, уже целых пять лет, и как верно было рассказать утром о диких индейцах, которые считали, что не грамота переносит мысли европейцев на расстояние, а злые духи: «Но ведь ты же почти умеешь читать и писать, значит, нечего верить неграмотной Ульяне». Навсегда была подорвана вера в бесплотный мир, и с этой минуты презрение к адским силам стало вопросом чести. Как было спокойно спать!..

Буровой инженер «Грознефти» Николай Захаров, начавший самостоятельную жизнь прямо с фронтов гражданской войны, прошедший уже много сложных путей компромиссов, страстей и воли, лежа снова в одной комнате с отцом, вдруг почувствовал почти тот же оттенок детской успокоенности. Отец — все тот же чудак, сохранивший всю горячность иллюзий и увлечений. Николай боялся найти в нем гораздо больше брюзги и неприятия. К особой радости, это не так, спорить им не придется: шесть последних лет отец жил так же, как и раньше, всей личностью, не ушел ни в какую консервную банку.

Шесть лет прошло в обмене письмами, подробными, страниц по десять-двенадцать, но не чаще, чем раз в два месяца. Николай вынимал из конвертов листки, мелко исписанные отцовским почерком, и встречал в них каждый раз

тот же характер, те же излюбленные мысли, какие сохранила память еще от времен жизни под одним кровом. Как будто личность отца была закончена так же, как выработанный его почерк — ни черточки изменений, хоть изменилось правописание. Для Николая же шесть этих лет были годами производственной практики, службы, учения, перерывов из-за увлечения женщиной, и наконец скачка, когда созревшая воля ставит себе в последний раз беспрекословную задачу — усилие, принесшее инженерское звание. Совсем новый и — чувствовалось — непонятный отцу мир переживаний, отношений, взглядов и даже чувств пронесся и сложился перед ним и в нем. Мир, поделиться которым было так же трудно, как пересказать всю историю человечества. Застав себя на приготовлениях к отъезду, Николай сильно побаивался встретить в отце заостренное раздражение, старческое пережевывание прошлого — в осуждение этому дню, — быть может, не отраженные письмами. Первый же взгляд, брошенный на отца, дал ему понять, что все эти опасения — пустое.

Николай засыпал у отца спокойно, как в детстве. Память иссушила прошлое с настоящим в одну нить, и цвет ее не изменился. Снова пространство стало идеальным — беспредельной возможностью не находить конца, вещи потеряли свои места, потеряли материальность свойств. «Уж он мок, мок, мок, уж он кис, кис, кис...» Не стало ни направлений, ни геометрии. Сознание отказалось от них одновременно с тем, как грудь задышала ровным дыханием сна.

Илья Михайлович посмотрел сквозь заспанный ус: сын еще спит. Пусть спит, — с дороги.

В глазу застыла сонная слеза. Долой слезу. Эх, глаза, глаза... Хорошо мнопам, у них к старости зрение поправляется. А каково дальноржим? Правда, еще в запасе две с половиной диоптрии. Если через пять лет менять номера... Да — тотововоноко... Больше чем нужно. Насколько больше?

Сколько за жизнь съедено букв, бессмысленнейших. Неисчислимо бессмысленных. «Награждается орденом св. Владимира II степени действительный статский советник, председатель губернской казенной палаты Валериан Вениаминович Чепин-Клепин и прочее и прочее...» Это — «Правительственный вестник». А там — «Сенатские разъяснения»: «...комиссия правительствующего сената в заседании от 27 января под председательством сенатора барона фон-Гогенберга...» Да и вот — тотововоноко. По крайней мере одну диоптрию сберечь бы. Ну — в очки. Вот так-то: мир сразу светлее. Теперь — трубка. Очевидно, вот она, где ей полагается быть, оставленной с вечера, на столике, у изголовья.

Сын Николай спит... Приехал. Тоже вот, курит. Все же им, промысловикам, не очень-то можно злоупотреблять табачком, — опасность пожара. И, значит, вынужденный режим... Это хорошо. Надо его познакомить с Худяковыми... Какой он черноволосый. В тестя, в Аполлона Андреевича. Надо посмотреть его мускулатуру. Ну, мясоед конечно, до поры до времени природа позволяет. А затем, после, скажем, сорока, неминуемые накопления отягочающей материи, мочевой кислоты. Как страдал бедняга Александр Иванович Харитонов... Эти коллоидальные состояния мочевой кислоты чрезвычайно опасны. Годами не выгонишь из организма. Хоть бы он усвоил привычку по возможности оздоравливать себя растительными солями. И витамины конечно. Дать ему прочитать Хейга...

Инженер. Хапуги были эти гражданские инженеры, взяточники. Впрочем, где не было взяточников? Он на промыслах, буровик. Как я боялся, а он все-таки — кончил. Ну да, женщины конечно, темперамент берет свое. И молодец, взял себя в руки. Пусть спит. Хлеб есть, керосин есть, молоко сейчас принесут. Он ячменного кофе не пьет. Чай тоже способствует образованию мочевой кислоты. Пьет ли он у себя в Грозном молоко?

Ну-те-с, Илья Михайлович, давайте одеваться. Потихоньку — пусть спит. Брюки — вот брюки. Бурки, гм... Пора

бы их обсоюзить. Да, эти сапожники дерут теперь, как с сидоровой козы. Откуда я, пенсионер, возьму вам пять рублей? Вы, голубчик, одумайтесь!.. Ну, подожду с союзками. Скребется!.. Ага, это мышка — удивлена, что случилось, почему над норкой стоит кровать... Старенькая, походная — в Минске я ее тово... И пригодилась еще. Так-с. Часы — половина девятого — в карман жилетный левый. Спички — в брючный правый. Чайник, полотенце. Полотенце, полотенце... ага, щетку сапожную! Фссс... ст! Эх, за стул, экой неуклюжий!.. Проснулся? Ну, да — шевелится...

— Спи, спи, это я нечаянно нагрел.

— А, да нет, пора. Доброе утро!

И жизнь пошла вслух.

Вслух заскрипели бурки, зазвенели дверные запоры. Вслух рокотала водопроводная струя в чайнике. Чайник на плиту не просто стал, козырем топнул, чорт его дери. И газовый рожок вспыхнул звучно, с треском. Эта газовая плита всегда щекочет в носу запахом лаборатории, каких-то переходов в «Большой связи», как в доброе старое время называли питерскую alma mater.

— Здравствуйте, Илья Михайлович!

Сладкий певучий голос соседки слегка осип от сна. Полная рука поддерживает полу халата у самого горла.

— Ах, это вы, Евдокия Николаевна! Здравствуйте. А ко мне — представьте — приехал сын. Из Грозного.

— Да я же ему двери вчера отворяла. Я бы никак не подумала: не похож, нет, совсем не похож на вас.

— Ну, не похож, так не похож. Хотя конечно, Евдокия Николаевна, человек всегда хотел бы видеть повторение самого себя, ассимилировать себе все окружающее. В этом — стимул всякого учителя и агитации. Но, разумеется, чужих волос под свои не перекрасишь.

— Вот я и вижу: вы блондин, а он брюнет.

— Доживете до моих лет, станете и вы блондинкой. У стариков меняется пигментация кожи, и теряется пигмент растительных покровов.

— Вы что, смеетесь с меня, Илья Михайлович? — говорит соседка, но глаза ее сияют добродушным удоволь-

ствием. — Я и так вся седая. Я же на колку ношу — пендюрочку, — а волос у меня весь седой. Давно уж этого самого пигмента, как вы его называете, нет, с самого с того дня, как от воспаления мозга едва не померла.

— Разве? — Илья Михайлович с удивлением поправляет очки. — Скажите! А я вот, того, — не замечал. Вернее, никак не думал. Я всегда считал, что вы мне в дочери годитесь.

— Этого уж я не знаю, — отвечает соседка скрытно, — гожусь или не гожусь. Но только головы у нас с вами одинаковые.

... Гм... Одинаковые. Что она хочет этим сказать? Вот ведь конфуз — вышло, как будто я ей комплимент говорю. Так: полотенце, полотенце... Что делать с полотенцем? Ага, это — в ванную, умываться. Одинаковые головы — моя и ее. Что-то, сомневаюсь. Женский труд — понятно. Но «барышни» в окошечках учреждений — бррр... А у Евдокии Николаевны в голове примус, кот Тимофеич и картинки с приходским попом. Одинаковые — благодарю покорно! Полотенце: это — в ванную. Она пустая. Следовательно, прежде всего очки долой, струю воды, на темя: отвлечь кровь к периферии. Кто сказал, что англичане с тридцати лет пьют иод? Как будто можно артериосклероз — медикаментами? Что они понимают в законах природы, эти аллопаты! Жрут ростбифы и кровавые бифштексы, а потом — медикаментами! Бррр... хорошо! Хррр... вот, хорошо. Уши... Шею... Вот так! Теперь я не чувствую себя совсем обездоленным. Очки... Николай, должно быть, оделся. В его возрасте — иод! Что они понимают...

Жизнь вслух:

— Представь себе... Можно? Ага, мускулатура у тебя — того, приличная. Ну-ка, повернись спиной! Да, я удовлетворен. До атлета далеко, но — как его? — вполне достаточная для инженера. И жира нет, значит, обмен веществ не нарушен... Представь себе: шесть лет живу в этой квартире, а только сейчас заметил, что соседка Евдокия Николаевна совсем седая. Я тебя с ней познакомлю. Славная жен-

щина, но болтушка и сплетница. Все они сплетницы... Уборная, ты помнишь, где? Ну, да, прямо, напротив. А ванная направо. Мыло у тебя есть? Приходи скорей, чайник сейчас вскипит.

... Звонок. Это молочница. Водой разбавляет, носит. Низкая ступень этической культуры. Надо взять две кружки. Вот в этот кувшин. Он старенький, но глазированный. Деньги в правом кармане. Есть ли мелочь? Двадцать, тридцать... Почтовые квитанции: «Грозный, Захарову». Можно теперь порвать. Сорок пять. И еще медь. Трубку — нехорошо натошак вторую, но уж разрешу себе. Николай привез с Кавказа табачку целых два фунта. Куда мне — на полгода хватит. Так. Кажется, все.

Курсы нельзя пропускать — надо все же пойти. Как у нас много рухляди в коридорах. И потом из них моль. Мне тоже все некогда пересмотреть свой чемодан. Николай тут шел вчера — разыскивал. Ему Евдокия Николаевна... Я — твой сын, Николай Ильич Захаров. Мускулатура у него развитая и грудная клетка. Он с детства у меня здоровяк. Какой был махонький здоровячок...

— Здравствуйте, Аннушка. А ко мне, представьте, сын приехал. Дайте-ка мне две кружки. Найдется?

— Пожалуйста, пожалуйста. Найдется и для вас, и для сынка вашего.

— Очень уж вы молоко водой разбавляете.

— Разбавляю? Что вы! Скажете тоже, — говорит Аннушка счастливым голосом. — Прямо с-под коровы молоко.

— Я вам как-нибудь лактомером докажу. Берете дорого, а еще хотите выгадать на количестве. Портите продукт — киснет, створаживается, не дойдет до точки кипения.

— Не знаю, что вы и говорите. Никогда этого не позволяем себе. А перебалтывается молоко в дороге, это верно. Тряско очень.

— От этого не створожится. Вот, пересчитайте, верно ли.

... Перебалтывается! Прекрасно понимает, в чем дело. Молоко ценно, помимо витаминов, легко усвояемым белком. Хватил же профессор Паладин — минимум семьдесят пять граммов. Вся

боязнь, что человек недоест. Псевдонаучное обоснование старых предрассудков... Как бы не разлить...

— Осторожнее! Не наткнитесь — я с молоком иду. Да, здравствуйте, Фома Иванович. Ужасно у нас темно в коридорах! Идите скорее, там молочница.

И вот молоко на столе, чайник принесен, хлеб нарезан, стакан, кружка, нож и прочее и прочее. Сын стоит с полотенцем на шее и брызгами воды в волосах. Жизнь сейчас можно вслух.

— Так-то вот, видишь ли, милый мой. А я тут Ферсмана пробежал: обзор современных достижений науки. Взвешивается атом, высчитывается количество электронов. Я так отстал за сорок лет от науки, страшно подумать. В наше время мы, естественники, сдавали пять зачетов по химии. А теперь, должно быть, одна химия азотистых соединений требует полдюжины зачетов. А? Я очень хочу освежить хотя бы университетские мои познания. Все-таки каким-нибудь рядовым лабораторным работником на химическом заводе я мог бы еще быть.

— Наверное. Но зачем тебе? Ты же пенсионер.

— Да. Но неужели ты не понимаешь, что тяжело мне?!

Наступила минута молчания. Сын посмотрел на желтоватые отцовские глаза, вдруг обидевшиеся под очками, на раздраженное движение подстриженных седых бровей и, поняв, что возразил невольно, все же добавил:

— Надеюсь к тому же, что скоро получу квартиру, и жду тебя к себе.

Илья Михайлович молчал, усиленно пережевывал кусок размоченного хлеба.

— Все это прекрасно, я очень тебе благодарен... за богадельню. Но ты ошибаешься, если думаешь, что я жалею о материальных лишениях. Мои потребности очень ограничены, и мне хватает на все мои нужды. После я покажу тебе свое хозяйство. Дело не в этом, а в том, что, — как его? — да, тяжело сознавать себя бесполезным, ненужным жизни, — он зажевал еще раздраженнее и чаще. — Я всю жизнь работал, а теперь вдруг работа моя оказалась ненужна. Между тем я еще чувствую себя достаточно год-

мым к отчетливой работе. Ты вырос, я — одинокий старик, и... что мне делать? Ну-ка, скажи-ка? Эта канцелярщина, которая мне отравляла всю жизнь, не требует семи пядей во лбу. С ней может справиться в конце концов всякий толковый грамотный человек. И вполне справедливо, чтобы я уступил место более молодому и энергичному. При прочих равных условиях за вами, молодежь, бесспорное преимущество, — свежие силы. Но вот если бы я работал всю жизнь по своей специальности химика — о, тогда извини! Не так-то богата наша страна специалистами, чтобы отказываться от специальных знаний человека, подкрепленных сорокалетним опытом. И годы мои не играли бы роли. В том-то и трагедия.

Илья Михайлович говорил тем повышенным в тенор голосом, на который легко переходил, чуть взволновавшись. Сын, помолчав, подтвердил спокойно:

— Все же я жду тебя к себе. Отдохнешь, будешь солнечные ванны принимать, — там ведь солнце горячее. И никто тебе не мешает заняться на досуге любым нужным тебе делом.

— Я этого, как видишь, и в Москве не бросаю. Не в этом дело. Не могу я жить с сознанием собственной ненужности! Первое время, попав на пенсию, я был очень удручен. Ну, поправился от болезни, одумался, осмотрелся, стал понемногу заниматься с молодежью, опять почитать и прочее, и прочее. Потом заметил, что на слом еще не гожусь. Да, вот, готововоноко. Решил снова заняться собой — переподготовкой. И оказалось, что я еще могу учиться, понимаешь, как настоящий студент. Начал с легкого, — поступил на курсы по сыроварению. Кончил неплохо, в числе первой тройки. Я, видишь ли, не хвастаюсь, ничего удивительного в этом нет. Предметы-то не ахти какие, курсы элементарные и на три четверти мне знакомые. Но это для меня была проверка. Я был в два раза старше любого из своих преподавателей, не говоря уж о слушателях. И мне это доказало, что я могу тягаться с молодежью и в прилежании, и в аккуратности. В этом простом деле я не проявил себя зазнайкой, — аттестат

свой заработал честно. Ага, дай, думаю, попробую дальше! Сейчас я на бухгалтерских курсах. Разумеется, и тут для меня много знакомого. Но вот обществоведение впервые слушаю. И, знаешь, слушаю с интересом... Короче говоря, я на свою пенсию смотрю сейчас, как на возможность передохнуть. Не хочу выходить в тираж. Все это обогащает мою квалификацию, на случай, если я все же не смогу уже работать на химическом заводе, если там меня забракуют за старость лет.

Николай сдерживал даже мимику. Он смотрел в сторону, боясь, что глаза выдадут чувство, которое надлежало во что бы то ни стало скрыть не только от отца, но и от самого себя. Что за циничное право у маятника отстучивать иные минуты человеческого века громче, чем всегда, без стыда за палаческую свою работу...

— Об одном я жалею, — добавил Илья Михайлович, — что сейчас живу сиднем. Надо ездить — это учит жить без предвзятости.

Все остальное в разговорах этого утра было тем же — на девять десятых знакомыми Николаю мыслями человека, который отказался от обилия впечатлений в пользу вдумчивости. Желание обобщить каждую мелочь окружения до ступени мирового закона, ошибки, откуда вытекавшие, и постоянная приподнятость над собственным убогим бытом накладывало на все печать келейного своеобразия. Николай еще не успел от него устать, и общее впечатление встречи с отцом снимало необходимость каких-либо споров. Если уж спорить, то никак не с ним, не с теперешним, а с непрозорливым прошлым его, но это — общий счет ко всей интеллигенции. И Николай не считал нужным ничему противиться: соглашался с практической пользой вегетарианства, не оспаривал необходимости окончить счетоводные курсы — в глубине души восхищаясь энергией отца, его неизживаемым мелочным ученичеством — и безропотно подвергся церемонии знакомства с соседями. Они поочередно приглашались в комнату, и каждый раз Илья Михайлович торжественно рекомендовал:

— А вот, Фома Иванович, позвольте представить вам моего сына Николая Ильича, приехал из Грозного. Видите, перерос меня. Каков?

И вдруг, взгнув на старые серебряные свои часы, спохватился:

— Знаешь ли, пора и на рынок. Я ведь готовлю сам свои обеды, и на это нужно время. Если сейчас не пойти, я провороню обеденный час.

С большим трудом Николай убедил его отказаться на этот день от домашней кухни и пойти в ресторан. Ему хотелось прийти с отцом по московским улицам, вместе подышать воздухом оживления и беготни. Илья Михайлович согласился, взяв обещание, что для него лично найдутся молочно-растительные блюда и что с завтрашнего дня они все же вернутся к домашним обедам.

Он захватил с собой какие-то книжечки и тетради, чтобы прямо из ресторана направиться к себе на курсы, и они вышли под переменное небо, то заливавшее улицы солнцем, то опускавшее сверху тяжелые почти аспидные тени. Тут, на ветре, Илья Михайлович нахохлился под ватным пальто, совсем постарел походкой, но не терял внутреннего одушевления. Его сбивало только рывкание проносящихся автомобилей, переходы через улицы вгоняли в мгновенную панику. Но, оправившись, он упорно кончал начатую еще в квартире мысль:

— ... Сейчас существуют курсы поварского искусства, фабрично-заводское ученичество. Понятно: общественное питание потребует вскоре же — к окончанию пятилетки — огромного кадра работников. Но боюсь, что преподавание у них не стоит на должной высоте. Так же вероятно, как прежде, все на-глазок, на-вкус, как готовили раньше кухарки и наши жены, превращавшиеся в добровольных кухарок. А я бы внес в это дело точные научные принципы. Химический состав пищевых продуктов ныне достаточно изучен, но остается предметом исследовательского интереса. А я бы заставил поваров усвоить основы химии. Я бы внес лабораторные методы работы. Я бы...

— Боюсь, что твои пирожки отдавал бы аптекой, — почти не думая, возражал Николай.

— Почему? Руководят же консервной промышленностью профессора? Есть же у нас заводы...

Но Николай уже утрачивал способность внимательно слушать. Приноровясь в шагу отца, он шел и впитывал в себя все окружавшие шумы и движения. Очаровательными казались отвесы домов, изломы и разрывы в их толпах, какой бы ни падал свет. Вспоминался первый студенческий год, заповедь самостоятельной жизни, проведенный здесь. То как старые знакомцы, то как новоселы, только-что сбросившие стропила лесов, фасады повсюду скрывали в себе разом и парадную тайну архитектурного слияния друг с другом, и почти эротическую тайну внутренней интимной своей жизни. Центральные площади и резвые побегушки трамваев были последним толчком, подбросившим Захаровых и под'езду ресторана.

В вестибюле Илья Михайлович вдруг стал скромным худощавым старичком и застенчиво поправил очки. Серая сорочка из туалет-дю-нора резко оттенила его седину. Сын взял его под руку. Ресторанный зал открылся сосульками люстр, повисшим спектром над белыми конструкциями фаянса и крахмала.

III

Следующие дни Николай Захаров провел так, как хочется советскому провинциалу, давно наслышанному о пополнении московских музеев и галлерей, о новом репертуаре театров: носился по городу из конца в конец, путался в новых маршрутах автобусов, попадал ненароком на бега, в Парк культуры и даже за город, в Останкино, чумая по вечерам от усиленных доз драмы и музыки. Во всем этом он не успевал разобраться. Но он знал: оторвавшись на время от промыслов, надо скопить как можно больше впечатлений о том, что делается в столице родной культуры, потому что с возвратом к работе намного и надолго сократится возможность отдавать этому время. Николай не жалел себя, был ску-

по жаден к каждой московской минуте.

Это главным образом и отдаляло необходимый визит к дядюшке. Была и другая причина — никто не торопил его с этим визитом. Какая-то давняя словесная, но чрезвычайно принципиальная распря испортила отношения Ильи Михайловича с шурином. Только теперь мог Николай догадаться о характере этого спора, да и то лишь юбщим образом сформулировать его для себя как спор земца-разночинца с работником крупного капитала — подробности были погребены годами. Но, не поладивши в личных отношениях, Илья Михайлович никогда не считал себя вправе вмешиваться в отношения шурина к сыну. Николай Аполлонович Порынский был не только дядей, в честь которого получил имя маленький Захаров, он был и крестным отцом его по желанию умершей в послеродовой горячке сестры. Однако родственные отношения Николая с дядюшкой никогда не находили и особого поощрения со стороны отца, — этот вопрос был выключен нацело из разговоров Захаровых. Старые установки были живы и по сей час: Илья Михайлович не вспоминал о Порынских, Николай ни словом не осведомлял его о своем намерении навестить дядю.

Собственно говоря, родство давно уже было не при чем. Давно уже, еще в отроческом сознании Николая, крестный стал из образа образцом, вызывавшим подражание. Образ сложился тогда, когда мальчик задыхался от гордости, получая дядины откритки то с Урала, то с изысканий по постройке Кавказской дороги, то из-за границы. Когда прогостил он у бездетных Порынских два летних сезона на курорте Старая Русса. Когда, проездом навестив родной его город, дядюшка прислал за ним со станции лихача и принял в отдельном вагоне, катавшем его по делам Нобеля во все концы России, — такого у отца не было, такого у отца никогда не могло быть.

Ворота каретника были распахнуты, и там, около лаковых крыльев пролетки, кудрявый кузнец, прохожий кузнец ковал земских лошадей. Ковал Барышника, который с'ел соломенный картуз Николая.

Ковал весело, по-разбойничьи, гремя молотком о наковальню: бам-бам-бам. «Эх, спичек нет закурить, ну что ж! найдем, — бам-бам-бам, — спички!» — Бам-бам, в клещах, бам-бам, подковный гвоздь вертелся, бам-бам, плющился. бам, начал краснеть, бам-бам, а молоток все прыгал, бам-бам-бам. — «Вот она, — бам, — спичка-то!» — бам-ба-ба-ба-бам-пф... ф! Голубой махорочный дым полез из самого подковного гвоздя, а Николай изо всех сил тарашил глаза и, чуть-что не засосал палец.

Образ вырос в образец человеческой энергии и знаний в тот день, когда дядюшка взял с собою племянника на осмотр большой четырехэтажной паровой мельницы, которую призван был рационализировать. Обход начался снизу, с машинного отделения, и, по мере того, как дядюшка сквозь белый мучной туман поднимался на верхние этажи, сопровождаемый почтительными спинами управляющего и его помощника, он все больше казался восходящим на Олимп небожителем, а Николай узнал, что есть всякие инженеры и что дядюшка — крупный инженер, а в т о р и т е т.

Он уже забыл, кто его познакомил с Васькой, монтером и шофером владельца электротeatра «Грот сталактитов», что, скупясь, не пользовался городским током, а поставил свой тридцатипяти-сильный дизель, обслуживаемый Васькой, с которым, дружа, пили первые в жизни Николая полубутылки водки с колбасой и огурцом. Лопнула пружина насоса, и стало меркнуть, меркнуть, лампочки желтели, гасли, Васька вдохновенно схватил лейку, полную нефти, лил на раскаленный шар, и замиравший дизель стал опять неровно бухать, все скорее, скорее, — «Держи, лей, лей, — и дикие прыжки Васьки, и гром ключей, и чад; контрольная у реостата светледа, белела, шар плевался нефтью до потолка, ухал, кашлял, а Васька, на-ходу разобрав и собрав насос, сменил пружину и показал — лопнула на три части, но у хозяина не было остановки в прокате фильма, потому что сменили на-ходу, и допили водку с колбасой. А Николай, участник васькиной технической находчивости,

испачканными в нефти руками налил стаканы и после важно спросил Надю Воронкову: «Вы что-нибудь заметили?» — «Нет. А что?» — «А то, что вы бы так и недосмотрели вашего Макса Линдера, если б не мы...» — «Почему?.. Нет вы выдумываете, Коля. Вот герой!» Он щеголял с тех пор гимназической шинелью в брызгах нефти.

Разойдясь с Порынским, Илья Михайлович не перестал, впрочем, верить в полезность влияния его на Николая. Были в Порынском черты, которые внушали ему уважение. Подвижной житель столиц и индустриальных центров дореволюционной России, Николай Аполлонович смолоду подвергся серьезной пробе на работоспособность: он был исключен из Горного института в год студенческих волнений незадолго до сдачи им дипломного проекта. Одним ударом самодержавный режим подготовил три вещи: инженера с двумя специальностями, потому что Порынский с честью окончил через два года электротехнический институт; политически нейтрального работника, потому что исключение все же убедило его, что политика — неделовое занятие; квартиру для многих нелегальных людей девятьсот пятого года — потому что Порынский остался навсегда в либеральной оппозиции и, быстро связавшись с крупными промышленниками, позировал на независимость суждений. Последние годы перед войной он работал исключительно в нефтяной промышленности.

Не в том была беда, что Порынский видел в Захарове провинциального родственника, — он уважал в нем безукоризненную честность человека, несмотря на другие интересы, другой круг знакомств и впечатлений, совсем другой — скромный — размах его жизненного дела. Беда, по его мнению, заключалась в провинциальности горизонтов Ильи Михайловича. От этих горизонтов надо было спасти крестника, — это было бы лучшим делом в память покойной сестры.

Так вошел маленький Николай в неопределенные представления о будущих годах как неопределенная величина, которой нужно протезировать. Порын-

ский не любил кумовства. Но в его понимании делового человека, дельного инженера значилась и необходимость вести за собой хвост людей — работников своей деловой складки, своей технической школы. Хвост этот имелся почти у каждого крупного техника: он позволял опираться на людей, которым можно доверять и к стати помогал ощущать вес собственного влияния, сопротивление среды.

Но день, когда Порынский почувствовал в племяннике интерес к технике, совпал с кануном Октября. Николай Аполлонович уже разрывался между военно-техническим комитетом, делами фирмы и собственными, — неожиданно крупные тантъемы военного времени заразили его морокой о том, куда их вложить. Судьба помешала ему сообщить крестнику последние толчки к технической учебе. Выбор специальности был сделан без него и закреплен кружком товарищей по классу, на то время высшим для Николая авторитетом.

Будучи проездом в Москве, новоспеченный студент Горного института Николай Захаров застал своего дядюшку в непрестанных хлопотах, мешавших теплоте встречи. Следующий раз они виделись почти через полтора года, когда Николай проезжал Москву уже в составе эшелона Красной армии, а Николай Аполлонович сидел безвыходно в своей квартире и «отказывался понимать».

В сумерках гостиной стояли они тихой четой — полная, невысокая Юлия Христофоровна прижалась головой к плечу мужа; Порынский повернул лицо вверх, в сторону, седой клок его бороды рассыпался по ее волосам, он обнял ее за плечи, защищая, и с края земли луч теплоты молодости ударил, облил их, вдруг ставших страшно одинокими. «И меня возьмешь с собой, Колюша?» — «И тебя, так и быть...» — нежно и тихо улыбался. «В Швеции хорошо, Колюша?» — «Лучше, чем где бы то ни было, Юлочка». — «Лучше, чем здесь?» — «Где же может быть хуже Совдепии?» — «Ну, так поедем... А место мое на Ново-Девичьем, рядом с Сониным?..» — «Что ты, Юлочка? Полно, полно, родная!..» — «Я ничего, право, ничего. Только, нет, Колю-

ша, нет... Ты уж брось меня лучше» — и плакала частыми бессильными слезами полной женщины.

Бегая теперь по Москве. Николай обдумывал все эти вещи с восьмилетнего расстояния, углубленного революцией. Он вспоминал, что давно уже встретил в «Известиях» имя Порынского в числе строителей большо́й гидро-электростанции. Еще через год он нашел его в списках награжденных героев труда. И совсем недавно, уже став инженером «Грознефти», снова услышал о нем в связи с предполагаемым усилением паро-силового хозяйства. Сам собой вопрос ставился так: итти или не итти? Не пойти — значило уже навсегда оборвать отношения. А где мотивы? Пойти, — но это казалось почти искательством, а Николай весом прошедших лет, силой пережитого готов был посчитаться чорт знает с каким авторитетом. И все же он только оттягивал свой визит, зная, что в конце концов пойдет. Эта встреча с дядей интересовала его несравненно больше, чем все прежние, вместе взятые. Он шел к нему теперь с критерием техника. И даже знал, что его больше всего интересует: каким образом инженер выходит за пределы своей специальности и становится таким вот крупным работником, одинаково авторитетным для многих областей техники.

Но, уже собравшись, Николай должен был признаться себе, что робеет. Его собственный диплом, знания показались ему такими куцыми, неприлично потешными... К этому примешивалась глупая природа родственных отношений, вылинялые штанишки детских воспоминаний, хранимые в родственных домах.

В под'езде он опять обозлился: «Да чорт побери, в тридцать лет робеть, — даешь третий этаж!» — и легко вбежал по лестнице.

Передняя знакомой квартиры показалась ему темнее воспоминания о ней. Он не сразу узнал открывшую ему двери Юлию Христофоровну, да и она его, видимо, приняла сначала за кого-то другого, сказавши:

— Здравствуйте. Вы не очень удачно попали, — Николай Аполлонович собирается уезжать.

Потом вдруг воскликнула с возмущением, заменявшим ей всегда удивление.

— Николай! Какими судьбами?

Поцеловав ей руку, приняв от нее поцелуй в голову, Николай прошел за ней в столовую и тут только смог об'яснить причины своего появления в Москве.

— Тебе не стыдно — три письма за восемь лет?

— Стыдно, тетя, от этого и не писал последних четыре года.

Юлия Христофоровна сидела за столом так, как будто она случайно в квартире. Это был стиль ее долгой жизни с дядюшкой. Она всегда казалась у себя в гостях, никогда ничего не знала, словно впервые находила каждую нужную ей вещь, и спокойно сомневалась в завтрашнем дне. Ни сильная проседь, ни относительная худоба не изменили ее: рассеянный, невнимательный взгляд попрежнему противоречил внутренней сердечности.

— Вот видишь, мы живем все до старому, — проговорила она и с любопытством осмотрела стены столовой.

Николай невольно повторил ее движение. Верно, почти вся обстановка столовой была старая: тот же сервант, стол и стулья фишеровской работы, та же люстра, тяжелая, фарфоровая, на крыльях которой во время оно наглядно лежал, но так и не был замечен жандармами револьвер заночевавшего эсера, те же картины — подарки знакомого любителя. Но фотографии, занимавшие один из простенков, сгустились. Среди давних, изображавших Николая Аполлоновича в сибирских снегах закутанным по самые глаза в меха, среди пейзажей из нефтяных вышек, рек с висящими на кранах фермами мостов, керосиновых цистерн и емкостей, среди интерьеров лабораторий, где Николай Аполлонович был еще совсем молодым, только чуть начинал лысеть, где в группах рабочих и сослуживцев его было еще много кантов, металлических форменных пуговиц, шинелей, фуражек с нелепыми тульями и околышами, среди всего этого виднелось несколько новых фотографий, на которых чернели бетонные стены, быки плотин, внутренность цехов, где дядюшка опирался локтем на агрегат и только

ветер маховика чуть шевелил легкий пух на безволосом темени. Это были иллюстрации к знакомым Николаю газетным заметкам, и он было хотел рассмотреть их подробнее, но Юлия Христофоровна вдруг спохватилась:

— Да, совсем забыла, ведь я же велела подать чай в гостиную.

И тут же возмutilась:

— Удивительно ты, Колюша, похож на деда, Аполлона Андреевича. Прямо удивительно. И знаешь что: я думаю. Николай Аполлонович уже кончает переодевание. Он куда-то торопится, так что, если хочешь его застать, то иди к нему сейчас же и тащи его в гостиную.

У Юлии Христофоровны уже был такой вид, словно она где-то слишком за сиделась, ей нужно домой, и она не хочет, отказывается от чая, соглашается остаться только на усиленные просьбы Николай подошел вместе с ней к дверям дядюшкиного кабинета. Она постучала и возбужденно крикнула:

— Коля, угадай, кого я к тебе привела! И отвори, это не дама, а большой мужчина.

Николай Аполлонович был еще без пиджака, но уже в свежей сорочке с подвязанным галстуком. Щеголеватость выутюженных брюк, глянцевитых ботинок, тесный жилет — все было молодежато, и седая распахнутая, разбросанная на оба плеча борода, словно он всегда был против ветра, мало старила его костистое тело, большую холмистую голову. Синим взглядом он порадовался Николаю:

— Вот славно с твоей стороны. Прости, я кончаю туалет. Садись или, лучше, посмотри в окно, не мне ли гудит машина. У меня для тебя сейчас не больше десяти минут. Скажи, ты — инженер?

— Да, бурильщик «Грознефти». Машина гудит у вашего подъезда.

Николай Аполлонович торопливо приладил запонки, надел пиджак и распределил по карманам платок, блокнот.

— Тетя приказала тащить вас в гостиную, — сказал Николай.

Порынский, посмотрев на часы, покачал головой.

— Ничего не выходит. Так нельзя говорить. Мне неловко тебя просить, но, если бы ты проводил меня, мы в маши-

не... Нет, не так, — он оглядел Николая, как неплохой материал. — Я еду сейчас к вашему бывшему шефу, — совещание у него на квартире. Твое присутствие было бы вполне уместно, — он насупил брови, — это не учреждение и не вечеринка, мне с тобой вполне уместно. И, словом, если ты не возражаешь, мы поедем туда вместе.

Кабинет посторонился всеми боковинами стеклянных шкафов, золотыми и серыми спинками книг. Дядюшка глухо отвечал навстречу голосу Юлии Христофоровны.

— Идем, идем!...

Николай слышал дядин смех на ходу: — Ты не соскучишься, если в тебе есть жилка организатора. Как Илья Михайлович?.. Юлочка, у нас времени ровно на полстакана. Да, я уважу его.

— Но вы вернетесь? Какой ты нарядный, Коля-старший, — отозвалась Юлия Христофоровна.

Это было сказано интимно. При посторонних этой бы фразы не было. И в этом, и в дядюшкином приглашении ехать Николай почувствовал, что с ним породственному не стесняются, что о нем помнили, как о своем. Сам он был больше насторожен и теперь понял, что зря. Очевидно, со дня последней встречи для них прошло меньше лет, чем для него. Сидя на шелковой банкетке он искоса ловил свое отражение в черной доске пианино. Впервые он был так широкоплеч в этой гостиной.

— Дядюшка решил показать меня вождям промышленности, — пошутил он.

— Я вас не держу. Такая уж наша женская судьба, и машина тебе давно гудит, Коля.

— Да, ты нас прости, Юлочка... Там звонит телефон, скажи, что мы уже выехали.

Все встали, не допив стаканов.

Садясь в машину, Николай подумал, что словно он и не заходил в квартиру дяди — столовая, кабинет, пианино, раскрытый клавир, «Садко» на нем, пепельница мамонтовой кости мелькнули, как замелькали теперь улицы, пошли волнами в окна машины, как замелькала дядюшкина речь среди волн трамвайного грома.

— Так ты, говоришь, слышал о моем геройстве? Да вот хочешь, не хочешь, а сделают героем. Я, признаться, для такой роли никогда себя не готовил. Думал, дело делаю, а оказывается, геройство. А? Если бы знал раньше...

— То и работать бы не стали? — шу-тя подхватил Николай.

— ...испугался бы с детства.

Николай Аполлонович повернул голову и добавил взглядом: «Какие игрушки — со мной, с деловым человеком!»

— Это же не вас стимулируют, — отвечал Николай, — это для середняка да нам, желторотым.

Дядюшка уже сердито поднял бровь:

— Есть другие стимулы — не за счет преображения меня в показательного зубра Люди всегда готовы судить по себе: покойник Сергей Юльевич Витте тоже...

— Покойный граф Сергей Юльевич Витте, — поправил Николай, которому не понравился дядюшкин знак равенства настоящего к прошлому.

— А? Что же, что граф? Ну да, граф Полусахалинский... Так он тоже — придавал значение всяким чинам и орденам. А ведь неглупый был человек. Кстати, сегодня будет речь о той половине, которую он сумел удержать. И знаешь, личное впечатление до сих пор значит очень много, если не все. Там будет кое-кто, и я тебе советую воспользоваться случаем завязать знакомства — они тебе могут пригодиться. Тебе нужно стремиться к тому, чтобы со временем перейти на службу в центр. Правда, специальность ты себе выбрал такую... корявую: жди, пока нефть найдут под Москвой!.. Кстати или некстати: скажи, пожалуйста, кто такой Габараев?

— Габараев? Это я бы у вас должен спросить. Я слышал эту фамилию только вместе с вашей. Его прочат к нам, в Грозный, вместе с вами.

— Да, на паро-силовое. А я думал, что он грозненский... Надоело мне это имя. И при чем тут я? Вчера пришел ко мне эдакий фрукт в светлосером костюмчике, знаешь — широкие панталоны до колена, глоб-тротгерские ботинки, толстые чулки... Словом, я уж приготовился катать во рту горячую картошку, что, как изве-

стно, помогает английскому произношению. А он мне, правда, на петербургском, но чисто русском языке начинает, как это теперь говорят, заливать: Габараев так интересуется вашими взглядами на импортный план, Габараев то, Габараев се, и имя мое, и отчество откуда-то уже узнал... Я молчу и делаю вид, что давно знаком с этим самым Габараевым. Провертелся он у меня минут двадцать, — так я ничего и не понял. Понял только, что вижу перед собой не то габараевско-го личного секретаря, не то какого-то идеологического бачу. Вот порода людей...

Николай Аполлонович досадливо махнул рукой и не кончил: машина стала, они входили в подъезд Дома советов.

Дядюшка медленно, но без одышки поднялся на третий этаж. Перед матовой стеклянной дверью с золотыми цифрами номера Николаю Захарову вдруг представилось собственное положение во всей строгости: ну, зачем он здесь, незванный? И во всей заманчивости: это была удача — за короткое пребывание в Москве провести вечер среди крупных работников промышленности. Знакомства он, быть может, и не сведет, но впечатление вынесет.

Пожилая домработница провела их к вешалке маленькой передней. Все стены были в дверях: где-то близко журчал кран, шипел газ, в одну из приогворенных дверей сыпался сухой, белый свет люстры, слышались голоса: почувствовалась компактность двухкомнатной квартиры.

Николай слишком взволновался, чтобы сразу осмотреться, войдя. Он впился вниманием в хозяина. В Грозном он видел его раза два мельком, издали, но никогда — близко, в интимной обстановке. Теперь лицо Цупруна показалось полнее, чем, раньше, — светлый волосами и подусниками, он был моложе своих сорока пяти. Николай отыскал глазами его жену, — она сидела за столом, сухощавая, смуглая, молчаливая, и казалась старше — лет пятидесяти. Несколько сухо и серьезно она хозяйничала в пенсне за самоваром так, как секретарствуют иные пожилые женщины. Внезапно Николай заметил, что за этим самым столом, где она хозяйничала, сидит он сам,

Николай Захаров, что стол заставлен закусками, винами, печеньем, посудой и что хозяйка ему, Николаю Захарову, предлагает чай.

— Благодарю вас, — отказался он, — мы только-что пили у дяди.

— А я все же не откажусь, — сказал Николай Аполлонович, чем смутил изрядно Николая. — Могу ли просить вас, Марфа Григорьевна, покрепче?

— Ну, пейте вино, — сказала хозяйка Николаю, и он налил себе в фужер чего-то, — оказалось, коньяка, — обжегся глотком и отставил.

Теперь он увидел за столом еще четырех мужчин, с которыми только-что здоровался, но не рассмотрел их; все они, за исключением одного, соседа, были немолоды, у всех в стаканчиках было едва пригубленное вино, и Николай один, как оказалось, полез на коньяк. Он отставил его еще раз и почувствовал на плечах помочи, а на шее петлю самого своего заграничного галстука. Тогда он в досаде стиснул зубы и обозлился глазами. Сосед, передававший ему в это время закуску, посмотрел на него с удивлением, а Николай наконец закончил эту возню с собой, подумав: «Ну что тут особенного? Никогда не стесняются только кретины да отпетые прохвосты...» Тут он разжал челюсти и вернулся к обычному своему ровному, приподнятому состоянию.

Между тем Цупрун, обменявшись с Порынским несколькими фразами о незнакомых Николаю инженерах, повысил голос и сказал, адресуясь к тому же Порынскому, но обращаясь, видимо, ко всем присутствующим:

— Третьего дня мне удалось наконец отстоять в коллегии Веэсэнха наши нужды, если не все полностью, то по Широкой Пади вполне. Сегодня Наркомфин утвердил валютные ассигнования. Дело за нами, вернее, даже за техническими силами, Николай Аполлонович. Геологи наши говорят, что есть над чем поработать. Что касается бытовых условий, то сошлюсь на себя: я живу в полной мере только гам

— Но морозы? Зимы?

— Без шубы и в Москве не пойдете. А первобытность условий не так уж

страшна. Тем увлекательнее задача. В сущности, это чорт знает где, но мы теперь тратим из Хабаровска только сутки: контракт с «Добролетом». Так вот: от первобытного к газификации всего восточного побережья, о которой мы с вами говорили. Я бы такой каштан выхватил из огня даже для чужих. А какие там леса!

— Вы охотник, Михаил Гаврилович? — улыбнулся Порынский.

... Шесть дней в осеннем шторме Охотское море лезло на берег — с утробным ревом, чехардой свинцовых валов через свинцовые овраги, бивнями в берег — а теперь еще орало благим матом, но успокаивалось под самыми ногами. «Нимноська видна» — сказал гляяк Лукубан, и заведующий широкопадской рыбалкой Тускарев прикрыл глаза рукой: «Да, теперь и я вижу». — «Однако лодка» — сказал старый Пуркав...

— Я согласен, — проговорил инженер Комбаров, тот самый, с клинышком бородки, с перхотью на полулысой голове, которого Николай отметил как самого молодого, — это может доставить ощущение: притти в пустынное место эдаким техническим Адамом, чтобы населить потомством своим пустынную землю. Но боюсь, Михал Гаврилович, что там поту сойдет с Адама больше, чем где бы то ни было. А жену свою туда, пожалуй, вовсе не повезешь, — в таких болезнях будет она рожать детей.

— Не робейте за своих жен, — вмешалась Марфа Григорьевна сиповатым тоном. — Я собираюсь с мужем провести третий год на Сахалине.

Комбаров вдруг с почтительным кокетством наклонил свою голову в сторону хозяйки, потупил глаза, улыбнулся, замер на миг в такой позе и, взяв в руку рюмку на отлет, поднес ее к своей груди, к правому отвороту пиджака. Все, что он сказал затем высоким акающим тенором, было так подчеркнуто этим жестом, словно он произнес тост:

— Конечно, многоуважаемая Марфа Григорьевна, жена Цезаря вне подозрений, и благодарствуйте за совет, я им не премину воспользоваться, но я покорнейше прошу вас вспомнить, что вам не случилось произвести на свет младен-

да на Охотском побережье. Ваше здоровье, Марфа Григорьевна!

Он проглотил свою рюмку с видом человека, успешно решившего трудную задачу.

«Что за пошлейшее самодовольство, — подумал Николай, — причем жена Цезаря и это кабацкий холуйство с потугой на старомодный светский лоск»...

... «Нет, лодка нету». — «Верно, лодка, — возразил Тускарев, — вон и человек на ней. Лодка перевернута вверх килем, а он-то едва держится, руками машет — к берегу его гонит». — «Лодка видал нету, — сказал Лукубан, — кита видал мало-мало»...

— Я никого не зову насильно в Адамы, — заметил Цупрун, — тем менее оснований настаивать мне на вашей переквалификации. Это ежели понимать мифического первочеловека как преобразователя лика земного. Я ищу — промышленность ищет — прежде всего техников, могущих внести некоторые изменения в экономический режим острова. Преобразователем же не перестанет быть класс, для которого мы работаем.

— Ах, вы так понимаете, — отвечал Комбаров, — а я — несколько иначе.

И он произнес одну из тех фраз, которые являются слегка запутанной перифразой мнения противника, на которые добросовестный собеседник не находит возражения и с удивлением спрашивает себя: в чем же несогласие?

... «Какой там кит!» — «Верно, товарищ Тускарев, вроде как кит, верно Лукубан говорит». — «Да я же вижу человека! Вон он — цепляется!»...

— Михал Гаврилович, позвольте задать вам один вопрос. — настойчивым тоном заговорил прямоносый, строгоглазый человек с бритым черепом, но в это время послышался звонок, и Цупрун отошел к телефону.

Комбаров быстро пододвинулся к Николаю.

— Я вижу, вы одиноки, — указал он глазами на рюмки, — я ваш попутчик. Кстати, я понял из слов вашего дядюшки, что мы с вами — одной специальности, потому что я — буровик. Давайте пить, а то тут скучищу разведут, — добавил он негромко и придвинул коньяк. — За

исключением Николая Аполлоновича и Федора Федоровича, удивительно скучный народ.

— Я никого здесь не знаю, кроме Ро, — отвечал Николай.

— Федор Федорович Ро — человек забавный. Он собирается задать вождю какой-то вопрос; можно поручиться, что вопросник будет не из гладких: он пустыми вопросами не интересуется. А в общем здесь налицо руководящая головка маленького промысла. Извините за образность: в каждом чину по сукиному сыну, хоть сейчас открывай лавочку.

— Так вот, дорогие товарищи, — Цупрун уже вернулся к столу и прихлебывал чай, — остается пожалеть, что запаздывает товарищ Волковой. Он был в Широкой Пади с геологами и сможет рассказать гораздо больше, чем я. Я жду его с минуты на минуту.

— Я просил разрешения задать вам один вопрос, — еще настойчивее повторил Ро.

— Я весь внимание, — терпеливым голосом отвечал Цупрун.

Он тронул свой сарматский ус, и лицо его застыло, зафиксировалось в одном выражении легкой напряженности. Это заметили все, заметил и сам Федор Федорович Ро, но упрямо продолжал свое.

... «Вон он цепляется!» — «Нет, то ласт китовый»...

— Так вот начну с того, что позволю себе напомнить: мы, присутствующие у вас специалисты, находимся сейчас — выражусь так — в состоянии встречи с хозяйственниками, причем встреча эта задумана в чертах более интимных, чем учрежденческий банкет. Отсюда и... — ну, скажем нейтрально — использование вашего гостеприимства. Цель встречи так мне передавали: обмен мнений о будущей работе по бурению в Широкой Пади и некоторая пропаганда необходимости энтузиазма с нашей стороны, со стороны техников. Замечу: интимность встречи подчас необходима для того, чтобы можно было говорить обо всем со всей откровенностью и даже резкостью, не так ли? Эрго — прошу не удивляться моему вопросу. И его,

быть может, резкости. Меня интересует, Михаил Гаврилович, почему я с вами встречаюсь только тогда, когда во мне, инженере, почти пожарная нужда, почему хозяйственники считают, что меня нужно уговаривать, уговаривать за чаем, с вином и прочей штукой, в то время как они сами обходятся без марципанов? (Есть такая пословица: «Обойдется цыганская свадьба без марципанов»...) Так почему же это я — с марципанам? Мне они, скажу откровенно, не нравятся, Михаил Гаврилович, мне не нравится ваш чай, ваше вино. Холодный у вас нынче чай! Оговорю: когда я спрашиваю вас, почему мы встречаемся только по случившейся во мне, инженере, нужде, то это не значит, что я изнемогаю без хозяйственников и хотел бы устраивать танцевальные вечера два раза в декаду. Скажу больше: я совсем не имел в виду л и ч н ы х отношений хозяйственников и инженеров, — это вопрос не для сегодняшней беседы. Поэтому-то я и рискую упрекнуть вас холодным чаем. Поверьте, если бы я пришел к вам по своему личному почину пожелать вам перед вашим отъездом счастливого пути, этот же чай показался бы мне совсем горячим, превосходным чаем.

Ро сделал паузу, холодно прищурил глаза и энергично продолжил:

— Вопрос о работе в Широкой Пади для меня решен, и решен не сегодня, не вчера, а с того самого момента, как я увидел, что промышленность старых наших районов совершенно восстановлена и распрямляется с таким размахом, что не видно потолка ее росту. Тогда-то я и застал себя на том, что проглядываю планы новых месторождений. И я уже знал, что малейшее расширение планов вашего треста всосет меня. Моментом, решающим дело, я счел бы простую повестку, вызывающую меня для подписания договора с трестом. Но вместо этого я — здесь за столом с бутербродами и марципанам. В чем же дело? Неужели меня все-таки правильно информировали и я здесь — объект агитации, я здесь — на митинге, где меня рассматривают, как существо иной этической природы, иного понимания долга, чем у каждого солдата нефтяной армии?

Существо, которое надо дополнительно к персональному договору обрабатывать марципанам? Это было бы неумно. Прошу простить за громоздкость моего вопроса и за резкость его формулировки. Я не учен курить фимиамы, кадиллом не владею и озабочен лишь одним — стремлением выяснить деловые установки текущей беседы.

Ро замолчал, расставив около себя пепельницу, спички, портсигар в какой-то надобный ему вопросительный ряд. Все слушали его внимательно, даже напряженно.

... «Верно ведь, кит, теперь и я разбираю», — признался Тускарев. А нордост все гнал к Широкой Пади распухшую тушу, и ближе стало ясно, что не человек на нем, но гигантский полуторасаженный ствол, выпертый изнутри газами разложения, мотается из стороны в сторону; Лукубан с Пуркавом уже побежали за веревками привязать кита к столбу, когда прибьет совсем, — значит, их будет кит, по обычаю...

Ро замолчал. Каждый раз, как он проил извинения за резкость, тон его был настолько формальным и вызывающим, что казался усилением резкости. Все ждали ответа напряженно.

— Старик, как всегда, загнул, — шепнул Николаю Комбаров. — Но не без яда. Почему вы не пьете?

— Я вполне понимаю вашу настороженность, ваше раздражение, — посмотрел и сказал Цупрун серьезно, доброжелательно, — но вас информировали неверно. У нас не митинг, а скорее производственное совещание. Гражданская сознательность каждого из присутствующих для меня вне сомнений. К более тесному сотрудничеству, к полной самоотдаче нашему делу мы зовем не только в пожарных случаях. А марципанам, — мне перед отъездом легче посоветоваться с вами на дому, чем где бы то ни было. Удовлетворил ли я вас, Федор Федорович, своим ответом?

— Почти.

— Вы говорите п о ч т и. Может быть, вы определите точнее, что вас не удовлетворяет? Я постараюсь ответить.

— О, нет, мне и так неловко, что моя неосведомленность оторвала вас от об-

щей беседы. Я позволю себе вернуться к этому вопросу, если у нас останется время.

— А старик-то дурак! — прошептал Комбаров.

У всех были очень неловкие лица. Только Цупрун и Ро, видимо, совсем не были сконфужены своим разговором. Цупрун, дружелюбно улыбаясь, налил себе рюмку водки и чуть прикоснулся к винному стаканчику своего противника. Ро спокойно и серьезно пригубил вино, ничем не признав, что разоружился.

И вдруг все заговорили — все сразу и как можно оживленнее. Юрисконсульт Кистенецкий стал рассказывать о шторме, трепавшем пародох в рейсе с Сахалина, Захаров — Комбарову об общих по Грозному знакомых. Николай Аполлонович быстро вычислял на бумажке, что-то объясняя своему визави и Цупруну.

... И из артели Рыбаксоюза побежали за веревками, и Тускарев кинулся к себе на рыбалку Дальрыбы, а кит тихо подплывал, маяча стволom; когда пришло совсем, то сбежались Тускарев, артельщик Рыбаксоюза, Пуркав и Лукубан, все с веревками и кольями — кто первый. Но широкопадский кулак из ссыльных, Кротов, уже вбил в песок колышек и тонкой бечевкой привязал кита за ласт...

В это время появился наконец долгожданный Волковой. Это был широкоплечий человек с головой, как желтая малярная кисть. Верхняя губа его была в два красных яруса. Он нес набитый портфель и громыхал каблуками тяжелых таежных сапог. Цупрун усадил его в центр и сразу насел:

— Рассказывай! Рассказывай без передышки — на три завода заводись. Чего опоздал?

Волковой посмотрел на свой портфель и положил его под стол прямо на пол. Потом он оглянулся беспомощно.

— Товарищи, пришлите мне, если кто знает, управделушу. Только пусть курит, обязательно пусть курит, пусть жрет в столовой и ходит в сапогах. И еще должна знать два языка: английский и русский матерный.

— У вас слишком высокие требования, — отозвался Комбаров. — Но, кажется, у меня есть подходящий для вас человек. Она знает оба языка в совершенстве. Только боюсь, что внешность не отражает ее достоинств, — она навodит панику своим безобразием.

— Пришлите, отец, озолочу, — Волковой уже жадно прицеливался глазами по закусам. — А рассказывать на пустое брюхо это тоже — гран мерси. Я сегодня не обедал. А вот так, товарищи... — он уже жевал какой-то кусок, — задавайте вопросы, — среди дела отвечу... Между прочим, товарищи москвичи, — перебил он сам себя, — много тратите. Так нельзя: разматываете добро. Не по времени, не по средствам живете. Я тут прикинул, во что стране обходятся ваши витрины да ваши иллюминации... Что ни жакт, то норовиг вензель на тысячу лампочек! Я бы у себя на участке за эти дела такую бы проработку устроил на активе — только держись! И жрете жирно, — он с ожесточением поддел на вилку сразу два куска телятины, — вас бы на консервы посадить, да с брусничкой: увидим, как запоете...

... Тускарев сколотил из гиляков артель для разделки кига, а Кротов вырезал уж язык, высунутый из пасти на бок и закушенный, нарезал его длинными ломтями на юколу, — вышло всего восемьдесят пудов мороженой юколы, что продавал на корм собакам. А старый Пуркав от сложных переживаний решил напиться, купил у грузчика-китайца бутылку ханшина и, надравшись, всю ночь выл около советской рыбалки; боялись, не замерз бы...

— Ты расскажи товарищам подробно, как жил, — сказал Цупрун, видя, что Волковой уже вытер салфеткой рыжую щетину на двойной губе.

— Да как жил — на гиляцком положении! Я вам лучше всего покажу кое-что — Волковой полез под стол, вытащил портфель и вынул из него несколько фотографий — Вот в эту дыру в полу мы умывались, — он передал снимок соседу — А здесь мы...

Уже последняя фотография Волкового обошла всех, уже Николай Аполлоно-

вич подробно расспросил его о грунтах на местах будущих установок, как громкий торопливый стук в двери заставил всех повернуть головы.

... «Ты что тут воешь, Пуркав?» — спросил под утро моторист советского катера, выйдя под звезды из барака. «Та это однако так... нася гиляцка песня», — «Что за песня, о чем?» — «Та эта... коллектив не надо!» — И моторист ушел смеясь, а Пуркав запел опять...

Цупрун вышел встречать нового гостя к дверям. Там начался горячий разговор, потом голоса снизились, стали совсем неясными. Николай Аполлонович подошел к Николаю.

— Я уезжаю, — сказал он, — мне здесь больше нечего делать. Нет, нет, ты оставайся. Во-первых, нам не по дороге, а во-вторых, тебе полезно побыть здесь. Тебя не задело за живое?

— Вы о Сахалине? Да, конечно, это увлекательно.

— Ты не думал бы собраться? Такие твои годы — *Wander-jahre*.

— Почему? Вы ошибаетесь. Мои *Wander-jahre* прошли — вы забыли о Красной армии. Уж если хотите, несмотря на обратную последовательность, это мои *Lehrn-jahre*. А впрочем, какая последовательность? Все это вместе. Да, я был бы не против. Разумеется, надо подумать.

— Ну, думай. И заходи, предупредив по телефону. Я с тобой двух слов не успел перекинуть. Обязательно. И скорее.

В дверях произошла маленькая толкотня: навстречу уходившему Порынскому входил Цупрун с новым гостем. Цупрун на миг раздвоился улыбкой: провожал и встречал. Потом соединил их, прощаясь одной рукой с Порынским, а другой хлопнув по плечу пришедшего:

— Смотрите, Николай Аполлонович, акции наши растут, работнички сами к нам сбегаются. Хочу познакомить вас, потому что надеюсь видеть за общей работой. Товарищ...

— Уманцев, — быстро назвал себя вошедший.

Цупрун посмотрел чуть удивленно. Дальнейшее сразу же потускнело у всех

троих в сознании, — это была механика прощания...

... — Я, Пуркав, хозяин, ызь из Такр-во, живу. Вот я хитрый охотник. Я столько гусей убил и вот столько нерп убил. Хозяин сопки, Паль-ызь, столько раз мне медведя посылал, ему сказал, чтобы я в самое сердце попал. Вот я, урдлянивух, выдающийся человек из стойбища Такр-во, самый умный ызь из селения Такр-во, — никто не имеет столько. Вот у меня три лодки и новая сеть есть. Вот у меня два ружья и три по пять собак, и мамка и четверо детей еще есть...

Уманцев и Цупрун присоединились к сидевшим за столом почти незаметно. Знакомство происходило среди оживленного разговора. Обыденная внешность Уманцева не привлекла ничего внимания, несмотря на позднее его появление. На него никто не смотрел, сам он медленно переводил с одного на другого светлые свои глаза. Цупрун налил ему и себе водки.

— А все-таки, Михаил Гаврилович, я, пожалуй, продолжу свой допрос, — заговорил опять Ро. — Разрешите?

— Валяйте, валяйте, — весело отвечал Цупрун, видимо, считая деловую часть вечера законченной вместе с уходом Порынского.

— Сейчас начну валять, — усмехнулся Ро. — Или, может быть, не нужно? Я ведь знаю, что не доставляю удовольствия своими валяниями.

— Пожалуйста, пожалуйста, — уже серьезно отвечал Цупрун. — Я очень интересуюсь.

Все замолчали. Марфа Григорьевна звякнула в тишине стаканом.

— На этот раз я вот о чем, — начал Ро. — Вы тут обмолвились, что промышленность и вы, как один из ее руководителей, ищите техников, способных несколько изменить экономический режим острова. Преобразователем же остается пролетариат, руководящий в нашей стране строительством социализма. Так ли я вас понял?

— Да, примерно.

— Ваш собеседник Виктор Александрович Комбаров не сумел вам никак на

это возразить. Я постараюсь сейчас досказать то, что им не досказано.

— Я не нуждаюсь в помощи, — проворчал внезапно Комбаров. — Я сказал столько, сколько считаю нужным.

— А я считаю это недостаточным, — возразил спокойно Ро, — и, не собираясь никому помогать, защищаю свою точку зрения.

— Ей-богу, старик спятил, — раздраженно повторял Комбаров Николаю. — Давайте пить.

— ... Вот я, Пуркав, и мамка моя хорошо вышивать умеет. Вот я одну ганзу выкурил. Я ружье взял и шесты взял и из юрты пошел. И вот мамка на корточки присела и так сидела. Вот я сказал: однако я в лодке на море ухажу. Вот мамка сказала: иди, ты мне надоед. Вот я рассердился и ушел. И самого жирного кобеля и самую жирную суку с собой взял, чтобы им было нескучно двоим итти к хозяину моря Толь-ызю. И вот сказал Уй-Тану и Палину, и Рану, и Лукубану, и Плюйке, и Улику, и еще другим так сказал: мы к морю пойдем с сегами и сделаем, как надо сделать. Все меня слушали, потому что я — мудрый охотник, урдля-нивух общества...

— Мы вас слушаем, — сказал Цупрун.

— Из ваших слов можно сделать вывод, что вы проводите резкое деление между техником и преобразователем, быть может, даже противопоставляете их друг другу.

— Сколько могу заметить, противопоставляете вы, а не я, — возразил Цупрун. — Я же провожу только некоторую разделительную черту, и то только для такого понимания, которое свойственно до сих пор некоторым специалистам, то есть: преобразователь и — техник как таковой, техник для техники, техник как самодовлеющая единица... Впрочем, знаете что, — перебил он сам себя, — вы досказываете за товарища Комбарова, позвольте же и мне передать свое слово старому моему товарищу по гражданской войне. Он — слушатель комвуза и собирается поработать в нашем черном деле.

Все посмотрели на Уманцева. Он принял взгляды с легким отпором.

— Я не любитель цитатного мышления, — с досадой отвечал Ро. — Ежели комвуз может служить апробацией марксистского воспитания мысли, то это для сектора кадров. Меня же интересует просто мнение умного товарища, уже работавшего в нашей промышленности, а никак не его академические дипломы, не его желание работать.

Уманцев не шелохнулся, словно не о нем говорили. Он только посмотрел с любопытством на Ро.

— Не понимаю и не могу понять, почему вы связываете комвуз и цитатный образ мышления, — сухо возразил Цупрун. — Это, во-первых. А во-вторых, проблема, которую вы затрагиваете, право, не требует сорокалетнего нефтяного стажа. Я упомянул о комвузе для того лишь, чтобы бегло познакомить вас с товарищем Уманцевым и, может быть, потому, что характер разговора, инициатором которого являетесь вы, слегка напомнил мне стихию студенчества, ее атмосферу отвлеченных проблемных споров...

— Я совершенно не собираюсь тратить время ваше и мое на проблемные споры, — зло перебил Ро. — Если угодно назвать это проблемой, то она у меня в печенках сидит. Не забудьте, что мы с вами говорили о договоре. Я собираюсь выяснить те, неписанные, но подразумеваемые пункты договора, которые имеют же какое-то практическое значение?! Имеют или не имеют? Любопытно ведь знать, на что я иду?!

Ро ожесточенно жевал мундштук папиросы длинными желтыми зубами с золотом.

— ... Вот мы пошли и недалеко от рыбалки стойбища совет-власть нивуха как надо сделали. А море тогда вот шумело, черти, кимры в нем войной шли на толь-нивухов. И вот столб вкопали, и я, Пуркав, инау-амулеты воткнул. красными, белыми и желтыми стружками убрал. Вот когда к столбу веревку привязал, когда петлю сделал, когда моим самым жирным собакам на шею петлю одел, я сказал: за своей касаткой на самое дно моря ступай. Пусть хозяин тебя шибко полюбит. Шерсть эту переменяй и на другой год касаткой при-

ди, чтобы я на тебя посмотрел. Хорошенько ходи, — так сказал. А Лукубан за одну ногу взял, и вот Плюйка за другую заднюю ногу взял, и Мурзик и Ран за две передние взяли, и вот тянуть стали, а Палин — за шею душил. Вот я, Пуркав, урдля-нивух, палку взял и насквозь собаку проткнул. Так со второй собакой сделали. И они шибко пошли. Вот когда шкуры содрали, когда мамки пришли, мясо нарезали, в котел побросали. Вот мось ели и мясо много ели...

— А впрочем, — начал опять Ро неожиданно примирительным тоном, — я согласен на вашего защитника. У меня нет причин выражать отвод.

— Благодарю вас, — усмехнулся Уманцев.

Ро повернулся к нему всем своим желтым лицом, внимательно посмотрел и с этой поры обращался уже прямо только к нему. Но ясно уловимая ирония окрашивала теперь каждое его слово, а Николаю казалось, что ирония эта больше задевает его, Николая, чем Уманцева.

— Условимся для начала, что подзащитный ваш зря допустил обособление понятия «техник». Или вы будете возражать?

— Нет, я не возражаю, — отвечал Уманцев удивленно.

— Хотя вы и не возражаете, но возможно, по другим причинам, чем я, — продолжал Ро. — Для меня ясно: говорим ли мы о преобразователе или о технике, мы имеем ввиду прежде всего человека, способного к действию. Какая же разница в моей способности к действию, если я техник, и в вашей, если вы преобразователь? Вы скажете — разница в широте задуманных действий, в этической основе наших действий... Вы ведь не станете возражать, что каждое действие имеет этическую основу? Что, проще говоря, мы руководимся в поступках своей совестью?

В лице Уманцева сквозь любопытство проступило затруднение.

— Да, с тем условием, что под совестью мы будем подразумевать безличный разум многих предшествующих нам поколений.

— Это в тимириязевской формулировке?.. Будь по-вашему, достопочтенный товарищ. Хотя я предпочитаю думать, что разум организует научные понятия, а таковые никак не в состоянии выработать основ нравственности, но вы можете не бояться подвоха с моей стороны.

— Это вы предпочитаете вслед мыслям Анри Пуанкаре?

— Да, дорогой и осведомленный товарищ, вслед многим, в том числе и вслед сему изумительному математику.

— Но вы согласились на Тимириязева, — напомнил Уманцев.

— Да, в угоду вам. Ибо поистине не считаю нужным в предмете теперешнего нашего разговора в первых же шагах расходиться с вами. — Ро нарочито нахмурился. — Вернемся к тому, на чем споткнулись, — к этической основе наших поступков. И знаете что — лучше будет, если я изложу мой взгляд на этот счет, а вы уж после кройте оптом и в розницу. — Николай только подвиглся запальчивости этих слов, нетерпеливому танцу Ро на стуле. — Начнем с преобразователя. Я думаю, и вероятно вы не будете мне возражать в этом, что ни один преобразователь не действует так просто, здорово живешь. Деятельность преобразователя сплошь да рядом отмечена замечательной жестокостью. Она идет вразрез с общепринятыми устоями, воззрениями на долг и общую пользу. Тут вы меня уличите: ага, где же здесь нравственная основа деятельности? Но тут же согласитесь со мной, что отсутствие ее только кажущееся. Не можете не согласиться. — Ро вскочил со стула и пригрозил пальцем: — Я вас спрошу: что заставляло Петра Первого бросить царский терем, откатиться от вотчинных горизонтов, пустить кровь заодно со стрельцами всем староведам, раздавить патриарха и создать всешутейший собор? Ездил бы по охотам, монастырям, жрал бы лебедей, комплектовал бы гарем. Ему легче было примириться с консерваторами, чем создавать новое поколение реформаторов. Легче стать богословом-начетчиком, чем атеистом. Во всем этом ему нужна была огромная этическая зарядка, убеждение, что он забо-

тится об общем благе. Нужна была ему она и тогда, когда он гноил мужиков на болотах Санкт-Петербурга, и тогда, когда душил своего сына, нужна была она и Александру Великому, когда он случал два континента, и Грозному, когда он создавал опричнину, и Чингизхану, когда он шаманил на великом курултае или сочинял свое политическое завещание. — Ро уже не садился. Он висел над столом, давил на стол руками, хватал ими воздух. — Теперь вот вопрос: откуда приходит к преобразователю эта зарядка, откуда берется убеждение в своей правоте, когда кругом все твердят ему противное, когда вспыхивают восстания, возникают заговоры, и дети поднимают руку на отца? Спешу успокоить вас, дорогой оппонент: я не собираюсь провозгласить личной этики, противостоящей общественной. — Он широко отвел рукой подозрение — вправо, в сторону. — Мы с вами условились о безликом разуме. Вот я и ищущу его. Где он? Где эти накопления предшествовавших поколений, которыми руководился Петр? — Ро искал их на потолке, по карнизам углов, и, посмотрев туда вслед за ним, Николай вдруг заметил легкий гамак из паутины, колыхавшийся от околостенного сквозняка. — Я вижу, что, наоборот, он крушил эти поколения наотмашь, вместе с их замечательным безликим разумом. — Ро разрубил пространство накрест. — И однако последующие поколения приняли и целиком оправдали образ действий Петра. — Теперь кулак Ро был против середины груди, и можно было ожидать какого-то громкого возгласа. Но он вдруг посыпал тихонькой скороговоркой: — Вы здесь подскажите мне, ортодоксальный товарищ, марксистскую оценку Петра как забойщика торгово-промышленного класса, выступившего против стеснений феодализма. Приму с благодарностью эту оценку, но обращаю ваше внимание на то, что значит налицо безликий-то разум не всех же поколений, а только небольшой их части. И с исторической точки зрения это не предшествующие поколения, а последующие, это их безликий разум. — Ро уже снова гремел: — Потому что они-то и оправдают действия

преобразователя, они-то и благословят его. А преобразователь предвосхищает то, что еще скрыто, то, чем лихорадит эпоха, но лихорадит латентно!.. И вот преобразователь утвердил этику нарождающегося класса. Однако до-долго еще, — как протянул Ро это до-долго! — несмотря на полную победу, живет и другая этика, безликий разум тех предшествующих поколений, которые погребены переворотом, ущемлены реформой. И даже тогда, когда целый класс поднимается на завоевание мира, — Ро торжественно поднимал с низов голос свой вместе с рукой, положенной на голову растущего класса, — когда предтечи сегодняшних бойцов давно сформулировали его цели, когда он сам берет в свои руки дело преобразования, — Ро взял его в обе руки, и тут Николай загляделся на самоцветы манжетных запонок, — даже тогда конкретным носителем его знамени выступает лишь авангард, — посмотрите-ка, как велики еще и посейчас отсталые массы западного пролетариата, как относительно мал их авангард! Но все же остальные-то, те, которые пока не принадлежат к авангарду, не лишены же они разума, в том числе безличного, обозначающего, по-нашему с вами, совесть? Руководит же она их поступками. И в таком случае, кто же они, эти остальные — те х н и к и, что ли? Я согласен, преобразователю все позволено, все можно, так как его ждут иные мерки, иная оценка, — верно, голос Ро стал очень покладистым, — но однако он не может отрицать за остальными их собственную мораль, — это Ро почти прошептал. — Но в чем же тогда различие между преобразователем и остальными, в том числе мною, техником? В силе моральной убежденности? — Ро недоверчиво прищурил глаз: — Но Аввакумы шли, как известно, на костер, а я, техник, быгть может, предпочту завтра разорвать все договора и пойти конюхом в колхозный конный двор, но только не делать того, с чем я не согласен, но только не прикладывать руку к тому, чему я не сочувствую. — Ро шумно отодвинул стул, вышел из-за стола и прошел раза два во всю длину комнаты, и все поняли, что он не на шутку взволнован.

Николай почти боялся продолжения его речи. Но никто не успел найти выхода, — Ро снова остановился у стола, снова вынул из кармана беспокойные руки: — И вот я, техник, живу, работаю, и не рву никаких договоров. Пусть я обыватель, и даже в большой степени обыватель, но в своей работе ведь я же ежеминутно решаю на новые и новые случаи помощи общему делу, общей стройке. Пусть я брюзга, пусть я скептик и пессимист, — он обреченно махал рукой, — я ведь, техник, не покладая рук, тружусь на тех же лесах, что и вы, преобразователь! Каждое мое дело есть творческое дело. Подите, убедите меня, что его можно выполнить, не руководясь моральным импульсом. Я никогда не поверю вам! — он отвернулся с негодованием. — И в чем же для меня разница между мною, техником, и вами, преобразователем? Убейте меня — не пойму. — Ро пожал плечами в длительном недоумении. — Вы скажете, что техник — по преимуществу носитель знания, навыков, технического опыта. Но значит ли это, что преобразователь по преимуществу носитель морали? Что таково его преимущество перед техником? Нет, скажете вы, не морали вообще, но новой морали, пролетарской морали. Ах, вот мы и договорились. Так дело в новизне! Но — не в новизне же ради таковой, не в беспринципной же новизне? Конечно, согласитесь вы, и тут мы быстро с вами примиримся на том, что новизна должна быть последним и точнейшим словом человеческой мысли. Что она должна быть той новизной, которая проверена и выношена культурой человечества, той новизной, которая будет подхвачена и опавдена грядущим поколением.

Посновав рукой вправо и влево, то открывая, то перевертывая ладонь, Ро вдруг стал весь торчком, так и застыл в созерцании потрясающей нелепицы предположительных выводов.

— ... Вот собаки к Толь-ызю шибко бежали вместе с вестниками-инау, которых я по два сделал, мужа-пу и жену-анчей сделал, чтобы по дороге не суч-

но было и чтобы, как и собаки, размножались. И вот мы, нивухи стойбища Такр-во, были, на берегу моря стояли и двое совет-нивухов пришло и еще трое пришло, на столб и на инау смотрели. Вот подошли и столб повалили, стружки побросали — плохие совет-нивухи. Вот один совет-нивух стал говорить, язык у него шибко хорошо вертелся, — может такой нивух много сказать. Не только плохое слово сказать, — ласковое слово может сказать. У совет-нивухов ызи хорошие, лучше наших, может по воздуху совет-ызь лететь, тлы-нивухом быть. Вот совет-нивух кричал-кричал, вот инау топтал — такое дело немножко плохо...

У Николая от всей речи Ро, от всего этого внешне подтянутого, но растопорщенного на словах человека осталось впечатление скрываемой им уязвленности. Была она и открытой, даже вызывающей, даже афишированным поводом резкого выступления. Но в эту, внешнюю, Николай почему-то плохо верил и искал за нею другую, подлинную. Он пришел не за эмоциями, — за впечатлениями. Ими он был насыщен: костюм, черный в белую нитку, был как с иголки, жесты Ро, интонации, манера держаться, обнаруживали волевого человека, каким знал его Захаров по редким встречам в Грозном. Голова, бритая до глянца была с перехватом на темени, наминала человеческий эмбрион. Но, помимо этого, общедоступного, у Николая вдруг наметилась своя оценка. Она слагалась из удовольствия от безусловной способности Ро владеть собой и аудиторией, симпатии к нему, когда, потеряв эту способность, он заволновался на глазах у всех, и из неопределенного раздражения многими частностями его речи. Николаю вдруг представилось, что Ро сможет сказать что-то главное, само-нужнейшее и, когда пришлось сказать себе несколько раз под ряд: «не то, не то...», все вылилось в досаду. Ясно стало, что никто из присутствующих не сумеет сказать нужное, внося какую-то решительную поправку к словам Ро, и не захочет этого сделать — из осторожности, из лени, из равнодушия. В кон-

це концов Николаю не хотелось осуждать Ро уже потому, что он воднял эти вопросы неуместно, самая неуместность импонировала. Ни осторожность, ни равнодушная лень не одернули Ро, — одно уже это заставило Николая принять его слова.

Николай забыл, что кто-то должен отвлечь Ро был ему очень понятен, и не смысл сказанного, а факт публичного волнения производил впечатление. Очевидно деловой и очевидно выдержанный инженер публично волновался, — вот что будило любопытство Николая.

— А не думаете ли вы, что наша страна—гегемон строительной и социальной инициативы? — спросил Уманцев, и стало ясно по его голосу, по пятнам на щеках, что и он был уже сильно возбужден. А так как его возбуждение выросло совсем никому незаметно — только-что это был средний и — большинству даже хотелось думать — посредственный партиец, любопытствующий взглянуть на вымирающие породы зверинца спеццов,—то все наткнулись на него, как на новый неожиданный ухаб.—Разве вы не видите, — продолжал Уманцев, — что мы — единственные в мире, общепризнанные новаторы? Не сапогом же военным мы убедили мир в том, что наше дело стоящее, а той силой, которая и называется новой культурой! Не вспоминайте о наших врагах, — наши друзья как-раз тот лучший слой культурного человечества, санкции которого вы требовали.

Ро не успел подавить озадаченности. Видимо, с самого начала Уманцев был для него лишь условным флагом, обозначавшим противника, тем стулом, к которому на пробе обращены все жесты, мимика и движение оперного певца. Стул заговорил, и Цупрун, весело потерев руки, придвинул к себе папку синих светоконий,—глаза его чуть щурились улыбкой, а Ро сразу оставил иронию: переориентировался.

— Но кто же меня сможет лишить уверенности, — проговорил он размеренно и раздельно, — что моя-то культура, культура техника, не плоть от плоти лучшей части мыслящего человечества?

Кто же может, противопоставляя меня преобразователю, убедить меня, что моя культура — куца противу его культуры?

— Вы сами все время настаиваете на противопоставлении,—бесстрастно сказал Уманцев.—Вам еще Михал Гаврилович это заметил.

— Настаиваю? — Ро нахмурил брови, прислушиваясь к себе, и вдруг кивнул головой: — Да, настаиваю. Потому что оно действительно есть. Знаете ли вы, что такое приспособленец? Ну, ясно, знаете. Но вряд ли вы думали о том, что приспособленчество — почти душевная болезнь, болезнь личности. Да, раздвоение ее. Утром, на службе, человек чувствует себя якобинцем. С шести вечера, попав домой, он—роялист. Еще старик Рибо наблюдал эти случаи сожительства в какой-нибудь истеричке—принцессы и кухарки, сменяющих друг друга ежедневно. Но бывает и так: до тридцати пяти это добрый столяр или слесарь, с тридцати пяти в него вселяется душа Франциска Ассизского. Понимаете ли вы, что когда мы требуем от приспособленца, чтобы он перестал быть таковым, то либо мы его поворачиваем вспять, либо мы принудительно вгоняем в него, и уже раз навсегда, личность, ему вполне чуждую. Но ведь то приспособленец, скажете вы. Да, совершенно верно, поэтому-то ему легче — сама природа одарила его способностью к мимикрии. Но понимаете ли вы, что расширение сектора социалистической этики, пролетарской культуры, этой двухвостой волны, что расходится вслед за волнорезом нового класса, для честного человека сопровождается болезнями, которые можно сравнить только с муками древнеиранского царя Афроснаба, кормившего своим собственным мозгом змей, росших на его плечах. Подите же, доказывайте после этого, что нет противопоставления! Да оно дано самой жизнью!

Ро негодовал все больше, теряя докторальность тона. Уманцев обвел всех недоумевающим взглядом.

— Не понимаю, — сказал вопросительно он. — Вы же начали с того, что стали обвинять Михал Гавриловича в

этом противопоставлении, а теперь сами на нем настаиваете. В таком случае с меня снимается, я думаю, обязанность по защите. Верно, Михал Гаврилович?

Цупрун, молча улыбаясь, перелистывал синие чертежи.

— Как вам угодно, — отвечал Ро предупредительно. — Все это висит в воздухе. Михал Гаврилович обмолвился случайно. Можно взять назад слова, но факт остается неизменным: я — техническое быдло, которое имеет служебное назначение. А между тем мне, быдлу, надлежит обуздать стихии. Не забывайте, дорогие товарищи, еще раз напоминаю, все это имеет самое практическое значение: там, всего на четверть земной параллели грохает сейчас это самое Охотское море. Меня не интересует спор — чья культура выше. Меня интересует написанный пунктик договора, один пунктик...

В это время Николай уловил уже новый перелом в своих, да и в общих, настроениях: внимание явно перешло от Ро к Уманцеву. Причина, пожалуй, была проста — Ро высказался, от него уже не ждали нового. Николай отметил это как большую неудачу Ро.

— ... Вот я, Пуркав, урдя-нивух из стойбища Такр-во, рассердился, я Лукубана, Улика и Плююку позвал, к совет-ызю, товарищу Тускарь-во, пошел, так сказал: однако твои нивухи наш столб повалили, наши инау потоптали. Теперь Толь-ызь нам касаток не пошлет, касатка-рыбы не пригонит, рыба ловиться больше не будет. Столб снова вкопать скажи, а то уйдем отсюда к Голове Земли, на север, и вернемся нету,—так сказал я, Пуркав...

Комбаров повернулся к Ро почти спиной и спросил Уманцева:

— Скажите, а вам не приходилось бывать на Сахалине?

Уманцев словно ждал этого вопроса — так охотно подхватил он его: не сказал просто «нет», а добавил, что не бывал за Уралом, но что ему давно хотелось побывать на Дальнем Востоке. Он, очевидно, ждал не вопроса, а вызова, повода высказаться, потому что легко перешел к теме Востока и окраин страны вообще, к политике среди малых народно-

стей, к советской индустрии, надвигающейся на отсталый быт. Незаметно и не обращаясь ни к кому лично и никого не называя, он стал говорить и о тех тревогах технической интеллигенции, которые только-что можно было уловить из слов Ро. Но, в двух словах бережно и осторожно отметив их как признак известного партии все большего приближения интеллигенции к заботам и интересам рабочего класса, он вдруг заговорил прямо о культуре: не бойтесь, не уроним!

Он рассказал две-три биографии товарищей своих по вузу. Это были пестрые восходящие прямые: из свинопаса — в торгпреды, от кузнеца — к руководителю областного хозяйства. Мало-помалу увлекаясь, он заговорил о будущем. Быть может, потому, что о нем редко говорят, такая попытка всегда возбуждает интерес, даже если она малоудачна. Уманцеву помогало увлечение. Он не пытался быть пророком, — он строил вероятные предположения, он собирал воедино всем знакомые цифры мировой статистики, сопоставлял их с цифрами страны. Но ощущение холодка газетных построений нацело терялось в жарком одушевлении, с каким Уманцев припоминал все новые сопоставления. Всем стало понятно, что одушевление намест иронии и вносит ту разницу, которая повернула общий интерес к этому человеку в невзрачной толстовке.

Ро, сидя поотдаля, досадливо хмурился, запоздало присматривался.

— ... Вот совет-ызь, товарищ Тускарь-во, испугался, своих людей позвал, вкопать столб им велел, все инау собрать велел. Вот мать, мать, мать кричал, им грозил. Эги люди пошли, столб вкопали, инау собрали...

Николай взглянул беспокожно на часы: он не хотел опаздывать домой. Цупрун продолжал тихонько рассматривать какие-то приложения к синькам, когда Николай подошел к нему прощаться.

— Одну минуту, — задержал тот: — Вы скоро увидите Николая Аполлоновича? Будьте добры передать ему кое что... Надолго вы связаны с Грозным?

Николай рассказал о контрактации, укрепившей его за «Грознефтью» еще в вузе. И среди слов, всмотревшись в об-

становку комнаты, где они сидели, он вдруг подумал, что нарядность незavidно обставлена квартира крупного хозяйственника. Свет пятиламповой люстры твердо резал незащищенные глаза, — абажурчики матового стекла не могли закрыть больших полуватных пузырей. Бесквудная случайность, руководившая комедантом, развесила по стенам прекрасной большой комнаты эти картины. Паркет был натерт, но грязного тона скупой половичок лежал на нем вместо ковра. Мебель была все нужная и вся вразброд—гостинный гарнитур в стиле базарного модерна, ореховый книжный шкаф, шведский письменный стол, венские стулья. «Да, ведь они же почти не живут здесь, — сообразил Николай, — Грозный либо Оха, а это — каравансарай. Но я бы не оставил ни одного стула на месте...» И тут же наткнулся взглядом на ручную швейную машину, поставленную на этажерку: дерево футляра прищемило какое-то шитье Марфы Григорьевны, пестренький подол свисал наружу. «Она работает в пенсне, так же, как чай разливают»—подумал Николай и вспомнил: «... в дыму и пламени пожаров вы окрыляли коммунаров... для нас вы также сердцем юны, — привет вам, женщины коммуны!..»

— Если бы вы пожелали, я бы ходатайствовал о вашем переводе к нам, — сказал Цупрун, отрываясь наконец от светокопий и сворачивая их в трубку, а Николай все еще смотрел на Марфу Григорьевну: «какие прекрасные глаза!»

— Я знаю его, — продолжал Цупрун вполголоса, указывая движением головы на Уманцева, — с девятнадцатого года. Он был атаманом партизанского отряда и сам едва умел подписать приказ. Похоже?.. — Цупрун дружески улыбнулся Николаю. — Ну, что же вы мне скажете?

— Хочу быть островитянином, — быстро и широко откликнулся Николай, протягивая руку на прощание. — Буду просить правление.

... Тогда собаки шибко к Толь-ызию бежали и инау-вестники бежали, вот много их сделалось. На дно моря к старику Толь-ызию прибежали, который со ста-

рухой своей сидел. И вот нашими хорошими словами доволен был. Толь-ызь много касаток послал, и они для охотников Такр-во кита погнали, хорошенько его гнали, бока ему рвали...

Но Цупрун еще раз движением руки задержал Николая, прислушиваясь. Неоконченный спор перешел в новую фазу. Уманцев уже молчал, Ро опять раза два бросал реплики, — смысл их не дошел до сознания Николая, но ухо уловило язвительность тона. Комбаров стоял перед Ро, покачиваясь, лицо его было злобно и упрямо. Николай вдруг сообразил, что Комбаров уже заметно пьян, что глаза его застилаются каким-то стеклянным занавесом, который он силится снять, то моргая, то выкатывая яблоки.

— Довольно, — выдавил он — вообще... воскресного университета. Все это ерунда... Ерунда!..

— Виноват, — прервал Ро, сильно покраснев, — вы это о чем изволите?..

— Ну вот — об этой морали и о всем прочем. Ну, да, вы моральнее нас всех. Мы, пожалуй, тоже у этой культурки не на кухне воспитывались, но... вы еще культурнее!

— Вы — пьяный пошляк, — ответил Ро, коротко подумав и брезгливо почистил свой рукав.

Комбаров вдруг выпрямился и — это было ясно видно — совершенно отрезвел. Лево́й рукой он держался за спинку высокого дубового стула — рука его дрогнула. Но в это же мгновение прямо перед ним вырос Волковой.

— Насчет управдельши-то как же? Давайте адресок, давайте! — надел он на Комбарова, отстраняя его понемногу в сторону. — Я ведь не ради шутки — дозарезу нуждаюсь. Одним рейсом бы с ней и отплыли...

— Подождите... — отстранялся тогда через плечо Волкового не спуская глаз с Ро, — позвольте...

— Нет уж, давайте сейчас же! — настаивал Волковой. — Я никогда ничего не откладываю...

— Будьте другом, — сказал Цупрун быстро Захарову, — уведите с собою этого петушка. Ничего не может быть

глупей, как дать им разругаться, — они оба нужны.

Цупрун отошел к Ро, а Николай очутился в одной группе с Волковым и Комбаровым.

В это время все присутствующие уже встали и заторопились, — наметившаяся ссора послужила общим сигналом к уходу.

Внутренне дрожа от ярости на бездарность положения, Николай хмуро напомнил Комбарову:

— Вы давеча назвались мне попутчиком — я ухожу.

— Но позвольте же, — все пытался тот обойти Волкового, потрясая перхотной своей прольсью, — я хочу проучить этого гражданина!..

— Пойдемте, пойдемте, чего уж тут, — возражал Волковой сполна грубо и даже глумливо, все время напирая к выходу.

Кто-то набросил Комбарову на плечи кашне и пальто. Все сгрудилось в тесной передней. В последнюю минуту появился Цупрун, вдруг исправив положение своим спокойным, доброжелательным тоном.

Лифт провалился сквозь этажи.

— ... Вот на землю кита Толь-ызь выбросил. Когда выбросил, люди Такр-во юколу резать могли. Это все я, Пур-кав, сделал... Я один из Такр-во как надо знаю!..—так пел на рассвете Охотского моря старый гиляк.

(Продолжение следует)

Петр Первый

Роман

А. Л. ТОЛСТОЙ

Книга вторая

(Продолжение ¹)

3

...И наконец вся эта коалиция — не более, чем листок бумаги, способный испугать почтенных сенаторов, не вашу пылкую отвагу... Датчане не посмеют нарушить мира, — верьте женской проницательности. Царь Петр связан переговорами о мире, — он не выступит, пока турки не развяжут ему рук. Но этого не случится. Дьяк Украинцев роздал визирям все свои шубы на соболях, — ему больше нечего сказать. Царь Петр стремился напугать турок спуском нового воронежского флота, — вместо того заставил весьма насторожиться англичан и голландцев. Их послы в Константинополе и слышать не хотят о русских кораблях в Черном море. Всех непримиримее польский посол Лещинский, смертельный враг Августа. Он умолял султана именем Речи Посполитой помочь полякам добыть у русских Украину с Киевом и Полтавой.

Вот последние новости, или сплетни, — как вам больше понравится, — ими полна Варшава. Мы с Августом тратим немалые деньги на балы и развлечения, — увы, популярность короля продолжает падать. Он в бешенстве и ставит себя в смешное положение, волочась за одной русской простушкой...

Итак, попутный ветер истории наполняет ваши паруса, свистит в снастях о близкой славе. Сейчас или никогда. Преданная вам Аталия».

Карл получил это письмо в Кунгсёрсском лесу. Читал, прислонясь к дереву. Шумели сосны, летели низкие облака в мартовском небе. Внизу, в туманном ущельи, тявкали гончие собаки, — по их нетерпеливым голосам было ясно: гнались за большим зверем. Старик егерь, уминая снег между камнями, спустился на несколько шагов, выжидательно обернулся. Король снова и снова перечитывал письмо. Гонец, доставивший его, держал под уздцы коня, косившего лиловым глазом на собачьи голоса.

Из ущелья показался олень; сильными прыжками поднимался по откосу. Карл не поднял мушкета. Олень, закинув ветвистые рога, промчался между деревьями. Шагах в пятидесяти раздался выстрел, — там, где на номере стоял французский посол. Карл не обернулся, — письмо трепалось в его покрасневшей руке. Егерь, войдя морщинами подбородка в кожаный воротник, вернулся на старое место — позади этого юноши с маленькой головой и узким лицом, худого, как жердь, в лосяном кафтане с длинной спиной.

— Кто передал вам это письмо? — спросил Карл.

Офицер, не выпуская узды, подошел на шаг:

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 2, 3, 5, 6, 7-8, 11 и 12 1933 г.

— Граф Пипер, и на словах приказал сообщить вашему величеству королю о крайне важных вестях, еще не известных сенату.

У румяного толстолицего офицера серые глаза были вопросительны и дерзки. Карл отвернулся. Эти господа дворяне, вот так вот, все выжидающе глядели на него, — вся гвардия, как свора голодных гончих.

— Что именно приказано вам передать мне?

— Датские войска — пятнадцать или двадцать батальонов — перешли голштинскую границу.

Карл медленно скомкал письмо Аталии. Тявканье гончих опять приближалось. Из лесного ущелья слышался медвежий рев. Карл поднял мушкет, прислоненный к дереву, и — через плечо — офицеру:

— Перемените коня, возвращайтесь в Стокгольм. Скажите графу Пиперу, что мы здесь веселимся, как никогда. Обложено три матерых медведя. Я приглашаю на облаву графа Пипера, генерала Реншельда, генерала Левенгаупта, генерала Шлипенбаха. Ступайте и топчитесь.

На всегда бледном лице его проступили красные пятна. Срывающимся пальцем взводил курок мушкета. Решительно зашагал к обрыву, шлепая мерзлыми голенищами. Офицер с усмешкой глядел на его мальчишескую, сутулую спину, на самолюбиво напряженный затылок, — вскочил в седло, скачками по глубокому снегу скрылся в лесу.

Убили и загнали в сети четырнадцать медведей. Карл забавлялся, как мальчик, отчаянным ревом попавших в сети медвежат, — их вязали сыромятными ремнями, чтобы отослать в Стокгольм. Пипер, Реншельд, Левенгаупт и Шлипенбах, прибывшие в этот день на рассвете, — в кожаных кафтанах и шляпах с тетеревиным перышком, — посадили каждый на рогатину по зверю. Французский посол Гискар собственноручно застрелил чудовище семи футов росту.

Утомленные охотники возвратились в бревенчатый замок над водопадом, шу-

мевшим во льдах на дне глубокого ущелья. В столовой было жарко от пылающих сосновых сучьев. Со стен поблескивали стеклянные глаза оленьих и лосиных голов. Гискар, — низенький, налитой красным вином, — подкрутив усы, взмахивая короткими руками, воодушевленно рассказывал, как зверь, ураганом раскидывая снег, выскочил из берлоги и уже готов был пожрать его: «Я уже чувствовал на лице его зловонное дыханье! Но я удачно отскакиваю, я целюсь... Осечка... Мгновенно вся жизнь проходит перед моими глазами... Хватаю запасной мушкет...»

Молчаливые шведы слушали, пили и улыбались. Карл во время ужина только щипал хлеб и не отпил даже глотка ароматного пенного эля. Когда французский посол с трудом был уведен в опочивальню, Карл приказал поставить у дверей часового, придвинул стул к огню. Пипер и генералы близко придвинулись к его стулу.

— Я хочу знать ваше мнение, господа, — сказал он и твердо сжал губы. Мальчишеский обветренный нос его пылал от огня.

Генералы опустили лбы. Во всяком деле, а в таком особенно, нужно было хорошо подумать. Пипер медленно потер квадратный подбородок:

— Сенат боится и не хочет войны. Накануне нашего отъезда было чрезвычайное заседание. Слух о вторжении польского короля в Ливонию и — особенно — начало враждебных действий датчан взволновали весь Стокгольм. Судовладельцы, лесопромышленники и хлебные торговцы послали депутацию в сенат. Они были внимательно выслушаны, и среди сенаторов не раздалось ни одного голоса за войну. Решено отправить послов в Варшаву и Копенгаген — кончить миром во что бы то ни стало.

— А мнение о сем их короля? — спросил Карл.

— Сенат, видимо, полагает: честолюбие вашего величества достаточно удовлетворено охотой на медведей.

— Превосходно! — Карл, как рысь, быстро повернул узкое лицо к Реншельду.

Генерал Реншельд потянул воздух через большие ноздри вздернутого носа:

— Думается мне, — проговорил он, честно глядя круглыми, светлыми глазами, — думается мне, в армии немало молодых дворян, которым тесно в Швеции... Добыть шпагой славу — найдутся охотники. Если король поведет на край света, пойдем на край света. Шведам — не в первый раз...

Прямой рот его добродушно усмехнулся. Генералы подтвердительно покивали: «Не в первый раз отплывать от родных скал в чужие земли за золотом и славой». Когда качанье головами окончилось, Пипер сказал:

— Сенат не даст ни фартинга на войну. Королевская казна пуста. Это нужно обсудить.

Генералы молчали. Карл кусал губы. Дымилась подошвы его ботфорт, лежавшие на решетке очага.

— Деньги нужны только на первые дни — посадить войско на корабли и перевезти в Данию. Эти деньги мне даст французский посол. Он мне их даст потому, что иначе я их возьму у англичан... Дальнейшие наши военные операции должен оплатить датский король. Он заплатит.

Генералы вплотную придвинулись к стулу короля, подтверждая: «Так, так». Пипер быстро двигал кожей на лбу: снова приходилось удивляться этому мальчику.

— Если бы даже мы и не решились на эту войну, державы нас заставят, — сказал Карл. — Сделаем лучше: нападем первые... Великолепный Август мечтает о великой империи. У него так же нет денег, как и у меня, — он выпрашивает у царя Петра червонцы и пропивает их с девками. Из Августа мог бы выйти неплохой балаганный актер. Я постараюсь убедить его в этом... Менее всего меня пугает московский царь: он лишится союзников прежде, чем научит свои мужицкие полки стрелять из мушкета... Господа, я хочу предложить на обсуждение план...

В тот же вечер над развернутой картой, лежавшей у Карла на коленях, три генерала составили диспозицию: нарвский губернатор Веллинг принимает на-

чальство над шведскими войсками в Эстляндии и Лифляндии и идет на помощь Риге; Левенгаупт и Шлипенбах, под видом маневров, стягивают гвардию и армию в Ландскрону — военный порт в Зунде; Пипер делает все нужное в Стокгольме, чтобы отвести внимание сената от этих приготовлений.

В очаг подбросили сосновых корневещ, от двери сняли часового. Был накрыт ужин. Хорошо вздремнувший месть Гискар появился в столовой, потирая руки. Карл предложил ему место у огня и сказал, покашливая, будто фразы застревали в горле:

— Дорогой друг, вы можете быть уверены в моей горячей и преданной любви к моему брату и вашему повелителю... (Гискар медленнее тер ладонь о ладонь, настораживаясь.) Швеция останется верным стражем французских интересов в северных морях. В споре за испанский престол я отдаю мою шпагу Людовику. (Гискар низко склонился, разведя коротенькие руки.) Но не хочу скрывать: англичане делают все, чтобы склонить Швецию на свою сторону... Кроме короля, в Швеции есть сенат, и я не читаю их мыслей... Увы, нынешний мир полон противоречий... Сегодня я узнаю — английский флот появился в Зунде... Чтобы предотвратить роковую ошибку, мне нужны вещественные доказательства вашей дружбы, месть Гискар...

Ревущих медвежат везли в телеге по улицам Стокгольма. Сзади верхами ехал Карл, охотники и егеря. Трубили медные рога, лаяли собачьи своры. Добрые люди, подходя к окнам, качали головами: «Не слишком-то удачное время выbral король для развлечений».

Тревожные слухи волновали город, привыкший к многолетнему миру. В водах Зунда появился английский и голландский флоты, — зачем? Не итти ли на соединение с датчанами, чтобы покончить со шведским могуществом в северных морях? Необ'ятная Польша грозит смести с побережья Балтики шведские гарнизоны. На востоке тысячемильная московская граница почти не защищена, если не считать крепостцы

Ниеншанц, близ устья Невы, да крепости Нотебург у выхода из Ладожского озера.

Страшно было помыслить — воевать едва ли не со всей Восточной Европой, располагая небольшой армией в двадцать тысяч солдат и сумасбродным королем. Мир, мир конечно, хотя бы поступиться меньшим, чтобы спасти основное.

Карл появился в сенате, не сняв охотничьего кафтана, — с надменной рассеянностью выслушал отеческие речи о деснице божьей, занесенной в этот час над Швецией, о благоразумии и добродетели. Играя костяной рукояткой кинжала, ответил, что занят устройством весеннего карнавала в замке Кунгсёр и только после праздника выскажется по иностранной политике. Старейший из сенаторов, поднявшись, с низким поклоном и в отменных выражениях пожелал королю беспечных развлечений.

Король пожал плечами и вышел. Через несколько дней он действительно уехал в Кунгсёр. Там, переменяв верховых лошадей, сопровождаемый Реншельдом и десятком офицеров гвардии, поскакал в Ладскрону. В пути, почти без отдыха, не щадил ни лошадей, ни людей. Как будто в него вселился другой человек, — одна мысль завладела его страстями и волей.

В безоблачное весеннее утро шведские суда с пятнадцатую тысячами отборного войска вышли в Зунд. К полудню на полосе солнечной зыби показались черные, будто висящие между краем моря и светлого неба, очертания кораблей, шняв и галер. Веяли сотни вымпелов. Это был дрейфующий англо-голландский флот.

Когда на шведском головном фрегате побегал на мачту королевский штандарт, круглые облачка дыма стали отделяться от корабельных бортов, показались пушечные выстрелы, дым пеленою понесло на юг. Английский и голландский адмиралы, расшитые золотом, пошли на шлюпках к головному фрегату.

Карл, ожидая, стоял на мостике, — на нем был суконный, серо-зеленый кафтан, застегнутый маглухо до черного галсту-

ха, и смазные ботфорты с широкими раструбами, приспособленные для всех превратностей судьбы. Под маленькой, сплюсненной с боков шляпой парик его заплетен в косу и вложен в кожаный мешочек. Рука опиралась, как на трость, на длинную шпагу. Таким он отправился в долгий путь — завоевывать Европу.

Адмиралы, много наслышанные про этого испорченного юношу, были удивлены его необыкновенной решительностью и сдержанностью. Он заговорил о нестерпимых обидах, нанесенных ему польским и датским королями, и великодушно согласился принять помощь англо-голландского флота, дабы наказать датчан за вероломство.

В тот же день три соединенных флота, покрыв парусами море, взяли курс на Копенгаген.

4

Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, — пахло травой, дымом. Издалека, в Чемецкой слободе, бренькал колокол на кирке.

Петр сидел у поднятого окошка, — свечи еще не зажигали, — дочитывал челобитные. В глубине спальни, у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов — кузнец из Тулы.

«... Истинно, государь, народи ослабевают в исполнении, и чуть послабже, — думают, что всё-де станет по-старому... (Писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов.) Гостиной сотни купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих и в сказке писал, будто всех пожитков у него только тысячи на две рублей и разорен всеконечно. Мне известно — у Матвея, — на дворе в Зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, — зарыто дедовских еще пожитков тысяч сорок золотых червонных. И он, Матвей, человек непостоянный, — пьянством истощает богатство, а не умножает, и если его не обуздать, истребит до конца. Великий государь, укажи послать к Матвею в Зарядье подъячего да человек двадцать солдат, и он те золотые деньги вынет».

Петр потрянул головой, подожил челобитную на подоконник, налево, — к исполнению. Следующая была от судьи, Мишки Беклемишева, написана дрожащей рукой, — разобрал только: «...служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, и сказано мне быть в Московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно... От такого бескорыстного сиденья одолжал и охудал вконец. Великий государь, смилуйся, — за бескорыстное сиденье отпусти меня воеводой хоть в Полтаву...»

Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг, направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службы, не хотят быть у строения морских судов и у лесной работы и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки... На углу бумаги пометил: «Вызвать белгородского и севского воевод, допрощить с пристрастием».

Была слезная челобитная государственных крестьян на кунгурского воеводу. Сухотина, что он-де стал брать со всякого двора сверх всех даней по восьми алтын себе в корысть и велит избы и бани запечатывать, — делай что хочешь, — пора студеная, многие рожаницы рожают в хлеву, младенцы безвременно помирают, а иных женщин воевода в земской избе берет за грудь и дычки им жмет до крови и по-иному озорничает и увечит.

Петр скребанул в затылке. Вопль стоял по всей земле, — уберут одного воеводу, другой хуже озорничает. Где взять людей? Вор на воре. Начал писать, брызгая гусиным пером: «Послать в Кунгур...»

— Никита, — обернулся, — тебя поставить воеводой, воровать будешь?

Никита Демидов, не отходя от двери, осторожно вздохнул:

— Как обыкновенно, Петр Алексеевич, — должность такая.

— Людей нет. А?

Никита пожал плечом, — дескать, конечно, с одной стороны, людей нет...

— На дыбе его ломаешь... Жалованье большое кладешь... Воруют... (Макал, писал, хотя было совсем темно.) Совести нет. Чести нет... Шутов из них понаделал... Отчего? (Обернулся.)

— Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич, смелее...

— Но, но, ты — смелый...

— Плакать хочется, Петр Алексеевич... Горюешь — людей нет... А у меня с горячего дела взяли одиннадцать лучших кузнецов в солдаты...

— Кто взял?

— Твоей милости боярин Чемаданов, — прибыл в Тулу с дьяками для переписи... (Никита замаялся, всматриваясь, — лица Петра не разобрать: он весь повернулся от окна.) От тебя чего скрывать, такие дела были в Туле! Кто мог заплатить, все откупились... Заслал он и ко мне на завод под'ячего... Будь я в Туле тогда, отступного пятисот рублей не пожалел бы за таких мастеров.. Сделай милость, уж как-нибудь... Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких...

Петр — сквозь зубы:

— Подай челобитную...

— Слушаю... Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся конечно...

— Ладно... Говори дело...

Никита осторожно подошел. Дело было великое. Этой зимой он ездил на Урал, взяв с собой сына, Акинфия, и трех знающих мужичков — раскольников из Даниловой пустыни, промысловых хребты от Невьянска до Чусовских городков. Нашли железные горы, нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежали втуне. Кругом — пустыня. Единственный чугунолитейный завод на реке Нейве, построенный два года тому назад по указу Петра, выплавлял едва-едва полсотни пудов, и ту малость трудно было вывозить по бездорожью. Управитель, боярский сын Дашков, спился от скуки, невянский воевода Протасьев спился же. Рабочие, кто здоровее, были в бегах, оставались маломощные. Рудники позавалились. Кругом стояли вековые леса, в прудах и речках, — черпай ковшом, промывай золото хоть на бараньей шубе. Здесь было

не то, что на гульском заводе Никиты Демидова, где и руда тощая, и леса мало (с прошлого года запрещено рубить на уголь дубы, ясень и клен), и каждый крючок-под'ячий виснет на воротах. Здесь был могучий простор. Но подступиться к нему — трудно: нужны большие деньги. Урал безлюден.

— Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Говорил я со Свешниковым, с Бровкиным, еще кое с кем... И они жмутся — итти в такое глухое дело интересанами... И мне обидно, — вроде приказчика, что ли у них... Трудов-то сколько надо положить — поднять Урал...

Петр вдруг топнул башмаком:

— Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь... (Никита живо присел на край стула, впился в Петра запавшими глазами.) Мне нужно нынче летом сто тысяч пудов чугунных ядер, пятьдесят тысяч пудов железа. Мне ждать некогда, покуда — тары да бары — будете думать... Бери Невьянский завод, бери весь Урал... Велю!.. (Никита выставил вперед цыганскую бороду, и Петр придвинулся к нему.) Денег у меня нет, а на это денег дам... К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин... Но, — смотри... (Поднял длинный палец, два раза погрозил им.) Шведам плачу железо — по рублю пуд, будешь ставить мне по три гривеника...

— Не сходно, — одними губами быстро проговорил Никита. — Не выйдет. Полтинничек...

И он смотрел, лупя синеватые белки, и Петр с минуту бешено смотрел на него. Сказал:

— Ладно. Это потом. И еще, я тебя, вора, вижу... Вернешь мне все — чугуном и железом — через три года... Ей-ей, ты смел... Запомни, — ей-ей! — изломаю на колесе...

Никита тихо поперхал, проговорил одним горловым свистом:

— Эти денежки я тебе раньше верну, — ей-ей...

Случился же такой вечер, — некуда себя деть... Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитан-

ные бумаги, лег на подоконник, высунулся в окно.

Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев. Туманчик вился над травой... Петр забирал ноздрями густой воздух, — пахло набухшими соками. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер каплю.

В весенней тишине все спало настороженно. Нигде — ни огонька, только издали, из солдатской слободки, — протяжный крик часового: «Послуууушивай!». В теле — истома, будто все связано. Слышно, как шибко стучит сердце, прижатое к подоконнику. Только и оставалось — ждать, стиснув зубы.

Ждать, ждать... Как бабе какой-нибудь, в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чудящийся топот... Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меншикову, — не поехал... Там, чай, пируют! Никогда еще не было так трудно, вся сила в том сейчас, чтобы ждать, — уметь ждать... Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись, — коготки и завязали под Ригой... И Христиан датский не дождался, — сам виноват...

— Сам виноват, сам виноват, — бурчал Петр, таращась на темные кусты сирени, отяжелевшей после дождя. Там кто-то возился, — денщик, должно быть, с девчонкой... Сегодня приехал Карлович из Польши с тревожными вестями: шведский львенок неожиданно показал зубы... С огромным флотом появился перед фортами Копенгагена, потребовал сдачи города. Устрашенный Христиан, не доводя до боя, начал переговоры. Карл тем временем высадил пятнадцать тысяч пехоты в тылу у датской армии, осаждавшей голштинскую крепость. Шведы ворвались в Данию стремительно, как буря. Ни свои, ни чужие не могли и помыслить, чтобы сей шалун, изнеженный юноша, в короткое время проявил разум и отвагу истинного полководца.

Карлович еще передал просьбу Августа — прислать денег: Польшу-де можно поднять на войну, если передать примасу и короному гетману тысяч двадцать червонцев для раздачи панам.

Карлович со слезами молил Петра — не дожидаться мира с турками, выступить...

От этих рассказов вся кожа начинала чесаться. Но — нельзя! Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать, ждать своего часа... Давеча приходил Иван Бровкин, рассказывал: в бурмистерской палате был великий шум: Свешников и Шорин тайно начали скупать зерно, — гонят его водой и сухим путем в Новгород и Псков. Пшеница сразу вскочила на три копейки. Ревякин им кричал: что-де безумствуете, — Ингрия еще не наша, и когда будет наша? Напрасно зерно сгноите в Новгороде и Пскове... И они отвечали ему: осенью будет наша Ингрия, по первопутку повезем хлеб в Нарву...

Мокрые кусты вдруг закачались, осыпались дождем. Метнулись две тени... «Ой, нет, миленький, не надо, не надо...» Тень пониже пятилась, побежала легко, — босая... Другая, длинная (Мишка, денщик), зашлепала вслед ботфортами... Под липой встали рядом и — опять: «Ой, нет, миленький...»

Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине, за семью ивами, поднималась затянутая туманами большая луна. На равнине выступали стога, древесные кущи, молочная полоса речонки. Все будто от века — недвижимое, неизменное, налитое тревогой... И эги, под черной липой, две тени торопливо шептали все про одно...

— Балуи! — басом гаркнул Петр. — Мишка! Шкуру спущу!

Девчонка притаилась за липовым стволом. Денщик — минуты не прошло — пронесся на цыпочках по скрипучей лестнице, поскребся в дверь.

— Свечу, — сказал Петр. — Трубку.

Курил, ходил. Взяв со стола бумагу, близко подносил к свече, бросал. Ночь только еще начиналась. Дико было и подумать — лечь спать... Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило в свежую ночь...

— Мишка! (Денщик опять вскочил в дверь, — лицо толстошее, курносое, глаза одурелые.) Ты смотри, — с девками! Что это такое! (Придвигался к нему, Мишка уперся в стену затылком, но видно: хоть бей его чем попало, —

все равно без сознания.) Беги, мне чтоб подали одноколку. Поедешь со мной.

Луна поднялась над равниной, в сизой траве поблескивали капли. Конь, похрапывая, косился на неясные кусты. Петр ударял его возжами. С колес кидало грязью, разбрызгивались зеркальные колеи. Пронеслись по спящей улице Кукуя, где душной сладостью — так же, как много лет назад, — пахли цветы табака за палисадниками. В окнах у Анны Монс, за пышно разросшимися тополями, светились отверстия — сердечки, вырезанные в ставнях, в каждой половинке.

Анна Ивановна, пастор Штрумпф, Кенигсек и герцог фон-Круи мирно, при двух свечах, играли в карты. Время от времени пастор Штрумпф, зарядив нос табаком, вытаскивал клетчатый платок и с удовольствием чихал, — увлажненные глаза его весело обводили собеседников. Герцог фон-Круи, рассматривая карты, сосредоточенно моргал голыми веками, висящие усы, побывавшие в пятнадцати знаменитых битвах, выпячиваясь, подвезжали под самые ноздри. Анна Ивановна, в домашнем голубом платье, с голыми — по локоть — располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке, слабо морщила лоб, — соображая в картах. Кенигсек, подтянутый, нарядный, напудренный, то нежно улыбался ей, то шевелением губ незаметно старался помочь.

Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью и кардамоном, — что кладут в хлебцы, — где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы. «Мы скромно говорим — трефы» — вздыхал пастор Штрумпф, поднимая взор к потолку. «Пики» — говорил герцог фон-Круи, будто вытаскивал до половины ржавую шпагу. Кенигсек, поднявшись, чтобы взглянуть из-за спины Анны Ивановны в ее карты, произносил сладко: «Мы опять червы».

Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны. Мужчины то-

ропливо поднялись. Как ни владела собой Анна Ивановна, — и вскрикнула радостно, и, вся засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к левой груди, полуприкрытой косыночкой, — все же ему поморщился мелькнувший отсветом ужас в ее прозрачно-синих глазах. Петр сутуло повернулся к дивану:

— Играйте, я тут — покурю.

Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты:

— Забавлялись скуки ради... Ах, Питер, как приятно, — вы всегда приносите радость и веселье в этот дом... (Поробячь похлопала в ладоши.) Будем ужинать...

— Есть не хочу, — пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно отчего злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пальцы с клубками шерсти... Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхен (раньше этой складочки не замечалось).

— О, Питер, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру... (И — опять — что-то жалкое в глазах.)

Он молчал. Пастор Штрumpf, взглянув на стенные часы, затем на свои карманные: «Мой бог, уже третий час», — взял с подоконника молитвенник. Герцог фон-Круи и Кенигсек также взяли за шляпы. Анхен голосом, более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами:

— О, не уходите...

Петр засопел, — из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться. Вскочил. Стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. Анхен начала дышать, чаще, чаще, закрывала лицо платочком. Кенигсек на дыпочках поспешил за стаканом воды. Пастор Штрumpf осторожно качал головой. Герцог фон-Круи у стола перебрасывал карты.

Пар шел от деревянных крыш, от просыхающей улицы, в лужах — синяя бездна. Звонили колокола, — было воскресенье, красная горка, кричали пирожники и сбитенщики. Шатался праздничный народ, все большей частью — пьяные. На облупленной городской стене,

между зубцами, парни в новых рубахах размахивали шестами с мочалой, — гоняли голубей. Белые птицы трепетали в синеве, играя, перевертывались, падали. Повсюду за высокими заборами, под умытыми за ночь липами и серыми ивами, качались на качелях, — то девушки, развевая косами, подлетали между ветвей, то лысый старик, озоруя, качал толстую женщину, сидевшую, повизгивая, на доске.

Петр ехал шагом по улице. Глаза у него запали, лицо насупленное. Солнце жгло спину. Мишка-денщик, всю ночь прождавший его в одноколке, вскидывал головой, чтобы не задремать. Народ раздавался перед мордой коня, — только редкий прохожий, узнав царя, рвал шалку, земно кланялся вслед.

От Анны Монс этой ночью Петр поехал к Меншикову. Но только поглядел на большие занавешенные окна, — оттуда слышалась музыка, пьяные крики: «Ну их к чорту», — хлестнул вожжами, выкатил со двора и прямо повернул в Москву, в Стрелецкую слободу. Ехали шибкой рысью, потом он погнал вскачь.

В слободе остановились у простого двора, где над воротами торчала жердь с пучком сена. Петр бросил Мишке возжи, постучал в калитку. От нетерпения топтался по хлюпающему навозу. Застучал кулаками. Отворила женщина. (Мишка успел разглядеть — рослая, круглолицая, в темном сарафане.) Ахнула, взялась за щеки. Он, нагнувшись, шагнул во двор, хлопнул калиткой.

Мишка, стоя в одноколке, видел, как за воротами, в бревенчатой избе, затеплился свет высоко, в двух окошечках. Потом эта женщина торопливо вышла на крыльцо, позвала:

— Лука, а Лука...

Стариковский голос отозвался:

— Аюшки..

— Лука, никого не пускай, — слышишь ты?

— А ну — ломиться будут?

— А ты что, — не мужик?

— Ладно, я их рожном.

Мишка подумал: «Все понятно». Через небольшое время из переулка вышли

трое в стрелецких колпаках, оглядели пустую улицу, залитую луной, и — прямо к воротам. Мишка сказал строго:

— Проходите...

Стрельбы подошли недобро к одноколке:

— Что за человек? Зачем в такой час в шлюбе?

Мишка им — тихо, угрожающе:

— Ребята, давайте отсюда скорей...

— А что? — злобно крикнул один, пьянее других. — Чего пугаешь? Знаем, ты откуда... (Другие двое ухватили его за плечи, зашептали.) Голова-то у тебя тоже на нитке держится... Погодите, погодите... (Товарищи уже оттаскивали его, не давали, чтобы он засучил рукав.) Не всех еще перевешали... Зубы у нас есть... Не торчать бы тому на коле... (Ему ударили по шее, — уронил шапку, — уволокли в переулочек.)

Свет в окошечках скоро погас. Но Петр не выходил. За воротами Лука время от времени начинал сонно постукивать в жолотушку. Скоро настала такая тишина, — уморившийся конь, и гот повесил голову. Мишка сквозь дрему услышал, как кричат петухи. Лунный свет похолодел. В конце улицы желтела, розовела заря. Во второй раз он проснулся от шопота, — кругом одноколки стояли мальчишки, иные без штанов. Но только он открыл глаза, — все разбежалось, махая рукавами, мелькая черными пятками. Солнце было уже высоко.

Петр вышел из калитки, надвинув на глаза шляпу. Густо кашлянул, сел, взял возжи. «Вот и с плеч долой» — пробасил, тронул рысью.

Когда выехали из Москвы на зеленое поле, — вдали острые кровли Немецкой слободы, за ними лежащие за краем земли снежные облака, — Петр сказал:

— Так-то вашего брата — денщика... А еще станешь по ночам баловаться, в чулан буду запирать. — И... засмеялся, сдвинул шляпу на затылок.

Нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы, — шли они вразброд, сталкиваясь багнетами. Сержант — отчаянно: «Смирна!» Петр вылез из одноколки, брал за пле-

чи одного, другого солдата, поворачивал, шупал корявое сукно.

— Дерьмо! — крикнул, выкатывая глаза на угреватого сержанта. — Кто ставил кафтаны?

— Господин бонбардир, кафтанцы выданы на сухаревой швальне.

— Раздевайся! — Петр схватил третьего — востроносого, тощего солдата. Но тот будто задохнулся ужасом, глядя в нависшее над ним круглое, со щетинкой черных усов, лицо бонбардира. Близ стоящие товарищи выдернули из рук у него ружье, расстегнули переязь, стащили с плеч кафтан. Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, — погнал в сторону меншикова двorca.

Раздетый солдат, дрожа всеми суставами, очарованно глядел на удаляющуюся по травянистой дороге одноколку. Сержант толкнул его тростью:

— Голиков, вон из строя, плетись назад... Смиррна (разинув пасть, закинулся, заорал на все поле)! Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку... Шагом, сено — солома, сено — солома...

Сукно на сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной, у Кузнецкого моста. Интересными в дело вошли Меншиков и Шафиров. Преображенский приказ уплатил вперед сто тысяч рублей за поставку кафтанного сукна. Меншиков хвалился Петру, что сукнецо-де поставят они не хуже гамбургского. Поставили дерюгу пополам с бумагой. Алексашка Меншиков в воровстве рожден, вором был и вором остался. «Ну, погоди» — думал Петр нетерпеливо дергая возжами.

Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шума (шумели до седьмого часу); в синих глазах — муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний дякон, по прозвищу Педрича — зверогласный и звероподобный мужчина — без вершка сажень росту, в обхват — как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку:

— Ты огурчик пожуй, — накося...

— Иди к чорту...

Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь — полстакана — или накинуть пивки на загривок...

— Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих жапитков...

— Иди ты туда же...

Дьяков первый увидел в окошко Петра: «Никак грозен пожаловал!» Не успели спохватиться, Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо — к Александру Даниловичу, — ткнул ему под нос солдатский кафтан:

— Это лучше гамбургского? Молчи, вор, молчи, не оправдаешься.

Схватил его за грудь, за кружевную рубаху, дотащил до стены и, когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны в сторону, —

у того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и ту трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернувшись к Шафирову, — этот смиренно стоял на коленях около кресла. Петр только подышал над ним:

— Встань (Шафиров вскочил.) Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил... Даю неделю сроку. Не продашь — быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?

— Продам, много раньше продам, ваше царское величество...

— А мне вы с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен.

— Мин херц, господи, — сказал Алексашка, вытирая сопли и кровь, — да когда же мы тебя обманывали... Ведь с этим сукнецом-то что вышло...

— Ладно... Вели — завтракать... Да пошли за господами министрами, — дела весьма важные...

(Продолжение следует)

Труд рапортует

ЛАХУТИ

Сегодня что за день?

Весь мир в броженьи.

Сегодня что за день?

Народ в движеньи.

Повсюду вихрь и роко́т, и бурление.

Ты скажешь: началось землетрясение.

Иль это ленинские дни пришли,

Дни траура трудящихся земли?

Оделся воздух панцырем из стали,

Столицу самолеты в шлем убрали,

Рабочим гимном огласились дали,

Деревья в хлопьях снега ль, серебра ли...

Колхозник там иль стройный ствол

сосны?

Несет он снег иль хлопок Ферганы?

Вот пролетарский, львиный род

приходит,

Нахмуря лоб и сжавши рот, приходит,

Хозяин туч, земель и вод приходит,

Почтить вождя за взводом взвод

приходит.

Средь них гигант, чье темя в

облаках,

С мечом у бедер, с книгою в руках.

Гигант, над миром высоко взнесенный,

Под кем скакун победы укрощенный,

Гигант, чье имя — Труд Освобожденный,

Труд-Повелитель, Труд Вооруженный

С рукой простертой к мрамору

стоит

И Ленину громово говорит:

— Ты помнишь, как меня рукою

твердой

Из подземелья вывел на свободу?

При всем бесстрашии ленинской

природы

Был омрачен печалью лоб твой гордый

Затем, что был тогда я нищ и

наг

И мощью в мире не звучал мой

шаг.

Я гибнул, ты сорвал с меня оковы,

Ты воскресил меня могучим зовом,

Из тьмы веков гнетущей и суровой

Мне путь открыл к цветущей жизни

новой.

Теперь, взгляни, я—вольный вели-

кан,

Мой дом — маяк трудящихся всех

стран.

Ты помнишь, был я сумрачным и

хилым,

Безрадостным, истерзанным, унылым,

Игрушкой был в руках враждебной силы,

На плечи мне ярмо раба давило.

А ныне, полон мужества и сил,

Я громом славы землю огласил.

Я тот, кто в тюрьмах скован был

цепями,

Я тот, в ком гнева бушевало пламя,

Я тот, кто стал лицом к лицу с врагами,

Я тот, кто удержал свободы знамя.

Теперь я тверже стал гранитным

скал,

Я властвую, и вот мои войска!

Из молнии мой дух, из стали тело.

Я мудр, моим познаниям нет предела,

Свободен мой народ, единство цело,

Напор врага готов отбить я смело.

Махну, и все идет на лад иной.

Дерзну, и опрокину шар земной. —

Чтоб все цвело в стране моей
 безбрежной,
 Шагну в пески пустынь и в север
 снежный.
 Земля устанет под стопой железной, —
 Я звезды захвачу рукой мятежной.
 Не мой ли в Каракум ступил отряд?
 Не я ль закинул к звездам
 стратостат?

Семнадцать лет моих — что семь
 столетий.
 Победами я славен в целом свете.
 Тоски и злобы полон перед смертью,
 Скрежещет лютой враг, что блага эти —
 Уверенность шагов, величье дел —
 Достались мне, а не ему в удел.

Соперник тот, что мне сулил паденье,
 Меня холодным обливал презреньем,
 Беду готовил мне и поражение, —
 Перед гигантом ныне в изумленьи.
 Во мне он волю, силу познает
 И поневоле руку подает.

Все, что мне партия твоя внушала,
 Рука моя бестрепетно свершала,
 Препятствия сметала, сокрушала,
 Направо и «налево» поражала.
 Не отступлю и дальше я в борьбе,
 Дорогу к счастью проложу себе.

Ты видел, помнишь боль мою былую,
 Взгляни ж теперь на эту мощь
 стальную.

Еще расти мне беспредельно, чую.
 Но кончить мне пора. Теперь пойду я

К ВКП(б) — в ее железный штаб,
 К тому, с кем вместе ты свершал
 Октябрь.

Пойду я к Сталину, он кормчий смелый,
 Твое он стойко продолжает дело,
 Меня возносит он над миром целым,
 Он ясный глаз мой, он мой разум
 зрелый.

С вождем, как Сталин, партия
 твоя —
 Как крепость, неприступная в боях.

Пойду, одолевая знания кручи
 В броне науки, техники могучей.
 Строй тракторов и армии летучей
 Перед собою двину грозной тучей,
 И двинутся со мною, как один,
 Таджик и руссокий, тюрк и армянин.

Пойду, перед Семнадцатым предстану.
 — Эй, ленинская рать! — победно
 гряну —

Я к твоему пришел недаром стану.
 Моих усилий плод благоуханный,
 Вот он, гляди: ликует мой народ,
 И славу жизни молодость поет.

Веди меня вперед, в сиянье весен.
 Я, жизни ствол, могуч и плодоносен,
 С тобою ввысь расту, прекрасен, грозен,
 Несокрушим, велик, победоносен.

Я старый мир ударами крушу,
 Я новый мир ударно возношу!

Январь 1934.
 Москва

Перевела с персидского Ц Бану.

Записки современника

И. ЛЕЖНЕВ

Том первый

ИСТОКИ

«В то время, как в обыденной жизни любой лавочник отлично умеет различать между тем, за что выдает себя кто-нибудь, и тем, чем он является в действительности, наша историография еще не дошла до этого тривиального познания. Она на слово верит каждой эпохе в том, что бы та ни говорила и ни воображала о себе»

Маркс и Энгельс — «Немецкая идеология» (стр. 40).

Моя тема

1

В Германии я был трижды: в первый раз—студентом, в довоенные годы, потом—лет через десять, в 1923 г., и в последний раз — с 1926 по 1930 г.

Так я видел Германию последовательно в четырех решающих фазах ее исторической «судьбы»: вильгельмовскую бронированную Германию, на вершинах империалистской мощи,—накануне войны за мировую гегемонию; затем Германию побежденную, раздавленную, в лихорадке инфляции, на краю нищеты, видел революционное клокотание ее рабочих кварталов, усмирительную страду ее социал-демократической полиции; и еще Германию новой формации на длительном трехлетнем этапе, — от кризиса 1925/26 г. до нынешнего кризиса, — Германию в роли аккуратного плательщика «плановых» контрибуций, по Дауэсу и Юнгу, на пониженном, деградированном уровне собирающую однако вновь свои силы, восстанавливающую свою былую экономическую мощь; наконец Германию в полосе тяжкого кризиса, чудовищного роста безработицы,

безудержного наступления капитала, реформистского предательства, расчистки пути для Гитлера и растущего влияния компартии.

Можно сказать, что в моем поле зрения проходила история Германии за последние два десятилетия. Этот бурный период в истории чужой страны покрывает два десятилетия моей собственной жизни, то-есть все годы моей сознательности. Отсюда—неизбежное взаимодействие: меняясь сам, я неодинаково воспринимал Германию: на Германию 1913 и 1930 г. смотрел разными глазами, а исторически разные образы Германии меняли сами мои глаза, ускоряли мою внутреннюю эволюцию.

Большую роль при этом сыграли еще два обстоятельства. Человеческая психика консервативна. Вживаешься в родную среду, привыкаешь к своему окружению людей и идей, к установившимся точкам зрения, оценкам, взглядам и предубеждениям. Вялой становится впечатлительность, отяжелевшей и ленивой—мысль. Даже революционная эпоха, с ее неутомимой новизной, вечным бодрствованием, преобразовательным пылом во всех сферах жизни, высоким напряжением и ускоренными

темпами—далеко не всегда и не у всех искореняет эту приверженность к облюбованным навыкам оценок. Железнодорожники на узловых станциях преспокойно спят ночами среди грохота поездов. Усталые солдаты спят в ночных походах: голова спит, а ноги ходят,—заводные солдатики! Так может голова спать, и когда руки работают. Так выглядит косность в революционную бурю и лень в страдную пору.

И поразительно! Там, где дело идет об идеях, общественно-политических и культурных оценках, о так называемых навыках мысли, сама лень оказывается классовой. Старые навыки мысли, привитые классовым происхождением и воспитанием человека, бессознательно унаследованные от прошлой буржуазной культуры, внушенные гипнотической силой господствующих идей прошлой буржуазной эпохи,—эти навыки дьявольски живучи. Лень в отходе от них и в борьбе с ними и есть лень классовая. Кстати, не потому ли на наших карикатурах бюрократы и оппортунисты так долго и сладко спят? Не поэтому ли так часто приходится у нас освежать руководство во многих и многих учреждениях?

Перемена воздуха—хорошее лечебное средство от умственного сплина. «Климатическая станция» — великое дело, если она правильно выбрана по пациенту.

Оказавшись на чужой земле, в противоположном строе, в иной культуре, в непривычном быту, где все, все—другое, человек встрепенется, его глаз зорче, горизонты шире, а мысль взлетает аэропланом, забирает высоту, скорость,—и меняются не одни лишь частности ландшафта, а самый «угол зрения» и вместе с ним—широта охвата и глубина перспективы. Так чужая земля, изменяясь в годах сама, меняет и глаз наблюдателя.

Вторым и решающим для меня было то, что я оказывался в Германии каждый раз в переломные моменты — и в историческом ходе событий, и в личном своем развитии.

1912—13 гг. были кануном войны, а в моей личной жизни—периодом идей-

но-философского самоопределения. Подполная работа в самые ранние годы, раскол в партии, трудные для меня тогда теоретические споры марксизма с народничеством и анархизмом, волна реакции, упадочничества в литературе, искусстве и общественной идеологии, глетворное влияние декадентства, ницшеанства, соблазны утонченного символизма—все это породило во мне большой сумбур. Требовал я от себя полной ясности, четкости и разгадку своих недоумений, ключ ко всем волновавшим меня вопросам искал в философии. За границу я с тем и поехал, чтобы тут, из первоисточника, получить нужные знания и для идейного своего самоопределения, и для действенного в открывавшейся передо мной жизни. Таким первоисточником казалась мне тогда немецкая философия, под воздействием которой формировалась наша общественная мысль.

В январе 1924 г. человечество вновь (после смерти Маркса) стало ниже на целую голову—умер Ленин. Затем путиги эпигонов подорвать авторитет Сталина, последовательного и подлинно неустрашимого продолжателя великого дела Ленина, попытки свернуть революцию с генеральной линии на скользкие оппортунистические перепутья. Это были годы решающей борьбы ЦК, всей партии, всего живого актива страны за дальнейший ход революции. В этой борьбе новое после Ленина партийное руководство во главе со Сталиным закалялось и крепло столько же, сколько Красная армия в свое время в борьбе на фронтах гражданской войны. Рабочий класс СССР, разрывая оппортунистические заграждения справа и «слева», в своей борьбе за социализм перешел в наступление по всему фронту. В то же время Германия (где я прожил осень 1923 г.) прошла сквозь строй инфляции, подавила при помощи социал-полицийских революционный подъем рабочих и «солидно» впряглась в ярмо Дауэса. Хотя выбор мой в ту пору был целиком в пользу СССР, но, оставаясь в плену старых предубеждений, то-есть игнорируя классовую сущность Октябрьской революции, я противопоставлял свежую

революционную культуру Востока дряхлой и выживающей из ума цивилизации Запада: И только...

1926 г. в истории развития революции был переломным годом. Пять лет нэпа в основном исчерпали восстановительную работу: решениями партийного съезда намечался уже переход в реконструктивный период. Начиналась подготовка к пятилетнему плану, последнему этапу нэпа, к вступлению в социалистический период. В известной связи с этим произошли перемены и в моей личной судьбе. Созданный и редактируемый мною в течение четырех лет нэпа журнал «Новая Россия» был ликвидирован, и я вновь оказался в Германии,—в критическую для себя пору.

Резко менялась Германия за два десятилетия; менялся в эти годы и автор, и его точки зрения — в значительной мере под влиянием Германии, которая служила ему масштабом для сравнений. Германия была моим университетом, — университетом, в котором в студенческие годы я учился по книгам философов, а в годы ссылки — по книге жизни.

2

Моя книга должна явиться опытом «сюжетной публицистики», причем «действующими лицами» будут: меняющаяся эпоха, российская буржуазная интеллигенция, меняющийся круг идей автора, а «фоном» — Россия, Германия, СССР.

Германия, ее научно-философская работа (университет) и ее общественно-политическая жизнь давали зарядку идей, новые толчки мысли, но сама мысль не останавливалась у германских пограничных столбов: напротив того, чаще всего думалось именно о родной стране, а новые мысли сочетались с прежними, привезенными в Германию еще из дому. Поэтому германский «фон» в книге — отнюдь не преобладающий. В первом и третьем томах его вовсе нету. Там читатель найдет только описание русской действительности, русской проблематики, внутренней эволюции автора.

Оправдано ли столь подробное описание идеологического пути отдельного

среднего человека? Имеет ли оно право рассчитывать на общественный интерес?

Мир и дей отдельного человека — в их фабульно-последовательном развитии и теснейшей связи с классом и эпохой — редко когда бывает самодовлеющим «сюжетом» литературного произведения. Пробел этот особенно ощутителен в наше время, когда темпы истории необычайно ускорились, меж тем как сроки человеческой жизни остались прежними. В «доброе старое время» история ползла на волах, кое-как и с расстановочкой, и поколение современников оставалось целиком в пределах одной эпохи. Идеология поколения не претерпевала столь сильных и решительных воздействий со стороны стремительно меняющихся «на глазах» эпох. И поэтому мир идей современника был более стабильным. Стоит только окинуть взглядом столетие от декабристов до Февральской революции 17-го года, от восшествия Николая I до падения Николая II и сравнить это столетие с тридцатилетием от революции пятого года до нынешней нашей второй пятилетки, чтоб это стало совершенно ясно.

Мир идей современного человека старшего поколения претерпел глубочайшие изменения, — все равно, отдавал ли себе современник в том отчет, или новое вливалось безотчетно. Особенно это относится к такому неустойчивому в своих воззрениях социальному слою, как мелкобуржуазная и деклассированная интеллигенция.

Приспособление идей, как и людей, пробегает разнообразные фазы и имеет различные формы. Наряду с вживанием в новую эпоху безотчетным и с вживанием мучительным нельзя умолчать и о худшем виде приспособления — о беспринципном шарлатанстве. Когда встречаешь много буржуазного интеллигента-современника, восходившего на общественную арену под знаком борьбы с «писаревщиной», а ныне, не перевооружившись идейно, ничтоже сумняшея комментирующего для печати труды шестидесятников, то трудно отделаться от мысли, какая безмерная пошлость заключена в том, что люди сохраняют физическую жизнь и тогда,

когда их эпоха безвозвратно отошла уж в прошлое. Но при всех условиях рядовой буржуазный интеллигент старшего поколения, переживший революционную смену ряда эпох, в идеологическом смысле представляет собою феномен крайне интересный, общественно поучительный и, будем надеяться, неповторимый.

Вот почему добросовестный клинический опыт вскрытия мира идей такого интеллигента-современника, мне кажется, может рассчитывать на внимание советской общественности и ранее всего молодой формирующейся интеллигенции из рабочего класса.

Как происходило и происходит идейное перерождение прежней мелкобуржуазной интеллигенции? Каков его действительный и интимный процесс? Как достигается в мучительной борьбе с самим собою новая классовая правда на смену обветшалой иллюзии надклассовости? Обо всем этом можно рассказать только применительно к конкретному, живому человеку. Всякая попытка нарочито типизировать приемы художественного обобщения и сюжетного вымысла, как это делает беллетристика, была бы здесь неуместна и звучала бы фальшью. Такую задачу можно разрешить, привлекая на подмогу самоанализ, в основном опирающийся конечно на анализ социальный. Эта крайне трудная задача была для меня несколько облегчена тем, что сохранились мои записи, начиная с 1907 г., а близкие мне люди с трогательной внимательностью берегли мои письма за двадцать с лишним лет.

С момента радикального пересмотра прежних позиций тоже прошло уже лет пять. Время сохранило в памяти точные образы прошлого, но оно же и угасило былую субъективную заинтересованность в прежних идеях, некогда для меня живых и исполненных значения, а теперь уж давно умерших. Дистанция времени, особенно последних лет, позволяет говорить об этом прошлом, как о чем-то хорошо памятном и вместе с тем стороннем, вне меня лежащем, то-есть с той объективностью, каковая необходима для клинического исследования. Тем жизни

так ускорен, событий над головой пронеслось столько, что пережитое ушло безмерно далеко в прошлое. Листаешь пожелтевшие от времени тетради с собственными записями и думаешь: «Ты ли это был, или кто другой?» И пишешь о себе, как о чужом.

Если здесь нельзя нарочито типизировать, то типичен ли мой путь сам по себе для значительного круга интеллигенции моего поколения? Типичен ли описываемый в книге случай не только по конечным своим результатам, но и по последовательности этапов, и по самому ходу мыслей? И да, и нет. Не типичен — поскольку первые годы моей сознательности связаны с большевистским подпольем, а сейчас, после долгих идейных скитаний, произошел возврат к исходному пункту, и еще — поскольку на моем развитии в довоенные и послевоенные годы сказались воздействия чужеземной культуры. А типичен мой случай — поскольку общий классовый корень и одна и та же эпоха вырисовывают в сознании определенной группы примерно одинаковые умонастроения и поскольку отдельные отрезки пути, особенно годы нэпа, проходили в теснейшем взаимодействии с известными кругами интеллигенции (журнал «Новая Россия», лозунг примата производительных сил). Типичными будут несомненно многие положения и мысли. На многих страницах такой современник-интеллигент узнает себя, и уж конечно не всегда с доброй улыбкой. А иные из моих сверстников, совершавшие свой путь безотчетно, призадумаются. Это не всегда бесполезно.

3

Очень соблазнительно и... привычно для интеллигента буржуазной школы начинать с «внутреннего мира».

Буржуазный романист равен в этом буржуазному мемуаристу, мемуарист — модному философу-идеалисту. У Стефана Цвейга, Эмиля Людвига, Освальда Шпенглера, Анри Бергсона и т. д. без конца — неизменно одно и то же: «внутренний мир», душеведение, сверхчувственные интуиции.

Бергсон начинает свою «Творческую эволюцию» так:

«Из всего, что существует, самым достоверным и всего более нам известным неоспоримо является наше собственное существование, ибо понятия, имеющиеся у нас о других предметах, можно считать внешними и поверхностными, тогда как познание самого себя есть познание внутреннее и глубокое».

Собственная персона — вот начало всех начал и вместе с тем — наивысшая достоверность.

В предисловии к другой работе — «Материя и память» — Бергсон характеризует свой метод так:

«... Совесть с нашей внутренней жизни кору покрывающих ее практически полезных символов, чтобы схватить ее в ее ускользающей от нас подлинности».

Мало того, что за исходный пункт познания взят отдельный человек, индивидуум, оторванный от природы и общества, вырванный из истории, — Бергсон как бы требует: перережьте все нити и нервы, связывающие человека с внешним миром, заглушите в нем все импульсы человеческой практики, да будет он всесторонним уродцем, — только тогда я соглашусь признать его подобным себе и возвеличу до единственного мерила истины.

Шпенглер во введении к «Закату Европы» приходит к такому заключению:

«Теперь наконец, в стадии историко-психологического скептицизма, отпавляясь от непосредственного чувства жизни, мы начинаем замечать, что вся картина окружающего мира есть функция самой жизни, отражение, выражение, символ живущей души, притом прежде всего отдельной души, взятой самой по себе».

Даже занятие историей и философией истории, как своим «предметом», не избавляет современного буржуазного идеолога от идолопоклонства символу, образу, душе, каковая душа и признается началом всех начал, первопричиной познания и бытия.

В этом всесторонне опрочуженном и «кудом мировоззрении заключена двой-

ная претензия. Во-первых, оно выдает себя за единственно критическую философию, которая-де свободна от какой-либо предвзятости, отмечает все недостоверное и исходит из единственно бесспорного — непосредственно данных человеку ощущений. Во-вторых, это мировоззрение претендует на глубину. Нет, мол, ничего глубже, чем полумрак подсознания, чем те туманности человеческой психики, из которых единственно и формируются солнца наших представлений и понятий. Нас зовут «героически» прорваться за порог подсознания, перебить «пограничную стражу», смять «цензуру», освободиться от морального контроля, погрузиться под темные своды интуиций. Нам обещают осветить интимные движения души, исследовать глубины, проследить затаенный процесс зачатия человеческой правды.

Сколько претензии, пустозвонства и лжеученого шарлатанства!

А модные буржуазные романисты и мемуаристы, не всегда овладев черной магией модной буржуазной философии, разыгрывают ее в лицах. Получается зрелище, поистине достойное века последнего загнивания капитализма. Уродливо раздувают «внутреннего человека» наподобие баллона с газами; только тем и заняты, что «движениями души» героя, притом по преимуществу эротическими и патологическими. Из сложного переплета противоречивых общественных движений, из всего богатства окружающей человека материальной и духовной культуры — нарезаются картонными силуэтами пошловатый пейзаж, необходимый для прогулки на weekend, или курорт с пляжем голых тел, еще — кафе, джаз-банд, модная выставка, — велик ли кругозор буржуа!

Так урезывается и выхолощается многообразный круг определений конкретного человека. Удивительно ли, что герой беден, бесплоден и пуст, что вместо живого человека получается рахитичная тень или восковая кукла, пригодная только украшать паноптикум одряхлевшего и выжившего из ума капиталистического мира.

Формат познается из сравнения. Стоит поставить мысленно рядом с со-

временной буржуазной философией и литературой философию и литературу классическую, чтобы сразу обозначилась вся глубина падения. В прошлом—великаны мысли и искусства; в настоящем—жалкие ублюдки, золотушные и анемичные выродки.

Нынешние, с позволения сказать, мастера застыли на «внутреннем человеке», как на пункте помешательства. А Гегель учил тому, что только диалектическая смена противоположных движений внутреннего и внешнего образует живое единство и целостность содержания.

«Когда все условия имеются налицо,—писал Гегель,—предмет необходим и должен стать действительным, и сам предмет есть одно из условий, ибо, будучи первоначально лишь внутренним, сам он тоже есть лишь некое предположенное».

Необходимая действительность требует наличия всего круга условий, и внутренний человек есть лишь одно из условий, тех условий, «которые жертвуют собой, которые погибают и поедаются, сливаясь в другой действительности лишь с самим собой».

Пожираемое мною «внешнее» принадлежит столько же мне, сколько и я принадлежу этому пожирающему меня «внешнему», и только из единства этой взаимности восстает моя целостность. Кто не понимает во всей полноте и конкретности, обусловленной ею обусловленности внутреннего человека, его неразрывной и органической соогненности с внешним миром—с классом, с производством, с государством, эпохой и ее кругом идей,—тот еще не понял основного и решающего, несмотря подчас на всю мнимую свою образованность.

Всякая попытка изобразить человека, исходя из одной только его «самости», характерной особенности и «неповторимости», стало быть, в отрыве от природы, общественной среды, производства, класса—наперед обречена.

Ибо если есть в человеке воля, кровь, огонь, то они обнаружатся вовне, направятся на мир, породивший человека и вновь порождаемый им. Человек бу-

дет брать извне и отдавать из себя, будет бить и будет бит. Вне этого движения вовсе нету жизни. Действуя, человек выходит за пределы самого себя, он изменяет мир, и мир отвечает ему полной взаимностью, изменяя его самого. В этом выходе за пределы себя, в этой экспансии только и заключается сущность живого, активного, исторического человека.

Как же описать этого человека в действии и движении? Как рассказать о нем?

«Доказать,—говорит Гегель,—означает... показать, как предмет через самого себя и из самого себя делает себя тем, что он есть».

Но живой человек есть «предмет» исторический и социальный. Он возникает, по слову Маркса, «на плечах прошлых поколений», он «находит себя» в определенной общественной среде и воздействует на эту среду столько же, сколько сам оказывается воздействуем ею. Исторический и социальный — это само качество человека, то генеральное свойство, при утере которого «нечто перестает быть тем, что оно есть».

Внутренний «я»—только один из моментов меня самого, а я весь—только один из моментов моего времени и его классовых идей.

Вот почему автор этой книги, раскрывая себя, показывает вместе с тем, нынешнюю интеллигенцию старшего поколения; раскрывая эту интеллигенцию в целом, он рассказывает тем самым и о своей сущности в прошлом. Надо дать и то, и другое,—и о себе, и о своем поколении,—дать генетически, в социальных и идейных истоках.

Этому генезису посвящен первый том книги—«Истоки». Действие захватывает канун первой революции, годы революционного подъема (1905—1906), и реакционное пятилетие с 1907 по 1912 г., то-есть период идейного формирования и первой сознательности моего поколения. Дальше показаны то же поколение, те же идейные дрожжи «на высшей ступени», в годы нэпа, и в заключение генеральный пересмотр в последнее пятилетие — «опосредствован-

ный» жизнью возврат к непосредственности революционных настроений моих ранних лет.

Часть I

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЕТРЫ

1. О чем умалчивает анкета

В анкетном листе, в графе «социальное происхождение», мне приходится писать: «сын служащего». Формально это правда, но... что такое «служащий»? всегда ли служащий?

В течение многих лет, в частности в годы моего раннего детства, отец действительно был служащим. Потом завертелась карусель коммерческих «начинаний», одно лето он владел даже небольшой кустарной фабрикой (канатной), но тут же прогорел. И хотя «служащий» связывается в нашем представлении с понятием «интеллигентный пролетарий», а коммерсант — с понятием «капиталист», материальное благосостояние отца было выше, трен жизни — шире, власть над людьми больше именно в те годы, когда отец был служащим. А когда служба отца кончилась и он стал искать применения для своих отнюдь не крупных сбережений, то дела пошли неудачливо, риск себя не оправдывал, деньги таяли, и над семьей нависла удручающая забота о будущем. Периодом устойчивого благоденствия были годы службы отца, а периодом упадка — годы его неловкого и неумелого предпринимательства.

На формирующейся классовой психологии ребенка это отразилось так: вначале, когда отец был только служащим, я сознавал себя сыном помещика, который прочно сидит на земле, безраздельно владеет своей вотчиной и крепостными людьми, а позже, когда отец стал горе-«коммерсантом», я чувствовал себя сыном человека, не уверенного в завтрашнем дне.

Помню, как девятилетним мальчиком, наслушавшись разговоров взрослых о «делах» (а возбужденные разговоры эти шли у нас в доме с раннего утра до поздней ночи), я забился в чулан, сел на сундучок и пригорюнился. К обеду хватились, что меня нет, стали разы-

скивать и нашли в моем укромном уголке. На расспросы я отвечал, обливаясь слезами:

— У папы ничего нет. Как мы будем жить дальше?..

Взрослые весело смеялись, и этот случай часто вспоминали в семье, как забавный анекдот. Но для детского моего сознания тут не было ничего анекдотического. Я видел, что семья жила раньше солидной, уверенной, беззаботней, а потом пошло измельчание: суета, тревоги, бедноватая скудость.

Мои дальнейшие наблюдения и на родине, и — особенно — в Германии убедили меня в том, что крупные служащие и чиновники (социал-демократы) отнюдь не меньше националистов!) целиком привержены к буржуазии. Крупные служащие и старшие чиновники — один из наиболее надежных «оплотов» существующего строя, то-есть капиталистического грабежа и политического всевластия буржуазной олигархии.

Так ли уж важно социальное происхождение отдельно взятого человека, особенно если дело касается человека, идейно устремленного, живущего «высшими интересами»? Еще и по сей день многим и многим у нас вопрос этот кажется спорным. Отсюда — ироническое отношение к анкете и пошловатая поговорка: «Моя мать — крестьянка, а отец — двое рабочих».

Тут не хочется ничего доказывать; я только расскажу об отдельно взятом человеке — о себе, тоже как будто идейно устремленном, живущем «высшими интересами» и проч. Авось, это будет убедительней длинных и скучных доказательств.

Отец мой был доверенным лицом и управляющим делами своего дяди Ф., крупного богача на юге России, занимавшегося интендантскими поставками в морское ведомство, в частности снабжением морского госпиталя в нашем городе. Госпиталь снабжался всем необходимым, начиная с продуктов питания и медикаментов вплоть до марсалы, хлебного кваса и... взятку, начиная с главного врача и «комиссара» (водился

и такой чин наряду со зрителем) и кончая дежурными приёмщиками, браковщиками, фельдшерами. Они могли браковать продукты, причинять разные неприятности, и их надо было задобрить.

Все это довольно разнообразное хозяйство было выделено за стены госпиталя и передано Ф. на началах частного подряда. Неподалеку от морского госпиталя, в той же военной слободе, была арендована большая территория и оборудована жилыми строениями, людской, службами, складами, холодильниками и проч. Здесь производились непрерывные заготовки, особенно расширившиеся к осени: посолка и сушка овощей и фруктов, консервирование продуктов. Длинными обозами доставлялись помидоры, картофель, капуста, морковь, свекла и проч., работали бондари, шинковщицы, квасовары, водовозы, суетились служащие, являлись мелкие поставщики, пекаря, базарные торговки, наносили визиты (отнюдь не бескорыстные) интендантские чиновники, морские офицеры, медперсонал, полицейские надзиратели и пристава.

Всем этим хозяйством, как казалось мне, безраздельно владел мой отец. Ф. жил где-то далеко в городе; на военной нашей слободе появлялся редко, больше интересовался балансами и условиями подряда во время торгов, чем ведением текущих дел, которое всецело доверял отцу. А отец был человеком твердым, строгим, требовательным в деле и внушал почтение и страх уж одним внешним видом своим. Он был высокого роста, широкой и крепкой кости, имел крупные черты лица, густые, насупленные брови над маленькими острыми, преострыми глазами и орлиным носом. Сквозь очки глаза казались мягче, а пробегавшая в них ироническая искорка сливалась с зеркальным отблеском стекла. Но в минуты гнева глаза заострялись двумя буравами и пронизывали свою жертву. Высокий лоб, окладистая борода, большие, белые породистые руки, официальный черный сюртук, широкие уверенные жесты, — все это imponировало окружающим, повышало авторитет отца, завоеванный главным образом материальным поло-

жением, но также и внутренними качествами: умом, энергией, честностью, положительностью в словах и делах, живой общительностью, некоторым интересом к общественным делам. В результате отец был не только царьком в своем деле, на своей вотчине, но занял руководящее положение и в своей общественной среде: он был несменяемым старостой в синагоге, попечителем школы для бедных еврейских детей («талмуд-тора»), покровителем бесприданниц, третьей судьей на судах чести и проч.

Вовсе не надо быть ни психологом, ни педагогом, чтоб представить себе, что все это значит для растущего в такой среде и в таких условиях ребенка. Рабочие и служащие трепетали перед отцом, поставщики и мелкие торговцы ломали перед ним шапку, медицинские, военные и полицейские чины заискивали перед ним и смотрели ему в руки, соседи уступали дорогу, община почтительно раскланивалась, служащие общины — синагогальные служки, кантор, учитель «талмуд-торы» и другие — побобостранно юлили перед ним, по собачьим заглядывали в глаза и дожидались чести обменяться с ним словом. А рядом с гигантом-отцом, уцепившись за его руку, дегскими поспешными захлёбывающимися шажками, как бы скороговоркой, торопился навстречу жизни маленький мальчик, сын, я. Что отец был для меня непревзойденным авторитетом, высшим существом, богом на земле, — ясно само собой. И все-таки в этом маленьком существе, «самостийном» не по возрасту, жило полусознанное ощущение, что я несущий перед собой могучий таран, который прокладывает мне дорогу.

Польза от этого была малая, детская, но польза прямая. Я бил без промаха, когда выбегал вечером на улицу. В этот час возвращались с базара торговки. И было наперед известно, что я встречу Устинью (она поставляла отцу для госпиталя птицу и яйца); обветренное, красное, рябое лицо Устиньи расплывется в улыбку, из кармана под фартуком торговли выплывет конфетка и попадет в мою ручонку:

— Уж я припасла тебе гостинцу.

Так верноподданные отца баловали меня сладостями, игрушками, голубями, чижками, канарейками, обслуживали мои маленькие детские прихоти, и я собирал свою «подать» как должное, со смутным сознанием своего превосходства и особой аристократической избранности.

Это было ощущение превосходства не только материального, но и культурного. Жизнь кругом была темная, грязная, пьяная, а в нашем доме сияло все чистотой и благообразием. Когда, набегавшись со своими сверстниками, оборванными мальчишками, детьми мастеровых, наглядевшись на улице диких пьяных сцен и мордобоя, надышавшись в тесных клетушках запахами затхлости, сырости, пота и дыма, прелой капусты и постного масла, я возвращался домой, то вздымалось детское тщеславие: «Вот как хорошо у нас, а у них, — куда им!» Высокие комнаты, мягкое и свежее тепло, уют. Кто знает, как много значит для ребенка такая бытовая мелочь, как опрятная, белая дорожка на лестнице с начищенными медными прутьями, когда у соседских детей — Сережки, Митьки, Кузьки — этого в доме нету.

Жил в людской старший из дворовых, квасовар Емельян, здоровенный коренастый чернобородый мужик, великоросс. Замечательна была его борода. Она охватывала своими колючими отростками все лицо и была кругла, как луно. Начиналась она чуть ли не на лбу, сливалась с густыми бровями, высилась над шарообразными щеками до самого носа, переходила в усы, окружала смолистым кольцом горло, убегала за рубаху, на могучую, волосатую грудь. В семейной жизни Емельян был несчастлив. Жена его, Матрена, была горькой пьяницей и потаскухой, на целые недели пропадала со двора, а сын Гаврюшка, озорной 20-летний парень, сдружился с ворами-рецидивистами на разбойной нашей слободе, «засыпался» в каком-то уголовном деле и был посажен в острог.

Емельян принимал удары судьбы по-мужичьи равнодушно. Редко когда он «скулал». Человек он был живой, разбитной, веселый.

Но когда заявлялась на двор Матрена после долгой отлучки, — пьяная и разукрашенная «фонарями», — Емельян свирепел. Он запирал наглухо передние и задние ворота (двор был длинный, сквозной с двумя выходами на параллельные улицы) и иступленно избивал Матрену кожаными вожжами. Матрена убегала от побоев, металась от ворот к воротам, проделывая пьяные петли, спотыкаясь, истошно визжа и защищая окровавленными руками голову и лицо. Крупными тяжелыми прыжками настигал ее Емельян. В эти минуты он бывал страшен: дико скачут по двору черные сапоги в подковах, вместо головы — клубок спутанной черной проволоки, со сверкающими красными глазами, для удара занесена рука с вожжами, как поднятая к небу черная оглобля.

Все притаились по своим углам — в складах, амбарах, в людской и в квартирах. Высунуться в окно мне страшно, я прислонился к косяку двери у кабинета отца и всхлипываю. Со двора несутся стоны и крик, уже отрезвевший и испуганный: «Ратуйте!» Крики захлестывают меня, сердце жарко стучит, я вхожу в кабинет.

Отец стоит в своем черном сюртуке у конторки — высокий, напряженный, с нахмуренными бровями, более строгий, чем всегда. Страшен Емельян, но страшен и отец, я не осмеливаюсь проронить слово. Только смотрю на отца глазами, полными слез и отчаяния. Он молча подходит к окну, что во двор, и согнутым пальцем стучит по стеклу. И происходит чудо: экзекуция мгновенно прекращается. Емельян отодвигает засов и пинком выталкивает Матрену на улицу.

Я стою растерянный: все боятся Емельяна, но Емельян да же с е й ч а с боится отца. Папа — самый сильный. В чем же его сила? Какими вожжами он управляет людьми?

Тщеславная обезьянка и цепкий собственник, как все буржуазные дети, я был горд отцом и знал его как свою собственность. Мог ли я допустить, что власть отца покоится еще на чем-нибудь ином, кроме его высоких достоинств? Если б он сам и непосредственно владел капиталом интенданта, которого здесь

только представлял как управляющий и надсмотрщик, то и капитал этот был бы отнесен мною к числу внутренних достоинств отца, и то была бы для меня не власть капитала, а только власть отца, который опять-таки мой.

Когда изредка к нам заявлялся «сам» Ф., со своей женой, теткой отца, и она позволяла себе разговаривать с отцом в вольном тоне, иной раз снисходительном, и подтрунивая, то это меня обижало, и я, не догадываясь об источнике власти (на этот раз власти уже над отцом), попросту считал госпожу Ф. плохой теткой и не любил ее.

С детства я видел вокруг себя дикие нравы — кулачные бои, кровавые расправы, совокупления пьяных мужчин и женщин прямо на улице, еврейские погромы. А чего не видел — о том слышал. В провинции и особенно на нашей военной слободе жили интересом к уголовным происшествиям. О наиболее выдающихся происшествиях подробно рассказывал моему отцу помощник пристава нашего полицейского участка, Яхроменко. Он довольно часто заходил к нам, подолгу просиживая у отца в кабинете, и рассказывал всевозможные приключения.

Во время этих рассказов я любил уютненько примоститься к отцу на колени и слушать, слушать запойно, увлеченно. То были первые мои Куперы и Майн-Риды, — еще раньше, чем научился я читать и знал даже азбуку. Тут рассказывалось о поножовщине, о смелых разбойных похождениях, о «мокрых» делах, о воровских уловках, о тайных притонах, об уголовной любви. Я сидел на коленях у отца, облокотившись руками на письменный стол, и глядел в упор на блестящие пуговицы на полицейском мундире. Яхроменко рассказывал сухо, монотонно, как писал, верно, свои протоколы об уголовных происшествиях.

Запомнился рассказ о ночной погоне. Постовой заметил, что со стороны почты бежит человек, придерживая руками живот. Заподозрили кражу со взломом в почтовом отделении: верно, придерживает уворованные деньги, чтоб не рассу-

пались. Подняли тревогу; с постов и из участка сбежались городовые. Со свистом, криками, выстрелами в воздух они погнались за убегающим человеком. Впереди бежит городовик, орет во все горло: «Руки вверх! Пристрелю!» Убежавший поднял руки и тут же упал, испуская дух. У него был распорот живот во время поножовщины, и он бежал в больницу, придерживая руками продольную рану. А когда поднял руки вверх, внутренности вывалились (Яхроменко сказал: «кишки»), и человек умер.

Вспоминая уже взрослым слышанные в детстве уголовные приключения, я спрашивал себя не раз, почему мой отец, человек культурный и по-своему заботившийся о воспитании детей, позволял нервному и впечатлительному ребенку присутствовать при этих рассказах. Мне было тогда едва ли больше 5 лет, и отец считал, повидимому, что я не пойму рассказов. Да и трудно было отцу в ту пору оставаться одному. Незадолго до того умерла мать, которую отец горячо и нежно любил; после ее смерти отец жалел нас, детей-сирот. а во мне души не чаял и почти не разлучался со мною в первые месяцы после постигшего нас горя.

Когда наступали сумерки и в столовой зажигался уже свет, отец еще долго оставался со мной в своем кабинете. Комната была большая, в шесть окон. Держа меня за руку, отец медленно шагал по комнате из угла в угол, тоскуя, вспоминая мать. Затем брал меня на руки, садился на диван, мягким, грудным голосом пел свои любимые песни, ласкал меня и плакал. Было мучительно видеть, как кагались слезы по щекам отца, такого большого и строгого. Очень нравились мне его песни, и я тонким дискантом подпевал. То были либо еврейские молитвы, либо заунывные песни: «Что ты, глупый соловейка», «Песнь Азры», некрасовская «Несжатая полоса».

В отце сочетались непреклонная воля, фанатизм и доктринерский ум с сердечной мягкостью, нежностью, еврейским лиризмом, который звучал в его грудном голосе, в молитвенных напевах, в элегических песнях.

Обычное мещанское благополучие (а много тут ничего и не было) он умел поднять на своеобразную высоту. Праздники справлялись в нашем доме с особенной торжественностью и нарядностью. Уже за неделю до праздников работала с полной нагрузкой кухня, жарко топилась русская печь, месилось тесто, румянились сдобные булки, торты, замысловатые пироги. После генеральной уборки квартиры отец лично занимался убранством дома, но доверяя ничему вкусу. С каким священнодействием декорировались стены, заправлялись висячие лампы, затем надевались крахмальная рубашка и праздничный сюртук с шелковыми отворотами. Дом должен был быть залит ярким светом, стол — ломиться от вин, закусок, традиционных блюд.

Потом являлась дюжина почтенных еврейских бород духовного и купеческого звания, набегала туча синагогальных подхалимов; пел кантор, ему подпевали подвыпившие гости. Яркий свет, полновзвучный гул гостей, маслянистое благодушие толстых, круглых, красных, бородатых лиц навеселе — все держалось в рамках благопристойности и солидности. Так этого хотел отец, так оно должно было быть, так оно и было заведено.

Я не видел за столом сборища толстых, самодовольных рож. Я был маленькой обезьянней тенью своего рослого отца. Что нравилось ему, то нравилось и мне...

Праздновались и гражданские праздники — главным образом в интересах дела. Тут уж, в новый год, собиралась православная публика — медицинский персонал морского госпиталя, интендантские чины, морские офицеры. Для них сервировались столы в кабинете. Являлись нарядные морские мундиры с кортиками в костяной оправе, на медной цепочке, с эполетами, медалями, крестами, орденами. Этим гостям вручались такие нарядные конверты с новыми блестящими ассигнациями, что детское мое воображение никак не могло усмотреть в них грязные взятки или сблизить это с теми чаевыми, которые выдавались дворовым людям, сторожам, мелким

больничным служащим. Эти приходили с поздравлениями и пожеланиями «нового счастья». Топтались в сених. Им прислуга выносила стопку водки с грубой закуской на тарелке; чаевые выдавались серебром и по предварительному списку. В какую статью списывал потом отец в своей большой «главной книге» эти нарядные конверты с ассигнациями и это скупое серебро? Вероятно, в счет «общих расходов»...

2. „Настоящие“ и „похожие“

Возможно ли у маленьких детей отчетливое классовое сознание? Вряд ли то — сознание и вряд ли оно отчетливо. Но бесспорно есть какое-то полусознание, получутье, внушенное средой и воспитанием. Половинность и незаконченность относятся впрочем только к степени отчетливости классового размежевания, но отнюдь не к интенсивности самого чувства. Окраска классовой эмоции у детей гораздо ярче, чем у взрослых; симпатии и антипатии — непосредственней и искренней. То, к чему ребенок не равнодушно безразличен, он или любит, или не любит. Тут он твердо знает: да или нет, черное или белое. А вся гамма переходов и оттенков в чувстве, смягчающая это противостояние «да» и «нет», приходит много позже, под влиянием учебы, опыта, дифференцирующего сознания.

Окунаясь в воспоминания своих детских лет, я сейчас совершенно ясно воспроизвожу в своей памяти линию раздела моих тогдашних классовых симпатий и антипатий.

И вещи, и животные, и люди — все, что видели мои глаза, делилось на «настоящее» и «похожее».

Перед адмиралтейством была огромная площадь. Помню свое восхищение, когда по пустому плацу пронесился новенький лакированный фаэтон на резиновых шинах, запряженный вороным рысаком. Шея рысака изогнута, грива разносится по ветру, на пружинистом черном теле коня у сбруи и мундштука — полоска закипевшей белой пены, играют мышцы, резво и упруго отскакивают от накатанной дороги тонкие

ноги, блестит сталь подков, весело мелькают белые повязки у копыт. Пронеслось, как вихрь! Проехал в госпиталь главный врач.

Все поднято на высоту культа — и госпиталь, и главный врач, и прекрасный рысак, породистый, горячий, и резиновые шины, и лакированный фаэтон, и нарядный армяк на кучере. Стоит маленький в оцепенении восторга. Вот это «настоящие», а Ефрем с водовозной клячей своей — «похожие». Тоже лошадь, тоже на четырех ногах, тоже тащит — да не то.

Когда отец после ванны обтирался простыней и стоял во весь свой могучий рост голый, приятно жаркий и душистый, я любовался им. Фигура статная, тело породистое. Мочки у уха красивой формы и покрыты нежнейшим пушком, ногти на ногах — бледнорозовые, овальные, как срезанный в длину край крутого яйца. А у дворовых наших людей, мужчин и женщин, ноги разлапистые, узловатые, черствые, всегда грязные, уши — заросшие, как у обезьян, черные от щетины и неопрятности. «Настоящим» был отец, а дворовые люди, у которых все части тела, как будто на тех же местах, — они были «похожими». Мол, кое-как, на худой конец и с этим можно обходиться, но «настоящим» считать никак нельзя.

Меня одевали в привезенный из-за границы костюмчик «джерсе», в бархатные курточки, в нарядные матроски и прочее. Это были все «настоящие» вещи, а то, во что одевались мои сверстники, замухрыщечные дети мастеровых и чернорабочих, было черной рванью, только «похожей» на одежду. «Настоящими» были мои игрушки — серсо, разноцветные мячи в сетках, скрипка, замысловатая шарманка, птички в клетках, египетские голуби и прочее. «Похожими» были незадачливые игрушки моих товарищей. «Настоящей» птицей был индюк с пышным разноцветным хвостом; курица считалась птицей только «похожей».

Из зданий «настоящими» были морской госпиталь, городская больница, мужская Александровская гимназия со сквером и статуями, адмиралтейство,

казармы флотского полуэкипажа, полицейский участок с высокой каланчой, старинная турецкая мечеть, на которую, как говорили, взбирался мулла (его никогда не видел я, но именно потому было таинственно и интересно), церковь с колокольной, монументальная тюрьма, синагога, аптека, наш дом на углу. А приземистые грязные домишки, лепившиеся друг к другу вкривь и вкось, на гору и под гору, то-есть вся остальная слобода, были только «похожими».

«Настоящие» была категория не только эстетическая. Это было неразвернутое еще совокупное единство, включавшее в себя множество нерасчлененных признаков — эстетических, культурных, моральных, материальных. И все же важнейшим был материальный признак, хотя сознавалось это смутно. Красивые вещи и красивых животных имели богатые люди. Сами они казались красивей, потому что были породисты, упитаны, мало работали и много отдыхали, были чисты, аккуратно подстрижены, надушены, хорошо одеты. Они, и только они, могли быть образованны, жить в культурном быту, иметь светлые, просторные, комфортабельно обставленные квартиры. То же относилось и к нравам. Забудыжное пьянство, озорство, хулиганство, звериная жестокость и дикость — все, что несла с собой «улица», было поражено темнотой и нуждой, отчаянием и забитостью. У богатых и образованных людей и нравы были мягче. «Настоящие» люди были между собой вежливы, обходительны, как казалось мне, ласковы. Их я считал «добрыми», способными на высшие чувства.

Я видел паломничество нищих в наш дом. Они являлись еженедельно по четвергам, и никто из этих калеков, убогих и помешанных не уходил с пустыми руками. Всех нищих знал я наперечет. Каждый рассказывал о своих злоключениях. Тут же была помешанная Бейла-Удя, в чине «городской сумасшедшей». Во время эпидемии холеры еврейская община, чтоб сделать угодное богу, сбвенчала на кладбище эту сумасшедшую с другим убогим. Мне казалось

правильным, что нищим выплачивают милостыню, как жалование.

По субботам мы никогда не садились за стол одной семьей. Отец неизменно приводил из синагоги какого-нибудь затрущенного солдатика, и его кормили на славу всем, что в праздничный день подавалось к обильному нашему столу. И милостыня нищим, и кормежка солдат должны были оказать на меня воспитательное влияние: вот до чего добры «настоящие» люди. И это конечно оказывало свое действие. Лирические вечера с отцом в сумерки в большом кабинете, «Песнь Азры» были вершиной растворения чувств.

А «похожие»! Доступна ли им ласка, доброта? Дворовый Емельян был очень привязан к нам, детям. И вот как он проявлял свою ласку. Схватит нас во дворе в самый разгар увлечения игрой, сгребет в свои лапы, зажмет меж колен, потому что мы отбивались, ползет заскорузлым пальцем к себе в рот, наберет слюны и мазнет нас по губам. Увы, гипостазированный емельяновский поцелуй был нам не по вкусу. Это тебе не «Песнь Азры»!..

Гостинцы Устиньи, дудочки Матвея, поцелуи Емельяна и прочие милости оказывали только свои «похожие», те, кто зависел от отца. А чужаки «похожие» были открытыми врагами. Драчливые соседские мальчишки, дети плотников, маляров, трубочистов, озорные ребята в купальне причиняли большие неприятности. Метко запустить камнем, подставить ножку так, чтоб ты растянулся плашмя, «приклеить фонарь», «спустить сопатку» и проч. в обиходе моих врагов считалось верхом молодечества. Матери маленьких моих врагов, прачки, поденщицы, не любили барчука и огрызались, отцы были угрюмы и неприветливы. Я отвечал им всей полнотой взаимности. Всех «похожих» я либо третировал, если это были «свои», либо боялся и не любил, если это были «чужие», но и в том, и в другом случае — презирал. Зато симпатии мои были стихийно, от рождения и воспитания, на стороне «настоящих».

Еще одной особенностью — и немало важной! — было то, что «настоящие»

были единицами, а «похожие» — толпами. Кто проходил по улицам слободы скопом? Прогоняли арестантов из соседней тюрьмы. Они шли, все одетые в серую арестантскую одежду с тузами на спине, с бритыми лбами, понурые, землистые, гремя кандалами; нарядны и эффектны для детского воображения были только конвойные с желтыми блестящими пуговицами, с белыми блестящими шашками. Проходили солдаты с пением, гиком, свистом, гарканьем — «Калина-малина». Шли пьяные группами, в обнимку, козыряя друг перед другом многоэтажной матерной бранью. К вечеру возвращались с судостроительных заводов пачками рабочие — черные, прокоптелые с задымленными дочерна чайниками. Озорной бандой в красных рубахах проходили погромщики. Еще бежали толпами поглазеть на пожар, за две-три улицы. Или шли на похоронах за богатым катафалком. Прохожие оставались, крестятся.

— Кого хоронят?

— Дочь купца Евтифеева. Девочка 11 лет. Повалилась спать с кошкой. Во сне у девочки горло ходит, хлопает. Кошка приняла горло за мышь и загрызла. Вот и померла девчонка.

— Поди ж ты, какая напасть!

Ласточками вылетали девчонки за ворота с писком:

— Народ идет!

А куда шел в те проклятые годы народ? На изнурительную 12-часовую работу, в кабак, в казарму, на погром, на пожар или на кладбище.



Впервые познакомился я с жизнью чужаков в «похожих» в школе. И тут с изумлением и болью обнаружил, что они мучительно страдают, что они раньше несчастные, а потом и потому озорные. Тогда же впервые мне стало стыдно за «настоящих», за самого себя, за то, что родился я барчуком. Это была моя первая в жизни «эволюция», если еще не идейная, то нравственно-эстетическая.

Дело было так. Отец воспитывал нас в строго религиозном духе, хотя сам уже

был человеком несколько модернизированным и внутренне стал отходить от замкнутой религиозной ортодоксии. Для старшего брата до 15 лет держали «гувернера» в доме, и шло неустанное изучение талмуда. Нужда в «гувернере» вызывалась тем, что на нашей военной слободе не было хорошей еврейской школы (хедера). Когда дошла очередь до меня, то отец решил в виде опыта послать меня в школу для бедных еврейских детей («талмуд-тору»), над которой он попечительствовал.

Учителем в этой школе был молодой польский еврей Склярский. Отец считал его эрудитом, образцовым педагогом и был доволен успехами детей в школе и образцовым в ней порядком. Склярский был человеком маленького роста, носил дымчатые очки над круглыми красными щечками. Слащавый и приятный, он умел расположить к себе, втереться в доверие и скромненько, неприметно пустить пыль в глаза к месту сказанной ученой репликой. При ближайшем рассмотрении этот маленький человек оказался превеликой лисой и больше иезуитом, чем эрудитом.

Дети в школе, в большинстве своем сироты, ходили в отрепьях, какие я до того и вообразить не мог. Сквозь лоскутную рвань поглядывали смуглые, исхудалые тельца. Дети «талмуд-торы», всегда голодные, были забиты и жалки, — сироты еврейской гольтшты в провинции, в проклятой «черте оседлости». Этими-то ребятами управлял властью неограниченного сатрапа Склярский. До того я видел Склярского у нас в доме, когда он являлся к отцу с докладами. Там он был тихохонький, робкий, рассыпался в улыбочках, ласково трепал меня по щеке и выглядел самым воплощением доброты. Здесь, в школе, он был тиран, тем более жестокий, чем чаще улыбался. Куражился и измывался он над детьми всегда с усмешечкой.

Так, летом в послеобеденные часы, когда разморит зной, учитель задавал уроки школьникам по группам, а сам засыпал на стуле перед всем классом, прикурнув у стола. До чего блаженно-масляниста была улыбка Склярского во сне! Ребятишки занимаются учебой, пока не

убедятся, что учитель крепко уснул, а потом перейдут к играм и баловству, продолжая однако издавать монотонный напевный зум, обычный у евреев при чтении святых книг. Напевный зум был необходим и во время игр, — иначе Склярский мгновенно просыпался. Инерция была так сильна, что иные мальчишки, играя на скамье, в перья, не только издавали монотонные звуки учебы, но даже продолжали раскачиваться, как над святыми книгами. В действительности это была игра — кошки и мышки, причем кошкѳй был Склярский, а мышками все несчастные малыши. Когда учитель уже спал, казалось, крепким сном, и храп переходил в интимные рулады, ученики, увлеченные игрой, в остолбении вдруг замечали приоткрытый глаз под дымчатым стеклом очков и зловещую усмешку. Через секунду Склярский выпрямлялся на стуле и говорил сладким голосом:

— Ничего, ничего, детки, играйте. Продолжайте, я вам совсем не мешаю. А тебе, Ушер, не везет! В один «кон» проиграл пять перьев! Слышали ли вы что-либо подобное! Ай, ай, ай!

Мальчики сидели, уже молча, потупясь и побледнев. Я ждал бури, града наказаний. Но ничего. Прошел день, дети разошлись, никто не наказан. Так прошли воскресенье, понедельник, вторник, до самой пятницы, когда с полудня распустили школьников на субботний день.

— Теперь, — сказал учитель, — мы закончили неделю учебы, и раньше, чем разойтись по домам на указанный нам богом субботний отдых, мы можем подвести некоторые итоги. Иди-ка сюда, Ушер.

Мальчик изменился в лице, но не сдвинулся с места. С неожиданной для эрудита быстротой и ловкостью Склярский одним прыжком оказался у своей жертвы и поволок его к столу. Тут мальчик дрожащими руками должен был спустить с себя штаны. Учитель схватил Ушера сзади за шею и, помогая себе коленом, вмиг подбросил мальчика ничком на стол. Другие мальчишки, по знаку Склярского, должны были держать Ушера за голову и за ноги. И началась

жестокая порка ремнем с приговариванием. Дальше я не мог смотреть. Отошел в сторону, закрыл лицо руками. Пороли подряд пять мальчиков, провинившихся в течение недели.

Когда порка была закончена, началось нечто еще более гадкое. Уже наказанные должны были пройти по очереди сквозь строй моральных ударов. Мальчик вновь расстегивал штаны, припуская их так, чтоб были видны оголенные ягодички в кровоподтеках от порки, а штаны свисали сзади торбинкой. В таком положении ставили провинившегося к стене; остальные мальчики, в том числе подвергаемые сегодня наказанию, но до которых по второму туру сейчас не дошла еще очередь, выстраивались в два ряда по обе стороны от наказываемого. Каждый по очереди должен был подойти к нему и дополнительно как-нибудь унижить своего полуголого и избитого товарища: ударить рукой наотмашь по ягодицам или ушибнуть, или плюнуть, или бросить грязный окурок с пола, пригоршню грязи, или другое что по собственному своему почину.

Я стоял, напряженный всем телом. Смотрел на новых своих товарищей. Они выполняли гнусный обряд, изобретенный Склярским, понуро и апатично.

А в воскресенье жизнь в школе шла обычным чередом, будто ничего не случилось. Мальчики, так жестоко наказанные третьего дня, сидели на скамьях рядом с другими детьми, попрежнему зумзили и ритмично раскачивались над пятки книжником. И хотя Ушер и другие четверо пострадавших сидели за учебной ничуть не хуже остальных, Склярский со слащавой усмешкой спросил Ушера, почему он ерзает на месте:

— Или тебя, может быть, жгут сзади дурные воспоминания?..

Ушер покраснел и низко склонился над книгой; мне был виден только худенький длинный затылок его и большие оттопыренные грязноватые уши.

Склярскому надо было, повидимому, этим напоминанием завершить ритуал в третьем туре оскорблений.

Но пришел жаркий обеденный час, учитель опять спал за столом, испуская рулады, а мальчики, как и на прошлой

неделе, продолжали свою возню с перьями под столом.

Я ненавидел Склярского, который не осмелился бы так измываться над детьми состоятельных родителей, а тут давал себе волю только потому, что имел перед собой нищих сирот, — это-то я сознавал ясно. Стыдно было за своего умного и большого отца, которого этот маленький и хитрый человек водит за нос. Стыдно было и за самого себя — барчонка и неженку, единственно привилегированного среди мытарей. Почему меня льстиво охаживает Склярский, почему сюсюкает надо мной и причмокивает, как нянька над годовалым младенцем, почему мне хорошо, когда всем им плохо! Чувствовал себя виноватым перед товарищами и пытался загладить свою вину. Я был особенно ласков с пострадавшими, делился с ними принесенным из дому завтраком и сладостями, раздавал им перья, специально для того уворованные с письменного стола отца. Ушеру отдал я свой именной подарок, которым очень дорожил — изящную перламутровую ручку с выдвигающимися с обеих сторон пером и карандашом.

Мальчики с жадостью принимали от меня все, но принимали не по-товарищески, а униженно, как нищие. Благодарили теми же словами, что и взрослые нищие, приходившие к нам за милостыней по четвергам. Заискивали передо мной, говорили приятно, героически защищали от нападения уличных мальчишек, были моими телохранителями на слободе, относились ко мне, как к существу высшего порядка, сделанному, повидимому, из другого материала, более тонкого, благородного, смотрели мне в глаза тем же взглядом собачьей преданности, каким смотрели снагогальные служки на моего отца. Это было уж совсем скверно.

Во мне боролись два чувства. С одной стороны, мне казалось, что я действительно сделан из более благородного материала и по праву заслуживаю такого к себе отношения, — разве этих жалких замухрышек можно сравнить со мной и их родителей с моим отцом! Они ведь все только «похожие». А с другой — я смотрел на свои тонкие ноги в высоких чулках и нарядных туфлях, на бархат-

ные штанишки, на рубашку с голубым бантом, на весь свой тепличный вид на фоне отрпьев моих товарищей, и я казался самому себе каким-то игрушечным, соломенным, не настоящим. Мое исключительное, привилегированное положение среди сверстников в жестоком, садистском режиме «талмуд-торы» тоже было не настоящим. Мои симпатии были всецело на стороне Ушера, а Склярского я не мог уже более считать настоящим человеком, хотя отец и играл с ним в шахматы, а это было в моих глазах одним из важнейших признаков для определения того, кто «настоящий».

«Настоящие» и «похожие» еще не обменялись местами в моем детском понимании; я еще немало продолжал с детским эгоизмом эксплуатировать бедных ребят, моих «верноподанных», которые, как казалось, все-таки недостойны «стоять рядом» и пригодны разве что для обслуживания, но в первоначальном моем порядке людей и вещей произошел уже сдвиг. Прежняя стройная расстановка ценностей весьма и весьма перекосилась.

То, что здесь выражено в сознательных терминах, полностью соответствует фактам личного опыта, как они отложились в памяти, но только с той разницей, что в действительности процессы протекали гораздо ярче в восприятии и непосредственном переживании и значительно смутней в сознании. Чувство вины за свою привилегированность, чувство долга перед пролетарскими детьми — сверстниками и товарищами, сомнение в справедливости института господ и рабов, шаткость первоначальной расстановки: «настоящие» — «похожие», — все это было налицо.

Барчонок в детском приюте был интеллигентом в потенции, — «с е б е» (по гегелевской терминологии). И уже тут можно нащупать в зачатке классовые корни хваленной интеллигентской «внеклассовости» и социально-этической «жертвенности» по отношению к «народу».

3. Первые скитания

В революционное движение я вступил, можно сказать, по семейной традиции,

преимущественно. Старший брат мой, С. Г. Альтшулер, был одним из пионеров рабочего движения на юге России (см. «Южно-Русский рабочий союз» — В. И. Невского). Пятнадцатилетним мальчиком брат порвал с отцом, оставил дом и, ведя голодную жизнь и на воле, и в тюрьмах, и в ссылке («профессор голодовок» — окрестили его товарищи), отдал себя целиком революционной работе. Старшая сестра еще с гимназической скамьи веда пропагандистские кружки рабочих. Обыски в нашем доме начались, когда было мне всего девять лет.

Запомнился первый обыск. Ночью явился к нам жандармский ротмистр Дремлюга в сопровождении чинов. Гремя шпорами, они прошли в, казалось, неприступный кабинет отца, и я впервые услышал это слово: «арестант». Зайти в кабинет я не осмеливался. В столовой тускло горела керосиновая висючая лампа. Была здесь хмурая тишина. От большого висючего абажура двигались медленные тени по потолку и стенам. Густая тень надвигалась на другие, — легкие, полупрозрачные, — проглатывала их и шла дальше по верхнему квадрату комнаты, медленно и грузно, как туча по небу. В комнате нависла смутная тяжесть беды, и такой же тяжестью, незнакомой, впервые пришедшей, отозвалась во мне, внутри. Стало не по себе, и я вышел на крылечко. Сел на сырой камень и... задумался.

Раньше я часто допытывался у сестры: «Как это люди думают? Что они для этого делают?» Она меня ласково трепала по щеке и смеялась: «Еще успеешь, маленький!» И вот пришла первая в жизни дума, — девятилетнему мальчику на сыром камне с жандармским ротмистром за спиной, там, в отцовском кабинете.

«Арестант!» Мой хороший, добрый Муня, который так чудесно смеется, всегда баловал меня, таскал на плечах, называл «зайчиком» — это он где-то далеко, в Киеве, «арестант»? Что же — значит, ему тоже обрили голову? Он ходит в том ужасном арестантском костюме? И на нем кандалы? Как они ужасно гремят! Часто мимо наших ворот прово-

дят арестантов. У конвойных сабли наголо, а арестанты волочат ноги и гремят. Так и он тоже так? Хорошо еще, что не в нашем городе. Не то бы все видели и дразнили меня: «арестантский брат», «арестантский брат». А может быть, это лучше, что он — арестант? Он наверное какой-то особенный арестант. Ведь не мог же он кого-нибудь убить или обворовать! Конечно нет! Тогда можно даже хвастаться перед мальчишками: «Ага, у вас нет такого замечательного брата, а у меня есть».

С возбужденными, горящими глазами от первого горя и первой думы я вошел в дом. Двери кабинета были уже раскрыты. Отец в очках тяжело сидел в кресле. Дремлюга со своими жандармами собирался уходить. Образцово сложенные всегда бумаги отца были в беспорядке, ящики письменного стола выдвинуты, конторка и книжный шкаф раскрыты. Дремлюга заметил меня, потянул было за руку к себе со всегда противной мне снисходительностью взрослых. Я оперся, как бычок, хмуро глядел исподлобья, метал огоньки ненависти. Жандарм рассмеялся и сказал отцу, показывая на меня:

— Вот какие у него длинные уши выросли. Вы бы почаще драли его за уши, чтобы в брата своего не пошел.

Так первым моим агитатором и вербовщиком в революционное подполье был жандармский ротмистр Дремлюга.

Об остальном позаботились друзья моего брата — в годы его ссылки. Я стал подвергаться «индивидуальной обработке» уже в тринадцатилетнем возрасте. В самом деле — существует ли бог, и кто кого создал: бог человека или человек бога «по образу и подобию своему»? Беседы на эти темы были интереснее даже, чем игра в «три черты» и крокет, которыми я увлекался тогда; что уж говорить об учебе! Мои «унаследованные» от брата новые взрослые друзья беседовали со мной долгими часами. Пробуждение мысли было особенно ярким и деятельным под влиянием многих перекрещивающихся импульсов: любознательность, интерес к запретному, гайное желание пойти путем брата из чувства симпатии и подражания, мальчишеское

тщеславие, протест против отцовского своевластия и крутого режима опеки. Действительно, трудно сказать, который из этих импульсов был сильнее, где кончался один и начинался другой. Передо мной раньше времени раскрывался новый мир — мир взрослых, притом вдвойне новый, потому что революционный. И я рвал эту новизну кусками, спешно набивал карманы, чтоб унести разом как можно больше.

Была весна. Стояли прекрасные дни. Акация была в полном цвету. Мы сидели в садике во дворе, где квартировали мои новые друзья, и беседовали, — нет, спорили, горячо спорили! Мне льстило, что со мной ведут разговоры взрослые, да еще по таким серьезным вопросам. Тщеславие пружинило мою мысль, заставляло лучше усваивать новое и ярче возражать.

То, что друзья мои начали с бога, было особенно правильно. Надо было сломать старые авторитеты. Какой же из них мог быть выше и универсальнее бога! Надо было проколоть выход для протеста против отцовского режима, и религия была для этого наиболее принципиальным каналом.

Собственных моих сил и знаний было недостаточно, чтобы сколько-нибудь далеко вести споры о боге с воинствующими атеистами. Их правду хотел я воспринять, но чувствовал, что это надо сделать с боем, и, чем солидной бой, тем основательней новое знание. Я стал оглядываться по сторонам, ища помощи в старом лагере. Обратиться к отцу? Это было легко, но зато и опасно. Легко потому, что отец был заражен своего рода «богоборчеством» и говорил о боге много и охотно. Опасно потому, что я мог в разговоре раскрыть свои карты. Вести с ним такой разговор значило ходить по острию бритвы, но именно это и казалось заманчивым моему мальчишескому воображению.

Отец уже давно отошел от хасидизма и в религиозном своем миропонимании был под сильнейшим влиянием Спинозы, с официальной религией однако не рвал и ревностно выполнял обряды.

— Обряды, — говорил он, — необходимы для народа. Обряды — это «гей-

дер» (забор), которому еврейство объяснено тем, что, несмотря на распыление среди народов в изгнании, сохранилось в неприкосновенном виде в течение двух тысячелетий. Это — наше тавро на теле и в быту, которое отличает нас от других и сохраняет нас среди других. Пока мы ограждены забором, мы целы, а если начнут таскать с забора доски каждый на свой вкус, то скоро не останется и следа ни от забора, ни от нашей целостности. Народ темен, и нельзя его искушать соблазном растаскивания досок.

По существу это было конечно беспринципное примирение спинозизма с окостенелой реакционной догмой талмуда.

Но профилактическое назначение образцов интересовало меня менее всего. Мне было важно решить вопрос о самом боге и о том, в каком он стоит отношении к «мирской суете».

Я спрашивал:

— Если бог есть создатель и первая причина мира и всех вещей, то кто создал самого бога, и какая причина была еще पहले?

Чтоб не «засыпаться» и по возможности замаскировать каверзность моих вопросов, я спрашивал это с невинным видом и смотрел на отца внимательными глазами добронравного ученика.

И отец с мистическим увлечением развертывал картину мироздания, слитного и тождественного с богом. Бог вечен и бесконечен. Он не имеет ни начала, ни конца, ни «раньше», ни «позже», ни «выше», ни «ниже», ни «справа», ни «слева», ни центра, ни края. Он содержит в себе все вещи, которые мы видим, и все мысли, которые мы мыслим; сверх того, — то, что не вещественно и не мысленно. Только нам, людям, он является в двух видах — либо вещью, либо мыслью; в действительности же у бога — бесконечное множество видов, которые мы не в состоянии постичь. Каждая вещь в отдельности имеет свою причину, свои начало и конец, но все мироздание в целом, вечное и бесконечное, то-есть бог, уже не может иметь причины, взятой откуда-то извне. Бог является сам своей причиной и находится в согласии с самим собой; его бы-

тие соответствует законам его сущности и так далее.

Много и долго говорил отец в том же духе. Вряд ли я мог понять тогда его тираду, но все же я понял ее настолько, чтоб ответить полувопросительно:

— Если бог это — в сё, то это уже почти как н и ч т о ?

Отец замешался на минуту, посмотрел на меня долгим взглядом и холодно сказал:

— Ты говоришь просто чепуху.

И тут же сверкнуло в уме, что нечаянно для самого себя я сказал самое главное. «Чепуху» я перевел как правду, а холодный взор отца — «мы враги».

Я встал. Разговор наш был окончен. Отец сильно улыбнулся и протянул:

— Ну, и обидчив!..

Для меня было важно, что, как мне казалось, я схватил бога за грудь. Если он раздулся на весь мир, а внутри пуст; если он равно охватывает и грехи, и добродетели, за грехи не наказывает и к нашим мирским делам отношения не имеет, то «бей его в грудь, он — слабый».

Позже разговоры с отцом о боге повторялись, но пружины в них уже не было. Я интересовался, действительно ли создал бог вселенную в семь дней, как сказано в библии, и как это согласовать с данными науки. Отец говорил, что «день» — это библейская метафора, а действительности же «день» означает миллионы лет. Но почему тогда именно семь дней, почему мы празднуем субботний день и не имеем права даже писать в этот день? Отец говорил опять о «заборе» и продолжал развивать «теорию символов».

«Выкручивается, сам не верит» — бушевал во мне протестант.

Для дополнительной проверки хотел я узнать, как понимают бога наши ортодоксы. К тому времени мы уж давно жили в городе; здесь, в хасидской синагоге, старостой был мой дед, и я стал ходить туда усерднее, чем обычно. Там со своего рода религиозными рефератами выступал молодой зять нашего духовного раввина, впоследствии сам раввин в Екатеринославе. Это был рослый, красивый человек с нежно вьющейся черной бород-

кой. Слава у него была исключительно эрудита и, повидимому, с основанием. Рефераты он читал для сравнительно небольшого круга лиц, посвященных в тонкости каббалы. Говорил приятным мелодичным голосом, раскачиваясь. Черные глаза загорались мистическим огнем, речь была плавная, образная, яркая. Он говорил о божественном значении чисел, трактовал их как знаки божии. Здесь пытался я проверить «теорию символов» отца в применении к семерке (семь дней сотворения мира), но не нашел ничего, кроме весьма темной и произвольной казуистики.

Еще шел я к религиозным старикам, выкладывал перед ними все новые мысли против бога, которыми был начинен, выдавая это за свое. Старики-начетчики могли седыми бородами и защищали бога, как умели. От них шел я обратно к подпольщикам своим и выступал перед ними «адвокатом за бога». Обе стороны, к моему удовольствию, считали меня умнее, чем я был, а своеобразное посредничество мое в дискуссии двух поколений делало меня старше моих лет. В результате на 14-м году я твердо верил в неверие. От слов перешел я к делу, и гражданская война была перенесена в дом.

К тому времени отец был уже тяжело болен.

Быстро развивающийся туберкулезный процесс и высылка брата в Сибирь подкосили его. Человек мощного телосложения, с уверенной походкой, сангвиник и оптимист, он вдруг осунулся как-то, стал быстро сесть, прорывался раздражительными молниями. Мне становилось дома все нестерпимее. Разрыв произошел на религиозной почве. Так началась самостоятельная моя жизнь в 13-летнем возрасте.

Заработки были грошевые, голодал я свирепо, на пропитание имел 7 коп. в день, кормился хлебом, повидлой и жидким чаем, спал в углу и конечно болел. К отцу вернулся через год, за четыре дня до его смерти. Тяжелая сцена примирительной встречи с отцом, последние дни его жизни, кислородные подушки, длительная агония при полном сознании, когда кислород уже не всасывается в легкие («мои ноги уже холодные, они

умерли; дойдет до сердца, и будет конец»), затем смерть отца и первые мои месяцы после нее, телеграмма брата из Сибири, узнавшего о нашей горе по возвращенному письму «за смертью адресата», — все это было непрерывной цепью потрясений, ударов, непосильным грузом бед. Стал я не по годам серьезен, сосредоточен, выросл.

Тем временем — до и после — продолжалось мое общественно-политическое развитие: от бога мы перешли к вопросам классовой борьбы, к теории Маркса и программам революционных партий.

Новые революционные знания я впитывал с большой жадностью.

Быт моих новых друзей, весьма еще юных, но для меня взрослых, был мне... пленителен. Не подберу другого слова, но думаю, что оно точно. Пленяло отсутствие мебели — старинной, грузной, мягкой, так намозолившей глаза дома — и присутствие книг. Пленяли простота и легкость. Как хорошо было отдохнуть здесь от тяжеловесного и нудно-размеренного дедовского быта, от мещанской скрипучести, надоедливой и томительной... Вихрем врывалась молодежь. Говор был яркий, страстный в споре. Все здесь было захватывающе интересно: планы подготовки массовок, рассказы о проведенных собраниях, об улелетывании от шпиков и заметании следов, об опыте других городов (со слов приезжих товарищей), о тюремных приключениях, незатейливый ужин, сымпровизированный в полчаса, конспирация и песни.

В кругу друзей распевались революционные песни, то протяжные и заунывные («Полоса», «Доля», «Трудно, братцы, нам живется», «Что мне она...», «Кольбельная», «Тюрьма», «Лес задумчивый», «Одолели думы мрачные» и др.), то пламенные и бурные («Беснуйтесь, тираны», «Красное знамя», «На баррикады», «Варшавянка», «Марсельеза»).

Новая жизнь разворачивалась передо мной. Как крыльями, я был подхвачен новизной этой и увлеченно, и стремительно несся вперед. Но наступил момент, когда я почувствовал перемену. Старшие товарищи стали проявлять ко

мне сдержанность, начали тормозить мой бурный полет вперед. Помехой были мои слишком ранние годы. Вначале друзей забавляло разговаривать с маленьким, как со взрослым. Мой повышенный интерес к беседам о боге в 12-летнем возрасте, находчивые ответы, яростный азарт допытчика и спорщика доставляли удовольствие моим революционными воспитателям. Но когда я с совершенно неожиданной для них быстротой и прямоотой перешел от слов к делу, — 13-летним мальчиком порвал с отцом, ушел из дому, бросил школьную учебу, целый год голодал и болел, и опять голодал, и опять болел, — мои старшие друзья начали раскаиваться, что слишком рано втянули меня в круг «опасных» вопросов и интересов. Теперь применяли ко мне другую тактику: тормозили мое развитие, препятствовали моему слишком раннему вхождению в подпольную работу. Иные вопросы мои оставались без ответа. И я срывающимся от обиды голосом, в котором звучало больше слез, чем иронии, «парировал»:

— Что? Мол, «вырастешь, Саша, узнаешь»? Так прикажете понять вас?

— Поверь, голубчик, некогда, — отвечали мне, и это тоже была правда.

Был 1905 год. С грозовой силой разрядилась первая революция. Работа подпольщиков получила сразу непредвиденно огромный размах. Несколько десятков революционеров в нашем городе должны были охватить, организовать, обслужить с десятков тысяч человек, бурно влившись в движение. Мои друзья работали по 16 — 18 часов в сутки, совершенно сбившись с ног. От речей на митингах, от крика на площадях охрипли так, что дома разговаривали шопотом. Ели на ходу, спали, где придется, осунулись и похудели, но на землистых лицах сияли счастливые глаза.

Каково было мне, 14-летнему мальчику, не по возрасту развитому, ходить вокруг да около. И я ходил, — десятки верст выхаживал в день. Надо было спешить на митинг у завода на окраине города, пробраться правдой и неправдой в железнодорожные мастерские, шагать вместе с демонстрантами по главной улице города, перебрасываться на далекую

военную слободу, где проходили годы детства подле морского госпиталя, а теперь формировались самооборона и народная милиция.

Десятки и сотни раз оттирала меня толпа, и над ухом разражалось неприветливое:

— И чего ты тут путаешься под ногами!

«Вырастешь, Саша, узнаешь», «путаешься под ногами»... и я ненавидел свои малые годы. Хоть бы на 3 — 4 года быть постарше! Зато какое счастье было именно по малолетству втиснуться неприметно в публику и проникнуть в актовое зал Технического общества, где заседал первый Совет Рабочих Депутатов.

Быстро летели дни. Пронеслись, как сон, дни Октябрьского манифеста и «свобод», потом — жестокий еврейский погром. Он начался с кровавого столкновения между нашей демонстрацией под красными знаменами и патриотической манифестацией под двойной защитой конной полиции и казаков. В манифестации, организованной полицеймейстером совместно с «Союзом русского народа», принимал участие, как водится, всякий сброд, наберванный на пристанях и базарах, в кабаках и харчевнях из среды босяков, подкупленных бутылкой водки. Манифестанты носили на полотенцах иконы и портреты царя с царицей. Был спровоцирован выстрел в портрет Николая, и это послужило сигналом к расправе. «Оскорбленные в верноподданнических чувствах», «патриоты» не в силах были сдержать свой «гнев». В нашу сторону полетели камни из развороченной мостовой, потом с «удалым» гиком врелись в демонстрацию казаки, размахивая нагайками и саблями наголо, обжигая лица и спины ударами, нанося раны. Началась паника, которую дважды удалось сдержать благодаря стойкости рабочих. Баррикаду сложить до конца не пришлось: слишком неожиданен был налет и слишком велик перевес в силах на стороне «вольного казачества», — рабочие были еще безоружны.

Бушевал погром неостановимо три дня и три ночи. С тех пор стала наседать реакция все упорнее, откровенней, наглее.

Вскоре пошли аресты, борьба приняла другие формы. Но революционный подвиг в массах был еще велик и продержался до конца 1906 г. и даже до весны 1907 года.

Я горел нетерпением войти в практическую работу, а старшие товарищи, хоть и сдались слегка под моим напором, но все же держали меня в узких рамках и пичкали пустяками. Был я на ролях подручного. Поручалось переписывать печатными буквами прокламации для гектографа (химическими чернилами), разбрасывать прокламации в отведенном районе, переносить и хранить нелегальную литературу, шрифты, типографские валики. В виде особого снисхождения мне разрешалось изредка посещать собрания («явки»), пропагандистские кружки, пойти с поручением на «биржу» (улица, куда в вечерние часы сходилась наша публика для деловых встреч).

Все это не удовлетворяло меня. Хотелось настоящего дела, живого и ежедневного соприкосновения с пролетарской массой. И я решил: пора освободиться от опеки, надо идти на заводы и в мастерские, еще лучше — самому стать рабочим. Мысль эта засела крепко в голове. На завод поступить было трудно мне, и я стал подыскивать мастерскую. Вскоре, действительно, такая возможность представилась, и начались мои скитания по мастерским — слесарным, механическим, сапожным.

Жили мы тогда с сестрой у стариков, родителей матери, «на правах» круглых сирот. Старики были очень недовольны тем, что я бросил на полупути учебу (4 класса гимназии), и особенно тем, что их внук становится «чумазым», но повторять эксперименты отца не решались. Так я кормился и спал у стариков, в обстановке старозаветного благообразия, педантичной чистоты и буржуазного комфорта, а дни и вечера проводил в мастерской, в трактирах, на собраниях. Так я смешивал запахи мастерской, размокающей подошвенной кожи и тесного рабочего жилья с ароматами экзотических специй, сухих роз, гвоздики, мяты, нафталина и варений в доме моих стариков.

Было ли то «хождение в народ»? По тогдашним настроениям такая мысль по-

казалась бы мне просто оскорбительной. Считал себя марксистом, народническая слащавость претила мне. Мотивы были трезвей и реальней: враспи в рабочее движение, крепко и всерьез войти в партийную работу.

А сейчас, на расстоянии времени, многое кажется в ином свете.

Обстановка, в которой вырос я с малого детства, была отнюдь не помещицкой, но некоторые элементы в ней все же напоминали мелкопоместный быт. Наш дом с высоким крылечком на военной слободе, на отшибе от города, был как бы помещицкой «усадьбой» на фоне маленьких полукрестьянских домиков. По размаху жизни, хлебосольству, привычкам, культуре наш дом тоже занимал оазисное положение помещицкой усадьбы. Дела были продуктовые, как в деревне. Дворовые люди на моей памяти не менялись, и их служба казалась пожизненной. Были то сплошь мужики. Их зависимость от отца граничила с крепостной: он распоряжался даже их семейными делами.

Мое разделение людей и вещей в годы детства на «настоящих» и «похожих» могло быть заимствовано от строя отношений, где зависимость рабов от господ наглядней, всесторонней, кореннее, чем зависимость наемного труда от капитала, и расстояние, материальное и культурное, между ними неизмеримо больше, чем между хозяином и работником. Именно в такой обстановке переход на сторону эксплуатируемых приобретает особенно ярко выраженные черты классового самоотрицания.

Вряд ли я составлял исключение. Нас в ту пору было много «последних могилок» опрощенства, отпрысков буржуазной интеллигенции, в молодые годы «отдавших дань» революционным увлечениям, в годы подвема скоропостижно орабочившихся на коротенький срок с тем, чтоб вернуться затем к материнскому теплу вскормившей нас буржуазии.

Народничество идеализировало мужика в большой мере на религиозно-мистический лад. Идеализация рабочего околопартийной и временно-партийной социал-демократической интеллигенцией была иного порядка, но психология оста-

валась та же. К рабочему было отношение, как к курочке, которая снесет яичко — не просное, золотое. То золотое яичко — социализм. Интересовал рабочий класс не сам по себе, во всей конкретности его жизни, быта, в буднях тяжелой революционной борьбы, с ее подвигами, отступлениями, периодами застоя. Пролетариат интересовал единственно как средство освобождения человечества; в революционной борьбе привлекала одна только романтическая сторона. До чего приятно в самозабвенных романтических грезах откапывать клад для освобождения человечества, используя пролетариат, как заступ.

Вспоминается спор отца со старшим братом в промежутке между киевской тюрьмой и ссылкой брата в Сибирь. Отец говорил с раздражением:

— Все правильно, все хорошо. Но ты то какое отношение имеешь к пролетариату, ты кто — рабочий? Ишь, какой спаситель нашелся!..

Не помню, что брат отвечал на это, — в ту пору я был все-таки еще малышом. Но ответ нашей временно-партийной интеллигентской молодежи 900-х годов напрашивается сам собою:

— Мы не рабочие, но только через рабочий класс возможно освободить человечество.

А что освобождение человечества — подлинная миссия интеллигенции, это считалось уже такой самоочевидной истиной, такой аксиомой, что тут и доказывать нечего.

Если покоблать каждого из нас, «рабоченных», то проявилась бы, во-первых, вера в мессианское предназначение интеллигенции, а во-вторых, что все мы на сверку безруки и что, стало быть, надо действовать через рабочих.

Как бы я, тогдашний, взбеленился, слушая эти мои нынешние слова! А тогда был я счастлив, что начал работать в мастерской, что в большой мере замысел мой удался, хоть далеко не сразу и с превеликим трудом.

Трудностей было много, и шли они с разных сторон. Нелегким делом был поначалу и самый физический труд, непривычный для слабого и изнеженного мальчика. Тяжела была обстановка в

мастерских: здесь неизбежно было мне начинать «на ролях» ученика. Фабзавучей не было, их создала только советская власть. А в ту проклятую пору ученика в мастерской хозяин держал вместо прислуги: подмети, да сбегай за водкой, да подсоби хозяйке стачить белье на речку. Обращение с учениками было унижительное. Мне пришлось после первых же опытов иметь объяснение с хозяином, козырнуть своей 4-классной «образованностью», разяснить, что со мной надо разговаривать вежливо и обучать ремеслу, — только за этим я и пришел сюда. Объяснение кончилось однако позорным фиаско: меня прогнали. Во вторую мастерскую я уже шел, наученный опытом, и выговорил себе льготные права с самого же начала, отказавшись зато от всякого вида вознаграждения — и натурального, и денежного.

Не соразмеряя своих сил, я «с энтузиазмом» раздувал мехи в кузне или до седьмого пота обрабатывал напильником болванку. К концу дня сваливался, как подкошенный.

Но была трудность более серьезная и для меня мучительная: трудность подхода к рабочему. Был я слишком молод и нетерпелив. Не оглядевшись толком в мастерской, не присмотревшись к людам, не сообразуясь ни с обстановкой, ни с моментом, я торопился с агитацией, с разговорами об эксплуататорах и самодержавии. Вербовщиком в революционное подполье я оказался поначалу очень плохим. Моя горячность была неубедительна. Слушали меня с недоверием и иронией. А один дяденька слесарь оборвал:

— Ты бы, паренек, чем нас учить политике, сам бы научился напильник в руках держать. Ты куда пилишь?!

Я был сконфужен. Долго потом ворочался ночью на кровати, не мог уснуть. Вспомнил отца и одно из его нравоучений:

— Не будь такой горячий. Не прыгай в глаза. Да что с тобой говорить... Людской смех тебя научит!

И вот он пришел — людской смех. Значит, надо сдерживать себя, приглядеться хорошенько, знать, где и как.

— Такт нужен, дурак ты этакий, — говорил я себе, засыпая. — В мастерской этот такт нужен не меньше, чем в «хорошем обществе», но только он тут другой. А какой? Это мы еще узнаем...

На следующий день я в ту мастерскую больше не пошел. Со слесарным делом было покончено.

Через несколько дней устроился в башмачную мастерскую, и тут сразу все пошло лучше. Я работал в паре с хорошим и толковым подмастерьем, чудесным парнем, Соломончиком. Мы с ним сперва сдружились, а потом уж перешли к политическим разговорам. Вели их вне мастерской — в трактире или гуляя долгими ночными часами по улицам. Я усердно занялся изучением ремесла, а в политике ограничивался поначалу индивидуальной обработкой небольшого ядра. И пошло дело блистательно. Ко мне обращались с разными вопросами. Моя популярность среди башмачников быстро росла. Подмастерья, хоть и называли меня снисходительно «студентиком», но относились ласково, слушали хорошо, — тем более, что и в изучении ремесла я делал под руководством Соломончика большие успехи, а это для поддержания авторитета было крайне важно.

Вместе со старшим товарищем, вернувшимся из ссылки (Л. Вулих), мы провели длительную и успешную забастовку башмачников; агитационная работа не проходила бесследно.

По партийной линии я дорос по тогдашним своим масштабам до «высоких степеней»: был избран представителем от сапожников в «централку» (соответствует нынешнему райкому), общался с комитетчиками, читал литературу по их спискам, развивался. Все схватывалось на лету, быстро усваивалось. Было обостренное чутье к логическому построению, к концепции. Под этим углом легко прощупывался каркас каждого прослушанного доклада, прочитанной статьи, брошюры, книжки. То был логический слух, как бывает слух музыкальный. Малейшая фальшивая нотка, поддержка, неувязка тут же улавливалась и с большой горячностью опровергалась.

После раскола партии 1903 г. тем для споров и дискуссий было много. Стоял

я на большевистском крыле партии, каждая полемическая статья «Вперед», особенно статьи Ленина в их логической несокрушимости, осваивалась во мне полностью, со всеми разветвлениями, ходами и переходами; язык был подвешен неплохо, и вся «пушил» меньшевиков с яростью весьма большой. После обстоятельного доклада меньшевика-комитетчика с бородкой клинушкой подымался худенький мальчишка, вытягивался у стены во весь свой рост и начинал поливать огнем. Ломающийся голос, несурзные от переходного возраста и от физической работы руки в решительной жестикуляции придавали этим выступлениям своеобразную экспрессию.

Здесь, в партийных кругах, слыл я «вундеркиндом»; предвещали мне большую будущность. Пророчество достаточно тривиальное и редко когда обоснованное.

Жандармы не заставили себя долго ждать. После «весны» 1905—6 гг. началась жестокая реакция, пошли массовые провалы, а семья наша была на примете. В первый раз арестовали меня на улице, на «бирже» — в паре еще с одним товарищем, рабочим пружничком Лимонником. Пока везли в участок, жестоко избили, продержали трое суток на хлебе и воде в холодном клоповнике — кордегардии — и выпустили. Но через три месяца пожаловали на дом с обыском и арестовали уже прочно. Пошли чередой тюрьмы — «оседлые» и пересыльные, этапы, ссылка.

На месте ссылки (Тараща, Киевской губ.) я продолжал партийную работу. Здесь пришлось уж совсем не по возрасту вести трудную, ответственную работу вожжа, вдвойне трудную, так как я был под надзором полиции. К сапожному ремеслу в этом маленьком городке уж не пришлось возвращаться. Кормился грошевыми уроками, учительствовал, попутно организовал учительский союз, рассыпавшийся впрочем после моего отъезда.

О партийной своей работе, о всевозможных приключениях и злоключениях, об обысках и допросах, о быте тюрем и

этапов, о памятных встречах я мог бы рассказать конечно многое, как и всякий работник подполья тех проклятых и все-таки изумительных лет. Я не останавливаюсь на этом подробно: центр тяжести книги — в другом. Да и вряд ли моя последующая политическая жизнь даст мне право на подробный рассказ об участии в подполье. Менее всего я имею основание делать упор на революционных заслугах в незрелые годы, когда весь последующий путь — и именно в зрелом возрасте — проходил под знаком реакции. Ограничиваюсь поэтому и здесь, и дальше только теми фактами, которые нужны для обрисовки «источков» моего поколения интеллигенции и характеристики всего цикла превращений.

С полосой арестов совпало большое событие в личной моей жизни: первая любовь. Своему чувству я отдался со всей беззаветностью и чистотой 16 лет. Чудилось — в дни мои вплетается нежнейший мотив сказки, на линии горизонта — новый мир, неиспытанный, влекущий и прекрасный. Прелестью утренней весенней свежести веяло на меня, и я тянулся навстречу своему чувству всем существом — в торжественной зрелости, впервые осознанной полно, до краев, в порывистом, но легчайшем касании, чтоб не спугнуть, не оцарапать неуклюжестью. Были во мне два лица: одно, обращенное к людям, делам, борьбе, — резкое, грубоватое, энергичное, и другое — в сторону любви — ясное, просветленное. И два голоса: размашистый, орывающийся запальчивым фальцетом, и другой — мягкий, густой, баритональный. Разные пожатия рук, разные жесты и даже почерк разный. Это новое во мне рвали на куски тюрьма, скитания по этапам. Политическое осложнялось личным, тюремные дискуссии — записочками с воли, короткими свиданиями.

Был я, как натянутая струна. Режим ненавидел вдвойне: за пролетариат и за помеху в любви; зато и чувством своим горел вдвойне: и наяву, и во сне. Уже потом, в ссылке, в гаращанских лесах и садах, были два лета, счастливейших в моей жизни и памятных навсегда.

Но наступила зима. Уехали мои гости, разъехалась молодежь по большим городам — учиться. В снежные пуховики завернулись леса, сады, весь городок. Самая оживленная и людная улица, — Дворянской называлась она конечно, — где недавно еще гремели наши молодые споры и заливался девичий смех, стала вдруг пустынной. Обыватели закупились в теплых квартирках. Пожилые соседи вылеживались на перинах, кряхтели, протяжно зевали, кашляли. Дули чай с утра до вечера, самовар нес свою службу исправно. И еще дулись в карты: «без ваших». Потрескивали смолистые дрова в печке, всхлипывал за решеткой закованный огонь. Да, конечно без ваших! «С вашими» — с тоски удавиться! И я решил уехать.

Вернулся в родной город. Здесь был на нелегальном положении, жил без прописки, для скрытности часто менял ночевки. Ни об оседлой работе сапожным подмастерьем, ни тем более о партийной работе в этих условиях не могло быть речи, — засыпался бы на первых же шагах и только провалил бы товарищей. Занялся учительством, а главное, стал сам учиться — увлеченно, запойно, до обмороков от переутомления.

Была эта страсть к учебе не случайна. Уже тогда во всей остроте стояли передо мной вопросы, приведшие потом в Германию. Годы учебы после ссылки были годами борьбы за аттестат зрелости, подготовкой к университету, где я надеялся распутать узел мучивших меня в ту пору проблем. Откуда же этот узел?

(Продолжение следует)

Анастасия

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Почему ты снишься, Настя,
В лентах, в серьгах, в кружевах?
(Из старого стихотворения)

1

Не смущайся месяцем раскосым,
Пусть глядит через оконный лед.
Ты одень ботинки с острым носом,
Шаль, которая тебе идет.

Шаль твоя с тяжелыми кистями —
Злая кашемирская княжна,
Вытканная вялыми шелками,
Убранная черными цветами, —
В ней ты засидишься дотемна.

Не легко наедине с судьбою.
Ты молчишь. Закрыта крепко дверь.
Но о чем нам горевать с тобою?
И о чем припоминать теперь?

Не были богатыми, покаюсь,
Жизнь моя и молодость твоя.
Мы с тобою свалены покамест
В короба земного бытия.

Позади пустынное пространство,
Тыщи верст — все звезды да трава.
Как твое тяжелое убранство,
Я сберег поверья и слова.

Раздарить налево и направо?
Сбросить перья эти? Может быть,
Ты сама придумашь, забава,
Как теперь их в дело обратить?

Никогда и ни с каким припасом
Наши песни не ходили вспять, —
Не хочу резным иконостасом
По кулацким горницам стоять!

Не легко наедине с судьбою.
Ты молчишь. Закрыта крепко дверь.
Но о чем нам горевать с тобою?
И о чем припоминать теперь?

Наши деды с вилами дружили,
Наши бабки черный плат носили,
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолуныи ночи,
Тяжкие лампы, бубенцы...

Что нам светит? Половодье разве,
Пена листьев диких и гроза,
Пьяного попа благообразие,
В золоченых ризах образа?

Или свет лукавый глаз кошачьих,
Иль пожатье дружеской руки,
Иль страна, где, хохоча и плача,
Скудные, скупые, наудачу
Вьюга разметала огоньки?

2

Не смущаясь месяцем раскосым,
Смотришь ты далеко, далеко,
На тебе ботинки с острым носом,
Те, которым век не будет сноса,
Шаль, и серьги, вдетые в ушко.

С темными спокойными бровями,
Ты стройна, улыбочива, бела,
И недаром белыми руками
Ты мне крепко шею обняла.

В девку переряженная лихо,
Ты не будешь спорить невпопад —
Под локоть возьмешь меня и тихо
За собою поведешь назад.

Я нарочно взглядываю мимо, —
Я боюсь постичь твои черты!
Вдруг услышу отзвук нелюдимый,
Голос тихий, голос твой родимый —

Я страшусь, чтоб не запела ты!

Потому что в памяти, как прежде,
Ночи звездны, шали тяжелы,
Тих туман и сбивчивы надежды
Убежать от этой кабалы.

И напрасно, обратясь к тебе, я
Все отдать, все вымолить готов, —
Смотришь, лоб нахмура и робея
И моих не понимая слов.

И бежит в глазах твоих Россия,
Прадедов беспутная страна.
Настя, Настенька, Анастасия,
Почему душа твоя темна?

3

Лучше было б пригубить затяжку
Той махры, которой больше нет,
Пленному красногвардейцу вслед!
Выстоять и умереть не тяжко
За страну мечтаний и побед.

Ведь пока мы ссоримся и ладим,
Громко прославляя тишь и гладь,
Счастья ради, будущего ради
Выдут завтра люди умирать.

И, гремя в пространствах огрубелых,
Мимо твоего идут крыльца
Ветры те, которым нет предела,
Ветры те, которым нет конца!

Вслушайся. Полки текут, и вроде
Трубная твой голос глушит медь.
Неужели при такой погоде
Грызть орехи, на печи сидеть?

Наши имена припоминая,
Нас забудут в новых временах...
Но молчишь ты...

Девка расписная,
Дура в лентах, серьгах и шелках!

За 10 лет

СПЕКТАТОР

I

Истекшее десятилетие характеризуется растущей, все усложняющейся и обостряющейся борьбой двух систем. 10 лет тому назад мы только делали первые шаги по восстановлению своего разрушенного империалистической войной и интервенцией хозяйства. Это был период и относительной стабилизации капитализма.

«Мы имеем, таким образом, две стабилизации. На одном полюсе стабилизируется капитализм, закрепляя достигнутое положение и развиваясь дальше. На другом полюсе стабилизируется советский строй, закрепляя за собой завоеванные позиции и двигаясь вперед по пути к победе. Кто кого — в этом вся суть». Так поставил тов. Сталин вопрос 9 мая 1925 г. в своем докладе активу московской организации РКП(б). В наших рядах шел спор, есть ли вообще какая-нибудь стабилизация капитализма. Троцкистская оппозиция ее отрицала. Тов. Сталин определенно заявил, что наступила известная стабилизация капитализма. С другой стороны, «ликвидаторы нашего времени говорят, что наступившее затишье есть конец мировой революции» (Сталин). Наиболее яркими защитниками этой «ликвидаторской» точки зрения явились конечно социалфашисты с Гильфердингом во главе. Последний уже в 1922 г. утверждал, что капитализм стоит перед новой эпохой расцвета. Неверие в творческие силы пролетариата и отрицание возможности построения социализма в одной

стране — эти краеугольные камни мировоззрения международного меньшевизма — дополнялись преклонением перед всемогуществом капитализма. Эти иллюзии насчет всемогущества капитализма питали и правые, а для ренегатов Коминтерна они стали даже исходным пунктом их отступничества. Между тем тов. Сталин в уже цитированном докладе указал на то, что «стабилизация в условиях капитализма, усиливая временно капитал, обязательно ведет вместе с тем к обострению противоречий капитализма: а) между империалистическими группами разных стран, б) между рабочими и капиталистами каждой страны, в) между империализмом и колониальными народами всех стран».

И дальше:

«Путь развития капитализма есть путь обнищания и полуголодного существования громадного большинства трудящихся при подкупе и подкармливаниями незначительной верхушки этих трудящихся. Путь развития диктатуры пролетариата есть, наоборот, путь неуклонного под'ема благосостояния громадного большинства трудящихся».

Все развитие пройденного десятилетия является неопровержимым доказательством правильности этого глубокого, марксистского прогноза дальнейшего пути капиталистического развития, с одной стороны, и развития нашего хозяйства — с другой.

«Капитализм из того хаоса в производстве, торговле и в области финансов, который наступил после войны и в котором он очутился, капитализм из этого

хаоса выходит или уже вышел. Это было названо партией «частичной или временной стабилизацией капитализма»¹⁾. Но означало ли это, что капитализм совершенно оправился от тех ударов, которые нанесла ему война, а главное, наша революция? Нет конечно. «Это еще не значит, что капитализм этим самым достигнет той устойчивости, которую он имел до войны»²⁾.

Теперь, оглядываясь назад, на пройденное десятилетие, нам легко констатировать, как глубоко правильна была эта характеристика послевоенного капитализма. Как известно, относительно большую «устойчивость» приобретает капитализм в периоды промышленного процветания, в моменты расширенного воспроизводства основного капитала, то есть, когда идет в широком масштабе капитальное строительство. Посмотрим, как развивалось это строительство за годы относительной стабилизации.

Мы берем данные Вагенфюра («Промышленное хозяйство») о развитии капиталистических промышленных стран и сопоставляем их с данными о нашем хозяйстве, которые мы тоже берем у него. Далее мы приведем наши данные.

Мы берем данные Вагенфюра («Промышленное хозяйство») о развитии капиталистических промышленных стран и сопоставляем их с данными о нашем хозяйстве, которые мы тоже берем у него. Далее мы приведем наши данные.

Индексы промышленной деятельности (1928 = 100)
Мировой (без СССР) Промышл. страны Европы СССР

	Всей пром.	Горной	Произв. средств произв. (А)	Предм. потребления (Б)	Всей пром.	Горной	Мировой (без СССР)		Промышл. страны Европы		СССР	
							А	Б	Всей пром.	Горной	А	Б
1913 г.	73	82	69	81	89	107	87	92	70	86	76	71
1924 г.	84	91	83	88	82	92	81	85	30	48	31	30
1927 г.	97	100	94	101	97	101	95	101	82	91	84	80
1929 г.	107	108	109	104	105	107	109	100	124	110	125	124

Мировая промышленная продукция уже в 1928 г. вышла за пределы 1913 г., европейская — только с 1927 г. При этом европейская горная продукция еще только в 1929 г. достигла уровня 1913 г., а производство средств производства превышало довоенный уровень всего на 25 проц. Это развитие совершилось однако за последние 5 лет перед нынешним кризисом. Поэтому оно казалось особенно интенсивным. Однако в промышленных странах Европы до 1927 г. идет более интенсивный процесс развития производства предметов потребления, нежели средств производства. Только после поражения рабочего класса в Англии капитал начинает усиленное наступление на него под лозунгом «рационализации», делая одновременно и значительные капитальные вложения. Производство предметов личного потребления, в результате ухудшающегося положения рабочих масс, уже вступает в кризис, который однако становится

всеобщим тогда, когда он захватывает и производство средств производства.

Мы в 1924 г. начали с гораздо более низкого уровня, нежели капиталистические страны. В 1927 г. мы немногим превысили довоенный уровень. Но уже в 1929 г. мы поднялись по сравнению с довоенным уровнем гораздо больше, нежели капиталистический мир. Наша промышленность превысила довоенный уровень на 92 проц., производство капиталистических стран — всего на 46,5 проц.

Однако индексные цифры не дают достаточно наглядного, конкретного представления о действительном ходе развития. Остановимся поэтому более детально на промышленности главных стран.

САСШ — классическая страна «процветания». Как развивалась эта страна?

Прежде всего отметим, что послевоенное развитие САСШ отнюдь не было особенно быстрым. После 1923 г. промышленная продукция поднимается с 101 до 119 (1923—25 = 100), или на 18 проц. Между тем, по подсчетам

¹⁾ Сталин. Политический отчет ЦК XIV съезду ВКП(б).

²⁾ Там же. См. «Вопросы ленинизма», изд. 1926 г., стр. 338.

Mathew's¹⁾, промышленная продукция САСШ за годы 1907—1913 увеличилась с 151 до 184 (1899 = 100), или на 21,8 проц.

Еще более характерно, что темп применения механических сил в промышленности несколько замедлился по сравнению с довоенным временем.

В то время как число лошадиных сил за годы 1899—1904 увеличивается вдвое, за годы 1919—1929 оно возрастает, по одному подсчету, на 45 проц., а по другому, — на 61 проц. Абсолютное увеличение после войны конечно гораздо большее, а именно: на 13,4 млн. (или даже на 18,2 млн.) лош. сил после войны, и всего — на 8,6 (или 10,1 млн.) за годы 1899—1909. Надо однако

учесть, что 1909-й был кризисным годом, когда промышленность мало потребляла энергии. Как бы то ни было, эти данные, взятые нами из журнала Американского экономического общества (от сентября 1933 г., стр. 435—7), свидетельствуют о том, что темп применения механической силы был после войны более медленным, чем до войны. За годы 1923—29 прирост механической силы составлял 30 проц. (или 43,7 проц.), что тоже не очень значительно.

В САСШ процесс рационализации начался несколько раньше, чем в Германии. К какому результату привел он? На это можно ответить на основании цензов:

Развитие фабричной промышленности в САСШ

	Число предпр. в тыс.	Число в тыс.		Всего в тыс.	Число лош сил в млн.	Пр-во	
		Рабочих	Служащ.			Валовое	Чистое
						(в млрд. долл.)	
1923 г.	196	8.778	1.296	10 047	33,1	60,5	25,8
1925 г.	187	8 384	1.256	9 640	35,8	62,7	26,8
1927 г.	192	8.350	1.301	9.651	38,8	62,7	27,6
1929 г.	211	8 839	1.359	10 198	42,9	70,4	31,9

Число предприятий мало изменилось. То же можно сказать о числе рабочих и служащих. Оно только несколько повысилось за последние два года, по сравнению же с 1923 г. — всего на 150 тысяч.

С этими данными стоит сопоставить прирост числа занятых в нашей цензовой промышленности. Число рабочих и служащих составило в тысячах:

	Рабочих и служащих	Рабочих
1923 г.	1 655	1.353
1925 г.	2.109	1.940
1929 г.	3.353	2 861

По своим размерам наша промышленность еще далеко отставала от американской. Но по темпу своего развития она весьма значительно опережала ее. В эти годы еще и в САСШ продолжается рост производительности труда. Средняя выработка на 1 рабочего и

служащего увеличилась примерно на 17 проц. А средняя зарплата? Общая сумма зарплат и окладов поднялась с 13,8 до 15,2 млрд. долл., или на 8,6 проц., то-есть в два раза медленнее, нежели выработка.

Темп развития промышленности Англии был весьма слабым. По переписям 1924 и 1930 гг. развитие обрабатывающей промышленности за этот период представляется в следующем виде:

	1927 г.	1930 г.	1930 г. в проц. к 1924 г.
Чистая стоимость продукции в млн. фнт. ст.	1.057,5	1 005,4	95
Среднее число занятых в тыс.	4.719,5	4.551,4	96
Чистая стоимость на 1 занятого в фнт ст.	224	221	99
Применение механ. сил в тыс.	9.928	11.637	117

Развитие Англии было крайне слабым, если это еще вообще можно назвать развитием.

¹⁾ «The Revue of the Economic Statistics» за 1925 г., стр. 215.

Надо однако оговориться, что 1930 год уже относится к кризисным годам. Хотя общий уровень английской промышленности еще в 1929 г. был ниже довоенного, все же за годы 1924—1929 он поднялся на 7,5 проц., а производство средств производства — на 7 проц.

Промышленное развитие Германии характеризуется следующими данными:

Индекс промышленной продукции (1928 = 100)

	Вся промышленность	Производство средств производства	Предметов потребления
1913 г.	98,0	99,0	97,0
1924 г.	69,0	64,6	80,9
1929 г.	100,6	102,4	98,1

Можно сказать, что здесь 1929 г. означал только восстановление довоенного уровня. При этом весьма характерно, что число занятых на фабриках Германии почти не увеличилось. Оно составляло в тысячах:

	Рабочих	Рабочих и служащих
1913 г.	7.386	—
1924 г.	7.279	—
1926 г.	7 190	8 883
1928 г.	8 754	10.709
1930 г.	7.240	9.206

Число рабочих между 1924 и 1928 гг. увеличилось на 20 проц., а промышленная продукция — на 45 проц. Номинальная заработная часовая плата увеличилась, по вычислениям Конъюнктурного института, на 24 проц.

Таким образом, и здесь замечается значительное отставание даже номинальной зарплаты от роста продукции.

Развитие Японии шло сравнительно очень быстро. Индексы промышленной продукции Японии были (1928 = 100):

	Вся промышленность	Производство средств пр-ва	Производство предметов потребления
1913 г.	37	36	37
1924 г.	76	67	82
1929 г.	110	114	107

За пять последних лет перед кризисом уровень промышленности поднял-

ся на 44,7 проц., а производство средств производства (в данном случае в еще большей мере, чем в отношении других стран, приходится говорить о средствах разрушения, о затратах на вооружение) — даже на 70 проц.

Все же Япония значительно отстала по темпу своего развития от нас. Более того, и в абсолютном отношении мы далеко опередили Японию.

Промышленная продукция Японии составила в 1928 г. только 20,3 проц. продукции Германии¹⁾. Валовая стоимость ее промышленной продукции оценивалась всего в 7 млрд. иен (иена = 100 рублю), а число занятых рабочих было 2.067 тысяч. Производство нашей ценовой промышленности составило 18,3 млрд. рублей, а число занятых рабочих — 2.691 тыс. На 1 рабочего приходилось в Японии 3.730 иен, а у нас 6.700 рублей.

Еще характернее, что в Японии в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности занято было 310 тыс. рабочих, а у нас — свыше миллиона. Основной и руководящий кадр промышленного пролетариата слабо развит в Японии. За последние 4 года положение в Японии в этом отношении немногим изменилось, в то время как мы сделали дальнейший огромный шаг вперед...

Таким образом, уже в период относительной стабилизации капитализма наш Союз шел гораздо более быстро и верными шагами вперед, нежели все остальные капиталистические страны.

II

До тех пор, пока и капиталистическое хозяйство двигалось вверх, хотя и более медленным темпом, чем мы, превосходство социалистической системы хозяйства над капиталистической не проявлялось с достаточной наглядностью. Тем более, что мы переживали период восстановления своего хозяйства, еще только приступали к его реконструкции на основе новой техники, еще не успели ее

¹⁾ Вагенфюр в газете «Берлинер берзенцей-тунг» от 7 октября.

освоить и находились в значительной зависимости от передовых капиталистических стран. В деревне у нас еще не было ликвидировано кулачество как класс, назревали новые силы в тылу нашего фронта борьбы против капитализма, и трудно было еще решить, «кто кого»...

Тов. Сталин метко охарактеризовал то настроение, которое господствовало в лагере наших врагов накануне нынешнего кризиса:

«Победные песни о «процветании». Низкопоклонство перед долларом. Славословие в честь новой техники, в честь капиталистической рационализации. Объявление эры «оздоровления» капитализма и несокрушимой прочности капиталистической стабилизации. «Всеобщий» шум и гам насчет «неминуемой гибели» страны Советов, насчет «неминуемого краха» СССР».

Из огромной литературы, враждебной СССР в то время, укажем только на статьи в «солидных» французских журналах: «Ревю политик э парламентар» за март 1928 г. и «Ревю экономик интернациональ» за март того же года. Оба эти журнала, известные далеко за пределами Франции, поместили статьи какого-то белоэмигранта А. Гулевича о финансовом положении нашего Союза. В этих статьях автор пытается убеждать своих читателей, что наш Союз не в состоянии будет платить по своим обязательствам и вынужден будет, чтобы получить иностранные кредиты, без которых он не сможет восстановить свое хозяйство, вернуться к «принципам, господствовавшим до большевистской революции и лежащим до сих пор в основе экономики огромного большинства цивилизованных стран». Как это читается теперь, когда во всем мире наш Союз почти единственная крупная страна, которая полностью выполняет свои финансовые обязательства! Мы не только не вернулись к «принципам» капитализма, но вырвали с корнем его зародыши в лице кулака и полностью реорганизовали свое хозяйство на социалистической основе, не прибегая к заграничным кредитам. И именно это обстоятельство дало нам возможность

освободиться от зависимости от капиталистического мира. Привлечение в значительных размерах иностранных капиталов на той стадии развития, на которой мы тогда находились, привело бы теперь, во время кризиса, к резкому ухудшению и нашего положения, вызвало бы и у нас кризис, так как оттягивание капитала нарушило бы процесс воспроизводства, как мы это видим на примере всех задолжавшихся по отношению к загранице стран, не исключая и Германии. Троцкий (как и меньшевики), отрицавший возможность построения социализма в одной стране, не видел и других путей восстановления нашего хозяйства, как только при помощи иностранного капитала. Отсюда и его заключение, что наш «темп развития не произволен. Он задается нам всем мировым развитием, потому что в последней инстанции мировое хозяйство контролирует каждую из своих частей, даже если эта часть стоит под пролетарской диктатурой и строит социалистическое хозяйство». (Из его речи на VII пленуме ИККИ.) Контроль «своих частей» происходит в капиталистическом мире при финансовых отношениях между этими частями. Освободившись от них, построив фундамент социализма собственными ресурсами, мы вышли из-под контроля «мирового хозяйства». «Капитализм, — заявил тов. Сталин, исходя из ленинского учения о возможности построения социализма в одной стране, — уже не представляет единственной и всеохватывающей системы мирового хозяйства. Наряду с капиталистической системой хозяйства существует социалистическая система, которая растет, которая преуспевает, которая противостоит капиталистической системе и которая самым фактом своего существования демонстрирует гнилость капитализма, расшатывает его основы». (Из отчета ЦК XVI съезду ВКП(б).)

На самом деле дальнейшее развитие шло по двум резко расходящимся линиям: по резко падающей линии капиталистического производства и по еще более резко поднимающейся линии нашей продукции.

Вот основные данные, взятые из отчета Лиги наций за 1932 г. и из наших

источников о развитии нашего хозяйства.

Капиталистические страны.	Индексы продукции (1925—29 = 100)				1932 г в проц к 1929 г
	1929 г.	1930 г	1931 г	1932 г.	
Производство сырья для производства средств произв.	112,5	98,0	80,5	66,0	58
Произв. сырья для изготовления предметов потребления СССР	102,1	102,2	102,5	100,4	100
Производство средств произв. (А)	166	235	294	336	200
Произв. предметов потребл. (Б)	152	176	200	230	151
ГЕРМАНИЯ					
А	112	95	70	54	48
Б	104	101	94	85	82
АНГЛИЯ					
А	107	96	78	75	70
Б	100	90	88	90	90
САСШ					
А	113	83	54	29	26
Б	104	88	89	82	79
ПОЛЬША					
А	122	97	73	52	43
Б	110	92	82	70	64

Таким образом, производство средств производства в капиталистических странах упало примерно наполовину, в САСШ даже до невероятно низкого уровня: в ¼ продукции 1929 г. В нашем Союзе оно выросло по сравнению с 1929 г. в два раза.

В отношении САСШ речь идет о железе и стали, олове и цементе, в отношении Англии — о железодельательной, металлообрабатывающей, химической, машиностроительной и кораблестроительной промышленности.

Более полный подсчет дает для САСШ «Национальное бюро экономических исследований» («Экономист» от 13 мая 1933 г.).

Индекс промышленной продукции (1927 = 100)

	Произв. средств производства	Производство предм. потребл.	Производство методов, составляющих основной капитал (с «продолжительным оборотом»).
1928 г.	111	104	110
1929 г.	119	111	119
1930 г.	88	94	85
1931 г.	63	86	60
1932 г.	36	69	34

По этому вычислению производство средств производства составляло в 1932 г. 30 проц. того, что производилось в 1929 г. Однако и это вычисление дает только материальное выражение продукции. Одновременно упали и цены на средства производства с 154 (1913 = 100) до 113, или на 27 проц. В ценностном выражении продукция средств производства составляет всего 22 проц. продукции 1929 г.

Эта цифра, говоря о замирании капитального строительства, не дает достаточно ясного представления о том, происходило ли все же расширенное воспроизводство, или нет, в течение кризиса. Если мы возьмем сумму эмиссий, то мы, нам кажется, получим более ясный ответ на этот вопрос. Выпуск новых ценных бумаг, поскольку он не происходит с целью простой спекуляции и не представляет собой превращения одной формы собственности в другую (например превращения частных предприятий в акционерные общества), выражает расширенное (отчасти за счет амортизационных сумм еще действующего капитала) воспроизводство.

Эти эмиссии составили в среднем в

1929 г.	720
1930 г.	412
1931 г.	147
1932 г.	27

в млн. долл.:

Выпуск нового капитала колоссально упал — в 27 раз! Надо иметь в виду, что капитал американских акционерных обществ составил в 1929 г. 122 млрд. долл. 720 млн. в месяц, или 8,64 млрд. в год дают 7 проц. прироста. За годы 1925—1929 капитал этих обществ увеличился на 28 млрд., или в среднем на 7 млрд. в год. В 1929 г. имело место некоторое перенакопление. Но в следующие годы картина резко меняется. За годы 1930—32 всего было вложено но-

вого капитала 7 млрд., то-есть в три года получилось столько, сколько раньше в 1 год, а в 1932 г. всего 324 млн., что меньше 1/3 процента всего капитала.

В Германии произведен подсчет новых капитальных вложений в промышленность, амортизационных сумм и увеличения запасов. Эти капитальные вложения составили в миллионах марок¹⁾:

	Новые вложения			Амортизация			Увеличение запаса		
	А	Б	Всего	А	Б	Всего	А	Б	Всего
1924—28 гг.	1.769	545	2.514	2.420	824	3.244	1.150	690	1.840
1929 г.	267	50	317	634	207	841	+ 63	— 88	— 25
1930 г.	64	— 32	32	602	189	791	— 337	— 333	— 670
1931 г.	— 255	— 93	— 346	342	159	501	— 710	— 263	— 93

Таким образом, уже в 1931 г. не только не было новых вложений, но поедался старый капитал. Отчисленные амортизационные суммы были явно недостаточными, запасы стали с 1930 г. уменьшаться, а новые вложения, составив уже в 1930 г. ничтожную сумму, дали в 1931 г. отрицательный результат, то-есть был поеден капитал. За 1932 г. имеются сведения о несколько меньшем количестве акционерных обществ. У них стоимость оборудования упала за 1932 г. с 249 до 212 миллионов, или на 37 миллионов (почти на 11 процентов).

Если сосчитать все суммы вместе, то-есть новые вложения, амортизации и увеличение запасов, то получится сле-

дующая картина (в миллионах марок):

1929 г.	1.133
1930 г.	153
1931 г.	62

Сопоставим с этими цифрами наши капитальные вложения в промышленность.

За годы 1928—29 по 1932—33 вложено в промышленность 24,8 млрд. рублей, в том числе в производство средств производства — 21,3 млрд. рублей. Эта колоссальная сумма (Германия за годы 1924—28 вложила всего 7,6 млрд. марок) и дала нам возможность преобразовать нашу промышленность и поднять ее на значительную высоту.

Успехи нашего Союза за истекшее десятилетие можно проследить по росту доли нашей продукции в мировой:

	1924 г.	1925 г.	1926 г.	1927 г.	1928 г.	1929 г.	1930 г.	1931 г.	1932 г.
Добычи угля . . .	1,4	1,4	2,2	2,5	2,8	3,1	3,8	5,0	6,6
Добыча нефти . . .	4,2	4,7	5,9	6,3	6,5	6,7	9,6	11,0	11,8
Выплавка чугуна . . .	1,0	1,7	2,9	3,5	3,8	4,4	6,3	8,8	15,0
Произукция стали . . .	1,8	2,5	3,3	3,7	3,9	4,0	6,1	7,7	11,5
Потребление 4 цветных металлов . . .	0,7	1,0	1,3	2,7	3,5	2,8	3,6	4,1	4,6

Все эти вычисления сделаны на основании данных Лиги наций, Германского статкомитета и Франкфуртского общества по металлу.

Удельный вес нашей промышленности в мировой промышленности составил в 1928 г. 4,7 проц., в 1930 г. — 7,6 проц. и к середине 1932 г. — 13,1 проц. Таким образом, мы стали на втором ме-

сте после САСШ (34,4 проц.), обогнав Германию, Англию и Францию.

Особенно значительны наши успехи в области машиностроения. Мы увеличили наше производство машин в 1932 г. по сравнению с 1928 г. в 4 раза, в то время как производство машин в других

¹⁾ «Виртшафт унд статистик», № 19, за 1933 г.

странах испытало сильнейшее сокращение, составив в 1932 г. примерно 40 проц. производства 1928 г.

В САСШ спрос на инструменты упал с 145 до 18 (1925 — 29 = 100), или в 8 раз, спрос на оборудование литейных заводов — с 128 до 13 (или почти в 10 раз!), в Германии заказы на машины снизились с 105 (1928 = 100) до 32,2, а со стороны внутреннего рынка — даже с 88,3 до 24,1. В Англии продукция машин упала на одну четверть, во Франции — на 40 проц.

В 1925 г. мировая продукция машин оценивалась в 22 млрд. марок. Продукция нашего Союза составила тогда всего 1,5 проц. мировой. В 1928 г. мировая продукция составила вероятно 29 млрд. марок. Наша доля исчислялась германским Конъюнктурным институтом в 4 проц. Из машиностроительной промышленности исключается электротехническая, как и производство котлов, но включается производство паровозов. По этим же подсчетам, следует считать, что мировая машиностроительная промышленность в 1931 г. составила всего 17 млрд. марок, а наша промышленность составила 21,4 проц. Считая, что мировая машиностроительная промышленность составила в 1932 г. 45 проц. производства 1928 г., надо ее оценить в 13 млрд. Все эти наши расчеты основаны на оценках Конъюнктурного института и других источников. Далее, так как наша продукция увеличилась в 1932 г. по сравнению с 1928 г. в 4 раза, то она должна была составлять в 1932 г. — 35,7 проц. мировой продукции. В 1931 г. на долю САСШ приходилось 36,9 проц. мировой машиностроительной промышленности. Но в 1932 г. машиностроительная промышленность сократилась на половину (или даже больше). Их удельный вес выразится в 20—25 проц. Во всяком случае наши вычисления говорят о том, что наша машиностроительная промышленность заняла по своей величине первое место в мире.

Не только количественно, но и качественно сделаны большие сдвиги в нашем машиностроении.

«У нас, — говорил тов. Сталин на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) от 7 января 1933 г., — не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь..»

У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь..»

У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь..»

«Машиностроительная промышленность СССР, — заявляет с полным правом последняя работа Госплана «Итоги», — создана в полном смысле слова за годы пролетарской диктатуры..»

«Огромный рост машиностроения на протяжении пятилетки происходил на более высокой технической основе: машиностроение перестроилось на началах массового и крупносерийного производства, технически перевооружилось, изменило свою отраслевую структуру..»

Еще большее значение имеет создание новых отраслей машиностроения: производство автомобилей и тракторов, металлургическое, горнотопливное и химическое машиностроение, производство авиационных моторов, производство радиоаппаратуры, производство измерительных и оптических приборов и т. п.

«Нет такой отрасли машиностроения, которая к началу второй пятилетки отсутствовала бы в СССР. Нет такой машины, которой нельзя было бы при достигнутом в настоящее время вооружении произвести внутри страны..»

Из великих держав только три имеют машиностроительную промышленность, которая в состоянии удовлетворить все собственные нужды: САСШ, Англия, Германия, Франция и Италия уже нуждаются во многих отношениях в ввозных машинах, а о Японии и говорить не приходится.

Япония относится к тем странам, которые имели относительно более быстрое развитие, чем другие страны. Так, промышленная ее продукция увеличилась с 1925 по 1929 г. на 31 проц., в то время как промышленная продукция всех капиталистических стран поднялась на 18 проц.

За годы кризиса Япония, ведя войну с Китаем и стремясь к завоеванию мировых рынков путем бросового экспорта, мало сократила свое производство. Но все же машиностроительную промышленность она развить не сумела. Продукция ее машиностроительной промышленности оценивалась в 630 млн. иен в 1928 г., 682 млн. — в 1929 г. и 616 млн. — в 1930 г. Доля Японии в мировой продукции в 1928 г. составила вероятно около 4 проц., а в 1932 г. — около 9—10 проц. Японское машиностроение занимало в 1930 г. 205 тыс. рабочих, наше в том же году — 476,6 тыс. рабочих. Главное заключается однако в том, что японское машиностроение еще низкого качества. «Большая часть японских машин, — говорит Орчард («Экономическое развитие Японии»), — сделанных по западным моделям, отличается меньшей производительностью по сравнению с оригиналами... Низкий уровень заработной платы устраняет необходимость усовершенствований, которые бы сберегали человеческий труд, и даже задерживает применение таких улучшений...»

И Орчард заключает: «До тех пор, пока Япония будет довольствоваться ввозом и копированием заграничных образцов, она неизбежно будет отставать от стран Запада в развитии индустриализации». В основе отставания индустриализации лежит однако общая невыразимая бедность населения: новые машины требуют широкого и емкого рынка. А кто будет покупать например железные изделия? Главное применение японские машины находили до сих пор в военной промышленности. Но на этой основе все же не создашь современного машиностроения.

Именно этот момент — узость внутреннего рынка — не только задерживает развитие машиностроения в Японии и в других странах, но и привел, в ходе нынешнего кризиса, к «борьбе против техники», которая проявляется в мероприятиях не только насквозь реакционных слуг финансового капитала и юнкерства, фашистов, но и в «кодексах» Рузвельта. Рядом мероприятий пытаются ограничить применение ма-

шин, в частности в табачной промышленности. Установленные в САСШ «кодексы честной конкуренции» для текстильной и табачной промышленности ставят введение новых машин в зависимость от специальных лицензий.

Еще характернее практика самих предпринимателей. В газете «Дейче бергеркерсейтунг» от 13 декабря 1933 г. фабрикант Керс жалуется на то, что торговцы скупили старые машины у обанкротившихся предприятий за бесценок и продают их теперь даже таким предприятиям, которые благодаря полученным правительственным заказам несколько расширяют свою продукцию...

«Ни у кого, — говорит он, — не встретит противоречия заявление, что в Германии в среднем металлообрабатывающие машины слишком устарели, что тысячи из них, которым место в музеях, должны пойти на слом». И он требует, чтобы был издан специальный закон, который бы заставил предпринимателей обновить свое оборудование, ссылаясь на пример Франции, которая уже провела такой закон.

Плохи дела капитализма, если уж необходимо принудительным порядком заставлять его улучшать производство. А как это совместить со стремлением к увеличению ручного труда с целью несколько уменьшить безработицу?

Во всяком случае в этом вопле германского заводчика о помощи наиболее ярко отражается противоположность двух миров, двух хозяйственных систем: все наши фабрики и заводы, все наши лучшие технические силы и наши рабочие массы вовлечены в борьбу за лучшую технику. Мы строго следим за тем, чтобы рационализаторские мероприятия, предлагаемые рабочими и служащими, проводились в жизнь. А в Германии фабрикант должен напоминать о военно-стратегическом значении машиностроения, чтобы добиваться закона о принудительном обновлении давно устаревшего оборудования!

Место не позволяет нам остановиться на других отраслях хозяйства, специально на электрификации и химизации. Хотя в особенности последняя отрасль связана с военной промышленностью,

все же и она испытала за последние годы довольно значительное снижение, так как резко сократилось потребление для «мирных целей». Показателей развития мировой химической промышленности у нас нет. Но мировая торговля химическими товарами резко снизилась. Экспорт химических продуктов составил в млн. марок:

1929 г	5 439
1930 г	4 523
1931 г	3 603
1932 г	2.579

Вывоз 1932 г. составил 47,5 проц. вывоза 1929 г.

Германский индекс цен химических продуктов составил в 1929 г. 126,8 (1913 = 100), а в 1932 г. — 105,0, следовательно, упал на 17,8 проц. Если учесть этот момент, вывоз химических изделий составит в 1932 г. 56 проц. вывоза 1929 г. У нас за годы пятилетки химическая промышленность выросла в мощную область народного хозяйства, создан ряд новых сложнейших производств и специально произведена полная реконструкция анилинокрасочной промышленности, резино-асбестовой, стало развиваться производство искусственного волокна и синтетического каучука.

Наша химическая промышленность уже обогнала химическую промышленность Японии. Мы произвели на 1,5 млрд. руб., Япония в 1930 г. — на 1,08 млрд. иен.

III

В области сельского хозяйства капиталистические страны не могут похвастаться особым развитием даже в годы стабилизации. Лига наций определяет развитие сельского хозяйства следующими показателями (1925—29 = 100):

1925 г	98
1926 г	97
1927 г	99
1928 г	103
1929 г	104
1930 г	103
1931 г	103
1932 г	102

Мы высчитали на основе данных Римского сел.-хоз. института развитие посевных площадей и получили следующий результат:

Страны	С.-х. площадь		Площадь под зерновыми	
	1924 г.	1931 г.	1924 г.	1931 г.
Германия	20,2	20,5	11,2	12,0
Австрия	1,9	1,9	1,1	1,1
Бельгия	1,2	1,2	0,7	0,7
Франция	23,0	22,2	11,3	11,0
Великобритания	5,7	5,0	2,5	2,1
Сев. Ирландия	0,5	0,5	0,1	0,1
Италия	13,2	13,8	7,3	7,2
Швейцария	0,5	0,5	0,1	0,1
Люксембург	0,1	0,1	0,05	0,05
Чехо-Словакия	5,9	5,8	3,1	3,5
Итого евр. про-мышл. стран	72,2	71,5	37,2	37,9
САСШ	138,2	138,4	88,9	84,1
Япония	7,2	5,9	5,1	4,9
Итого	217,6	215,8	131,2	126,9
Дания	2,6	2,6	1,2	1,3
Эстония	1,0	1,0	0,5	0,5
Финляндия	2,1	2,3	0,8	0,8
Ирландия	1,5	1,5	0,4	0,3
Латвия	1,7	1,9	0,9	0,8
Литва	2,6	2,6	1,2	1,4
Норвегия	0,7	0,8	0,2	0,2
Голландия	0,9	0,9	0,4	0,4
Швеция	3,8	3,7	1,6	1,5
Итого	16,9	17,3	7,2	7,2
Болгария	3,3	3,6	2,2	2,6
Сербия	5,9	7,0	4,8	5,9
Венгрия	5,5	5,6	3,8	4,1
Польша	18,3	18,5	9,9	11,8
Румыния	11,7	13,5	10,2	11,5
Итого	44,7	48,2	30,9	35,9
Кроме того,				
Испания	16,0	15,9	7,7	8,4
Итого европ. аграрн. стр.	77,6	81,4	45,8	51,5
Канада	—	—	17,2	18,3
Аргентина	21,3	26,4	11,2	16,9
Индия	153,9	158,5	77,3	80,2
Алжир	2,7	6,1	2,6	3,0
Египет	3,4	2,3	1,7	1,8
Тунис	2,8	2,9	0,8	1,3
Южн.-Афр. союз	3,0	4,8	2,7	3,4
Австралия	8,7	13,7	4,5	8,1
Нов. Зеландия	0,7	0,8	0,1	0,1
Итого заокеанск. аграрн. стран	196,5	215,5	118,1	133,1
Итого	274,1	296,9	163,9	194,6
Итого всех европ. стран	149,8	152,9	83,0	89,4
Итого всех заокеанских стран	341,9	359,8	212,1	222,1
Итого	491,7	512,7	295,1	311,5

Подсчет по 36 главным странам дает увеличение сельскохозяйственной площади всего на 21 млн. га, а площади под зерновыми культурами — на 16 млн. га. Между тем у нас сельское хозяйство показывает следующее развитие:

	1924 г.	1928 г.	1932 г.	Увеличе- ние против 1924 г.
	(в млн. га)			
Вся посевная площадь .	98,1	113,0	132,4	36,3
Зерновые .	82,9	92,2	99,7	16,8

Площадь под зерновыми в нашем Союзе увеличилась в таком же размере, как площадь 36 стран, а вся сельскохозяйственная площадь даже превысила размеры увеличения ее в этих 36 странах.

Если взять посевные площади в капиталистических странах под техническими культурами (картофель, сахарная свекла, виноградники, табак, лен, хлопок, конопля, джут и шелк), то она увеличилась с 1924 г. по 1931 г. всего с 65,6 до 66,7 млн. га. Между тем площадь под техническими культурами у нас с 1928 по 1932 г. была расширена с 6,2 млн. га до 14,8 млн.

Однако успехи нашего сельского хозяйства выражаются не только в этом количественном росте. Мы добились качественных успехов, которых не знают и никогда не могут добиться капиталистические страны. Наша революция прежде всего освободила крестьян от того ярма, которое называется частной собственностью. Это особенно чувствуется в настоящее время.

Дело в том, что связанная с земельной собственностью задолженность крестьян далеко превысила их платежную способность. Другими словами: сельское хозяйство капиталистических стран фактически обанкротилось, и буржуазные правительства вынуждены законодательным путем снижать эту задолженность или уменьшать сумму процентов, или приостанавливать платежи и распродажи крестьянского имущества. Повсюду однако эти мероприятия носят временный и компромиссный характер: стремятся спасти хотя бы часть вложенного в

сельское хозяйство капитала, с одной стороны, и предупредить крестьянские восстания — с другой. Но дамоклов меч задолженности продолжает висеть над крестьянской «собственностью». А главное: нуждаясь в новых кредитах, крестьяне вынуждены платить теперь такие высокие проценты, что этим заранее подрывается доходность их хозяйства.

Далее, раздробленность землевладения делает невозможным введение новой техники и рациональное хозяйство вообще. Чтобы не усложнять наше изложение, мы остановимся на примере Германии, сельское хозяйство которой стоит среди капиталистических стран на сравнительно высоком уровне. И что же оказывается?

По исчислениям д-ра Бореля в «Ланд-виртшафтсцейтунг» за 1927 г., германское сельское хозяйство теряет большие суммы от того, что земля там раздроблена.

Его расчет следующий: мелкие хозяйства до 5 га площади теряют по 160 марок на га, а все эти мелкие хозяйства вместе — 800 млн.; хозяйства от 5 до 20 га теряют по 120 мар. на га, а вся эта группа хозяйств вместе — 1.250 мар., затем хозяйства от 20 до 100 га — по 50 м. на га, или всего 450 млн. Вся потеря составляет, таким образом, 2.500 млн., или почти $\frac{1}{4}$ стоимости всей продукции.

Мы вычислили валовой доход германского сельского хозяйства на 1 самодеятельного в марках (за 1925 г., за который имеются соответственные данные):

Хозяйства	Доход в марках	Потери по сравнению с хоз. в 50—100 га
До 2 га	442,2	1,670
От 2 до 5 га	843,7	1,270
» 5 » 20 »	1.288,5	820
» 20 » 50 »	1.944,0	70
» 50 » 100 »	2.112,9	—
свыше 100 га	1.764,0	350

В хозяйствах до 2 га было в 1925 г. постоянно занятых 3,1 млн.; их доход при работе на более крупных предприятиях возрос бы, следовательно, на 5 млрд. марок, хозяйства от 2 до 5 га насчитывают постоянно занятых 2,3 млн. их потери исчисляются в 2,9 млрд. ма-

рок. В группе хозяйств от 5 до 20 га работали постоянно 3,7 млн. Их валовой доход мог бы подняться на 3 млрд. Мы видим, что укрупнение хозяйств и лучшее оборудование их увеличило бы доход трудящихся крестьян на 11 млрд. марок, то-есть, дал бы в два раза больше продуктов, чем Германия получает. Удивительно ли после этого, что даже пресса аграриев вынуждена признать преимущество крупного земледелия? Однако в целях сохранения своей социальной опоры буржуазия вынуждена консервировать, а иногда и насаждать, средние кулацкие хозяйства или мелкие хозяйства, поставляющие крупным землевладельцам дешевую рабочую силу. В результате сельское хозяйство капиталистических стран всюду страшно отстало.

Следовало бы дальше указать на техническую деградацию сельского хозяйства капиталистических стран за годы кризиса. Так, сбег сельскохозяйственных машин в Германии составил в 1927—28 г 350 млн. марок, а в 1931—32 г.—100 млн. За это время наше сельскохозяйственное машиностроение выросло с 176,9 млн. до 840 млн. рублей!

Более того, не только в годы кризиса, но и в годы относительного подъема сельское хозяйство не пользуется особым вниманием капитала. В Германии например за годы 1924—1929 было вложено во все народное хозяйство на новое оборудование 32,9 млрд. мар., на амортизацию 37,7 млрд., а всего 70,66 млрд. мар. Из этой суммы приходилось на сельское хозяйство 2,53 и 2,86 млрд., а всего 6,39 млрд., или 9 проц. всего вновь вложенного в течение 6 лет капитала.

Наши капитальные вложения составили по обобщественному сектору за 4½ года 52,5 млрд. рублей, в том числе в сельское хозяйство — 10,8 млрд. рублей, что составляет около 20 проц. всех вложений. И абсолютно, и относительно наши вложения значительно превосходят те суммы, которые вкладывала Германия в сельское хозяйство.

Наконец самый принцип организации нашего сельского хозяйства на коллек-

тивных началах и введение плановости и в эту область поднимает наше хозяйство на недостижимую для капиталистических стран высоту. Еще на-днях чехо-словацкий министр сельского хозяйства Годжа на открытии сельскохозяйственной анкеты заявил, что все стремится к планированию хозяйства. «Равновесие между производством и потреблением, — сказал он, — не может быть восстановлено путем свободной конкуренции, точно так же, как этот принцип не может обеспечить выгодное положение экономически и социально слабого, так как при свободной конкуренции более слабый всегда будет побежден более сильным».

Но чем заменить «свободную конкуренцию», которой фактически давно больше нет? Ее место ведь давно заняла монополия. Последняя так же мало, как в свое время свободная конкуренция, в состоянии сохранить равновесие между производством и потреблением или обеспечить положение слабых, как это наиболее ярко показал нынешний кризис.

Но капиталистическое хозяйство не может быть планируемо. К чему теперь все стремятся, — это к созданию новых и новых монополий и в сельском хозяйстве, как и в промышленности. Сокрытие продукции и принудительное картелирование — вот рецепт выхода из кризиса для умирающего капитализма, производственные силы которого переросли рамки существующих производственных отношений. Между тем как-раз самые «организованные» страны — САСШ и Германия — больше других пострадали от нынешнего кризиса. О чем же это говорит? О том, что глубоко прав т. Сталин, заявивший, что монополии только углубили кризис и затрудняют выход из него.

Монополии, «делая кризис особенно мучительным и разорительным для народных масс, являющихся основными потребителями товаров, не может не повести к затягиванию кризиса, не может не затормозить его рассасывание». (Сталин).

Одно время германское правительство пыталось заставить монополии понизить цены, но конечно без успеха. А фашистское правительство, являясь исполнительным комитетом самой реакционной части финансового капитала, не пытается больше предпринимать что-нибудь в этом отношении. Наоборот, вся его деятельность направлена к тому, чтобы усилить влияние картелей и банков.

В САСШ путем инфляции снижают уровень цен в золотом выражении. Но одновременно еще больше падает реальная зарплата.

Так капитализм запутался в сетях своих противоречий, откуда нет иного выхода, как революционный разрыв этих сетей и освобождение производительных сил от капиталистических оков. Ныне больше, чем когда-либо, мелкие и средние крестьяне должны почувствовать справедливость слов, сказанных Марксом больше полувека тому назад: «Только падение капитала может поднять крестьян, только антикапиталистическое рабочее правительство может положить конец его экономической нищете и общественной деградации».

IV

Наиболее ярко сказалось развитие капиталистических стран на росте «национального» дохода. Относительно быстрый рост в годы относительной стабилизации и еще более резкое падение его в годы кризиса—вот путь, пройденный капиталистическими странами за последнее десятилетие. Остановимся на нескольких примерах:

В САСШ народный доход исчислялся в 1923 г. в 70 млрд. долл., в 1929 г.—в 85 млрд., а в 1932 г. в 40 млрд. Народный доход Германии составил в 1925 г. 60 млрд., в 1929 г. — 76 млрд., а в 1932 г. — 46,5 млрд. марок. Национальный доход Англии уменьшился с 1929 г. по 1932 г. с 4 млрд. фунтов стерлингов до 3,2 млрд. Национальный доход Румынии снизился с 1928 г. до 1832 г. больше, чем на половину—с 191 до 90 млрд. лей.

Народный доход нашего Союза составил в 1926 г. 22,9 млрд., а в 1932 г.—45,5 млрд. руб. в неизменных ценах, увеличившись почти в два раза.

И в данном случае важно не только количественный рост, но и качественное изменение состава народного дохода. «Вопрос о распределении народного дохода по классам,—говорит тов. Сталин,—является коренным вопросом, с точки зрения материального и культурного положения рабочих и крестьян».

В этом отношении мы имеем и следующую разительную картину. Известный американский статистик Кинг определяет долю зарплаты и окладов в общем народном доходе за 1927 г. в 56,8 проц. Число рабочих было 29.830 тыс., служащих—9.037 тыс., вместе они составили 38.867 тыс. Предпринимателей было всего 9.801 тыс. Рабочие и служащие составили, таким образом, около 80 проц. всех самостоятельных и на 115 млн. населения — 33 проц.

Предприниматели, составляя 8,3 проц. населения, получали 41,8 проц. народного дохода. Рабочие и служащие, составляя 33 проц. населения, имели всего 56,8 проц. народного дохода. На 1 проц. населения, охватывавший предпринимателей, приходилось 5 проц. народного дохода; на 1 проц. из рабочих—1,7 проц., или в три раза меньший доход.

В Англии исследования Боули и Стемпа («The National Income», 1924 г., стр. 11, 46—47, 48 и 50) определяют долю зарплаты в народном доходе в 40 проц.; если однако учесть и оклады (1.600 + 742 млн. фунт. ст.), то (при общем доходе в 4.164 млн. фунт.) процент этот повышается до 56,2 проц. Число рабочих и служащих составляют 18,2 млн. при общем населении в 44,87 млн. и при самостоятельном в 20,3 млн. Наемный труд составляет 40,5 проц. всего населения и 89,7 проц. самостоятельного. На 1 проц. населения, работающего по найму, приходится 1,33 проц. национального дохода.

В Германии перепись 1925 г. установила 14,43 млн. рабочих и 5,27 млн.

служащих и чиновников. Всего лиц наемного труда, следовательно, 19,7 млн., не считая членов семей, участвующих в производстве. Так как население Германии составляло 62,4 млн., то наемный труд составлял 31,4 проц., а среди самостоятельного — 65,7 проц. Если считать, что из всего народного дохода в 58 млрд. марок приблизительно 58 проц. приходилось на наемный труд, то на 1 проц. населения, работающего по найму, мы имеем 1,8 проц. дохода.

Предприниматели, составившие 8,9 проц. населения, получают 44 проц. народного дохода, или 1 проц. населения — 4,94 проц. дохода.

Наш народный доход распределялся следующим образом:

Доля частного сектора снизилась с 1928 г. по 1932 г. с 50,3 проц. до 12,9 проц. Удельный вес доходов рабочих и служащих поднялся с 35,6 проц. до 55,7 проц., колхозников — с 1,3 проц. до 27,3 проц., кооперированных ремесленников и кустарей — с 1,4 проц. до 2,9 проц. («Итоги», стр. 31).

У нас на доходы рабочих и служащих приходится такая же доля народного дохода, как в САСШ или в Англии. Но рабочие и служащие составляют у нас всего 13,7 проц. населения, так что на 1 проц. населения из рабочих и служащих приходится 4 проц. народного дохода.

Таким образом, относительная доля рабочих и служащих в народном доходе составляет:

СССР	4
САСШ	1,7
Германия	1,8
Англия	1,3

Отсюда ясно видно, какое влияние имела наша революция на распределение народного дохода: в то время как в капиталистических странах главная часть дохода приходится на кучку предпринимателей, получающих в среднем в 2—3 раза больший доход, нежели многомиллионная масса рабочих и служащих, у нас главная часть дохода приходится на долю рабочих и служащих. Удельный вес их дохода в общем на-

родном доходе более чем в два раза выше, чем в капиталистических странах.

Наконец отметим постепенное вымирание населения европейских капиталистических промышленных стран. Статистика движения населения указывает обычно прирост населения, однако этот прирост сильно уменьшился за последние годы. Если учесть возрастной состав населения, то «прирост» на деле превращается в дефицит.

Так, германский статистик Бургдерфер в своей работе «Народ без молодежи» (стр. 366) приводит следующие данные о приросте населения в некоторых странах.

	На 100 женщин в возрасте от 15 до 45 л. пришлось случаев рождений 1929/30 г.	На 1.000 жителей увеличение или убыль населения 1929/30 г.
Бельгия	61,6	— 2,3
Англия и Уэльс	61,9	— 3,2
Франция	72,6	— 0,4
Швейцария	64,5	— 2,3
Украина	122,6	+ 7,7

Тов. Сталин так характеризовал настроение буржуазии накануне нынешнего кризиса: «Победные песни» о «процветании», низкопоклонство перед долларом, славословие в честь новой техники, в честь капиталистической рационализации. Объявление эры «оздоровления» капитализма и несокрушимой прочности капиталистической стабилизации». Да, так это действительно было. Но как далеко мы отошли от этого времени! Теперь почти общим местом стало, что капитализм «состарился», что якобы техника виновата во всех бедствиях, что капитализм в той форме, в которой он существовал раньше, не может, не должен долгие существовать.

Характерно в этом отношении заявление Рузвельта. «Нынешнее экономическое положение, — пишет он в своей книге «Взгляд вперед», — является трагической иронией. Мы попали в него не вследствие естественной катастрофы — засухи, наводнения, землетрясения или другого рода разрушения наших средств производства и рабочей

силы, — у нас все в излишке: сырье, машины, транспортные средства и торговый аппарат. Но большая часть наших машин и нашего аппарата стоит неподвижно, в то время как миллионы работоспособных и интеллигентных людей находятся в нужде и молят о работе. Наша способность управлять производством поставлена под вопрос». И вот он придумывает новые способы управления производством: «кодексы честной конкуренции», фактически принудительное картелирование, инфляцию, государственный контроль, сводящийся к усилению власти крупнейших из крупных предпринимателей. Но воз и ныне там... После кратковременного оживления промышленная деятельность опять пошла под гору.

Или вот другой пример:

Политика почти всех капиталистических государств направлена в сторону «реаграризации» «автаркии», самодовольствования собственными силами.

Но это значит, что никто больше не считается со значительным товарооборотом, с дальнейшим развитием техники и с расширением продукции, в особенности ввиду прекращения прироста населения. Капитализм вступил в стадию застоя, деградации. Об этом говорят и буржуазные ученые (например Лифман) и буржуазный деловой мир (см. например «Кельнише дейтунг» от 28 сентября 1933 г.). Но это означает, что даже представителями буржуазии констатируется тот факт, что «из форм развития производительных сил капиталистические отношения стали их оковами». Капиталистический мир вступил в эпоху социальной революции, в плотную подошел к ней как-раз в то время, когда мы построили фундамент социалистического общества и намерены в течение второй пятилетки завершить построение социалистического здания, создав бесклассовое общество и широко развить свои производительные силы...

Все выше и выше

А. ГАРРИ

I. Новая Мекка

Все флаги в гости будут к нам—
И запируем на просторе...

А. С. Пушкин. — «Медный всадник».

Центральный московский аэропорт постепенно становится излюбленным местом международных авиационных сборищ. Если в предыдущие годы мы наблюдали самолеты с иностранными опознавательными значками на территории Ходынского поля, то это объяснялось не столько нашими успехами в области строительства и эксплуатации самолетов, сколько праздным туристским любопытством к советской «экзотике», с одной стороны, и необъятностью нашей территории — с другой. На самом деле, советская территория по разнообразию рельефа местности и климатическим условиям представляет собой наиболее удобную и интересную местность для экспериментов длительного полета.

Однако уже истекший авиационный год показал, что дело заключается не только в этих соображениях фактического порядка. На самом деле, если исключить перелет эскадрильи итальянских гидросамолетов и французский трансфриканский перелет, то получается, что СССР в этом году был единственным государством, где под разными предложениями собрались флаги всех летающих наций. Объясняется это прежде всего тем, что в связи с жестоким экономическим кризисом, который, есте-

ственно, не мог не отразиться самым чувствительным образом и на авиации, интерес капиталистического Запада к миролюбивым авиационным демонстрациям значительно ослабел. Большие авиационные парады финансируются сейчас исключительно военными ведомствами, а последние, как известно, меньше всего заинтересованы в гласности. Даже знаменитый кубок Шнейдера, который на протяжении целого ряда лет привлекал внимание авиационной общественности всего мира, в связи с кризисом сейчас ликвидирован. В область преданий отошли и ежегодные авиационные карнавалы, и большие рекламные перелеты, организовываемые в свое время отдельными авиостроительными кампаниями, и интернациональные спортивные авиосборища. Даже традиционный авиационный «Салон» в Париже прошел чрезвычайно вяло: целый ряд фирм за недостатком средств отказался выставить свои экспонаты, целый ряд крупнейших авиоклубов, по тем же соображениям, не прислал своих делегаций. В авиационных журналах Англии, Франции, Америки становится все меньше и меньше текста и иллюстраций, — в них явно начинают преобладать длинные столбцы объявлений о продающихся по случаю подержанных самолетах. Внешность современных авиационных журналов является своего рода свидетельством о бедности: можно встретить объявления, в которых сообщается о продаже на выгодных условиях целых партий в 20 — 30 самолетов. И если глянуть на

специальный авиационный номер французского иллюстрированного журнала «Вю», вышедшего в ноябре истекшего года, то можно легко убедиться, что капиталистический мир сейчас интересуется почти исключительно военной авиацией. Маски сброшены, кризис хватается за горло, приходится отбросить в сторону пустые разговоры и серьезно поговорить о деле: авиация нужна для войны.



Бесспорно, самым значительным из всех заморских паломников, прилетевших в этом году поклониться новой Мекке авиации, является полковник Чарльз Линдберг. Прежде всего он в настоящее время с полным правом может считать себя самым выдающимся пилотом в мире, причем это право он завоевал не только своим историческим перелетом через Атлантический океан. Перелет этот, вознаградивший пилота мировой славой и достаточными материальными средствами, — для того, чтобы заняться самостоятельным разрешением крупнейших авиационных проблем. — послужил для полковника Чарльза Линдберга лишь своеобразным трамплином, который дал ему возможность выбраться из рамок той социальной среды, которая определялась его рождением. В САСШ миллионы не валяются под ногами, и молодой человек, даже самый способный, даже самый предприимчивый, не так легко может пробить дорогу в жизнь. Последующие события показали, что еще в самом начале своей авиационной деятельности Линдберг уже самым серьезнейшим образом изучал мировые воздушные пути сообщения и уже тогда наметил целый ряд мероприятий для их рационализации. Однако безвестный пилот, без средств, без влиятельных родственников, конечно не мог и мечтать о том, чтобы обратить на себя внимание одной из тех международных авиационных акул, которые в настоящее время в капиталистическом мире разделяют между собою — и не всегда мирным образом — господство в воздухе. Перелет через Атлантический океан явился, таким образом, своеобраз-

ным рекламным трюком: Линдберг рекламировал самого себя, показывал всему миру, на что он способен как пилот, доказывал необходимость считаться с собой. Нечего и говорить, что трюк этот удался блестяще, и перелет «долговязого Линди», вчера еще никому неизвестного, полуголодного ярмарочного авиатора, сразу же выдвинул его в первые ряды мировой гражданской авиации.

Нужно отдать справедливость Линдбергу: он — замечательно цельная натура. Никогда после своего исторического перелета из Нового в Старый свет он не прибегал к саморекламным трюкам. Прочно став на ноги как в «обществе», так и в авиационном мире уже в тот момент, когда в здании американского посольства в Париже, облаченный в шелковую пижаму посла (кроме комбинезона, не захватил с собой вещей), он, усталый и счастливый, принимал представителей мировой печати, — Линдберг не позволил себе совершить ни одного перелета, в котором, с точки зрения авиационной техники, можно было бы найти хотя бы одну сотую долю процента риска. После своего головокружительного, рекордного перелета он сразу же превратился в осторожного, расчетливого, великолепно вооруженного технически авиатора, пренебрегающего трюками и рекордами, вернее, предпочитающего, чтобы в этой области упражнялись другие. Все дальнейшие годы своей авиационной деятельности Линдберг посвящает повседневному, трудолюбивому и глубоко научному изучению дела эксплуатации самолета в нормальных летных условиях. И, с этой точки зрения, его недавний, так блестяще закончившийся круговой международный перелет представляет совершенно исключительный интерес.

Перелет этот Линдберг совершил на самолете известного типа «Локхид-Сириус» с мотором «райт-циклон», в 750 лошадиных сил. Этот аппарат, в комбинации с одним из лучших в мире моторов, представляет собою в данный момент наиболее удачное разрешение деревянного легкого самолета. Необходимо отметить, что аппарат, на котором прилетел Линдберг, представляет собою

эталон этого образца самолета и во всяком случае является первой машиной типа «Локхид-Сириус», поставленной на поплавки.

Общепризнанные качества этой машины являются конечно делом заслуги фирм, участвовавших в ее изготовлении. Все же оборудование самолета, в том числе и щит с контрольными приборами, смонтированы по прямым указаниям Линдберга и под его личным наблюдением. Большой интерес представляет в частности система амортизации при помощи применения резиновых прокладок, благодаря которой щит с измерительными приборами почти совершенно свободен от вибрации, и, таким образом, его показания являются почти абсолютно точными. Каждый прибор, кроме того, вращается вокруг своей оси, что дает возможность значительно облегчить зрительное напряжение пилота: все девять приборов, симметрично расположенные на одном щите, поворачиваются таким образом, что создаются три параллельные линии из стрелок, указывающих нормальный полет. Таким образом, малейшее отклонение каждой из этих стрелок глаз пилота регистрирует почти автоматически.

В отношении остального оборудования ярко сказалось упомянутое выше стремление Линдберга не ставить никаких головоломных рекордов. В частности он отказался от автоматического пилота, считая этот прибор еще недостаточно проверенным.

— На моем самолете,—заявил Линдберг,—нет ни одного прибора или приспособления, не находящегося в массовом производстве или не имеющегося на рейсовых американских самолетах. Моя задача — испытать самолет только в нормальных условиях.

Соответственно этой задаче Линдберг на всем протяжении своего громадного маршрута ни разу не пользовался длительными перелетами, хотя, по его словам, его самолет и располагает радиусом действия в 3.000 километров. Так, максимальным этапом был этап Ленинград — Москва, протяжением около 600 километров. Большинство остальных этапов, за исключением перелета через

океан, уже на обратном пути варьировали от 100 до 400 километров. На каждом этапе Линдберг проводил несколько дней, ознакомился с климатическими условиями данной местности, с господствующими в ней ветрами. Можно с уверенностью сказать, что никто до него не собрал столько ценного и богатого фактами материала о двух наиболее удобных вариантах летного пути между Америкой и Европой: северного и южного.

Уже первые беседы с Линдбергом в Ленинграде дали возможность установить с неопровержимой ясностью, что и для него СССР является новой Меккой авиации, страной с громадными авиационными перспективами и громадными, частично уже реализованными авиационными возможностями. Не как легкомысленный турист, ищущий сенсации, а как серьезный исследователь, знакомящийся с большим и сложным вопросом, подошел Линдберг к изучению советской гражданской авиации. На автомобиле, в номере гостиницы, за банкетным столом, — всюду вел он нескончаемые беседы о воздушных линиях СССР и их прогажении, о северной летной трассе, долженствующей соединить Москву с Нью-Йорком через Скандинавию, Исландию и Гренландию, о ветрах и форме крыльев, о температурах и качестве моторов. Сейчас еще трудно конечно сказать, какие практические результаты будет иметь посещение Линдбергом СССР. Однако совершенно бесспорно, что самый факт посещения нашей страны является очень серьезным шагом на пути к советско-американскому авиационному сближению.

Перелеты Поста и Маттерна, в значительной своей части прошедшие над территорией СССР, также представляют немалый интерес.

Невольно вспоминается картина, описания которой около четырех лет волновали умы большей части цивилизованного человечества: безбрежная снежная пустыня на стыке двух материков — азиатского и европейского, — отделенная

многими тысячами километров от цивилизованного мира, в этой пустыне, в снегу, два пестрых пятна, два флага двух государств — СССР и САСШ.

Это было в трагические дни, полные волнений и несбывшихся надежд, когда у северных оконечностей двух материков советские и американские летчики искали в снегу трупы Эйельсона и Борлянда. Два флага, воткнутые в трехметровый снег, как пушистым одеялом, покрывший скованную льдом поверхность Арктического океана, отмечали расположение лагеря, временной стоянки поисковых партий. Мороз доходил до сорока градусов. Топоры и ломы, которыми летчики скалывали смерзшийся снег, от мороза сделались хрупкими, как стекло. В меховой палатке, доставленной по воздуху из Нома американским пилотом Кроссоном, тлела японская угольная грелка. Туда поочередно забегали и советские, и американские пилоты, чтобы восстановить кровообращение в застывших пальцах рук и ног. Между обоими государствами в те времена не существовало нормальных отношений, но здесь, в ледяной пустыне, об этом не думали: речь шла сначала о спасении двух человеческих жизней, потом — лишь об отыскании трупов двух людей, отдавших свою молодую жизнь за великое дело освоения арктических пустынь. И летчики, советские и американские, день и ночь трудились бок о бок, не покладая рук.

Труп Эйельсона обнаружила поисковая партия советского летчика Слепнева. Отдельные части тела приходилось выкалывать из льда часами, чтобы не поломать труп: арктический океан крепко держал свою жертву. Когда освободили от смерзшегося снега половину туловища, из кармана выпала зажигалка. Летчик Слепнев долго держал ее в руках. Потом он осторожно нажал пружину, и под ослепительным солнцем Арктики бледно-голубым огоньком вспыхнул фитилек: человек, изобретающий самолеты и зажигалки, был мертв, он замерз, но техника была бессмертна.

Через несколько дней на горизонте показался сверкающий самолет. Он сделал несколько кругов над походным

аэродромом, где, закопавшись в снег, стояли советские и американские аппараты. Потом он сел наконец, но неудачно: лыжи напоролась на невидимый под снегом торос: самолет скапсировал и разбился вдребезги. Из-под обломков проворно выбрался укутанный в мех летчик. Даже не оглянувшись на обломки своего аппарата, с поразительным англосаксонским хладнокровием он пошел к Слепневу, проваливаясь в снег, и, взяв под козырек, передал советскому пилоту запечатанный пакет, в котором губернатор Нома приглашал мистера Слепнева доставить труп капитана Эйельсона в Аляску.

Походный лагерь был быстро упакован, флаги, советские и американские, водворены на место. И вскоре над ледяной пустыней взвилась маленькая стайка серебристых птиц. На головной машине, увенчанной алым советским знаменем, советский пилот Слепнев вез возвращенный в звездный американский флаг очоливший труп капитана Эйельсона.



Советский флаг появился на территории САСШ не впервые. За несколько месяцев до того, как Слепнев опустился со своим мрачным грузом на номском аэродроме, двухсоттысячная толпа приветствовала близ Нью-Йорка аппарат «Страна Советов». И с крышки ангара, превращенного мгновенно во временную трибуну, приветственными речами и дружеским рукопожатием обменялись советские пилоты Шестаков и Болотов и американский летчик, полковник Линдберг. И тогда на аэродроме компании «Кэртис-Райд» красовались рядом два флага: советский и американский. Величайший пилот САСШ специально вылетел навстречу советскому самолету, и на торжествах, организованных в честь прибытия первого советского флага в Соединенные Штаты, полковник Линдберг официально представлял американскую авиационную общественность. Между обоими государствами не могла идти речь ни о вражде, ни о дружбе, поскольку между ними не существовало никаких дипломатических отношений. Но

тем не менее встреча авиаторов обоих государств носила необычайно теплый характер.

И когда, немного позже, в дни своего восточного перелета, полковник Линдберг опустился на советской территории, в районе Петропавловска-на-Камчатке, советские люди так же радушно приняли его, как он некогда принимал советских людей в своей стране.

Здесь речь шла не только о «международной солидарности» людей воздуха. Советско-американская авиационная дружба родилась еще задолго до того, как между обоими государствами установились нормальные дипломатические отношения. Наоборот, дальнейшее укрепление и обоюдная реальная польза от этой дружбы тормозились отсутствием нормальных отношений между обоими крупнейшими в северном полушарии государствами.

Кто знает, не погиб ли Эйельсон только из-за того, что полет его не был согласован по радио с советскими дальневосточными станциями, которые могли бы дать ему погоду и предупредить его о надвигающейся снежной буре, которая и погубила отважного американского летчика? И на северо-западной оконечности Аляски, и на северо-восточной оконечности СССР почти круглый год продолжают как эпизодические, так и регулярные воздушные рейсы. Полная осведомленность о состоянии погоды, знание прогноза погоды почти всегда решают безопасность воздушных путешествий. Однако в виду отсутствия нормальных отношений между обоими государствами круг осведомленности о состоянии погоды был все это время обоюдно значительно сужен. И тесное сотрудничество, почти всегда связанное с риском для жизни для летных людей обоих государств, возникало только эпизодически и почти всегда уже после наступления какой-либо катастрофы. И взаимное сотрудничество это прекращалось так же внезапно, как и начиналось, — немедленно после того, как исчезала в нем надобность, связанная с данной конкретной катастрофой.

Эпизодическое взаимное сотрудничество возникало и в дни рекордных пере-

летов. Вся система советской гражданской авиации обслуживала оба перелета Поста и перелет Маттерна точно так же, как вся система американской гражданской авиации обслуживала перелеты сначала Шестакова и Болотова и наконец в последнее время Леваневского.

Пилот Леваневский после своего головокружительного перелета из Севастополя в Хабаровск не задумался ни на минуту, когда ему пришлось экстренно лететь на выручку Маттерна. И мы насколько не сомневаемся, что любой американский летчик в его положении поступил бы совершенно так же и, невзирая на сильнейшее нервное и физическое переутомление, ринулся бы, рискуя жизнью, спасти пилота другого государства, попавшего в беду. Тов. Леваневский уже высказал эти соображения в своей ответной речи представителям муниципалитета г. Нома, преподнесшим ему почетный именной адрес. Советско-американская авиационная дружба, разделенная отсутствием нормальных дипломатических отношений, тем не менее росла и укреплялась за все эти годы, ибо ее питали совершенно практические соображения: любой советский или американский летчик, летающий на Дальний Восток, мог легко попасть в такое положение, которое неизменно требовало бы срочной помощи другой страны.



Недавний прилет полковника Линдберга в СССР внес еще большую ясность в этот и без того совершенно ясный вопрос. Обсуждая различные варианты великих трансатлантических воздушных путей, мы обнаружили на глобусе бросающуюся в глаза деталь: все проекты Северного воздушного кольца и самые различные трассы воздушного пути как через Атлантический, так и через Тихий океан упираются в одно и то же препятствие — отсутствие тесного советско-американского авиационного сотрудничества.

Плоды этого сотрудничества будут тем более ценны, что за эти годы обеими сторонами накоплен огромный опыт

полетов в обстановке Арктики. И если у американцев, которые уже в течение долгих лет имеют сравнительно довольно густую сеть воздушных линий на Аляске, есть более богатый, чем наш, опыт в области регулярной эксплуатации воздушного транспорта в обстановке арктической зимы, — то у нас имеется несравненно более ценный, чем у них, опыт полетов в ненормальных условиях: в пургу, в туман, в арктические сумерки. В беседах с нами полковник Линдберг особенно интересовался возможностью полетов арктической ночью, ибо этот опыт у летчиков Аляски отсутствует совершенно.

Между тем при наличии регулярной службы авиопогоды и обмена сводками на стыке азиатского и американского материков возможность этих полетов стала бы совершенно реальной. Обмен опытом в области техники эксплуатации снежных аэродромов, а также техники эксплуатации авиационных моторов в сильный мороз будет необычайно ценным для обеих сторон. Даже те несколько недель, которые советско-американские летчики провели вместе в трагические дни розысков Эйельсона и Борлянда, принесли громадную практическую пользу. В свободные от работы часы, греясь в меховой палатке, воздушные люди обоих государств подробно ознакомили друг друга с теми условиями, к которым они прибегают для того, чтобы пережить жестокий арктический мороз. Специальные профессиональные «секреты» обогрева и заводки моторов, утепление бензина и маслопроводов и все другие тонкости трудного арктического авиационного мастерства были предметом долгих споров в эти дни в далекой ледяной пустыне. И мы не ошибемся, если скажем, что авиаторы обоих государств, расставшись надолго после того, как они провели несколько недель в совместной борьбе за спасение двух человеческих жизней, остались самыми горячими сторонниками советско-американского сближения. Произошло это потому, что они столкнулись с необходимостью этого сближения в обстановке, которая запоминается навсегда.



Пути развития советской и американской авиации спаяны кровью Эйельсона и Борлянда. И недаром американские авиационные организации одни из первых выразили нам соболезнование по поводу трагической гибели тов. Баранова и его спутников, хотя в это время нормальных отношений между СССР и САСШ еще не существовало. Два флага различных государств, стоящие рядом в ледяной пустыне, были необычайно символичны. К сожалению, они стали рядом слишком поздно, когда ничем уже нельзя было помочь делу, и сейчас же после того, как миновала в этом надобность, разошлись в разные стороны на несколько лет.

Деталь глобуса, бросившаяся нам в глаза во время бесед с полковником Линдбергом и заключающаяся в том, что два крупнейших в мире государства доминируют над картой земного шара, естественно обязывает авиационные организации этих государств координировать свои действия для дальнейших побед человечества над воздушным океаном.

Можно было бы бесконечно много рассказать о том, какие громадные перспективы открываются перед авиацией как в СССР, так и в САСШ сейчас, когда устранены препятствия, мешавшие авиационному сотрудничеству обоих государств. Регулярные воздушные почтовые и пассажирские рейсы из Старого в Новый свет и обратно — как через Атлантический, так и через Тихий океаны — становятся проблемой, требующей лишь практического осуществления. И американские, и советские летчики за последние годы достаточно поработали в области теоретического разрешения этой проблемы. Общеизвестно например, что последний большой перелет Линдберга был не столько прогулкой туриста, сколько путешествием исследователя и практика авиации, который решил раз навсегда разобраться в существующих трансатлантических маршрутах и выбрать наиболее подходящий из них для нормальной эксплуатации.

Отзывы полковника Линдберга о нашей авиации показывают, что амери-

канские авиационные круги, повидимому, сейчас уже поняли, что наша авиационная культура ничуть не уступает авиационной культуре европейских государств и САСШ и что мы сейчас имеем все права претендовать на решающую роль в трансатлантических и кругосветных авиационных сообщениях не только благодаря территориальному могуществу нашей страны, но и вследствие высокого уровня нашей технической вооруженности.

Установление нормальных дипломатических отношений между СССР и САСШ, являющееся крупнейшим политическим событием нашего времени, для авиационных кругов обоих государств представляет собою особенно крупное событие, ибо в деле дальнейшего развития международного воздушного транспорта оно открывает совершенно головокружительные перспективы.

Что же касается не вполне удачного перелета Маттерна, то он показал всю безрассудность серьезных авиационных экспериментов, лишенных достаточной технической базы. Неудача этого перелета отнюдь не скомпрометировала идеи сплошного авиационного кольца вокруг северной части полушария. По существу говоря, Маттерн не имел, с технической точки зрения, никакого права итти в такой опасный перелет на старой, разбитой машине с выработавшимся мотором. Если перелет этот все же не закончился катастрофой, то это произошло лишь благодаря исключительно четкой работе советских авиационных работников, оказывавших помощь Маттерну, а также благодаря исключительным личным качествам этого пилота.



Перелет польских летчиков на разведывательных машинах и ответный визит советского разведывательного звена под командой пилота Ингауниса не представляет особого интереса, поскольку в них участвовали нормальные машины, стоящие на вооружении в обоих государствах, и поскольку ни маршрут перелетов, ни время его не представляли собой ничего исключительного.

Зато необычайно знаменательно посещение СССР целым рядом французских самолетов. В центре серий французских визитов несомненно стоит прилет в Москву французского министра авиации Пьера Кот в сопровождении группы основных руководителей французской гражданской и военной авиации. Французские гости пришли на трехмоторных самолетах, самым любопытным из которых является машина типа «Девуанцин-Эмерод». Эта машина имеет совершенно необычную для такого типа аппарата крейсерскую скорость — свыше трехсот километров в час — и поражает исключительной тщательностью отделки всех деталей как самого самолета, так и винто-моторной группы. Блестящее качество самолета не помешало ему однако погибнуть в середине января, на обратном пути из рейсового перелета в Индо-Китай. Как известно, самолет сгорел в воздухе, причем во время пожара погиб весь экипаж и пассажиры, в общей сложности — 10 человек. Если принять во внимание, что самолет «Эмерод» лишь недавно прошел во Франции государственное испытание и являлся первым экземпляром небольшой опытной серии, то эту катастрофу можно отнести к категории катастроф, почти всегда происходящих с первыми экземплярами новых тяжелых самолетов вообще. Как видно будет ниже, и советская авиация в этом вопросе понесла в истекшем году очень тяжелые жертвы. Любопытно отметить, что, комментируя аварию, происшедшую с самолетом «Эмерод», мировая авиационная печать, вспоминая недавнюю катастрофу харьковского гиганта «К-7», указывала, что расчеты аэродинамической трубы для больших самолетов обычно дают очень значительное приближение, почему все большие самолеты приходится «доводить» только экспериментальным путем, то есть облетывая их в воздухе.

Одновременно с Пьером Кот в Москву прибыли известный французский рекордсмен Кодос и Росси, всего лишь за несколько недель до этого покрывшие себя неуязвимой славой после удачного беспосадочного перелета из Парижа в Багдад. В дни пребывания французских

гостей в Москве, в новой Мекке авиации, прилетел также и французский изобретатель Бонерель, демонстрировавший советским специалистам тормозные приспособления собственной конструкции.

Прилет американцев, французов и поляков, будучи тесно увязан с внешней политикой Советского Союза, носил тем не менее и подчеркнутый авиационный характер.

Успехи советской авиации в годы первой пятилетки — сейчас вещь общезвестная. Даже родина авиации — Франция — сочла необходимым в этом году привести свой авиационный план на поле Ходынского аэродрома, даже самый выдающийся пилот мира Чарльз Линдберг не нашел возможным в этом году миновать нашу территорию. В то время как во всем капиталистическом мире авиационное изобретательство и конструкторская мысль (за исключением в области чисто военной конечно) находятся в состоянии абсолютного застоя, советская авиационная промышленность не только с каждым годом, но и буквально с каждым месяцем неудержимо движется вперед по пути окончательного освоения воздуха. Для каждого передового авиационного деятеля Запада успехи советской авиации являются непреложным фактом. И главным образом этими обстоятельствами и следует объяснить то необычайное обилие иностранных флагов, которое увидел Ходынский аэродром в этом году.

II. Авиация войны

К началу 1934 года военная авиация капиталистического мира пришла с незначительным достижением. Если не считать отдельных опытных работ, которые держатся конечно в строжайшей тайне, приходится констатировать, что из числа последних пятнадцати лет авиации 1933 год был, пожалуй, одним из самых вялых и неудачных.

Из европейских государств самыми активными в области авиационного строительства были Италия и Великобритания, если не считать Германии, которая начала лихорадочное восстановление

своей военной авиации только после прихода к власти Гитлера, — слишком короткий срок для того, чтобы можно было сделать по этому поводу какие-либо обобщения.

Фашистская Италия в области авиационного строительства руководствуется принципом, который немцы называют «динамизмом». Итальянское военное командование верит в возможность самостоятельной войны в воздухе, не связанной с сухопутными или морскими операциями. Эта теория приводит к необходимости держать на вооружении многочисленный и очень мощный по всем показателям воздушный флот — с особым упором на тяжелые бомбовозы. В данный момент Италия способна выпустить в воздух до 250 тяжелых бомбовозов одновременно. Любопытно отметить, что ни САСШ, ни Франция, ни Великобритания, которые располагают более мощным воздушным флотом, чем Италия, не могут позволить себе роскошь, по крайней мере по современному состоянию военной авиации, вывести в бой такое большое количество бомбардировщиков.

Чрезвычайно любопытны данные о недавнем перелете итальянской эскадрильи гидросамолетов «Савойя-55» под командой генерала Бальбо. С полетным весом свыше 7½ тонн аппараты эскадрильи Бальбо перелетели через Альпы на высоте свыше 4.000 метров, что показывает блестящий потолок этого типа бомбовоза. Эскадрилья Бальбо была в состоянии на обратном пути совершить беспосадочный перелет от Нью-Фаундленда до Азорских островов, тем самым демонстрируя совершенно исключительный радиус действия. И, наконец, как известно, французские истребители, встречавшие эскадрилью над Альпами, не в состоянии были проводить ее до моря, так как гидропланы Бальбо «ушли» от встречавших их французов. Бомбовозы, удирающие от истребителей, — это случай совершенно анекдотичный, и он лучше всего показывает, что французская авиация за последние годы значительно отстала от темпов своего развития, по крайней мере от Италии. Судя по официальным данным,

итальянский военно-воздушный флот располагает в настоящее время 1.600 аппаратами, не считая учебной авиации, почтовой, частной, пассажирской и коммерческой. Эти 1.600 военных аппаратов в сумме мощности своих двигателей представляют собой около 900.000 лошадиных сил. Из них насчитывается 100—110 гидропланов «Савойя», способных доставить около тонны бомб на расстояние 500 километров от базы. Из тяжелых бомбовозов отметим еще четырехмоторные «Капрони-75», — они поднимают до полутора тонн бомб и имеют потолок до 5.000 метров, затем облегченные бомбовозы «Брейда-120», «Капрони-74» и новейшие «Капрони-701 и 702».

Итальянская истребительная авиация представлена аппаратами «Фиат-20», «Фиат-30» и гидропланом «Мажки-Фиат», которые развивают крейсерскую скорость от 250 до 350 километров в час. Следует отметить, что из 1.600 итальянских военных аппаратов не более 600 машин приходится на долю вспомогательной авиации, в то время как основная масса (1.000 аппаратов) представляет собою бомбовозы, из которых, повторяю, не менее 250—тяжелого типа.

В заключение следует отметить, что итальянский военный воздушный флот обладает тремя самыми крупными в мире самолетами: двумя аппаратами «Дорнье-Х» по 7.200 лошадиных сил каждый, и одним аппаратом «Капронисимо» — с винто-моторной группой в 7.000 лошадиных сил и полезной нагрузкой (без горючего) в 10 тонн.

Летающая лодка «Дорнье-Х» вооружена двумя 37 м/м пушками. Ее полный полетный вес — 53 тонны, собственный вес — 33 тонны.

Британская военная авиация по типам машин, принятых на вооружении, резко отличается от итальянских. Определяется это теми двумя целями, которые встали перед военной авиацией британского командования: защита Лондона от воздушных нападений и связь с колониями. Необходимо отметить, что британский военный воздушный флот, насчитывая в настоящее время в строю

не более 1.500 аппаратов, — один из самых дорогих воздушных флотов в мире в результате необычайно высокой себестоимости как самих самолетов, так и их эксплуатации.

Основное внимание в вопросах выбора типа боевого самолета британское командование уделяет скорости и «потолку», что, естественно, определяется указанными выше задачами, которые командование возлагает на военный воздушный флот в случае войны.

Что касается воздушной охраны Лондона, то эта цель заставляет Великобританию располагать самой быстроходной истребительной авиацией в мире. К таким аппаратам относятся «Бристоль-Бульдог» с крейсерской скоростью 340 километров в час и «Супер-Фюри» с крейсерской скоростью 420 километров в час. Предпочтение, оказываемое большим скоростям, отражается и на бомбардировочной авиации, хотя нужно отметить, что вообще специальных бомбовозов британский военно-воздушный флот не имеет. Двухмоторные бипланы «Хоукер-Харт» с двумя моторами по 500 лошадиных сил каждый развивают крейсерскую скорость до 280 километров в час, что дает им скоростное преимущество даже перед «Савойей-55».

Вообще же говоря, англичане предпочитают располагать самолетами универсального типа, которые в случае необходимости с незначительными переделками и незначительным перевооружением могли бы служить для любых целей, которые ставятся воздушной войной. Характернейшим самолетом подобного «универсального» типа является аппарат «Фюри-3» с мотором в 530 лошадиных сил, который с успехом может быть применен и в качестве бомбардировщика, и в качестве разведчика, и для связи между колониями, и для перевозки, и для вооружения военно-морского флота.

В области охраны колоний англичане обращают самое серьезное внимание на разработку проблемы десантной авиации. В этом году был произведен целый ряд любопытнейших опытов в этом направлении. В частности из Александрии на остров Мальту были за несколько

часов переброшены по воздуху две роты солдат с полным снаряжением. Такая же операция была проделана из Каира в Ирак. Тяжелые британские самолеты, предназначенные для десантных целей, типа «Шорт Блекберн» или «Виккерс-Виктория», вооружены одной 37 мм пушкой каждый и имеют громадный радиус действия, что делает их идеальным аппаратом для связи в военное время между британскими колониями, разбросанными по всему земному шару.

Французская авиация, как военная, так и гражданская, за последние годы не сделала почти никаких успехов, если не считать отдельных рекордов на дальность и на потолок, поставленных, кстати сказать, на опытных машинах, имеющих лишь только в единственных экземплярах.

Общественное мнение Франции сейчас возлагает большие надежды на молодого министра авиации Пьера Кот, которому поручено возродить былую мощь Франции в воздухе. Чрезвычайно низкие летные качества современных французских самолетов настолько очевидны, что сведения об этом проникли в широкую политическую печать, которая в последнее время занимается «самокритикой» по этому вопросу. Авторы специальных статей по авиации указывают, что французская авиационная промышленность почилла на лаврах и дала обогнать себя целому ряду соседних государств, еще несколько лет тому назад не смевших мечтать о том, чтобы соперничать с Францией в борьбе за воздух.

Французская авиация, располагая 2.200 аппаратами на вооружении, тем не менее давно уже утратила ведущее авиационное место на европейском материке. Так, например истребители «Ньюпор-62» гораздо более тихходны, чем американские гражданские машины вроде типа «Локхид» или германские пассажирские типа «Хенкель-70» и итальянские гидропланы типа «Савойя», и даже английские сухопутные бомбардировщики типа «Харт».

Что касается тяжелых бомбовозов, то из заказанных в промышленности серий 30 четырехмоторных аппаратов типа

«Лиоре» в настоящее время готово всего 8 штук. Эти самолеты поднимают до тонны бомб и имеют радиус действия в 1.000 километров. Двухмоторные бомбардировщики «Лиоре-25» значительно тихходнее и легче аппарата «Савойя». Боевые аппараты «Бреге-421», пришедшие на смену постепенно снимаемым с вооружения «Лиоре-127 и 137» по сравнению с аналогичными аппаратами других капиталистических стран не представляют собой ничего особенного.

III. Крылья Советов

Подводя итоги советского авиационного года, нельзя не сказать несколько слов о понесенных нами в этом году чувствительных потерях в людском составе нашей авиации.

Имена Баранова, Гольцмана и Зарзара известны всем трудящимся нашей страны. Они погибли на славном авиационном посту, высоко держа знамя «Крыльев Советов», отдав делу развития и укреплению советской авиации всю свою жизнь до конца.

Петр Иванович Баранов был поставлен во главе советской авиационной промышленности тогда, когда эта промышленность еще только зарождалась. Имея громадный опыт, приобретенный им за долгие годы командования советскими военно-воздушными силами, превосходно зная, в чем нуждается современная советская авиация, тов. Баранов с неутомимой энергией подлинного большевика взялся за исполнение порученного ему партией и правительством дела. Авиационную промышленность приходилось создавать буквально на голом месте, — не было ни конструкторских кадров, ни квалифицированной рабочей силы, ни опыта изысканий наиболее подходящих для самолетостроения материалов. Однако год за годом молодая советская авиационная промышленность все увереннее и увереннее становилась на ноги, постепенно совершенно освобождаясь от малейших признаков зависимости от капиталистического Запада. За годы первой пятилетки советская авиационная промышленность, под непосредственным руководством тов. Баранова, не только

наладила серийное производство большого количества различных типов машин, необходимых для народного хозяйства и для обороны страны, но и создала целый ряд совершенно оригинальных конструкций, по своим летным качествам не только не уступающих заграничным, но, в отдельных случаях, и превосходящих их. Баранов знал и любил сложное и интересное авиационное дело, он знал людей на авиационных заводах, знал конструкторов и пилотов, великолепно разбирался в авиационных материалах, в различных типах моторов.

Бессмысленная смерть вырвала этого крупнейшего авиационного работника из наших рядов в расцвете сил и здоровья, в расцвете неутомимой деятельности, наполненной рядом новых организационных планов, имевших целью сделать нашу авиационную промышленность самой мощной, самой передовой в мире.

На долю покойного тов. Гольцмана пришлось также значительная часть работы по созданию «Крыльев Советов». Необъятные просторы нашей страны, ее бурный хозяйственный рост создают исключительно благоприятную обстановку для применения авиации свыше чем в 80 различных отраслях хозяйства. Вместе с тем самолет, будучи машиной очень послушной и превосходно управляемой, является чрезвычайно капризным механизмом, требующим к себе исключительного внимания обслуживающего персонала, исключительно четкого ухода. Проблема освоения эксплуатации самолетов, проблема построения авиационной культуры в условиях социалистического государства — это необъятное поле деятельности. Громадному делу организации гражданской авиации и отдал тов. Гольцман последние годы своей жизни. Ужасная катастрофа прервала кипучую деятельность этого блестящего организатора-большевика.

С именем тов. Зарзара неразрывно связано все то, что есть юношески бодрого и романтического в деле создания самостоятельной авиации социалистического государства. Будучи одним из организаторов Осоавиахима, тов. Зарзар неустанно работал над тем, чтобы сде-

лать самолет популярным в многомиллионной массе трудящихся нашей страны. Он выступал на митингах, писал статьи и брошюры, организовывал перелеты и воздушные демонстрации, работал над планом организации широкой сети аэроклубов.

Непрерывно работая над собой, поглощая громадное количество советской и иностранной специальной литературы, этот необычайный энтузиаст авиации в течение нескольких лет сделался разносторонне образованным и исключительно начитанным авиационным работником.

Будучи энтузиастом авиации, он участвовал в большинстве крупнейших авиационных перелетов, считая своим долгом всегда агитировать непосредственным показом, действием. Вместе с Михаилом Кольцовым и Гольцманом тов. Зарзар являлся одним из организаторов агитэскадрильи имени М. Горького, которая при поддержке широкой советской общественности оказала делу популяризации советской авиации неоценимую услугу.

Директор завода № 22 тов. Горбунов был выдающимся организатором серийного производства самолетов, неутомимым бойцом на фронте освоения техники. Личные способности тов. Горбунова, пламенный энтузиазм, который он умел передавать своим ближайшим помощникам и всей рабочей массе, дали возможность руководимому им заводу в кратчайший срок освоить сложное дело постройки тяжелых самолетов и тем самым подвести солидную техническую базу под дело воздушной обороны нашей страны. Одновременно с тов. Горбуновым и другими погибли заместитель тов. Гольцмана тов. Петров, пилот Дорфман, механик Болотников и Б. М. Баранова.

В истекшем году советская авиационная семья понесла и еще одну очень тяжелую потерю. Во время заводских испытаний погиб крупнейший сухопутный самолет в мире — стальной гигант «К-7», построенный на Харьковском опытном

заводе группой конструкторов инженера Калинина. Во время этой аварии погибло 15 человек,—рабочие, инженеры, механики, пилот тов. Снегирев.

Но все эти потери, почти неизбежные в таком сложном деле, как освоение воздуха, вызвали новую волну энтузиазма в советской авиационной семье. Нужно было видеть, как над 50-тысячной демонстрацией трудящихся Харькова, следовавшей за гробами, в которых покоился прах героев, погибших во время аварии «К-7», реяли советские самолеты, чтобы почувствовать тот громадный творческий под'ем, который охватил работников авиации и авиационной промышленности в связи с тем, что благодаря двум нелепым катастрофам свыше 20 доблестных завоевателей воздуха выбыли из их стальных рядов.

На крупнейших предприятиях Харькова состоялись многотысячные рабочие митинги, на которых выносились резолюции о необходимости форсировать строительство эскадрилий самолетов «К-7». В траурные дни в Харькове из добровольных пожертвований собралась довольно внушительная сумма денег, рабочие послали лучших ударников-комсомольцев в авиоклубы для обучения летному делу без отрыва от производства. Кровь наших героических товарищей по борьбе за освоение авиационной техники еще теснее спаяла работников авиации, еще пристальнее сосредоточилось внимание на вопросах повышения безопасности полетов, на освоении авиационной культуры.

Первый год второй пятилетки прошел у нас под знаком завоевания передовых качественных позиций в области самолетостроения, в особенности по линии моторостроения, укрепления и расширения авиационной промышленности, усиления воздушного сообщения и производственного применения авиации, создания по всем направлениям аэрофикации страны такой базы, которая обеспечила бы систематическое нарастание темпов развития и уровня технической вооруженности советского воздушного флота.

В истекшем году в частности был сдвинут с мертвой точки вопрос о мало-

ской», авиации. Мы имеем в настоящее время несколько оригинальных типов легкого самолета, который, будучи поставлен на серийное производство, мог бы способствовать аэрофикации страны темпами, не известными до сих пор ни одному государству в мире.

В истекшем году мы имеем громадные достижения в области строительства амфибий и автожиров. В научно-исследовательских институтах авиации непрерывно кипит конструкторская работа, — ЦАГИ и другие подобные им институты стали основной научно-технической базой нашей авиации. Такой базы в настоящее время в капиталистическом мире не существует.

Состоявшийся в этом году традиционный слет планеристов в Коктебеле одним из своих наиболее значительных результатов имел практическую постановку вопроса о буксировке самолетов для целей гражданской войны. Этот же слет послужил поводом для того, чтобы наши конструктора подошли вплотную к разрешению проблемы «планерлета», то есть планера, снабженного маломощным мотором в несколько лошадиных сил.

Наконец, в 1933 году ряд наших конструкторов, во главе с молодым инженером А. Яковлевым, дал нашей стране настоящую культурную машину, отделанную с комфортом и роскошью, — машину, ничем не уступающую лучшим заграничным образцам. В области борьбы за качественные показатели самолетостроения мы уже в истекшем году поставили себе целью говорить не только о летных качествах аппарата, но и о его внешности, изящности, удобстве его оборудования.

В первом году второй пятилетки впервые по-настоящему был поставлен и вопрос о массовой спортивной авиации. В ряде городов и даже на отдельных предприятиях открылись аэроклубы, в которых трудящиеся обучаются массовому парашютизму и летному делу без отрыва от производства. В 1934 году, в связи с выпуском первых серий легких самолетов, массовая аэрофикация страны несомненно сделает гигантский скачок вперед.

Таковы те сдвиги, которые совершились в советской и гражданской авиации в итоге первой социалистической пятилетки и первого года второй пятилетки. Гражданский воздушный флот СССР стал серьезным фактором производственного и транспортного значения и превратился в весьма заметную величину в арсенале борьбы пролетариата на фронте социалистического строительства.

Впереди — новый этап работы гражданской авиации во второй пятилетке, этап освоения новейшей техники в массовых масштабах, проведения реконструкции и расширения своей базы и ресурсов, охвата новых видов применения самолетов и дирижаблей, проникновения их в ряд новых районов великой страны Советов.

Январский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) исчерпывающе определил пути дальнейшего развития всего социалистического строительства и в том числе аэрофикации страны.

Уже в 1933 г. гражданский воздушный флот в общем почти удвоил объем своей работы, добился решительных качественных сдвигов в эксплуатации, поднялся на новую, более высокую ступень.

Ленинская партия и советское правительство под руководством великого вождя — тов. Сталина — создали исключительные предпосылки для развития нашей гражданской авиации.

Дело — за работниками гражданского воздушного флота, за их перестройкой и мобилизацией в соответствии с новыми задачами.

IV. Поднят потолок мира

Приняв в этом году по воздуху много знатных иностранных гостей, мы сами почти не выходили на международную авиационную арену. Объясняется это тем, что первый год второй социалистической пятилетки для нашей авиации был годом генерального накопления сил. Мы не гонялись ни за какими рекордами, и если советским воздухоплателям удалось в этом году поднять потолок мира, то это было лишь плановой, нормальной пробой наших сил в области освоения техники полетов на аппаратах

легче воздуха. Но победа эта оказалась настолько значительной, что полет советского стратостата на фоне общего достижения нашего народного хозяйства превратился в международную сенсацию.

Мы поставили мировой рекорд в области проникновения в стратосферу. Советский полет в стратосферу побил последний рекорд бельгийского профессора Пиккара не только в метрах, не только в сотнях метров, но и в нескольких тысячах метров. Мы поставили этот рекорд на советском стратостате, целиком изготовленном на советских заводах, по конструкции советских инженеров, из советских материалов. Мы вооружили этот стратостат металлической gondolой, сооруженной в Москве на заводе им. Менжинского группой большевиков-энтузиастов, под непосредственным руководством директора завода, краснознаменца тов. Марголина. Величайшая победа советского стратосферного воздухоплавания имела в общественном мнении всего мира резонанс необычайного сенсационного характера. Печать, наука, техника, общественное мнение Запада требовали по телеграфу сведений о продвижении нашего стратостата почти ежеминутно.

Такой громадный интерес к поставленному нами рекорду объясняется тем, что ни один человек в мире никогда не отделялся от земли на такое расстояние, как тт. Прокофьев, Бирнбаум и Годунов. Случилось так, что этот полет — событие величайшей исторической значимости — совершен большевиками. Рекордом стратостата «СССР» мы открыли новую страницу в истории борьбы за овладение воздушным океаном. От стратостата — к стратоплану с реактивным двигателем, от освоения шестой части мира — к освоению вселенной, — вот будущий творческий путь большевиков.

Белесый туман плыл над московским аэродромом. В его молочной мути расплывались силуэты людей и предметов. Такой туман бывает в Арктике, — он густ и непроницаем, он почти осязается на ощупь. Но над этим зловещим туманом — кровавым врагом всякой авиации

и воздухоплавания — чувствовалось невидимое яркое солнце, голубые небесные просторы.

Бесформенная масса наполненного водородом шара была еле различима в тумане. На двух привязанных аэростатах то и дело поднимались в воздух воздухоплаватели, поправляя сместившиеся стропы, наблюдая за нормальным проникновением газа в оболочку...

В прошлый раз, после утомительной, нервной, отчаянной и бессонной ночи, наш стратостат не оторвался от земли. Он «напился» влагой, он отяжелел, наш дорогой, наш кровный стратостат, — влага, впитанная его серебристой резиновой оболочкой, крепко приковала его к земле.

Эта первая неудача явилась решающим экзаменом для всех энтузиастов стратосферного воздухоплавания. Эта неудача закалила их волю, напрягла их нервы до последнего предела, наполнила их бодрим и радостным сознанием того, что завоевание стихии, победы человечества на техническом фронте даются только в борьбе, что неудачи являются лишь преддверием к этим победам.

По поводу первого неудачного старта нашего советского стратостата досужие сплетники распустили по городу немало обидных анекдотов. Буржуазный мир за границей, насторожившись, ждал. Конечно, от большевиков ожидали всяческой прыти, но никому не хотелось серьезно поверить в то, что нами будет поставлен такой замечательный рекорд международного авиационного значения. К своему полету бельгийский профессор Пиккар готовился в течение нескольких лет. В течение нескольких лет со страниц буржуазной и советской печати не сходили информационные сообщения о ходе его приготовлений. Известие о предстоящем полете советского стратостата разразилось, как гром среди ясного неба. Без шумихи, без сенсаций, без тре-

скупих фраз советская печать сообщила о том, что большевики предполагают в ближайшем будущем пуститься в далекое плавание в воздушном океане.

Буржуазный мир, взвешивая на нас с высоты своих «нейтральных» позиций, с любопытством наблюдал за тем, как мы «барахтаемся» в новых умных и сложных машинах, завезенных к нам мудрецами западной техники. Вместо пяти лет мы «барахтались» всего четыре года. От этого «барахтанья» родились тысячи колхозов и совхозов, Днепрострой и Магнитострой, машины и ширпотреб, авиация и автомобили.

В результате этого скептики перестали быть скептиками, друзья облегченно вздохнули, а враги настожились. Первая неудача старта доставила нашим врагам громадное удовольствие. Смеялся исподтишка старый мир, скаля гнилые зубы.

В тот момент, когда наземная команда выдернула последние стропы, и стратостат, подпрыгнув, как мяч, взвился в поднебесье, те, которые наблюдали за его постройкой с самого начала, были уже глубоко убеждены, что трое мужественных людей, улетевших сейчас ввысь, принесут советской технике неуязвимую славу. Взлет стратостата «СССР» немедленно отразился в общественном мнении всего мира молниями десятков московских корреспондентов иностранных газет. Сорок пять минут, прошедшие от взлета до момента побития пиккарковского рекорда, были историческими минутами. И когда телеграфист отстучал на ключе, по проводу, идущему в мир, первое сообщение о фантастической цифре — девятнадцать тысяч метров, — враги перестали смеяться и сразу стали серьезными. Вообще, давным-давно известно, что хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Литература и искусство

1. Мариэтта Шагинян—Беседы с начинающим автором 2. О Бубнова—О турецком искусстве

1. БЕСЕДЫ С НАЧИНАЮЩИМ АВТОРОМ

(Опыт методологии новой эстетики)

Мариэтта Шагинян

Принято думать, что передача опыта есть дело одностороннее. Особенно в нашей среде, писательской, привыкли смотреть на занятия с начинающими, как на общественную повинность, где только даешь и ничего не получаешь.

Практика истекшей зимы, когда мне пришлось провести два коллективных и несколько индивидуальных занятий с рабочими авторами Профиздата и Оргкомитета, убедила меня, что это не так. Передача художественного опыта в наших условиях — в условиях послереволюционных — неизбежно становится способом обоюдного обогащения; и самые особенности этого обогащения переводят его из личного события, между учеником и учителем, личного интереса двух лиц, в общее дело всей новой культуры.

Каким образом это происходит, я и хочу рассказать, заранее прося у читателя прощения за необходимые отступленья.

1. Проблема бессознательного в творчестве

Прежде всего дадим себе отчет, есть ли у нас в готовом виде тот багаж знания, то ясное понимание тайн собственного мастерства, за которыми

к нам обращается начинающий художник? Иначе сказать, может ли каждый писатель представить себе свою технологию так осознанно и обобщенно (вне практического ее пользования в самой работе), чтобы сразу, членораздельно и вразумительно поделиться ею с другим?

Вопрос этот далеко не праздный, и с него начинается всякая педагогика. На примере больших и талантливых инженеров, которые еще недавно, на первых производственных совещаниях, беспомощно путались, не умея отчитаться в своей образцовой работе; на примере крупных мастеров-практиков, которые как бы носят свой опыт в кончиках пальцев и отлично могут его показать, но совершенно бессильны о нем рассказать; на примере ученых, в разговоре с вами как бы нарочито непонятных во всей их книжной учености, — не потому, что они смеются над вами, а потому, что иначе они не могут, условная терминология кажется им в той же мере младенчески ясной собеседнику, в какой она ясна им самим, — на этих ежедневных примерах вы можете проверить старую истину, что передать свой опыт, научить другого — есть сама по себе наука, само по себе искусство.

Писатель, в первый раз занимающийся с начинающим автором, в большин-

стве случаев чувствует себя бессильным. То ему кажется, что он «пуст», — всякое мастерство, весь многолетний опыт слышнuli с него, с'ехали, как выносят мебель из квартиры. То, наоборот, мастерство вдруг представляется ему улиткой, так материально слитой с его мозговой раковиной, что никакими усилиями, ни за какие усики вы ее оттуда, из головы, не вытянете. Нужно непосредственное общение, вопросы ученика, читка его рукописи, чтоб улитка зашевелилась, усики показались снаружи и писатель мог бы начать осознавать тот личный опыт, которым он должен поделиться.

Процесс выявления этой «улитки», писательского багажа, зависит, как мы видим, не от усилий самого хозяина багажа, а от присутствия того необходимого «реагента», той воздействующей силы, которая на этот багаж запретендовала. Тут, как и в других областях передачи знания, решающую роль для выработки учителя сыграло воздействующее наличие ученика. Можно поэтому сказать, что, приступая к занятию с начинающими авторами, писатель не столько делится с ними готовым, отдает свое знание, сколько по-сократовски приходит к выработке вместе с ними того самого знания, которое должен им передать.

Но спросим себя дальше: в чем же состоит это знание? И есть ли для старого опытного художника прибыль в том, что, разлагая секреты своего мастерства, он научится лучше их сознать? Разве проникновенье в «кухню» не отбивает «аппетита»? И разве нужно тому, кто мастерски создает вещь, — быть может, тем художественнее, чем бессознательнее создает ее, — окладывать свой творческий процесс ростом чересчур большой сознательности?

Все это опять не праздные вопросы, и грубо ошибаются те, кто их обрубают по шпаргалке. Каждый из этих вопросов упирается, в сущности, в один основной, некогда вызывавший у нас ожесточенные теоретические бои, — в вопрос о сознательном и бессознательном в искусстве.

Тема моей статьи не позволяет пройти мимо него. Но в то же время она раскрывает возможность такого подхода к этому вопросу, который и постановку, и разрешение его переводит в совершенно новую плоскость.

Дело в том, что «право на бессознательное», которое кажется художнику первичным даром, присущим ему от рождения, в свете художественной учебы, рассматриваемой исторически, оказывается отнюдь не прирожденным даром, а благоприобретенным. «Бессознательное», с точки зрения учебы, есть не исходная стихия, а достигнутое при помощи огромной личной и общественной практики состояние. Чтобы крупный мастер мог позволить себе «творить бессознательно», отдался формульному инстинкту своего вкуса, как бы на ощупь и стихийно подбирающему для него нужные образ и краску, — для этого необходимы предварительные усилия миллионов людских единиц, создающих при помощи работы сознания, то-есть путем отбора, проверки, промера, выброски, то сложное целое, которое называется «общественным вкусом своего времени». Чем дольше и глубже велась работа сознания этих миллионов, тем свободнее пользуется мастер своим «правом на бессознательное».

Наличие так называемого «критерия», то-есть мерил для безошибочного способа суждения, есть не что иное, как показатель этой большой исторической работы сознания, проведенной многими поколениями.

Возьмем примеры из области профессионального мастерства, наиболее характерные: искусство пианизма и красноречия. Чем свободней и легче бегут пальцы пианиста по клавишам, чем окрыленней и горячей вылетают слова из уст оратора, тем у вас сильнее впечатление стихийности и бессознательности от их искусства, да и для них самих тем увереннее и бездумней вершится в эту минуту их работа. Но почему она вершится уверенней и бездумней? Потому что куплена «упражнением», длительной работой сознания в предшествующие дни, месяцы и годы; пото-

му что ее самозабвение подготовлено напряженным расходом сознания. В истории мы имеем замечательный пример, где это соотношение сознательного и бессознательного дано с несравненной яркостью. Было в прошлом странное эстрадное искусство, нами совершенно забытое. О нем рассказывают Пушкин и Лермонтов, как о нередком госте тогдашнего литературного «салона»: это—искусство импровизации, умение в стихах или звуках, без подготовки, сразу на месте, передать любое настроение, тему или образ, подсказанные из зала. Заметим, что это искусство, внешне сходное, а по сути противоположное¹⁾ народному эпосу, является как бы венцом всего бессознательного, поскольку сырой творческий процесс на глазах у слушателя обращается в готовый художественный продукт. Но разберитесь в исторической обстановке: когда именно возникал этот дар импровизации и когда появлялся на сцену эпический образ? Они возникали: первый — на вершине, на кульминационной точке культурного развития того просвещенного абсолютизма, какой привык «меценаторствовать», быть (или считать себя) первым потребителем и знатоком искусства, второй — в результате огромного накопления общественного опыта, пережитого страной совместно: война, восстание, переселение, катастрофа, чума, голод, завоевание новых земель — предшественники арфы или гуслей эпического певца.

В искусстве импровизации наследственная культура и художника, и его аудитории так велика и равноценна, проделанная в прошлом работа над материалом так огромна, что импровизатор, в сущности, имеет в своем распоряжении не сырье, а фабрикат, не звук, а целые комплексы звучаний, целые млечные пути образов, и он отдается их баяюканью тем легче, чем разработаннее и возделанней поэтическая речь его

¹⁾ Импровизация, как правило, безлична; она не внесла в искусство ничего ценного, тогда как народный эпос — источник неисчерпаемых богатств для развития лирики и драматургии.

времени¹⁾. Далеко не случайно (а может быть, и соответственно историческому факту) Пушкин сделал своего импровизатора итальянцем.

Нас до сих пор чувственно ранит, доходит до нас с пронзительной свежестью, как контуры гор в раннее утро, повторный и комплексный образ Гомера. Его «шлемовое жуи Гектор» или однообразная характеристика гибели воина: «упал, и доспехи на нем загремели», или приросший эпитет «домовитая ключница», или неутомимое, однообразное вставанье зари, Эос: «встала с перстами златыми»... — у кого не всплывают сотни раз в памяти, со страниц, не раскрывавшихся десятки лет? А ведь эти бессознательные рефрены из уст слепого бродячего певца — не что иное, как цементированный отбор работы художественного сознания, проделанный миллионами человеческих единиц в их совместной практике, совместном изжитии большого исторического события. Миллионы, собрав по капле в соты, помогли Гомеру забыть о сознании и свободно поплыть по завоеванной стихии.

¹⁾ Оттого, быть может, импровизации глубоко безличны, редко оригинальны и представляют собой весьма невысокое искусство. Особенно характерна в этом отношении эпоха римского императора Адриана (I столетие по Р. Х.), реформировавшего школу в сторону ее «классицизма». Привожу здесь выписку из предисловия Б. Богаевского к I тому Лукнана в издании бр. Сабашниковых «Памятники мировой литературы»: «Множество заученных стихов и выражений обогащали язык ученика, мифы и фантастические повествования о прошлых событиях изощряли фантазию. И сами учителя, нередко бывшие стихослагателями, старались и в своих учениках вызвать стремление к самостоятельному сочинению стихов. В одной римской школе в 106 году по Р. Х. был выпущен такой школьный поэт, и история сохранила его имя: это 13-летний Луцилий. Валерий Пудент, из Гистогия, увенчанный на Капитолии лавровыми венками за искусную импровизацию греческих гекзаметров. Подобная импровизация составляла один из элементов школьного поэтического образования... В начале I столетия по Р. Х., например в Тарсе, в Киликии во время Страбона (географ), импровизация в школах была так распространена, что тарсийцы на любую данную тему начинали немедленно «без-устали» импровизовать».

Я говорю об этом так долго вот почему. Если мы хотим купить себе «право на бессознательное», у нас нет к нему иного пути, кроме как через очень большую и коллективную работу сознания, в которой мы прошупали бы, опробовали, проверили каждую микроскопическую деталь нашего нового материала. Нужно твердо помнить, что у нас еще нет готового и нам не над чем забыться, а предстоит много бодрствовать. Потому что нас окружающая на каждом шагу «стихия бессознательного», столь соблазнительная для больших мастеров, она есть стихия готового прошлого, стихия массовых заготовок той старой культуры, которую мы поставили себе задачей преодолеть. И если мы, увлекшись иллюзией того, что стихийное — нейтрально и его дар есть дар природный, и его плоды — это плоды непосредственности, если мы бездумно воспользуемся «правом на бессознательное», мы окажемся в плену у массовых заготовок прошлого, а они нас злобно подведут. В этом — трагедия Есенина и есенинщины. В этом в большой мере — опасность молодого поэта П. Васильева: он пленяет «свежестью и стихийностью», незаметно для себя и для нас легко скатываясь к пользованию старыми ритмическими и словесными комплексами, заготовленными работой сознания не нашего, а прошлого поколения. В этом, с другой стороны, и разгадка того явления, что халтура (и особенно красная халтура), формальная серость и нетребовательность, любовь к банальности под видом любви к простоте, вульгаризация взамен искания нового, — все это суть вещи глубоко реакционные. Халтурщики выезжают, по прекрасному термину электромеханики, на «остаточном возбуждении» старой и уже отработанной энергии чуждого класса, достигающей им даром. И через нее протаскивают к нам не только инерцию мертвых словесных сочетаний, мертвого ритма, мертвых красок, превращенных в штамп, но и фальсификацию содержания.

Вот теперь стало как будто виднее, какое имеет для нас значение работа с

начинающими авторами. Мы бьемся и бились весь год, чтобы создать собственную эстетику; но отвлеченно, из головы, вне связи с нашей жизнью, она создается, как ни бейся, опять на старом образце, и потому мы имели в текущем году самые неожиданные курьезы. Напомню некоторые. Вопрос о новой драматургии выдвинулся на первый план, и надо было дать драматургам правильную установку. Что хотел сказать тов. Сталин, выдвигая лозунг «пишите пьесы»? Он это объяснил ясно и исчерпывающе: миллионам поднявшихся из темноты и кабалы людей, живым создателям социализма, колхозникам, рабочим, красноармейцам, вузовцам очень трудно читать большие и толстые книги, на это нехватает времени и сил, а искусство им нужно, и нужно, чтоб это искусство было подлинным. Легче посмотреть пьесу на театре, нежели прочесть толстенный роман «в трех частях», — значит, дайте хорошую пьесу. Забота не о сотнях тысяч высококвалифицированных городских интеллигентов, всегдашних и любителей МХАТ или Вахтангова, или Камерного, или Александринки, а забота о десятках миллионов работников полей и заводов продиктовала эти слова. Из них никак нельзя сделать логически неверного вывода о том, что не надо вообще писать романов, или о том, что надо в бесчисленном количестве писать пьесы для репертуара нескольких хороших известных москвичам и ленинградцам театров, применяясь к обычному типу подходящих к ним пьес. А надо было сделать только один прямой вывод, — постараться создать драматургию для нового миллионного зрителя, а для этого подойти вплотную к новому зрителю, пережить объем и характер его потребностей, узнать, вернее изучить и почувствовать (с интересом для себя самого), тематику шахты, завода, стройки, колхоза, вуза, и отсюда — из единого интереса с потребителем, из глубины поднятой новой тематики — дать и новый театр. Так мы подходили к созданию нашей литературы, только так можно подойти и к созданию новой

драматургии. А что у нас вышло? У нас начали с появления «теоретических установок» в ряде журналов и газет, причем дать одну-две статьи на эту тему каждый считал себя прямо-таки обязанным, безразлично, имел ли он что сказать читателю, или не имел. В этих статьях мы докатились, в поисках новой драматургической эстетики, до такого анекдота, что в центральной газете устами умного и прекрасного писателя провозгласили — как снег на голову — возврат к ложноклассическому триединству французского театра времен Корнеля, сдобрив его гегелевской диалектикой, развиваемой в терминах Морица Карьера и других идеалистически наивных учеников Гегеля. Иначе сказать, наше «новое слово о театре» внезапно очутилось в таком дальнем тылу у веков, что зачеркнуло все новейшее развитие театра, начиная с Лессинга, всю борьбу театра за освобождение от формалистики ложного классицизма во имя отражения живой диалектики бытия! Таков был первый курьез. А вот образчик второго курьеза: когда вышла замечательная книга Шолохова «Поднятая целина», понятая читателем гораздо раньше, нежели критикой, то наши критики поспешили тоже вмешаться в успех книги, и в ряде газетных статей можно было прочесть буквально следующее: «книга конечно превосходная, несмотря на ее недостатки (они есть)» — и точка. Какие недостатки, где они, в чем заключаются, в этих статьях не было раскрыто ни единым звуком, только безапелляционное «они есть» — и basta. Это конечно доказывало, что критик и сам еще не догадался о недостатках, и лишь выдал на них вексель в той крепкой уверенности, с какой выдают верные векселя платежеспособные люди: ведь по теории вероятности почти быть не может, чтоб не нашлось недостатков даже и в прекрасном произведении, как и на солнце есть пятна. Эта полная критическая беспомощность обнаруживает не только отсутствие у большинства наших критиков непосредственного вкуса и самостоятельного суждения, она указывает и на более глу-

бокое обстоятельство. И курьез с драматургией, и курьез с критическим векселем говорят о том, что у нас еще нет своей социалистической эстетики, еще не найдены способы ее выработки, еще не указаны и возможные практические пути к таким способам.

Занятия старших писателей с начинающими авторами, среди которых почти сплошь преобладает литударник, рабочий, новый человек, — эти занятия и являются одним из верных путей к правильному способу выработки нашей социалистической эстетики. Не сразу и не нарочито, но медленно и неизбежно этот путь приведет к накоплению драгоценного теоретического опыта, особенностью которого будет то, что он не отвлеченный, а продиктованный практикой.

II. Проблема культурного наследства

Первое наше занятие с литкружковцами Оргкомитета состоялось в маленьком зале музея, где собраны за десятками витрин почти все рукописные памятники моего тридцатилетнего рабочего пути. В своем сконцентрированном виде, сдвинутые тесно и без пауз, какие бывают в самой жизни, документы человеческого труда неизбежно производят не только на постороннего человека, но и на тех, кто их создал, впечатление очень большой загруженности. Когда я вошла в зал, уведомленная только о том, что мне предстоит провести с литкружковцами беседу о своем «творческом пути», я застала моих слушателей разгуливающими вдоль витрин с тем обремененным видом, какой обычно бывает у посетителей музеев. Мы поздоровались, расселись поудобнее, и я начала говорить.

Начала я говорить примерно так, как обычно принято подавать прошлое, — исторически, в форме прошедшего. «Мое» при этом отделялось от меня, как бы уже делалось мертвым, и в музее, окруженная собственным прошлым и живыми новыми людьми, которым я должна была передать накопленный опыт, я вдруг увидела все мною сделанное и пережитое в готовом виде

музейного экспоната как законченную вещь. Передать эту законченную вещь с рук на руки, «взять ее из-под стекла, показать, разглядить, снабдить хронологией, сказать «вот, видите», примерно, как держит и показывает рука кувшинчик, раскопанный в доисторической могиле, или пожелтевший эстамп — дело не только очень увлекательное, но и невольно наполняющее вас какою-то собственнической гордостью, если при этом речь идет о вашей собственной выставке. И тут-то, на горячем месте показа, меня прервало все то же выражение страшной обремененности, какое я заметила в самом начале у моих слушателей. Я остановилась и спросила: то ли это, что нужно, и не надо ли повести дело по-другому. Тогда одна литкружковница, посмелее своих товарищей, робко заметила, что нет, не то, а нужно бы: «чтоб мы сами прочитали несколько своих рассказов, а вы бы их нам поправили и объяснили, как надо писать и в чем наши недостатки». Только много позднее я поняла, каков был смысл поправки, внесенной в нашу беседу литкружковницей. На первый взгляд, быть может, и мне в ту минуту казалось, будто слушателям неинтересно узнавать про другого человека, а интересно узнавать про самих себя, и они переводят центр тяжести беседы с меня на них. Но таково лишь поверхностное впечатление. На самом же деле тут было инстинктивное отыскивание правильного пути, как именно усваивать культурное наследство. Слушатели не хотели иметь дело с моим опытом, как с законченной вещью, музейным экспонатом, чем-то, что было и прошло и ю чем надо узнавать и слушать, а они хотели иметь дело с моим опытом, как с продолжающейся вещью, как с живым инструментом, действие и назначение которого хорошо проверить на деле и в котором имеется острая нужда.

Такое отношение к опыту прошлого, когда он рассматривается не как законченное в прошедшем, а как про-

веряемое и продолжающееся в настоящем, и есть подлинное отношение к культурному наследству и единственно верный способ его усвоить.

Читателю нужно разъяснить это несколько поглубже, и я опять сделаю длинную остановку. Начну с вернейшего чувственного показателя, с выражения обремененности, дважды упомянутого мною выше. Оно почти всегда присутствует у людей, гуляющих по музею. Даже очень культурный и частый посетитель музея, умеющий выбирать и проходить мимо, не глядя, не может предохранить себя от чувства усталости. Откуда берется в музее это чувство усталости? Утомительно очень долго стоять на ногах, но например физкультурник, не успевающий присесть, не устает гораздо дольше, нежели музейный посетитель. Утомительно очень долго смотреть на вещи, но например часовщик,ковыряющийся весь день в разнообразнейших механизмах, сохраняет свежесть в глазах гораздо дольше, нежели музейный посетитель. Утомительно запоминать множество вещей под ряд, но например школьный ученик, девять, а иногда и больше часов усваивающий самые разные и новые для себя предметы, от обществоведения до немецкого языка, устает гораздо менее, нежели за четыре часа в музее.

В чем же тут дело? Конечно не в разнообразии, количестве, концентрации предметов. Как бы вы ни обставляли музеи (а лучше, живее и развлекательнее, нежели у нас и в нашей социологической подаче, мне думается, нигде в мире музея нет), как бы, повторяю, ни обставляли вы музей, он в принципе своем остается неизменным, подобно тому, как неизменным остаются гербарий и коллекция бабочек: это есть кладбище предметов. Экспонат, попадая в музей, должен умереть в своей функции для того, чтобы смочь длительно сохраняться в новом своем качестве музейного предмета. На выставочных креслах и столах нельзя ни сидеть, ни работать, выставочную

прялкой нельзя прясть, бокалом пить, ножом резать, одеждой укрыться, драгоценностью украсить. Нельзя ничего взять в руки, «трогать воспрещается», нельзя ничего увидеть в действии, кроме разве музеев техники, но о них пока не идет речь. Но даже если бы музейный экспонат вдруг был подан вам в его обычной функции, как например в музее восковых кукол, где Клеопатра вечно подносит ехидну к своей дышащей груди, Наполеон вечно вынимает и закладывает руку за борт своей тулупки, и мясистый палач вечно возносит в руке чью-то косматую голову, — эта функция попрежнему остается мертвой, потому что она изолирована, отделена от течения времени, вырвана из общественной ткани и потому что вы никак не можете в ней участвовать. Вот сейчас мы подошли к разъяснению того, почему устает музейный посетитель скорее, нежели всякий другой человек, выполняющий ту же работу зрения, памяти и мускулов. Потому что музей — кладбище предметов — лишает человека возможности самому как-либо участвовать в функциональной судьбе собранных предметов. И получается удивительная вещь: огромные богатства, собранные в музеях всего мира, дают человеку несравненно меньше знания, нежели можно было бы от них ожидать, и утомляют несравненно сильнее, нежели урок в школе. Даже музей техники, где вы можете видеть технологический процесс в действии, научит вас гораздо меньше обращению с машиной, нежели самостоятельная разборка какой-нибудь модели и личное участие в работе станка.

Отсюда ясно, что познавательный процесс осуществляется легче и приятнее, когда сам человек может стать его соучастником, может как-то, воспринимая чужое, проявить себя, сделать это проявление себя и своего способом восприятия и усвоения чужого. Мы видим в школе, что лекционная

система несравненно утомительнее, нежели классная, где спрашивают и отвечают, но и при лекционной системе больше утомляется тот, кто просто сидит и слушает, нежели тот, кто, слушая, записывает лекцию, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. И тайна «обремененности» разъясняется перед нами очень просто: не бремя чужого груза, не бремя знания, впечатлений, красок, — это бремя легко несетя, — а тяжкие вериги личного бездействия, личной выключенности, несколько часов вынужденного исторического бездействия человека перед лицом чужого действия, накопленного в вещах и знаках, — вот что тяжело обременяет вас, делает прогулку в музее легко утомляющей, а восприятие экспонатов — почти как восприятие трупов. Отсюда следует, что легчайшее усвоение чужого опыта, лучший способ научиться чему-нибудь лежат в необходимом творческом выявлении самого ученика.

Выше мы видели, что в «готовом виде» не существует того багажа, каким учитель делится с учеником, а багаж этот определяется в самом процессе обмена. Сейчас нам ясно, что и взять этот багаж «в готовом виде», непосредственно со стороны, как берут из рук в руки предмет или пищу, нельзя, а взять его можно лишь через внутреннее самовыявление, через задачу этому дару еще и чего-то своего. Недооценивая или высмеивая слово «творчество», предлагая заменить его словом «работа» (как у нас иные склонны делать), забывают именно эту особенность исторического процесса, которую другим понятием, кроме творчества, никак нельзя назвать, — особенность постоянного привнесения в то, что уже есть, того, чего еще не существует, тогда как «работой» в науке принято называть простую механическую затрату энергии и теплоты иной раз на повторение или воспроизведение готовых образцов.

(Продолжение следует)

2. О ТУРЕЦКОМ ИСКУССТВЕ

Путевые заметки

О. Бубнова

Яркое солнечное утро. Пароход «Измир» медленно проходит по Босфору. С обоих берегов тянутся в зелени деревьев деревушки, селенья, белеют виллы, краснеют черепичные кровли. Все здания по берегам украшены красными флагами с белым полумесяцем и звездой; то там, то здесь мелькают советские серп и молот. Необычайное оживление царит на берегах Босфора. А на самом Босфоре лодки, кайки, катера, музыка, перемещающиеся советский и турецкий гимны, торжественный гул приветствий...

Раскрывается панорама старого Стамбула. Направо порт, деловая Галата, а налево мыс Сарайбурну, где в зелени старинного парка скрываются кровли старинного турецкого кремля XV века. Дальше, за мостом, видны громады мечети Фатих XVIII века и за ней, на холме, мечеть Сулейманиэ XVI века, работы турецкого архитектора Сенана. Тому, кто увидел этот памятник, являющийся достижением османской архитектуры, не забыть громадного, величественного и одновременно стройного общего вида, чудесно оформленных внутренних дворовок, а также и замечательной внутренней архитектуры этого здания—грандиозных столбов и узорчатых витражей работы Сархош-Ибраима, расположенных над синими фаянсами михраба, изваянного из мрамора великолепными сталактитами с позолотой. Заговорив о Сулейманиэ, столь характерной для старого Стамбула, нельзя не сказать и о другом уголке уже ушедшей старой султанской Турции—о мечети Султан-Эйюба и турецкого кладбища, тянувшегося на холме вдоль Золотого Рога. Когда вы попадаете в первый двор мечети, вы видите в глубине его столетний чинар, в тени которого сидят продавцы благовонных масел, четок и пожелтевших книг. В середине же двора—взлетающая стая голубей, — древняя старуха за данные

вами несколько пиастров бросает им горсти звонких зерен, а дальше, во внутреннем дворе, — безвкусная мечеть сравнительно недавней перестройки с аляповатыми росписями известковых стен. Напротив мечети — сказочный фаянсовый узор: стена, медная решетка окна, за решеткой — гробница Эйюба-Энсари. В этом уголке, наряду с остатками великолепных образцов старого искусства, художественные ценности которого навсегда останутся достоянием человеческой культуры, бросается в глаза религиозно-мистический характер общей обстановки...

Характерно, что Эйюб был любимейшим местом Пьера Лоти. На самой вершине холма, неподалеку от обители Тёкке, закрытой, как и все остальные, волею республиканского правительства, находится кофейня, где любил отдыхать Лоти. И он, и Фаррер, и другие писатели эпохи умирающего капитализма искали в Турции, в Стамбуле и Бруссе экзотики и мистики; они любили гаремные решетки—кафесы—на окнах, женщин в чадре, алые фески, они смаковали духовную музыку монастырей, экзотическую пляску дервишей — все наследие феодальной Турции, которое уродовало и держало на мертвой точке развитие турецкого народа. Это и тянуло их в Эйюб, который олицетворяет старую султанскую полусредневековую Турцию.

Но старой Турции нет. И старый Стамбул—столица султанской Турции с его извилистыми улицами, мечетями и дворцами, напоминающими о средневековье, — уже не тот. И об этом, если брать украшение города, красноречиво говорят два любопытных скульптурных памятника. Первый памятник, стоящий на мысе Сарайбурну, работы австрийского скульптора Крипеля, поставлен в 1926 г., он изображает Гази Мустафу Кемаль-пашу в рост, другой памятник— работы итальянского скульптора Каноника, автора памятника Гарибальди в

Риме,—памятник Турецкой Революции, поставлен в 1926 г. Он изображает Гази с его сподвижниками, шедшими во главе народа в борьбе за национальную независимость.

Одним из опытов нового архитектурного искусства в Стамбуле является школа (Валиде Мектеби) работы архитектора Сырры.

Но, останавливаясь на других архитектурных памятниках республиканского периода в Стамбуле, необходимо особо подчеркнуть, что самый внешний вид улиц изменился, — исчезли фески, чаршафы (чадры), конусообразные шапки дервишей (самая фигура дервиша исчезла навсегда). Исчезла и арабская вязь вывесок — после принятия в 1928 г. латинского алфавита, явившегося могучим фактором для борьбы с безграмотностью.

Ряд реформ, осуществленных национально-освободительным движением в Турции, создает предпосылки для новых явлений и в области искусства, в том числе и в области архитектуры, скульптуры, живописи.

Здесь необходимо отметить реформы, направленные к раскрепощению женщины, на борьбу с религиозными предрассудками, с пережитками средневековья в быту и т. д.

Из проводимых республиканским правительством культурных мероприятий на первое место надо поставить мероприятия по ликвидации неграмотности и всеобщее начальное обучение.

Последнее, уже в данной стадии его осуществления, потребовало издания большого количества учебников по всем отраслям знаний. Из вышеуказанных учебников нужно, в первую голову, отметить учебники издания министерства просвещения, отличные по своему оформлению. Любопытна также серия букварей и послебукварных детских книжек с превосходными иллюстрациями для фонетического метода преподавания, сменившего средневековое преподавание корана. Работа по изданию новых учебников и других новых книг, несомненно, оживит запыхавшиеся полки библиотек, где порой, к слову сказать, наряду с ненужным полусредневековым хламом

можно найти изумительные произведения искусства. Мы имеем в виду старинные рукописи, часто украшенные изящными заставками, концовками, виньетками и, наконец, миниатюрами. Эти миниатюры примечательны тем, что только в них можно найти человеческие изображения, отсутствовавшие в искусстве старой Турции. Листая рукопись, можно видеть, как на фоне розоватых гор с белыми, красными, синими, золотыми и желтыми пятнами движется султан Сулейман Великолепный со своей армией пехотинцев и всадников (рук. Хинернаме 1577 г.). Построение восточной миниатюры имело исходным пунктом расположение действия по вертикали, что давало возможность глазу воспринимать динамичность сюжета с его условной трактовкой. Станковая живопись в Турции возникла сравнительно недавно. Она является результатом национально-освободительного движения и тех его реформ, о которых было сказано выше.

Дать хотя бы беглый обзор современного турецкого искусства представляется делом довольно сложным. Берущий на себя эту задачу сталкивается с таким препятствием, как отсутствие литературы, материалов, данных статистики. Дать же обзор живописи, хотя бы за последние 10 лет трудно уже по одному тому, что в Турции не имеется современной художественной галереи. При таких условиях единственным выходом является сделать обзор выставок живописи.

Первая выставка картин была открыта в Турции в 1878 г. После этой выставки было устроено незначительное количество выставок, и уже пятая по счету выставка, устроенная в лицее Галатасарай, является первой выставкой республиканского периода: она была открыта в 1923 г. На этой выставке было выставлено до 240 полотен. Из выставленных картин критикой были отмечены следующие: «У подножия горы Кешиш» Сали-бея, «Утро 26 августа» (1922 года, когда было начато большое наступление на афонском фронте против греков) Рухи-бея, портрет Гюзин-Ханым работы Фехиман-бея.

День 15 мая 1924 г. является крупным событием в истории турецкой живописи: в этот день была открыта выставка «Общества новой живописи». На этой выставке было выставлено до 115 полотен. Выставка нашла большой отклик в прессе, а также и в официальных учреждениях: министерство просвещения направле закупило очень много картин. Одновременно с этим возникающая Академия изящных искусств устроила для своих слушателей небольшой музей из некоторых картин. Эта выставка молодежи оказала большое влияние на выставку «стариков», которая была устроена в июле того же года в здании лицея Галатасарай и являлась по счету шестой. Для этой выставки характерно то, что «старики» отказались от своих избитых тем вроде голых красавиц, растянувшихся на шкурах, или хризантем в китайских вазах и пр. На выставленных здесь картинах уже можно было отметить темы, взятые из национальной жизни. Таковы например картины Челы Ибрагима «Греческие пленники проходят перед зданием Национального собрания» и «Иррегулярная кавалерия делает налет на Афионкарахисар», «Зейбеки в Алашеире», далее — картины Сали-бея «Перевоз снарядов в азиатскую войну», «Турецкая арба» Кагны и т. д. На выставке было выставлено более 321 картины, из которых многие были приобретены министерством просвещения и городским самоуправлением.

В 1925 г. в лицее Галатасарай была открыта 7-я выставка. Печать была единодушна в неодобрительной оценке этой выставки. Художникам ставилось на вид то, что они не давали ничего нового и занимались перепевами. Надо сказать, что находившийся в ту пору в Стамбуле сотрудник немецкой газеты «Франкфуртер цейтунг» д-р Бух написал статью, которая затем была помещена в газете «Джумхуриет». Основное положение этой статьи сводилось к тому, что д-р Бух не находил ничего специфически турецкого в этой выставке. Эта статья дала повод для довольно продолжительной дискуссии.

8-я выставка картин была открыта в 1926 г. Из наиболее удачных полотен этой выставки нужно отметить: «Звездную ночь» художника Эшрефа, «Портрет актера Бехзата», «Эрзерумский вечер» художника Саима. На этой выставке обращали внимание также работы художниц Сабиha Рюшту Ханым и Хале Асаф Ханым. Сабиha Рюшту выставила несколько детских головок, а Хале Ханым — ряд портретов. Как раз в это время был основан «Союз изящных искусств» и начали устраиваться выставки в Анкаре. Согласно решению совета министров от 12 сентября 1926 г. выставки изящных искусств должны устраиваться в Анкаре. Выставки в Анкаре стали устраиваться сначала в здании Этнографического музея, а затем «Турецкого очага». Эти выставки имели большой успех у публики. Наряду с этим выставки в Стамбуле (Галатасарай) стали идти на убыль.

В 1927 г. в Анкаре была открыта 9-я по счету выставка. Вместе с учащимися (1.000 чел.) число посетителей составило 2.500 чел. Министерство просвещения купило картины на 2.300 лир, а меджелис — на 500 лир. На этой выставке особенно обращала внимание картина Тургуда «Сцена», а также картины Намык Исмаила — «Два маленьких пейзажа Чанкая» (резиденция президента) и «Испанская женщина». На этой выставке обращали на себя внимание также и работы Али и Зеки, учившихся в Германии у художника Гофмана. Они впервые выставили в Турции кубистические картины. Во всех турецких картинах можно последовательно проследить все стадии западноевропейского искусства, начиная от французского «Салона» и кончая немецким современным экспрессионизмом.

В июне 1929 г. из Европы возвращаются несколько представителей молодого поколения художников, которые основывают «Общество независимых художников и скульпторов». Выставка этого поколения художников несколько не походила на выставки Галатасарай. Эта выставка знакомила Турцию с новыми течениями в живописи на Западе. Критики немедленно окрестили этих

«Независимых» кубистами. «Независимые» первую свою выставку устроили в Анкаре в залах «Турецкого очага». Там было выставлено более 100 картин и 6 статуй. Эта выставка была встречена в Анкаре и Стамбуле как крупное событие в жизни живописи. На этой выставке из представленных картин следует отметить: «Брусу» работы Хале Ханым, «Портрет жены художника» работы Шерефа, «Ваза на столе» Зеки и др. Не нужно также упускать из виду некоторого оживления в живописи и в провинции. Так, например, в том же 1929 г. в Балыке-сире Кемаль-бей устроил выставку вместе с некоторыми говарищами. Имена их следующие: Кемаль, Рагыб, Сырры, Нуман, Абедин Абас, Сених Ханым, Факисе Ханым, Муалим Ахтер Ханым.

В том же 1929 г. в лицее Галатасарай «Союзом изящных искусств» устроена была 13-я выставка. Однако художники не дали ничего нового, опять занимаясь перепевами старых мотивов. Достаточно указать, что сложившийся художник Чалы Ибраим дал 4 натюрморты с цветами. Из выставленных на эту выставку вещей нужно отметить: «Вид горы Кайшдаг», а также «Маленький кипарис» работы Талята, натюрморты Захидее Джемаль Ханым «Утро на Сакарье» (как известно в 1921 г. с 23 августа по 13 сентября здесь шел бой между греческой армией и турецкой армией, предопределивший успешное окончание войны в пользу турок) — работы художника Рухи.

В 1930 г. в Анкаре было устроено две выставки. Первая — «Независимыми художниками и скульпторами», а другая — «Союзом изящных искусств». Что касается 1931 г., то он является весьма благоприятным для искусства.

В этом году устраиваются выставки, происходят дискуссии, печатаются статьи по вопросам искусства. Так, например крупная стамбульская газета «Мианет» открывает страницу, посвященную искусству, и художники получают возможность высказываться по интересующим их вопросам (энергичный отклик в академических кругах находили

например критические заметки Эшрефа, посылаемые им из Эрзерума).

Из работ, посвященных искусству, можно назвать книгу Намык-Измаила о Микель-Анджело. В этом году из Европы вернулась вторая партия художников: Халиль Ибраим, Зюхтю, Хамид, Неджет, Заки Фаик. Для этой группы очень характерно, что все они отличались большой работой над собой. Так, по свидетельству одного критика, Зеки Фаик показал ему до 300 работ. Эта группа художников устроила свою выставку. Один из критиков, рецензируя эту выставку, указывал на то, что выставленные картины разговаривают по-французски, по-немецки и по-итальянски. Он подчеркивает, что пришло наконец время заговорить по-турецки.

1932 г. является годом большого оживления в жизни живописи. Правда, выставка в Галатасарай, можно сказать, прошла почти незаметно. Выставка «Независимых», хотя и не привлекла особенного внимания, все же стояла выше Галатасарай. Но, помимо этих выставок, нужно отметить выставки отдельных художников, которые характерны с точки зрения оживления в искусстве. Так, например художник Ахмед устроил выставку в помещении Дарулбеда (консерватории), художник Али Авни — в кино «Глория», художник Омер устроил выставку афиш, художник Саим Молла — выставку портретов в помещении аэроклуба. Кроме того, скульптор Зюхтю устроил выставку своих работ, художник Ускюдарлы Джеват устроил выставку видов Скаутари, Джеведед-бей устраивал выставку «Черное и белое».

Все это показывает, что галатасарайская выставка перестает быть монополистом, что нарождается молодая армия художников.

1933 г., являющийся 10-й годовщиной Турецкой республики, начинается открытием выставки работ, оставшихся после смерти художника Али Рыза. Его выставка, открытая в Народном доме в Анкаре, состояла из рисунков и набросков числом около 200. За этой выставкой последовала выставка художника Хамид Неждеда. В Смирне при Народном доме открыта небольшая вы-

ставка (75 экспонатов) картин и карандашных набросков...

Заканчивая обзор турецкой живописи за 10 лет, остается упомянуть, что в сентябре этого года образовалась группа художников «Д», которая состоит из пяти художников и одного скульптора. Имена художников: Абедин Дино, Джемаль Саид, Зеки Фаик, Нурулла Джемаль, Элиф Наджи и скульптора Зюхтю. На этой выставке были выставлены рисунки, которые имели большой успех и вызывали значительный интерес. Группа «Д», устроившая выставку в Стамбуле, рассчитывает устроить выставку в Анкаре.

Турецкие художники, как видно из отчетов об устроенных выставках, получали образование в различных европейских центрах и испытывали на своем творчестве все влияния. Самое важное в современной турецкой живописи — то, что она начинает отказываться от бессюжетности, от однообразных пейзажей, натюрмортов и идет к передаче национальной тематики. Например вышесказанные полотна «Греческие пленники проходят перед зданием Национального собрания» работы Чалы Ибраима, «Перевоз снарядов в анатолийскую войну» работы Саима и разнообразные портреты Кемаля различных художников. Интересно отметить, что на выставке 10-летия культурного строительства в Анкаре, которую мы видели во время нашего пребывания, имелись детские рисунки с явным отпечатком восточного колорита, восточных типов и даже восточных красок, близких к миниатюрам.

Можно констатировать, что при освоении современной живописной техники турецкие художники дадут новые произведения живописи, достойные турецкого национально-освободительного движения и побед новой, республиканской Турции.

Специальный поезд мчит нашу делегацию из Стамбула в столицу республиканской Турции, в Анкару. Большая часть пути проходит ночью, и только за несколько часов до приезда, в окна видны выжженные солнцем коричневые,

рыжие, бурые плоскогорья. Просторные долины, горы в синей дымке, падающие на склонах стада ангорских коз, и опять — высокие склоны, поросшие красноватым кустарником, и опять серые горы, как огромные морщинистые слоны, обступают долину.

Совсем близко от Анкары — по правую сторону — видна ферма Гази, с бросающейся в глаза геометрической правильностью расположенных зданий, как будто только-что снятых с кальки архитектора.

Вокзал. Мы — в Анкаре, в городе, имеющем тройное имя — Анцира, Ангора, Анкара.

Анцира — город римских легионеров. По соседству со скромной мечетью Хаджи-Байрам XV века высятся пожелтевшие от времени мраморные стены римски-величавого храма Августа, построенного в 10-х годах первого века нашей эры.

С именем Ангоры связано представление об исторической битве 1402 г. между Тамерланом и Баязидом, закончившейся поражением последнего, с этим именем связано было и представление об ангорских козах: Ангора представлялась захолустным провинциальным центром. Кусочек этой Ангоры сохранился и сейчас — в виде развалин крепости XV века. У этой крепости и теперь еще ютится старый город с обычными кривыми, узкими улочками, с деревянными домами, с шумным восточным базаром, заваленным всевозможной снедью, фруктами и пестрыми тканями. Огромное количество ребятишек высываются из окон, бегают по улочкам и прячутся за входами с узкими лестницами...

Анкара — это символ республиканской Турции; Анкара — это олицетворение воли турецкого народа, сумевшего в жестокой борьбе обеспечить свою национальную независимость. Возникновение в Турции города прямых линий — это прежде всего результат победы национально-освободительного движения, результат тех национально-демократических преобразований, которые явились последствиями этой победы.

Анкара очень интересна в архитектурном отношении тем, что она пред-

ставляет собой заново спланированный город. Все улицы, созданные по определенному плану, замощены плитками. Благодаря планировке, произведенной всего-навсего 6 лет назад, город получил свой стиль, стиль «удобного города». Главная часть—правительственные учреждения и торговые здания—расположены в 3—4-этажных домах, частные квартиры, посольства помещаются в различного стиля зданиях, коттеджах, окруженных садиками и садами. Много архитекторов различных стран строили здания в Анкаре. Здание советского посольства выстроено советским архитектором. Главный корпус имеет ряд террас, из комнат внутри здания следует отметить довольно большой белый зал с расписанным орнаментом потолком в виде крупных завитков, лишаящих потолок обычной статичности и создающим большую динамику. Стиль всего здания—конструктивный. Характерно, что каждое посольство старается, в пределах современных конструкций, дать черты национальной архитектуры, что особенно заметно в здании персидского посольства, сохранившего восточные арки на окнах, и в здании польского посольства, выстроившего свой особняк с колоннами в стиле барокко фойварка. Турецкие общественные здания: меджелис, здание музея, Народный дом, также сохраняют, в пределах современных конструкций, черты турецкого искусства. Из небольших построек в саду около здания меджелиса любопытна эстрада для оркестра современной конструкции, похожая на разрезанный пополам большой резиновый мяч.

Оглядываясь на прошлое османской архитектуры, можно сказать, что она, испытывая на себе благотворное влияние арабской и византийской архитектуры, достигает своего высшего расцвета в XVI веке. Венцом османской архитектуры являются такие произведения архитектора Сенана (1490—1579), как мечеть Сулейманиэ в Стамбуле (1557), мечеть Султан Селим в Адрианополе (1574) и его же мечеть Шахзаде в Стамбуле. Упадок османской архитектуры начинается в период «Тюльпанов», то-есть в царствование

султана Ахмеда III (1703—1730), когда его посол во Франции прислал проекты для постройки дворцов в Садабаде—нынешнем Кяатане—известном в европейской литературе под именем «Сладкие воды» (род турецкого Версаля). В последующую эпоху западное влияние в архитектуре все более усиливается и в царствование Селима III (1789—1807), Махмуда I (1730—1754), наконец, Абдул Азиза (1861—1876) в османской архитектуре окончательно упрочивается барокко и ампир. В результате мы имеем такие произведения, как дворец Бейлер Бей, дворец Долма Бахче, дворец Ильдыз, Медицинская школа и т. д.

С конституцией 1908 года на сцену появляются турецкие архитекторы Ведад и Кемаль. Начинается возврат к «старому» искусству и попытка турецкого ренессанса. Эту попытку нельзя считать удачной, потому что она сводилась например к постройке домов, похожих на мечети. В таком состоянии оказалась архитектура, когда возникла республика. Тут возникло течение за приглашение учителей-иностранцев, которые стали вводить образцы современного архитектурного искусства. Эти иностранцы заняли промежуточное положение между, с одной стороны, Ведадом и Кемалем, а с другой стороны—молодыми архитекторами. Турецкая архитектурная молодежь поняла опасность того, что вновь может повториться та же история, что в эпоху «Тюльпанов». В связи с этим три турецких архитектора стали выпускать журнал «Архитектор», где повели борьбу за новое искусство. На первой странице истории архитектуры республиканского периода нужно отметить работы Ведада, Кемалья и Хикмета: здание меджелиса, Анкарапаласы, отель Эвкаф, главное управление железных дорог, Эвкафские дома, Народный дом, здание музея. Надо также упомянуть произведения турецких архитекторов, рассеянные по различным городам вроде Эльазиза, Зонгулдака, Бруссы, Стамбула, Аданы и других городов. Министерство просвещения отстроило много школ. Из этих школ нужно отметить Институт Гази в Анка-

ре (1.700.000 лир), Коммерческую школу в Анкаре (142.000 лир), женский институт имени Исмет-паши в Анкаре (471.000 лир), школу строительных мастеров в Анкаре (78.000 лир), Женский лицей в Анкаре (278.000 лир), учительская школа в Балыкисири имени Неджати-бея (1 млн. лир), Школа учителей музыки в Анкаре (480.000 лир). Кроме того, министерством просвещения в различных школах были сделаны пристройки и расширены здания. Кстати сказать, здание Учительской семинарии в Стамбуле было расширено за счет перестройки соответствующим образом мечети. Кроме того, из зданий в Анкаре нужно отметить здание Государственного контроля, Дома армии, Центрального банка, генерального штаба, министерства национальной обороны, Земледельческого и Ветеринарного институтов, Красного Полумесца. Далее, столица украсилась такими зданиями, как Деловой банк и Земледельческий банк. В настоящее время приступлено к постройке военной школы, здания для постоянных выставок, здания Авиационного об-ва и т. д. Общий стиль зданий—конструктивный.

Необходимо также отметить здание новой резиденции Кемаля, построенное по плану известного австрийского архитектора Гольдмейстера. Это—белое здание, строго геометрическое, с выступами балконов и плоской кровлей, возвышающееся на одном из анкарских холмов, откуда открывается чудесная панорама. Здание снабжено широкими окнами, выходящими на улицу, но, однако, здание имеет и внутренний двор с зимним садом и теплицей. Посредине его — мраморный

бассейн. Это здание — строгое, простое, с отчетливо выраженными монументальными формами — является наглядным отражением того нового, что внесено кемалистским движением в жизнь Турции.

Столица новой Турции украшена бронзовыми статуями Мустафа Кемаль-паши. Две конных статуи помещены: одна—на площади, другая — на холме против здания Этнографического музея. Статуя на площади, работы австрийского скульптора Крипеля, окружена четырьмя символическими фигурами и называется «статуя Победы». Конная статуя, около музея, работы итальянского скульптора Каноника, сделана под большим влиянием конной статуи Гватемалаты Донателло.

Наконец, статуя Кемаля в рост, которая находится в Енишекире в Анкаре, также работы Каноника.

В самой старой столице Турции, в Бруссе, имеется конная статуя Кемаля, открытая в 1931 г., работы турецкого скульптора Нежада. Она удачно интерпретирует Кемаля, как полководца.

Говоря о Бруссе XV века, нельзя не упомянуть о Зеленой мечети, постройки 1419 г., с ее знаменитыми зелеными изразцами. Несколько дальше от мечети стоит зеленое тюрбе Мехмеда Челеби (1412—1421), стены которой опоясаны бирюзовыми изразцами с коричневыми резными ставнями на окнах усыпальницы и розовой люстрой лампы, спускающейся с купола.

Но, как мы уже показали на примере новой столицы, такие памятники феодальной архитектуры ушли в далекое прошлое, — их заменила бодрая и строгая архитектура молодой национальной Турции.

А. И. Бэзыменский.
Ф. В. Гладков.
Редакция. В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.
Отв. редактор И. М. Гронский.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИСТОРИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ**

„ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ“

ИЗДАНИЕ ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ
А. М. ГОРЬКОГО

ВСЕ ИЗДАНИЕ РАССЧИТАНО НА 15 ТОМОВ И БУДЕТ ВЫПУЩЕНО БОЛЬШИМ ФОРМАТОМ НА ХОРОШЕЙ ПЛОТНОЙ БУМАГЕ, В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ И БО-

УСЛОВИЯ ПОДПИСК:
Цена всего издания — 7 р. 50 коп. Цена задатка — 5 р. 50 коп. При получении задатка — 5 р. 50 коп. При получении последнего тома — 5 р. 50 коп. Пересылка по действительной стоимости.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех отделениях, магазинах, базах, киосках Книготоргового Объединения КОГИЗ'а. КОГИЗ — Гл. контора подписных и периодических изданий. **МОСКВА, МАРОСЕЙКА, 7. Телефон 5-65-19.**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗД-СТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



КОГИЗ — ГЛАВНАЯ КОНТОРА
ПОДПИСНЫХ И ПЕРИОД. ИЗДАНИЙ

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

В. В. Маяковского

В 13 ТОМАХ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. Ю. БРИК.

УСЛОВИЯ ПОДПИСК:

Цена всего издания — 65 руб., задаток — 5 руб. зачисляемый при выдаче последнего тома; при выдаче каждого тома по 5 руб. Пересылка по действит. стоимости за счет подписчика

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Всеми Отделениями, магазинами, киосками и библиоколлекторами Книготоргового Объединения Государственных Издательств.

КОГИЗ — ГЛАВНАЯ К-РА ПОДП. И ПЕРИОД. ИЗДАНИЙ
МОСКВА, МАРОСЕЙКА, 7. Телефон 5-65-19.